

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й
М И Р

6

Н О В Ы Й
М И Р

1986

6



1986



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 6

Июнь, 1986 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ КАТАЕВ	2

БОРИС ОЛЕЙНИК — Стихи	3
ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — Плаха, роман	7
РАСУЛ ГАМЗАТОВ — Стихи	70
СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН — «Женщина и НТР», рассказ	73
ЛАРИСА МИЛЛЕР — Три стихотворения	88
ЮРИЙ ШИШЕНКОВ — Предупредить бы... Записки инженера	89
АЛИМ КЕШОКОВ — Стихи	123
ВАЛЕРИЙ СУРОВ — Последний паром, рассказ	125
ТЕОДОР ВУЛЬФОВИЧ — Там, на войне, повесть	134
ПУБЛИЦИСТИКА	
МИХАИЛ ЩЕРБАЧЕНКО — Четвертое измерение	174
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
П. Л. КАПИЦА — Письма к матери (1921—1926). Окончание. Публикация и примечания П. Е. Рубинина	194
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
СТРОКА БЕЛИНСКОГО — Л. Аннинский, А. Бочаров, Н. Гей, А. Гулыга, Вл. Гусев, А. Дубровин, Д. Затонский, И. Золотусский, Г. Макогоненко, П. Николаев, В. Новиков, Л. Новиченко, А. Нуйкин, С. Чупринин	219
КАРЛО КАЛАДЗЕ — В этом я вижу свой долг художника	234
С. ЯКОВЛЕВ — Забытый классик?.. Poleмические заметки	237
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
Карен Степанян. «Победитель» после победы.	241
Татьяна Бек. По лестнице лет.	
О. Алякринский. Биография жанра.	
В. Фортунатова. Портрет на фоне времени.	
С. Ларин. Тяжелая память	
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	
ЧИТАТЕЛИ ОБ ОЧЕРКЕ А. ИВАЩЕНКО «ЗЕМЛЯ»	258
ОЛЕГ ВОЛКОВ — Лес рубят...	260
КОРОТКО О КНИГАХ	265
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ КАТАЕВ

Советская многонациональная литература понесла тяжелую утрату. 12 апреля 1986 года на девяностом году жизни скончался выдающийся советский писатель, член КПСС, Герой Социалистического труда, лауреат Государственной премии СССР Валентин Петрович Катаев.

Вся жизнь и творчество В. П. Катаева были отданы беззаветному служению советскому народу, делу коммунизма.

Валентин Петрович Катаев родился 28 января 1897 года в городе Одессе. Участник гражданской войны — служил в Красной Армии командиром батареи. Сотрудничал в Одесском отделении РОСТА. С 1923 года работал в газете «Гудок», печатался в других центральных журналах и газетах. С 1954 по 1961 год В. П. Катаев — главный редактор журнала «Юность».

Большой успех писателю принес роман «Время, вперед!» — о строительстве Магнитогорского металлургического комбината. В этом произведении автор вдохновенно показал людей труда, ударников первой пятилетки, созидательную инициативу масс. Героико-патриотической теме посвящена его повесть «Я сын трудового народа».

В годы Великой Отечественной войны фронтовые очерки и рассказы писателя публикуются на страницах «Правды» и «Красной звезды». Многим поколениям юных читателей полюбилась повесть «Сын полка», за которую В. П. Катаев был удостоен Государственной премии СССР.

Широкое признание получил цикл произведений «Волны Черного моря», среди них — «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи», «Зимний ветер», «За власть Советов».

Творчество В. П. Катаева пронизано глубокой гражданственностью и партийностью. Художественное мастерство публицистическая страстность по праву принесли писателю любовь и уважение в нашей стране и за рубежом.

В. П. Катаев активно участвовал в общественной жизни, являлся членом правления Союза писателей СССР, секретарем правления Московской писательской организации. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР.

Большие заслуги В. П. Катаева в развитии советской литературы отмечены тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, другими наградами. В 1974 году он был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Светлая память о Валентине Петровиче Катаеве, писателе-коммунисте, навсегда сохранится в сердцах советских людей.

М. С. Горбачев, Г. А. Алиев, В. И. Воротников, А. А. Громыко, Л. Н. Зайков, Д. А. Кунаев, Е. К. Лигачев, Н. И. Рыжков, М. С. Соломенцев, В. М. Чебриков, Э. А. Шеварднадзе, В. В. Щербицкий, П. Н. Демичев, В. И. Долгих, Б. Н. Ельцин, Н. Н. Слюньков, С. Л. Соколов, Ю. Ф. Соловьев, Н. В. Талызин, А. П. Бирюкова, А. Ф. Добрынин, М. В. Зимянин, В. А. Медведев, В. П. Никонов, Г. П. Разумовский, А. Н. Яковлев, И. В. Капитонов, А. Н. Аксенов, В. Г. Афанасьев, Ю. П. Воронов, А. Д. Лизичев, М. Ф. Ненашев, П. Я. Слезко, Т. Н. Ментешавили, В. П. Орлов, Г. М. Марков, В. М. Мишин, С. А. Шалаев, В. Г. Захаров, А. А. Бельсеев, А. Г. Алексин, А. А. Ананьев, С. А. Баруздин, Ю. В. Бондарев, Г. А. Боровик, П. П. Боцу, Ю. Н. Верченко, Р. Г. Гамзатов, А. Т. Гончар, Н. М. Грибачев, А. Д. Дементьев, П. А. Загребельный, С. П. Залыгин, М. А. Ибрагимов, А. С. Иванов, Е. А. Исаев, В. А. Каверин, В. В. Карпов, А. П. Кешоков, Ф. Ф. Кузнецов, Л. М. Леонов, Э. Б. Межелайтис, С. В. Михалков, В. М. Озеров, П. Л. Прокурин, Р. И. Рождественский, А. Д. Салынский, С. В. Сартаков, Е. И. Скурко (М. Танк), Ю. И. Суровцев, М. Б. Храпченко, А. Б. Чаковский, А. Н. Чепуров.

БОРИС ОЛЕЙНИК



Неизгладимое

Выйду утром и встану
в немереном поле,
Повстречаю зарю
и пошлю ей привет.
Улыбнусь золотой
человеческой доле
За подаренный сердцу
немеркнувший свет.
Там калина горит, как державный рубин,
Там рубины Москвы — словно гроздья калин,
И все это мое — от небесных глубин
До грядущих годин,
Где шагает мой сын.
Припаду всей душою
к святым обелискам,
Что тревожат, как память
израненных лет.
Поклонюсь безымянным,
до боли мне близким
За подаренный сердцу
немеркнувший свет.
Там за край окоема плывут зелены,
Там над зыбкою мать не уснет дотемна...
И все это мое и растет из меня,
Как зерно золотое,—
На все времена.
Побратимам раскрою
широкие двери
И водой напою
всех уставших от бед.
Поклонюсь Переясловом
дружбе и вере
За подаренный сердцу
немеркнувший свет.
Там с березою верба колышет рассвет,
Там у каждого в доме — и хлеб и привет...
И все это навек, как грядущий завет,
Сберегу я, покуда
Мне светит мой свет!

Берега Двадцать первого века

Моя чайка ¹ в ночи заплывает в лиман,
Заплывает, да все не причалит.
Серебрится полынь за спиной, как туман,
Как дымок стародавней пищали.

¹ Чайка — длинное узкое речное судно у запорожцев.

Дремлет сабля в ногах и не блещет, как встарь,
 Люлька стынет во рту, пригорюнясь.
 Отгуляла степями казацкая ярь,
 Отцвела моя русая юность.
 А заря над землей поднялась во весь рост,
 Стала зримей далекая вежа,
 И осталось пятнадцать — не более — верст
 До межи двадцать первого века.
 Что за нею? Тревожного мира огни
 И загадочный лик человека...
 Ты свети мне, заря, разглядеть помоги
 Берега двадцать первого века.
 Там не встретят меня молодые лета.
 Там свои листопады и вьюги.
 Там поэты не те, и полынь там не та,
 И невест наших... взрослые внуки.
 Ну и что ж! Все равно никому не сломить
 Нас, крылатых, двужильных от века.
 Мы дойдем, чтобы твердой ногою ступить
 За гряды двадцать первого века.
 Моя чайка несмело коснулась крылом
 Слабой вмятинки на космоплане...
 Как обычай велит, бью казацким челом
 Вам, грядущего века земляне!
 Эх, не всех пощадят нас огонь и свинец,
 Но тот миг не могу не воспеть я,
 Когда глянут друг другу в глаза наконец
 Две эпохи, два тысячелетья.
 ...Кто-то, вижу, на берег взошел золотой.
 Чем-то встретишь, порадуешь чем-то?
 — Ты хоть имя скажи мне! — кричу над волной.
 Докатилось до чайки:

—...Шевченко...

Два столетия эхом единым свело,
 И опала усталость-истома,
 И погладил я чайки казацкой крыло:
 — Вот мы, кажется, чайка, и дома...

Озарение

Я здесь в осенний день рожден.
 Морозцем был прихвачен сад.
 Но, как зернинку, в теплый сон
 Меня укутал листопад.
 А по весне пошел я в рост,
 И первый дождь меня омыл,
 И первый шаг мой был не прост,
 Но в дивный мир он сделан был.
 И с той поры все сто земель
 Изъездил я и исходил,
 Но в дни весны, как журавель,
 Всегда в края отцов спешил.
 И надивясь на те края,
 Клянусь вам на мече пера:
 Нигде не встретил больше я
 Ни Украины, ни Днепра.
 Здесь мой порог. И первый грех.
 И очищения огонь.
 И здесь вложил я, как орех,
 Звезду ей в теплую ладонь.

Здесь мой исток. Моя родня.
 И даже ворон, нем и глух,
 С креста прадедова меня
 Приветствует, как добрый дух.
 Я с веткой здесь любой на «ты».
 Здесь все — свои. Здесь все — мое.
 И поливает мать цветы.
 ...Хотя давно уж нет ее.
 Здесь долю каждую война
 Навек вспахала до глубин.
 И жестяная не одна
 Звезда мне светит, как рубин.
 Я здесь родился. Песни пел.
 И горе знал. И счастье знал.
 И может, здесь преодолел
 Свой не последний перевал.
 И так же просто, за спиной
 Оставив не одну межу,
 В трудах, как род бессмертный мой,
 Я тихо голову сложу.
 И так скажу: я видел свет —
 Пусть подтвердит мое перо! —
 Но ничего чудесней нет,
 Чем Украина и Днепро...

Осуждение Святослава

«О князь мой, нет в битве тебя горячей,
 И меч твой прославлен всем светом...
 Но если идешь на врага ты,
 зачем
 Ему знать заране об этом?»
 Заклятье волхва мрак колеблет ночной:
 «Гей, князь мой! Пожнешь-таки бурю:
 Идешь на Царьград,
 у себя за спиной
 Оставив коварного Курю.
 А Куря, трусливый в открытом бою,
 Удар нанесет тебе в спину:
 Пошлет печенегов — прикончить твою
 Уставшую в битвах дружину».
 Но князь, прорицанья волхва оборвав,
 Взглянул на него величаво:
 «Затем мне и имя дано — Святослав,
 Чтоб честно бороться за славу!»
 ...Ударили кони в сто сотен копыт,
 Качнув в дальних Дельфах треногу!
 И князь над Царьградом возносит
 свой щит

И сеет повсюду тревогу.
 Вот снял после битвы он грозный шолом
 В лучах торжества боевого.
 Взлетел оселедец над княжьим челом
 Чернее крыла воронова...
 Когда возвращались в родимый предел,
 Дружинников к ночи сморило,
 И сделать привал Святослав повелел,
 Пока не проснется Ярило.
 Дружинники спали на ложе из трав,
 И месяц, глаза свои щуря,

Глядел, как,
 тесак свой из ножен достав,
 За скалами прятался Куря.
 Волхву не спалось.
 Он всю ночь напролет
 Стонал и метался от боли.
 Он только затем лишь в несчастный поход
 Пошел против собственной воли,
 Чтоб в миг,
 когда диким копьём своим тать
 Пробьет Святослава кольчугу,
 Свое завещанье потомкам послать
 Сквозь сечу и смертную тугу:
 «На что твоя слава,
 коль зря, впопыхах,
 Ты гибнешь, мой князь величавый?
 И как же нам жить после смерти в веках
 С такою бесславною славой?
 Гордыня — погибель твоя и беда.
 И брешут лисицы нам в очи,
 И душат нас горькие слезы стыда —
 Ведь мертвые сраму не имут,
 когда
 За край умирают свой отчий!»

* * *

Мы, поколение пасынков войны,
 Не ждем, чтоб заплатила нам планета
 За серебро столь ранней седины,—
 Такая нам уж выпала анкета.

Мы ветви кроны солнечной одной.
 Но разве что больней,
 чем в наших детях,
 В нас выстрел отзывается любовью,
 Еще порой звучащий на планете...

Так пусть же нить порвется поскорей
 Меж войнами с их страхом
 и смятеньем,
 Чтоб мы остались в памяти людей
 Последних войн
 последним поколеньем!

Перевел с украинского ЛЕВ СМИРНОВ.

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

★

ПЛАХА

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Вслед за коротким, легким, как детское дыхание, дневным потеплением на обращенных к солнцу горных склонах погода вскоре неуловимо изменилась — заветрило с ледников, и уже закрадывались по ущельям всюду проникающие резкие ранние сумерки, несущие за собой холодную сизость предстоящей снежной ночи.

Снега было много вокруг. На всем протяжении Прииссыккульского кряжа горы были завалены метельным свеем, прокатившимся по этим местам пару дней тому назад, как полыхнувший вдруг по прихоти своевольной стихии пожар. Жутко что тут разыгралось — в метельной крошечности исчезли горы, исчезло небо, исчез весь прежний видимый мир. Потом все стихло, и погода прояснилась. С тех пор, с умиротворением снежного шторма, скованные великими заносами горы стояли в цепенеющей и отстранившейся ото всех на свете стыллой тишине.

И только все настойчивей возрастающий и все прибывающий гул крупнотоннажного вертолета, пробирающегося в тот предвечерний час по каньону Узун-Чат к ледяному перевалу Ала-Монгу, задымленному в ветреной выси кручеными облаками, все нарастал, все приближался, усиливаясь с каждой минутой, и наконец восторжествовал — полностью завладел пространством и поплыл всеподавляющим, гремучим рокотом над недоступными ни для чего, кроме звука и света, хребтами, вершинами, высотными льдами. Умножаемый среди скал и распадков многократным эхом, грохот над головой надвигался с такой неотвратимой и грозной силой, что казалось, еще немного — и случится нечто страшное, как тогда — при землетрясении...

В какой-то критический момент так и получилось — с крутого, обнаженного ветрами каменистого откоса, что оказался по курсу полета, тронулась, дрогнув от звукового удара, небольшая осьпшь и тут же приостановилась, как заговоренная кровь. Этого толчка неустойчивому грунту, однако, было недостаточно, чтобы несколько увесистых камней, сорвавшись с крутизны, покатались вниз, все больше разбегаясь, раскручиваясь, вздымая следом пыль и щебень, а у самого подножия проломилась, подобно пушечным ядрам, сквозь кусты краснотала и барбариса, пробили сугробы, достигли накатом волчьего логова, устроенного здесь серыми под свесом скалы, в скрытой за зарослями расщелине близ небольшого, наполовину замерзшего теплового ручья.

Волчица Акбара отпрянула от скатившихся сверху камней и посыпавшегося снега и, пятясь в темень расщелины, сжалась, как пру-

жина, вздыбив загромок и глядя перед собой дико горящими в полутьме, фосфоресцирующими глазами, готовая в любой момент к схватке. Но опасения ее были напрасны. Это в открытой степи страшно, когда от преследующего вертолета некуда деться, когда он, наступая, неотступно гонится по пятам, оглушая свистом винтов и поражая автоматными очередями, когда в целом свете нет от вертолета спасения, когда нет такой щели, где можно было бы схоронить бедовую волчью голову, — ведь не расступится же земля, чтобы дать укрытие гонимым.

В горах иное дело — здесь всегда можно ускакать, всегда найдется где затаиться, где переждать угрозу. Вертолет здесь не страшен, в горах вертолету самому страшно. И однако страх безрассуден, тем более уже знакомый, пережитый. С приближением вертолета волчица громко заскулила, собралась в комок, втянула голову, и все-таки нервы не выдержали, сорвалась-таки — и яростно взвыла Акбара, охваченная бессильной, слепой боязнью, и судорожно поползла на брюхе к выходу, лязгая зубами злобно и отчаянно, готовая сразиться, не сходя с места, точно надеялась обратить в бегство грохочущее над ущельем железное чудовище, с появлением которого даже камни стали валиться сверху, как при землетрясении.

На панические вопли Акбары в нору просунулся ее волк — Ташчайнар, находящийся с тех пор, как волчица затяжелела, большей частью не в логове, а в затишке среди зарослей. Ташчайнар — Камнедробитель, — прозванный так окрестными чабанами за сокрушительные челюсти, подполз к ее ложу и успокаивающе заурчал, как бы прикрывая ее телом от напасти. Притискиваясь к нему боком, прижимаясь все теснее, волчица продолжала скулить, жалобно взывая то ли к несправедливому небу, то ли неизвестно к кому, то ли к судьбе своей несчастной, и долго еще дрожала всем телом, не могла совладать с собой даже после того, как вертолет исчез за могучим глетчером Ала-Монгю и его стало совсем не слышно за тучами.

И в этой воцарившейся разом, подобно обвалу космического беззвучия, горной тишине волчица вдруг явственно услышала в себе, точнее внутри чрева, живые толчки. Так было, когда Акбара, еще на первых порах своей охотничьей жизни, придушила как-то с броска крупную зайчиху: в зайчихе, в животе ее, тоже почудились тогда такие же шевеления каких-то невидимых, скрытых от глаз существ, и это странное обстоятельство удивило и заинтересовало молодую любопытную волчицу, удивленно наставив уши, недоверчиво взирающую на свою удушенную жертву. И настолько это было чудно и непонятно, что она попыталась даже затеять игру с теми невидимыми телами, точь-в-точь как кошка с полуживой мышью. А теперь сама обнаружила в нутре своем такую же живую ношу — то давала знать о себе те, которым предстояло при благополучном стечении обстоятельств появиться на свет недели через полторы-две. Но пока что ненародившиеся детеныши были неотделимы от материнского лона, составляли часть ее существа, и потому и они пережили в возникающем, смутном, утробном подсознании тот же шок, то же отчаяние, что и она сама. То было их первое заочное соприкосновение с внешним миром, с ожидающей их враждебной действительностью. Оттого они и задвигались в чреве, отвечая так на материнские страдания. Им тоже было страшно, и страх тот передался им материнской кровью.

Прислушиваясь к тому, что творилось помимо воли в ее ожившей утробе, Акбара заволновалась. Сердце волчицы учащенно заколотилось — его наполнили отвага, решимость непременно защитить, оградить от опасности тех, кого она вынашивала в себе. Сейчас бы она не задумываясь схватилась с кем угодно. В ней заговорил великий природный инстинкт сохранения потомства. И тут же Акбара почувствовала, как на нее горячей волной нахлынула нежность — потреб-

ность приласкать, пригреть будущих сосунков, отдавать им свое молоко так, как если бы они уже были под боком. То было предошущение счастья. И она прикрыла глаза, застонала от неги, от ожидания молока в набухших до красноты, крупных, выступающих двумя рядами по брюху сосцах, и томно, медленно-медленно потянулась всем телом, насколько позволяло логово, и, окончательно успокоившись, снова придвинулась к своему сивогривому Ташчайнару. Он был могуч, шкура его была тепла, густая и упруга. И даже он, угрюмец Ташчайнар, и тот уловил, что испытывала она, мать-волчица, и каким-то чутьем понял, что происходило в ее утробе, и тоже, должно быть, был тронут этим. Поставив ухо торчком, Ташчайнар приподнял свою угловатую, тяжеловесную голову, и в сумрачном взоре холодных зрачков его глубоко посаженных темных глаз промелькнула какая-то тень, какое-то смутное приятное предчувствие. И он сдержанно заурчал, прихрапывая и покашливая, выражая так доброе свое расположение и готовность беспрекословно слушаться синеглазую волчицу и оберегать ее, и принялся старательно, ласково облизывать голову Акбары, особенно ее сияющие синие глаза и нос, широким, теплым, влажным языком. Акбара любила язык Ташчайнара и тогда, когда он заигрывал и ластился к ней, дрожа от нетерпения, а язык его, разгорячась от бурного прилива крови, становился упругим, быстрым и энергичным, как змея, хотя попервоначально и делала вид, что это ей, по меньшей мере, безразлично, и тогда, когда в минуты спокойствия и благоденствия после сытной еды язык ее волка был мягко-влажным.

В этой паре лютых Акбара была головой, была умом, ей принадлежало право зачинать охоту, а он был верной силой, надежной, неутомимой, неукоснительно исполняющей ее волю. Эти отношения никогда не нарушались. Лишь однажды был странный, неожиданный случай, когда ее волк исчез до рассвета и вернулся с чужим запахом иной самки — отвратительным духом бесстыжей течки, стравливающей и скликающей самцов за десятки верст, вызвавшим у нее неудержимую злобу и раздражение, и она сразу отвергла его, неожиданно вонзила клыки глубоко в плечо и в наказание заставила ковылять много дней кряду позади. Держала дурака на расстоянии и, сколько он ни выл, ни разу не откликнулась, не остановилась, будто он, Ташчайнар, и не был ее волком, будто он для нее не существовал, а если бы он и посмел снова приблизиться к ней, чтобы покорить и ублажить ее, Акбара померилась бы с ним силами всерьез, не случайно она была головой, а он ногами в этой пришлой сивой паре.

Сейчас Акбара, после того как она немного поуспокоилась и пригрелась под широким боком Ташчайнара, была благодарна своему волку за то, что он разделил ее страх, за то, что он тем самым возвратил ей уверенность в себе, и потому не противилась его усердным ласкам, и в ответ раза два лизнула в губы, и, преодолевая смутение, которое все еще давало себя знать неожиданной дрожью, сосредоточивалась в себе, и, прислушиваясь к тому, как непонятно и беспокойно вели себя еще не народившиеся щенята, примирилась с тем, что есть: и с логовом, и с великой зимой в горах, и с надвигающейся исподволь морозной ночью.

Так заканчивался тот день страшного для волчицы потрясения. Подвластная неистребимому инстинкту материнской природы, переживала она не столько за себя, сколько за тех, которые ожидалась вскоре в этом логове и ради которых они с волком выискали и устроили здесь, в глубокой расщелине под свесом скалы, сокрытой всяческими зарослями, навалом бурелома и камнепада, это волчье гнездо, чтобы было где потомство родить, чтобы было где свое пристанище иметь на земле.

Тем более что Акбара и Ташчайнар были пришлыми в этих краях. Для опытного глаза даже внешне они отличались от их местных собратьев. Первое — отвороты меха на шее, плотно обрамляющие

плечи наподобие пышной серебристо-серой мантши от подгрудка до холки, у пришельцев были светлые, характерные для степных волков. Да и ростом акджалы, то бишь сивогривые, превышали обычных волков Прииссыккульского нагорья. А если бы кто-нибудь увидел Акбару вблизи, его бы поразили ее прозрачно-синие глаза — редчайший, а возможно, единственный в своем роде случай. Волчица прозывалась среди здешних чабанов Акдалы, иначе говоря, Белохолкой, но вскоре по законам трансформации языка она превратилась в Акбары, а потом в Акбару — Великую, и между тем никому невдомек было, что в этом был знак провидения.

Еще год назад сивогривых здесь не было и в помине. Появившись однажды, они, однако, продолжали держаться особняком. Первоначально пришельцы бродили во избежание столкновений с хозяевами большей частью по нейтральным зонам здешних волчьих владений, перебивались как могли, в поисках добычи забегали даже на поля, в низовья, населенные людьми, но к местным стаям так и не приехали — слишком независимый характер имела синеглазая волчица Акбара, чтобы примыкать к чужим и пребывать в подчинении.

Всему судия — время. Со временем сивогривые пришельцы смогли постоять за себя, в многочисленных жестоких схватках захватили себе земли на Прииссыккульском нагорье, и теперь уже они, пришлые, были хозяевами, и уже местные волки не решались вторгаться в их пределы. Так, можно сказать, удачно складывалась на Иссык-Куле жизнь новоявленных сивогривых волков, но всему этому предшествовала своя история, и если бы звери могли вспоминать прошлое, то Акбаре, которая отличалась большой понятливостью и тонкостью восприятия, пришлось бы заново пережить все то, о чем, возможно, и вспоминалось ей порой до слез и тяжких стонов.

В том утраченном мире, в далекой отсюда Моюнкумской саванне, протекала великая охотничья жизнь — в нескончаемой погоне по нескончаемым моюнкумским просторам за нескончаемыми сайгачьими стадами. Когда антилопы-сайгаки, обитавшие с незапамятных времен в саванных степях, поросших вечно сухостойным саксаульником, древнейшие, как само время, из парнокопытных, когда эти неутомимые в беге горбоносые стадные животные с широченными ноздрями-трубами, пропускающими воздух через легкие с такой же энергией, как киты сквозь ус — потоки океана, и потому наделенные способностью бежать без передышки с восхода и до заката солнца, — так вот когда они приходили в движение, преследуемые извечными и неразлучными с ними волками, когда одно спугнутое стадо увлекало в панике соседнее, а то и другое и третье и когда в это поголовное бегство включались встречные великие и малые стада, когда мчались сайгаки по Моюнкумам — по взгорьям, по равнинам, по пескам, как обрушившийся на землю потоп, земля убегала вспять и гудела под ногами так, как гудит она под градовым ливнем в летнюю пору, и воздух наполнялся вихрящимся духом движения, кремнистой пылью и искрами, летящими из-под копыт, запахом стадного пота, запахом безумного состязания не на жизнь, а на смерть, и волки, пластаясь на бегу, шли следом и рядом, пытались направить стада сайгаков в свои волчьи засады, где ждали их среди саксаула матерые резчики — то звери, которые бросались из засады на загривок стремительно пробегающей жертвы и, катаясь кубарем вместе с ней, успевали перекусить горло, пустить кровь и снова кинуться в погоню; но сайгаки каким-то образом часто распознавали, где ждут их волчьи засады, и успевали пронестись стороной, а облава с нового круга возобновлялась с еще большей яростью и скоростью, и все они, гонимые и преследующие, — одно звено жестокого бытия — выкладывались в беге, как в предсмертной агонии, сжигая свою кровь, чтобы жить и чтобы выжить, и разве что только сам бог мог остановить и тех и других, гонимых и гонителей, ибо речь шла о жизни и смерти жаждущих

здоровствовать тварей, ибо те волки, что не выдерживали такого бешеного темпа, те, что не родились состязаться в борьбе за существование — в беге-борьбе,— те волки валились с ног и оставались издыхать в пыли, поднятой удаляющейся, как буря, погоней, а если и оставались в живых, уходили прочь в другие края, где промышляли разбоем в безобидных овечьих отарах, которые даже не пытались спастись бегством, правда, там была своя опасность, самая страшная из всех возможных опасностей,— там, при стадах, находились люди, боги овец и они же овечьи рабы, те, кто сами живут, но не дают выживать другим, особенно тем, кто не зависит от них, а волен быть свободным...

Люди, люди — человекобоги! Люди тоже охотились на сайгаков Моюнкумской саванны. Прежде они появлялись на лошадях, одетые в шкуры, вооруженные стрелами, потом появлялись с бабахаящими ружьями, гикая, скакали туда-сюда, а сайгаки кидались гурьбой в одну, в другую сторону — поди разыщи их в саксаульных урочищах, но пришло время, и человекобоги стали устраивать облавы на машинах, беря на измор, точь-в-точь как волки, и валили сайгаков, расстреливая их с ходу, а потом человекобоги стали прилетать на вертолетах и, высмотрев вначале с воздуха сайгачьи стада в степи, шли на окружение животных в указанных координатах, а наземные снайперы мчались при этом по равнинам со скоростью до ста и более километров, чтобы сайгаки не успели скрыться, а вертолеты корректировали сверху цель и движение. Машины, вертолеты, скорострельные винтовки — и опрокинулась жизнь в Моюнкумской саванне вверх дном...

Синеглазая волчица Акбара была еще полуярккой, а ее будущий волк-супруг Ташчайнар был чуть постарше ее, когда пришел им срок привыкать к большому загонным облавам. Поначалу они не успевали за погоней, терзали сваленных антилоп, убивали недобитых, а со временем превзошли в силе и выносливости многих бывалых волков, а особенно стареющих. И если бы все шло, как положено природой, быть бы им вскоре предводителями стай. Но все обернулось иначе...

Год на год не приходится, и весной того года в сайгачьих стадах был особо богатый приплод — многие матки приносили двойню, поскольку прошлой осенью во время гона сухой травостой зазеленел раза два наново после нескольких обильных дождей при теплой погоде. Корма было много — отсюда и рождаемость. На время окота сайгаки уходили еще ранней весной в бесснежные большие пески, что в самой глубине Моюнкумов,— туда волкам добраться нелегко, да и погоня по барханам за сайгаками — безнадежное дело. По пескам антилоп никак не догнать. Зато волчьи стаи с лихвой получали свое осенью и в зимнее время, когда сезонное кочевье животных выбрасывало бессчетное сайгачье поголовье на полупустынные и степные просторы. Вот тогда волкам сам бог велел добывать свою долю. А летом, особенно по великой жаре, волки предпочитали не трогать сайгаков, благо другой, более доступной добычи было достаточно — сурки во множестве сновали по всей степи, навёрстывая упущенное в зимнюю спячку, им надо было за лето успеть все, что успевали другие животные и звери за год жизни. Вот и суеилось вокруг сурочье племя, презрев опасность. Чем не промысел — поскольку всему ведь свой час, а зимой сурков не добудешь — их нет. И еще разные зверушки да птицы, особенно куропатки, шли в прикорм волкам в летние месяцы, но главная добыча — великая охота на сайгаков — приходилась на осень и с осени тянулась до самого конца зимы. Опять же всему свое время. И в том была своя, от природы данная целесообразность оборота жизни в саванне. Лишь стихийные бедствия да человек могли нарушить этот изначальный ход вещей в Моюнкумах...

II

К рассвету воздух над саванной несколько поостыл, и только тогда тогда полегчало — дышать живым тварям стало свободней, и наступил час самой отрадной поры между зарождающимся днем, обремененным грядущим зноем, нещадно пропекающим солончаковую степь добела, и уходящей душной, горячей ночью. Луна запылала к тому времени над Моюнкумами абсолютно круглым желтым шаром, освещая землю устойчивым синеватым светом. И не видно было ни конца, ни начала этой земли. Всюду темные, едва угадываемые дали сливались со звездным небом. Тишина была живой, ибо все, что населяло саванну, все, кроме змей, спешило насладиться в тот час прохладой, спешило пожить. Попискивали и шевелились в кустах тамариска ранние птицы, деловито сновали ежи, цикады, что пропели не смолкая всю ночь, затурчали с новой силой, уже высовывались из нор и оглядывались по сторонам проснувшиеся сурки, пока еще не приступая к сбору корма — осыпавшихся семян саксаула. Летали с места на место всей семьей большой плоскоголовый серый сыч и пяток плоскоголовых сычат, подросших, оперившихся и уже пробующих крыло, летали как придется, то и дело заботливо перекликаясь и не теряя из виду друг друга. Им вторили разные твари и разные звери предрассветной саванны...

И стояло лето, первое совместное лето синеглазой Акбары и Ташчайнара, уже проявивших себя неутомимыми загонщиками сайгаков в облавах и уже вошедших в число самых сильных пар среди моюнкумских волков. К их счастью, — надо полагать, что в мире зверей тоже могут быть и счастливые и несчастные, — оба они, и Акбара и Ташчайнар, наделены были от природы качествами, особо жизненно важными для степных хищников в полупустынной саванне, — мгновенной реакцией, чувством предвидения на охоте, своего рода «стратегической» сообразительностью, и, разумеется, недюжинной физической силой — быстротой и натиском в беге. Все говорило за то, что этой паре предстояло великое охотничье будущее и жизнь их будет полна тяготами повседневного пропитания и красотой своего звериного предназначения. Пока же ничто не мешало им безраздельно править в Моюнкумских степях, поскольку вторжение человека в эти пределы носило еще характер случайный и они еще ни разу не сталкивались с человеком лицом к лицу. Это произойдет чуть позже. И еще одна льгота, если не сказать привилегия, их от сотворения мира заключалась в том, что они, звери, как и весь животный мир, могли жить изо дня в день, не ведая страха и забот о завтрашнем дне. Во всем целесообразная природа освободила животных от этого проклятого бремени бытия. Хотя именно в этой милости таилась и та трагедия, которая подстерегала обитателей Моюнкумов. Но никому из них не дано было заподозрить об этом. Никому не дано было представить себе, что кажущаяся нескончаемой Моюнкумская саванна, как ни обширна и как ни велика она, — всего лишь небольшой остров на азиатском субконтиненте, место величиной с ноготь большого пальца, закрашенное на географической карте желто-бурым цветом, на которое из года в год все сильнее насаждают неуклонно распахиваемые целинные земли, напирают неисчислимые домашние стада, бредущие по степи вслед за артезианскими скважинами в поисках новых ареалов прокорма, наступают каналы и дороги, прокладываемые в пограничных зонах в связи с непосредственной близостью от саванны одного из крупнейших газопроводов; все более настойчиво, долговременно вторгаются все более технически вооруженные люди на колесах и моторах, с радиосвязью, с запасами воды в глубины любых пустынь и полупустынь, в том числе и в Моюнкумы, но вторгаются не ученые, совершающие самоотверженные открытия, коими потомкам надлежит гордиться, а обыкновенные люди, делающие обыкновенное дело, дело, доступное и посильное почти

любому и каждому. И тем более обитателям уникальной Моюнкумской саванны не дано было знать, что в самых обычных для человечества вещах таится источник добра и зла на земле. И что тут все зависит от самих людей — на что направят они эти самые обыкновенные для человечества вещи: на добро или худо, на созидание или разор. И уж вовсе неведомы были четвероногим и прочим тварям Моюнкумской саванны те сложности, которые донимали самих людей, пыгавшихся познать себя с тех пор, как люди стали мыслящими существами, хотя они так и не разгадали при этом извечной загадки: отчего зло почти всегда побеждает добро...

Все эти человеческие дела по логике вещей никак не могли касаться моюнкумских зверей и животных, ибо они лежали вне их природы, вне их инстинктов и опыта. И, в общем-то, до сих пор пока ничто всерьез не нарушало сложившегося образа жизни этой великой азиатской степи, раскинувшейся на жарких полупустынных равнинах и всхолмлениях, поросших только здесь произраставшими видами засухоустойчивого тамариска, эдакой полутравой, полудеревом, каменно-крепким, крученым, как морской канат, песчаным саксаулом, жесткой подножной травой и более всего тростниковым стрельчатым чиём, этой красой полупустынь, и при свете луны и при свете солнца мерцающим наподобие золотого прозрачного леса, в котором, как в мелкой воде, кто — ростом хотя бы с собаку — ни поднял головы, увидит все вокруг и будет виден сам.

В этих краях и слагалась судьба новой волчьей пары — Акбары и Ташчайнара, а к тому времени — что самое важное в жизни животных — они уже имели своих тунгучей-первенцев, троих щенят из выводка, произведенных на свет Акбарой той памятной весной в Моюнкумах, в том памятном логове, выбранном ими в ямине под размытым комлем старого саксаула, близ полувысохшей тамарисковой рощицы, куда удобно было выводить волчат на обучение. Волчата уже держали стоймя уши, обретали каждый свой нор, хотя при играх между собой их уши снова по-щенячьи топырились, да и на ногах чувствовали они себя довольно крепко. И все чаще увязывались они следом за родителями в малые и большие вылазки.

Недавно одна из таких вылазок с отлучкой от логова на целый день и ночь чуть было не кончилась для волков неожиданной бедой.

В то раннее утро Акбара повела свой выводок на дальнюю окраину Моюнкумской саванны, где на степных просторах, особенно по глухим падым и буеракам, произрастали стеблевые травы с тягучим, ни на что не похожим, привораживающим запахом. Если долго бродить среди того высокого травостоя, вдыхая пыльцу, то вначале наступает ощущение необыкновенной легкости в движениях, чувство приятного скольжения над землей, а затем появляется вялость в ногах и сонливость. Акбара помнила эти места еще с детства и навевалась сюда раз в году в пору цветения дурман-травы. Охотясь по пути на мелкую степную живность, она любила слегка попьанеть в больших травах, повалиться в жарком настое травяного духа, почувствовать парение в беге и потом заснуть.

В этот раз они с Ташчайнаром были уже не одни: за ними следовали волчата — трое нескладно длинноногих щенков. Молодняку надлежало как можно больше узнавать в походах окрестности, осваивать сызмальства будущие волчьи владения. Пахучие луга, куда вела на ознакомление волчица, были на краю тех владений, дальше простирался чужой мир, там могли встретиться люди, оттуда, с той неоглядной стороны, доносились порой протяжно завывающие, как осенние ветры, паровозные гудки, то был враждебный волкам мир. Туда, на этот край саванны, шли они, ведомые Акбарой.

За Акбарой трусил Ташчайнар, а волчата резво носились от избытка энергии и все норовили выскочить вперед, но волчица-мать не

давала им своевольничать — она строго следила, чтобы никто не смел ступить на тропу впереди нее.

Места шли вначале песчаные — в зарослях саксаула и пустынной полыни, солнце всходило все выше, обещая, как всегда, ясную, жаркую погоду. Уже к вечеру волчье семейство прибыло к краю саванны. Прибыло в самый раз — засветло. Травы в этом году были высоки — почти по холку взрослым волкам. Нагревшись за день на жарком солнце, невзрачные соцветья на мохнатых стеблях источали сильный запах, особенно в местах сплошных зарослей густ был этот дух. Здесь, в небольшом овражке, волки сделали привал после долгого пути. Неугомонные волчата не столько отдыхали, сколько бегали вокруг, принохиваясь и присматриваясь ко всему, что привлекало их любопытство. Возможно, волчье семейство осталось бы здесь на всю ночь, благо звери были сыты и напоены — по пути удалось схватить несколько жирных сурков да зайцев и разорить много всяких гнезд, жажду же утолили в родничке на дне попутного оврага, — но одно чрезвычайное происшествие заставило их срочно покинуть это место и повернуть восвояси, к логову в глубине саванны. Уходили всю ночь.

А случилось то, что уже на закате, когда Акбара и Ташчайнар, захмелевшие от запахов дурман-травы, растянулись в тени кустов, неподалеку вдруг раздался человеческий голос. Прежде человека увидели волчата, игравшие наверху овражка. Звереныши не подозревали да и не могли предполагать, что неожиданно появившееся здесь существо — человек. Некий субъект почти голый — в одних плавках и кедах на босу ногу, в некогда белой, но уже изрядно замызганной панаме на голове — бегал по тем самым травам. Бегал он странно — выбирал густые поросли и упорно бегал между стеблями взад-вперед, точно это доставляло ему удовольствие. Волчата вначале притаились, недоумевая и побаиваясь, — такого они никогда не видели. А человек все бегал и бегал по травам, как сумасшедший. Волчата осмелели, любопытство взяло верх, им захотелось затеять игру с этим странным, бегающим как заводной, невиданным, голокожим двуногим зверем. А тут и сам человек заметил волчат. И что самое удивительное — вместо того чтобы насторожиться, подумать, отчего вдруг здесь оказались волки, — этот чужак пошел к волчатам, ласково протягивая руки.

— Смотри-ка, что это? — приговаривал он, тяжело дыша и отирая пот с лица. — Никак волчата? Или это мне почудилось от головокружения? Да нет, трое, да такие пригожие, да такие большие уже! Ах вы мои звереныши! Откуда вы и куда? Что вы тут делаете? Меня-то не легкая занесла, а вы что тут, в этих степях, среди этой проклятой травы? Ну идите, идите ко мне, не бойтесь! Ах вы дурашливые мои зверики!

Неразумные волчата и в самом деле поддались на его ласки. Взяв хвостиками, игриво прижимаясь к земле, они поползли к человеку, надеясь пуститься с ним наперегонки, но тут из овражка выскочила Акбара. Волчица в мгновение оценила опасность положения. Глухо зарычав, она кинулась к голому человеку, розово освещенному предзакатными лучами степного солнца. Ей ничего не стоило с размаху полоснуть его клыками по горлу или по животу. А человек, совершенно обалдевший при виде яростно набегающей волчицы, присел, в страхе схватившись за голову. Это-то его и спасло. Уже на бегу Акбара почему-то переменяла свое намерение. Она перескочила через человека — голого и беззащитного, — которого можно было поразить одним ударом, перескочила, успев при этом разглядеть черты его лица и остановавшиеся в жутком страхе глаза, почуввав запах его тела, перескочила, развернувшись и снова перепрыгнула во второй раз уже в другом направлении, бросилась к волчатам, погнала их прочь, больно кусая за репицы и отесняя к оврагу, и тут столкнулась с Ташчай-

наром, страшно вздыбившим загривок при виде человека, кинула и повернула и его, и все они, гурьбой скатившись в овраг, в мгновение ока исчезли...

И тут только тот голый и нелепый тип спохватился, бросился бежать... И долго бежал по степи, не оглядываясь и не переводя дыхания...

То была первая нечаянная встреча Акбары и ее семейства с человеком... Но кто мог знать, что предвещала эта встреча...

День клонился к концу, исходя нещадным зноем от закатного солнца, от накалившейся за день земли. Солнце и степь — величины вечные: по солнцу измеряется степь, насколько оно велико, освещаемое солнцем пространство. А небо над степью измеряется высотой взлетевшего коршуна. В тот предзакатный час над Моюнкумской саванной кружила в выси целая стая белохвостых коршунов. Они летели без цели, самозабвенно и плавно плыли, совершая полет ради полета в той всегда прохладной, подернутой дымкой, безоблачной выси. Летели один за другим в одном направлении по кругу, как бы символизируя тем вечность и неизбежность этой земли и этого неба. Коршуны не издавали никаких звуков, а молча смотрели, что происходило в тот момент внизу, под их крыльями. Благодаря своему исключительному всевидящему зрению, именно благодаря зрению (слух у них на втором месте) эти аристократические хищники были поднебесными жителями саванны, опускавшимися на грешную землю лишь для прокорма и на ночлег.

Должно быть, в тот час с той непомерной высоты им были как на ладони видны волк, волчица и трое волчат, расположившиеся на небольшом бугорке среди разбросанных кустов тамариска и золотистой поросли чия. Дружно высунув языки от жары, волчье семейство отдыхало на том пригорке, вовсе не предполагая, что является объектом наблюдения поднебесных птиц. Ташчайнар полулежал в своей любимой позе — скрестив лапы впереди, приподняв голову, — он выделялся среди всех мощным загривком и мосластостью, тяжеловесностью телосложения. Рядом, подобрав под себя толстый кудрый хвост, чем-то похожая на застывшую скульптуру, сидела молодая волчица Акбара. Волчица прочно упиралась перед собой прямыми сухожильными ногами. Ее белеющая грудь и впалое брюхо с торчащими, но уже утратившими припухлость сосцами в два ряда подчеркивали поджарость и силу бедер волчицы. А волчата, тройня, крутились подле. Их непоседливость, приставучесть и игривость вовсе не раздражали родителей. И волк и волчица взирали на них с явным попустительством: пусть, мол, резвятся себе...

А коршуны все летали в поднебесье и все так же хладнокровно просматривали, что делалось внизу в Моюнкумах при закатном солнце. Неподалеку от волков с волчатами, немного в стороне, в тамарисковых рощах, паслись сайгаки. Их было немало. Довольно большое стадо паслось почти рядом, разбредясь в тамарисках, на некотором удалении от другого, еще более многочисленного скопления. Если бы коршунов интересовали степные антилопы, они бы, обозревая саванну, тянущуюся на десятки километров в ту и в другую сторону, убедились, что сайгакам несть числа — их сотни и тысячи, ибо они искони изобиловали в этом благодатном для них полупустынным ареале. Пережидая вечерний зной, сайгаки по ночам шли на водопой к столь редким и далеким источникам влаги в саванне. Отдельные группы уже сейчас, быстро набирая ход, потянулись в ту сторону. Им надлежало преодолеть большие расстояния.

Одно из стад следовало так близко от пригорка, где находились волки, что тем явственно были видны сквозь призрачно освещенный травостой чия их быстро скользящие бока и спины, приопущенные головы самцов с небольшими рожками. Они всегда движутся с опу-

щенной головой, чтобы не испытывать лишнего сопротивления воздуха, ибо в любой момент готовы рвануться бегом. Так устроила их природа в ходе эволюции, и в том главное преимущество сайгаков, спасавшихся от любой опасности бегством. Даже если они ничем не встревожены, сайгаки обычно идут размеренным галопом, неутомимо и неуклонно, не уступая пути никому, кроме волков, поскольку их, антилоп, множество и в этом уже их сила...

Сейчас они следовали мимо семейства Акбары, скрытого кустами, галопирующей массой, поднимая за собой ветер, пронизанный духом стада и пылью из-под копыт. Волчата на пригорке заволновались, инстинктивно взбудоражились. Все трое напряженно принюхивались к воздуху и, не понимая еще, в чем дело, порывались бежать в ту сторону, откуда доносился этот волнующий стадный дух, им очень хотелось кинуться в те стеблистые поросли чия, среди которых угадывалось мелькание многих бегущих тел. Однако волки-родители, ни Акбара, ни Ташчайнар, не шевельнулись и не изменили своих поз, хотя им ничего не стоило буквально в два прыжка очутиться рядом с проходившим стадом и погнать его, яростно, неудержимо преследовать на измор, так, чтобы в общем беге том, в беге-состязании на грани смерти, когда сдается, что земля и небо меняются местами, изловчиться на каком-нибудь крутом вираже и на лету свалить пару-другую антилоп. Такая возможность была вполне реальной, но могло случиться и так, что не повезло бы, не удалось бы нагнать добычу, случалось и такое. Как бы то ни было, Акбара и Ташчайнар и не подумали начать погоню — хотя, казалось, добыча, можно сказать, сама шла в руки, они не трогались с места. На это имелись свои причины — они были сыты в тот день и устраивать в такую несусветную жару при набитых желудках бешеную гонку, погоню за неуловимыми сайгаками было бы смерти подобно. Но главное — для молодняка еще не пришла пора такой охоты. Волчата могли сломаться — раз и навсегда, если бы, задохнувшись в беге, отстали от недостижимой цели — больше они бы не пытались дерзнуть, утратили бы кураж. Зимой, в сезон больших облав — вот когда набравшие сил полуярки, к тому времени уже почти годовалые, могли бы испытать себя, могли бы убедиться, насколько хватит их крепости, могли бы приобщиться к делу, а пока не стоило портить игру. Но то будет преславный час!

Акбара слегка отпрянула от докучавших ей в нетерпении охотничьего азарта волчат, пересела на другое место, все так же провожая цепким взором движение антилоп, следовавших на водопой, скользя бок о бок в серебристых чиях, как рыбы в нересте, плывущие в верховья по реке — все в одну сторону и все не отличимые друг от друга. Во взоре Акбары, однако, сквозило свое понятие вещей: пусть удаляются сейчас сайгаки, придет день урочный, все, что есть в саванне, никуда из нее не уйдет. Волчата же тем временем стали надоедать отцу, пытаясь растормошить угрюмца Ташчайнара.

А Акбара представила себе вдруг зимы начало, великую полупустыню, в один прекрасный день сплошь белую на рассвете от новоявленного снега, которому срок на земле день или полдня, но тот снег — сигнал волкам к большой охоте. С того дня охота на сайгаков станет главным делом в их житье. И грянет тот день! С туманцем понизовым, с морозным инеем на грустных белых чиях, на подогнувшихся от снега кустистых тамарисках и с дымным солнцем над саванной — волчица представила себе тот день так явственно, что вздрогнула невольно, как будто бы вдохнула нечаянно морозный воздух, как будто бы ступила упругими подушечками лап, сомкнутыми в цветочные созвездия, на снежный наст и совершенно четко прочла сама и свои матерые следы и следы волчат, уже подросших, окрепших и определивших свои наклонности, что можно было видеть уже по следам, и рядом самые крупные отпечатки — могучие соцветия с когтя-

ми, как с клювами, чуть выступающими из гнезд,— от лап Ташчайнара, они всех глубже и всех сильнее промнуты в снег, ибо Ташчайнар здоров, тяжеловат в подгрудке, он — сила, он молниеносный нож по глоткам антилоп, и всякая наступившая сайга окрасит белый снег саванны током алой крови, как птица взмахом горячих красных крыльев, ради того, чтобы жила другая кровь, сокрытая в их серых шкурах, ибо их кровь живет за счет другой крови — так повелено началом всех начал, иного способа не будет, и тут никто не судия, поскольку нет ни правых, ни виноватых, виновен только тот, кто сотворил одну кровь для другой. (Лишь человеку дан иной удел: хлеб добывать в труде и мясо взращивать трудом — творить для самого себя природу.)

А те следы по первоснегу Моюнкумов — соцветия волчи, большие и чуть поменьше, потянутся рядком в тумане понизовом и останутся в подветренной ложине среди кустов — здесь волки подождут, осмотрятся, оставят тех, кому в засаде быть...

Но вот час вождеденный приближается — Акбара подкрадет, насколько можно подползти, пластаясь по снегу, прижимаясь к обледенелым травам, не дыша приблизится к пасущимся сайгакам так близко, что увидит их глаза, не всполошенные еще, и кинется затем внезапно, как тень, — и грянет звездный час волка! Акбара так живо представила себе ту первую облаву — урок молодняку, что взвизнула неволью и едва удержалась на месте.

Ах как пойдет погоня по саванне первозимней! Сайгачьи стада прочь понесутся стремглав как от пожара, и белый снег вмиг прочертится черным земляным шрамом, и она, Акбара, за ними следом, идущая всех впереди, а за нею, почти впритык, ее волчата, молодые волки, все трое первенцев, ее потомство, что изначально предназначение и явило на свет ради такой охоты, а за ними ее Ташчайнар, отец могучий, неукротимый в беге, преследующий лишь одну цель — загнать сайгаков так, чтобы погнать на засаду и тем преподнести урок охоты отпрыскам своим. Да, то будет неукротимый бег! И в устремленности грядущей не столько сама добыча была желанна в тот час Акбаре, сколько то, чтобы поскорее охота состоялась, когда бы понеслись они в степной погоне подобно птицам быстрокрылым... В этом смысл ее волчьей жизни...

То были мечты волчицы, внушенные ей природой, кто знает, может быть, ниспосланные ей свыше, мечты, которым суждено будет позднее вспомниться горько, до боли в сердце, и сниться часто и безысходно... И будет вой волчицы как плата за те мечты. Ведь все мечты так — вначале рождаются в воображении, а затем по большей части терпят крушение за то, что посмели произрастать без корней, как иные цветы и деревья... И ведь все мечты так — и в том их трагическая необходимость в познании добра и зла...

III

Зима вошла в Моюнкумы. Однажды уже выпадал снег, достаточно обильный для полупустыни, — тот снег забедил ненадолго всю саванну, явившуюся самой себе в то утро белым безбрежным океаном с застывшими на бегу волнами, где есть где разгуляться ветру и перекаати-полю и где наконец установилась такая тишина, как в космосе, как в бесконечности, поскольку пески успели напиться влаги, а увлажненные такыры смягчились, утратив свою жесткость... А перед этим над саванной прогоготали гусей осенних косяки, так высоко и звонко пролетали они в сторону Гималаев над Моюнкумскими степями, отправляясь с летовок от северных морей и рек на юг, к исконным водам Инда и Брахмапутры, что, будь у обитателей саванны крылья, все поддались бы зову. Но каждой твари свой рай предопределен... Даже степные коршуны, парившие на той высоте, и те лишь уклонялись в сторону...

А у Акбары к зиме волчата заметно поднялись и, утратив неразличимость детскости, все трое превратились в угловатых переростков, но уже каждый со своим норовом. Понятно, волчица не могла дать им имена: раз богом не определено, не переступишь, зато по запаху, что людям не дано, и по другим живым приметам она легко могла и отличить и звать к себе в отдельности любого из своего потомства. Так у самого крупного из волчат был широкий, как у Ташчайнара, лоб, и воспринимался он потому как Большоголовый, а средний, тоже крупнячок, с длиннющими ногами-рычагами, которому быть бы со временем волком-загонщиком, тот воспринимался Быстроногим, а синеглазая, точь-в-точь как сама Акбара, и с белым пятном в паху, как у самой Акбары, игривая любимица Акбары значилась в ее сознании бессловесном Любимицей. То подрастал предмет раздора и смертельных схваток среди самцов, едва придет ее любовная пора...

А первый снег, выпавший незаметно за ночь, тем ранним утром был праздником нечаянным для всех. Вначале волчата-переростки оробели было от запаха и вида незнакомого вещества, преобразившего всю местность вокруг логова, а потом понравилась им прохладная отрада и закутились, забегали вокруг наперегонки, барахтались в снегу, фыркали и взлаивали от удовольствия. Так начиналась та зима для первенцев, в конце которой им предстояло расстаться с волчицей-матерью, волком-отцом и друг с другом, расстаться для новой жизни каждого из них.

К вечеру снег еще подсыпал, и на другое утро еще до восхода солнца в степи было уже светло и прозрачно, как днем. Покой и тишина разлились всюду, и острый голод по-зимнему дал о себе знать. Волчья стая прислушивалась к округе — пора было на промысел, добывать прокорм. Акбара ждала для облавы на сайгаков сообщников из других стай. Пока что никто не дал об этом знать. Все слушали и ждали тех сигналов. Вот Большоголовый сидит в нетерпеливом напряжении, еще не ведая, какие тяготы несет охота, вот Быстроногий тоже наготове, а вот Любимица — глядит в синие глаза волчицы преданно и смело, а рядом прохаживается отец семейства — Ташчайнар. И все ждали, как повелит Акбара. Но был над ними еще верховный царь — царь Голод, царь утоления плоти.

Акбара встала с места и двинулась трусцой, ждать дальше было некогда. И все последовали за ней.

Все начиналось примерно так, как грезилось волчице, когда волчата были еще малы. И вот то время наступило — самая пора для групповых облав в степи. Пройдет еще немного времени, и с холодами одинокие волки сколотятся в волчи артели и до конца зимы будут промышлять сообща.

Тем временем Акбара и Ташчайнар уже вели своих перворожденных на испытание, на первую для них великую охоту на сайгаков.

Волки шли, прилаживаясь к степи, то шагом, то трусцой, печатая на том нетронutom снегу цветы следов звериных как знаки силы и сплоченной воли, где пригибаясь шли среди кустов, а где скользили, как тени. И все теперь зависело от них самих и от удачи...

Акбара походя взбежала на один пригорок, чтобы оглядеться, и замерла, вглядываясь в дали синими глазами и запахи ветра перебирая нюхом. Великая саванна пробуждалась, насколько хватало глаз, в тумане легком виднелись стада сайгаков — то были крупные скопления поголовья с молодняком-годовиком, который отделялся в ту пору в новые стада. Тот год был приплодным для сайгаков, стало быть, благоприятным и для волков.

Волчица задержалась на том взлобке, поросшем чиём, чуть подалее: требовалось сделать выбор наверняка — определить по вет-

ру, куда, в какую сторону податься, чтобы безошибочно начать охоту.

И именно в тот момент послышался вдруг странный гул откуда-то со стороны и сверху, какое-то гудение пошло над степью, но вовсе не похожее на гроыхание грозы. Тот звук был совершенно незнаком, и он все рос и рос, так, что и Ташчайнар не удержался и тоже выскочил наверх к волчице, и оба попятись от страха — на небе что-то происходило, там появилась какая-то невиданная птица, чудовищно грохочущая, она чуть кособоко летела над саванной, едва не зарываясь носом, а за ней на отдалении летела еще одна такая же махина. Затем они удалились, и постепенно шум затих. То были вертолеты.

Итак, два вертолета пересекли небо Моюнкумов, как рыбы, не оставляющие следов в воде. Однако ни наверху, ни внизу ничто не изменилось, если не считать того факта, что то была разведка с воздуха, что в эфир в тот час шли открытым текстом радиосообщения пилотов о том, что они видели и где, в каких квадратах, какие есть подъездные пути по Моюнкумам для вездеходов и прицепных грузовиков...

А волки, что ж, какой с них спрос, пережив сиюминутное смятение, они вскоре забыли о вертолетах и снова затрусили по степи к сайгачьим урочищам, не ведая ни сном ни духом, поскольку им то не дано, что все они, все обитатели саванны, уже замечены, уже отмечены на картах в пронумерованных квадратах и обречены на массовый отстрел, что их гибель уже спланирована, и скоординирована, и уже катится к ним на многочисленных моторах и колесах...

Откуда было знать им, степным волкам, что их исконная добыча — сайгаки — нужна для пополнения плана мясосдачи, что ситуация в конце последнего квартала «определяющего года» сложилась для области весьма нервная — «не выходили с пятилеткой» и кто-то разбитной из облуправления вдруг предложил «задействовать» мясные ресурсы Моюнкумов: идея же сводилась к тому, что важно не только производство мяса, а фактическая мясосдача, что это единственный выход не ударить лицом в грязь перед народом и перед взыскательными органами свыше. Откуда было знать им, степным волкам, что из центров в области шли звонки; требование момента — хоть из-под земли, но дать план мясосдачи, хватит тянуть: год, завершающий пятилетку, что скажем мы народу, где план, где мясо, где выполнение обязательств?

«План будет непременно, — отвечало облуправление, — в ближайшую декаду. Есть дополнительные резервы на местах, поднажмем, потребуем...»

А степные волки тем часом, ничего не подозревая, старательно подкрадывались окольными путями к заветной цели, ведомые все той же волчицей Акбарой, бесшумно ступая по мягкому снегу, приблизились к последнему рубежу перед атакой, к высоким комлям чиев и затерялись среди них, напоминая такие же буроватые кочки. Отсюда Акбариним волкам все было видно как на ладони. Бессчетное стадо степных антилоп — все как на подбор одной от сотворения мира масти, белобокие, с каштановым хребтом, — паслось, пока не ведая опасности, в широкой тамарисковой долине, жадно поедая подножный ковыль со свежим снегом. Акбара пока еще выжидала, необходимо было выждать, чтобы перед броском собраться с духом, и всем разом выскочить из укрытия, и с ходу кинуться в погоню, а уж тогда облава сама подскажет маневр. Молодые волки от нетерпения судорожно подергивали хвостами и ставили уши торчком, вскипала кровь и у сдержанного Ташчайнара, готового вонзить клыки в наступившую жертву, но Акбара, пряча пламень в глазах, не давала пока знака к рывку, ждала наиболее верного момента — только тогда можно было рассчитывать на успех: сайгаки в один миг

берут такой разбег, который немислим ни для одного зверя. Надо было уловить этот момент.

И тут поистине точно гром с неба — снова появились те вертолеты. В этот раз они летели слишком скоро и сразу пошли угрожающе низко над всполошившимся поголовьем сайгаков, дико кинувшихся вскачь прочь от чудовищной напасти. Это произошло круто и ошеломительно быстро — не одна сотня перепуганных антилоп, обезумев, потеряв вожakov и ориентацию, поддалась беспорядочной панике, ибо не могли эти безобидные животные противостоять летной технике. А вертолетам точно только того и надо было — прижимая бегущее стадо к земле и обгоняя его, они столкнули его с другим таким же многочисленным поголовьем сайгаков, оказавшимся по соседству, и, вовлекая все новые и новые встречные стада в это моюнкусское светопреставление, сбивали с толку панически бегущую массу степных антилоп, что еще больше усугубило бедствие, обрушившееся на парнокопытных обитателей никогда ничего подобного не знавшей саванны. И не только парнокопытные, но и волки, их неразлучные спутники и вечные враги, оказались в таком же положении.

Когда на глазах Акбары и ее стаи случилось это жуткое нападение вертолетов, волки сначала притаились, от страха вжимаясь в корневища чиев, но затем не выдержали и бросились наутек от проклятого места. Волкам надо было исчезнуть, унести ноги, двинуться куда-нибудь в безопасное место, однако именно этому не суждено было осуществиться. Не успели они отбежать подалее, как послышалось содрогание и гудение земли, как в бурю, — неисчислимая сайгачья масса, гонимая по степи вертолетами в нужном тому направлении, со страшной скоростью катилась вслед за ними. Волки, не успев ни свернуть, ни притаиться, оказались на пути живого всеокрушающего потока громадного, набегающего, точно туча, поголовья. И если бы они на секунду приостановились, то неминуемо были бы растоптаны и раздавлены под копытами сайгаков, настолько стремительна была скорость этой плотной, потерявшей всякий контроль над собой животной стихии. И только потому, что волки не сбавили шагу, а, наоборот, в страхе припустили еще сильнее, они остались в живых. И теперь уже они сами оказались в плену, в гуще этого великого бегства, невероятного и немислимого, — если вдуматься, ведь волки спасались вместе со своими жертвами, которых они только что готовы были растерзать и растащить по кускам, теперь же они уходили от общей опасности бок о бок с сайгаками, теперь они были равны перед лицом безжалостного оборота судьбы. Такого — чтобы волки и сайгаки бежали в одной куче — Моюнкуская саванна не видывала даже при больших степных пожарах.

Несколько раз Акбара пыталась выскочить из потока бегущих, но это оказалось невозможным — она рисковала быть растоптанной мчащимися бок о бок сотнями антилоп. В этом бешеном убийственном галопе Акбарины волки пока еще держались кучно, и Акбара пока еще могла видеть их краем глаза — вот они среди антилоп, распластавшись, ускоряют бег, ее первые отпрыски, выкатив от ужаса глаза, — вот Большеголовый, вот Быстроногий и едва поспевают, все больше слабея. Любимица, а вместе с ними и он обращен в панический бег — гроза Моюнкумов, ее Ташчайнар. Разве об этом мечталось синеглазой волчице — а теперь вместо великой охоты они бегут в стаде сайгаков, бессильные что-либо предпринять, уносимые сайгаками, как щепки в реке... Первой сгинула Любимица. Упала под ноги стада, только визг раздался, заглушенный мгновенно топотом тысяч копыт...

А вертолеты-облавышники, идя с двух краев поголовья, сообщались по радиации, координировали, следили, чтобы оно не разбежалось по сторонам, чтобы не пришлось снова гоняться по саванне за стадами, и все

больше нагнетали страху, принуждая сайгаков бежать тем сильнее, чем сильнее они бежали. В шлемофонах хрипели возбужденные голоса облавщиков: «Двадцатый, слушай, двадцатый! А ну поддай жару! Еще поддай!» Им, вертолетчикам, сверху было прекрасно видно, как по степи, по белой снежной пороше катилась сплошная черная река дикого ужаса. И в ответ раздавался бодрый голос в наушниках: «Есть поддать! Ха-ха-ха, глянь-ка, а среди них и волки бегут! Вот это дело! Попались серые! Крышка, братишки! Это вам не „Ну, погоди!“»

Так они гнали облаву на измор, как и было рассчитано, и расчет был точный.

И когда гонимые антилопы хлынули на большую равнину, их встретили те, для которых старались с утра вертолеты. Их поджидали охотники, а вернее расстрельщики. На вездеходах-«уазиках» с открытым верхом расстрельщики погнали сайгаков дальше, расстреливая их на ходу из автоматов, в упор, без прицела, косили как будто сено на огороде. А за ними двинулись грузовые прицепы — бросали трофеи один за одним в кузова, и люди собирали дармовой урожай. Дюжие парни не мешкая, быстро освоили новое дело, прикалывали недобитых сайгаков, гонялись за ранеными и тоже приканчивали, но главная их задача заключалась в том, чтобы раскатать окровавленные туши за ноги и одним махом перекинуть за борт! Саванна платила богам кровавую дань за то, что смела оставаться саванной, — в кузовах вздымались горы сайгачьих туш.

А побоище длилось. Врезаясь на машинах в гущу загнанных, уже выбивающихся из сил сайгаков, отстрельщики валили животных направо и налево, еще больше нагнетая панику и отчаяние. Страх достиг таких апокалиптических размеров, что волчице Акбаре, оглохшей от выстрелов, казалось, что весь мир оглох и онемел, что везде воцарился хаос и само солнце, беззвучно пылающее над головой, тоже гонимо вместе с ними в этой бешеной облаве, что оно тоже мечется и ищет спасения и что даже вертолеты вдруг онемели и уже без грохота и свиста беззвучно кружатся над уходящей в бездну степью, подобно гигантским безмолвным коршунам... А отстрельщики-автоматчики беззвучно падали с колена, с бортов «уазиков», и беззвучно мчались, взлетая над землей, машины, беззвучно неслись обезумевшие сайгаки и беззвучно валились под прошивающими их пулями, обливаясь кровью... И в этом апокалиптическом безмолвии волчице Акбаре явилось лицо человека. Явилось так близко и так страшно, с такой четкостью, что она ужаснулась и чуть не попала под колеса. «Уазик» же мчался бок о бок, рядом. А тот человек сидел впереди, высунувшись по пояс из машины. Он был в стеклянных защитных — от ветра — наглазниках, с иссиня-багровым, исхлестанным ветром лицом, у черного рта он держал микрофон и, привскакивая с места, что-то орал на всю степь, но слов его не было слышно. Должно быть, он командовал облавой, и если бы в тот момент волчица могла услышать шумы и голоса и если бы она понимала человеческую речь, то услышала бы, что он кричал по радиации: «Стреляйте по краям! Бейте по краям! Не стреляйте в середину, потопчут, чтоб вас!» Боялся, что туши убитых сайгаков будут истоптаны бегущим следом поголовьем...

И тут человек с микрофоном заметил вдруг, что рядом, чуть не бок о бок с машиной среди спасающихся бегством антилоп скачет волк, а за ним еще несколько волков. Он дернулся, что-то заорал хрипло и злорадно, бросил микрофон и выхватил винтовку, перекидывая ее на руку и одновременно перезаряжая. Акбара ничего не могла поделать, она не понимала, что человек в стеклянных наглазниках делится в нее, а если бы и понимала, все равно ничего не смогла бы предпринять — скованная облавой, она не могла ни увильнуть, ни остановиться, а человек все целился, и это спасло Акбару. Что-то резко ударило под ноги, волчица перекувырнулась, но тут же

вскочила, чтобы не быть растоптанной, и в следующее мгновение увидела, как высоко взлетел в воздух подстреленный на бегу ее Большоголовый, самый крупный из ее первенцев, как он, обливаясь кровью, медленно падал вниз, медленно перекидываясь на бок, вытягивался, суча лапами, возможно, исторгнул крик боли, возможно, предсмертный вопль, но она ничего не слышала, а человек в стеклянных наглазниках торжествующе потрясал винтовкой над головой, и в следующее мгновение Акбара уже перескочила через бездыханное тело Большоголового, и тут вновь ворвались в ее сознание звуки реального мира — голоса, шум облавы, несмолкающий грохот выстрелов, пронзительные гудки автомашин, крики и вопли людей, хрип агонизирующих антилоп, гул вертолетов над головой... Многие сайгаки падали с ног и оставались лежать, били копытами, не в силах двигаться, задыхались от удушья и разрыва сердца. Их прирезали на месте подборщики туш, наотмашь полоснув по горлу, и, раскачав за ноги, судорожно дергающихся, полуживых кидали в кузова грузовиков. Страшно было смотреть на этих людей в облитой кровью с головы до ног одежде...

Если бы с небесных высей некое бдительное око глядело на мир, оно наверняка увидело бы, как происходила облава и чем она обернулась для Моюнкумской саванны, но и ему, пожалуй, не дано было знать, что из этого последует и что еще замышляется...

Облава в Моюнкумах кончилась лишь к вечеру, когда все — и гонимые и гонители — выбились из сил и в степи стало смеркаться. Предполагалось, что на другой день с утра вертолеты, заправившись, вернутся с базы и облава возобновится; предполагалось, что такой работы здесь хватит еще дня на три, на четыре, если верить тому, что в западной, самой песчаной части Моюнкумских степей находится по предварительному вертолетно-воздушному обследованию еще много непуганых сайгачьих стад, официально именуемых нескрытыми резервами края. А поскольку существовали нескрытые резервы, из этого неминуемо вытекала необходимость скорейшего вовлечения в плановый оборот упомянутых резервов в интересах края. Таково было сугубо официальное обоснование моюнкумского «похода». Но, как известно, за всякими официальными заключениями всегда стоят те или иные жизненные обстоятельства, определяющие ход истории. А обстоятельства — это в конечном счете люди, с их побуждениями и страстями, пороками и добродетелями, с их непредсказуемыми метаниями и противоречиями. В этом смысле моюнкумская трагедия тоже не была исключением. В ту ночь в саванне находились люди —вольные или невольные исполнители этого злодеяния.

А волчица Акбара и ее волк Ташчайнар, уцелевшие из всей стаи, трусили впотьмах по степи, пытаясь удалиться как можно дальше от мест облавы. Передвигаться им было трудно — вся шерсть на подбрюшине, в промежностях и почти до крестца промокла от грязи и слякоти. Израненные, избитые ноги горели, как обожженные, каждое прикосновение к земле причиняло боль. Больше всего им хотелось вернуться в привычное логово, забыться и забыть, что обрушилось на их бедовые головы.

Но и тут им не повезло. Уже на подходе к логову они неожиданно наткнулись на людей. С края родной ложбины, вклинившись в низенькую, ниже колес, тамарисковую рощицу, возвышалась громада грузовой автомашины. В темноте возле грузовика слышались человеческие голоса. Волки немного постояли и молча повернули в открытую степь. И почему-то именно в этот момент, прорезая тьму, мощно вспыхнули фары. И хотя они светили в противоположную сторону, этого оказалось достаточно. Волки припустили, прихрамывая и прискакивая, и понеслись куда глаза глядят. Акбара особенно тяжело припадала на передние лапы... Чтобы перетружен-

ные ноги остужались, она выбирала места, где уцелел утренний снег. Печально и горько тянулись по снегу скомканные цветы ее следов. Волчата погибли. Позади осталось недоступное теперь логово. Там теперь были люди...

Их было шестеро, шестеро вместе с водителем Кепой, шестеро сведенных случаем людей, подборщиков битой дичи, заночевавших в тот день в саванне, с тем чтобы с утра пораньше приняться за дело, оказавшееся столь выгодным,— полтинник за штуку. Хоть и набили они уже три кузова, далеко не всех пристреленных и задавленных в облаве сайгаков удалось собрать засветло. Наутро предстояло найти оставшихся, побросать их за борт для отправки и перегрузки на прицепной транспорт, который увозил добычу под брезентами из зоны Моюнкумов.

В тот вечер очень рано выкатилась над горизонтом луна, достигшая полной округлости и отовсюду видимая в блеклой, местами еще приснеженной степи. Лунный свет то высветлял, то затенял деревца, овраги, взлобки саванны. Но резкий силуэт огромной грузовой машины, столь непривычной в этих безлюдных местах, долго еще нагонял страху на волков: оглянувшись назад, они всякий раз поджимали хвосты и прибавляли ходу. И тем не менее они останавливались и снова гляделись напряженно, как бы пытаясь проникнуть в суть происходящего,— что делают люди на месте их старого логова, почему они там остановились и долго ли еще будет стоять там эта громадная, пугающая их машина. То был, кстати, «МАЗ» — вездеход военного исполнения, с брезентовым верхом, с колесами столь мощными, что им, казалось, еще сто лет не будет износа. В кузове машины среди десятка битых сайгачьих туш, оставленных для отправки на завтра, лежал человек, руки его были связаны, точно его взяли в плен. Он чувствовал, как все больше остывают и затвердевают лежащие рядом туши сайгаков. И все-таки их шкуры согревали его, а иначе ему пришлось бы худо. В проеме брезентового шатра над кузовом виднелась луна, он смотрел на большую луну, как в пустоту, на его бледном лице было написано страдание.

Теперь участь его зависела от людей, вместе с которыми он прибыл сюда, как полагали они, подобно им подзаработать на моюнкумской облаве...

Трудно установить, что такое людская жизнь. Во всяком случае, бесконечные комбинации всевозможных человеческих отношений, всевозможных характеров настолько сложны, что никакой сверхсовременной компьютерной системе не под силу синтезировать общую кривую самых обычных человеческих натур. И эти шестеро, а точнее пятеро, поскольку шофер вездехода Кепа, приданный им как водитель, был сам по себе, к тому же он единственный среди них был человеком семейным, хотя, по сути, очень даже близким по духу, неотличимым от других,— словом, эти шестеро могли служить примером тому, что бывают и противоположные случаи, когда можно обойтись и без компьютерного интегрирования, а также и тому, что пути господни неисповедимы, когда речь идет о пусть даже самом пустяковом коллективе людей. Значит, так было угодно Господу, чтобы все они оказались людьми поразительно однозначными. По крайней мере, когда они только выехали в Моюнкумы...

Прежде всего, это были люди бездомные, перекаати-поле, кроме, разумеется, Кепы: у троих из них ушли жены, все они были в той или иной степени неудачниками, а следовательно, были по большей части озлоблены на мир. Исключением мог считаться разве что самый молодой из них со странным, ветхозаветным именем Авдий — упоминался такой в Библии в Третьей Книге Царств,— сын дьякона откуда-то из-под Пскова, поступивший после смерти отца в духовную семинарию как подающий надежды отпрыск церковного служителя

и через два года изгнанный оттуда за ересь. И теперь он лежал в кузове «МАЗа» со связанными руками в ожидании расплаты за попытку, по определению самого Обера, бунта на корабле.

Все они за исключением Авдия были завзятыми или, как они еще величали себя, профессиональными алкоголиками. Опять же вряд ли в их число входил Кепа, как-никак права водительские приходилось беречь, не то жена бы ему глаза повыцарапала, но в Моюнкумах в ту ночь он таки крепко поддал, не хуже чем другие, а под сомнением в этом смысле опять же оказался Авдий-Авдюха — ему-то что, скитальцу, ан нет, тоже заартачился, не стал пить, чем вызвал еще большую ненависть Обера.

Обер — так для краткости велел он именовать себя подчиненным ему подборщикам туш, имея в виду, наверно, что слово это означало старший, а он и в самом деле до разжалования был старшим лейтенантом дисциплинарного батальона. Когда его разжаловали, доброжелатели сокрушались, что он-де погорел за служебное усердие, так же считал и он сам, глубоко задетый в душе несправедливостью начальства, однако о подлинной причине изгнания своего из армии предпочитал не распространяться. Да и ни к чему это было, дело прошлое. В действительности фамилия Обера была Кандалов, а изначально, возможно, и Хандалов, но это никого не волновало — Обер он и есть обер в полном смысле этого слова.

Вторым лицом в этой хунте — а хунтой они окрестили свою команду с общего согласия, — единственным, кто слабо возразил, был Гамлет-Галкин, бывший артист областного драматического театра: «Ну ее к шутам, хунту, не люблю я, ребята, хунты. Мы ведь отправляемся на сафари, пусть мы будем сафарой!» — но к его предложению никто не присоединился, возможно, малопонятная «сафара» проигрывала на фоне энергичной «хунты», — так вот вторым лицом хунты оказался некто Мишаш, а если полностью — Мишка-Шабашник, тип, надо сказать, бычьей свирепости, который мог послать куда подальше даже самого Обера. Привычка Мишаша приговаривать по каждому поводу «бля» была для него что вдох, что выдох. Идею связать и бросить Авдия в кузов машины подал именно он. Что и было незамедлительно проделано хунтой.

Самое скромное место в этой хунте занимал артист Гамлет-Галкин, спившийся, преждевременно сошедший со сцены и перебивавшийся случайными заработками, а тут как раз подвернулась такая пожива — кидай за ноги в кузов каких-то то ли антилоп, то ли сайгаков, какая ему разница, и получай столько, сколько за месяц не заработаешь, и вдобавок еще премию от Обера, хоть и за счет отчислений от всего подряда, — ящик водки на всю братию. И наконец, самый покладистый и безобидный среди них — местный малый из ближайших моюнкумских окрестностей, Узюкбай, или попросту — Абориген. Абориген-Узюкбай, что в нем было бесценно, был начисто лишен самолюбия, все, что ни скажи ему, на все согласен и за бутылку водки готов двинуть хоть на Северный полюс. Краткая история Аборигена-Узюкбая сводилась к следующему. Прежде был трактористом, потом стал беспробудно пить, бросил трактор среди ночи на проезжей дороге, врезалась в него проходившая машина, погиб человек. Узюкбай отсидел пару лет, жена с детьми тем временем от него ушла, и он очутился в городе в качестве неучтенной рабсилы, подвизался грузчиком в продмаге, выпивал в подъездах, где и обнаружил его сам Обер, и Узюкбай последовал за ним без оглядки, да и не на что ему было оглядываться... Оберу-Кандалову нельзя было отказать — он действительно обладал социально ориентированным нюхом...

Вот так и сошлись они во главе с Обером-Кандаловым, и вот так на волне облавы объявились в Моюнкумской саванне...

И если говорить о судьбе и о судьбах, о разного рода житейских

обстоятельствах, предопределяющих события, то, видит Бог, у Обера-Кандалова не было бы никаких забот с неудавшимся семинаристом Авдием, если бы тому довелось в свое время доучиться и дослужиться до рукоположения в соответствующий сан. Кстати, бывшие однокашники Авдия по семинарии, когда-то такие же легкомысленные, как и все ученики, выбрав однажды жизненный путь, оказались куда устойчивей, а самое главное — благоразумней, чем Авдий, сын покойного дьякона, и уже успешно продвигались после завершения духовного образования по ступеням церковной карьеры. Будь в их числе и Авдий — а поначалу он значился среди наиболее высокоодаренных, любимых отцами богословами юношей, — тогда Оберу-Кандалову и Авдию вряд ли пришлось встретиться, хотя бы потому, что Обер-Кандалов искренне считал попов недоразумением времени и никогда в жизни не переступал церковного порога даже из любопытства.

Если бы да кабы... Однако кто мог знать, что такое произойдет. Если бы знать наперед... Но кто у кого просит заполнить анкету, когда вербует на один выезд — отправиться за компанию подзаработать. Это же все равно что поехать с коллективом на картошку. Разве что вместо клубней предстояло собирать убитых на облове животных... Знал бы Обер-Кандалов, что повстречавшийся ему на вокзале скиталец Авдий — чокнутый, ненормальный, не пришлось бы ему в моюнкумских песках ломать себе голову, как с ним поступить, куда его девать, как избавиться без вреда для себя от этого дикого Авдия, едва не сорвавшего все то, что он устраивал с таким усердием, посредством чего надеялся реабилитировать свое прошлое. Кто бы мог подумать, что таким странным, невероятным, причем глупым образом все свяжется в один узел. От этих мыслей Оберу-Кандалову очень хотелось выпить, что называется, ударить по-черному, а он здорово это умел — полстакана залпом, потом еще и еще полстакана, оглушить, взвинтить себя так, чтобы никаких тебе преград, чтобы полностью сознание отшибить... и тогда дать по мозгам... Но и этого он боялся, потому что знал, как тяжело будет потом...

И откуда он взялся, этот Авдий, на его голову! И опять, если говорить о судьбе и судьбах, о разного рода жизненных обстоятельствах, предопределяющих причины других событий, то все это завязывалось задолго до этого и вдали отсюда...

Изгнанный из духовной семинарии как еретик-новомысленник, Авдий работал в ту пору внештатным сотрудником областной комсомольской газеты. Редакция газеты была заинтересована в нем, в недавнем семинаристе, недурно пишущем на любимые читателями темы. Преданный церковью анафеме, он был выгоден для наглядной антирелигиозной пропаганды. Несостоявшегося семинариста, в свою очередь, заинтересовала возможность выступать в молодежной печати на близкие ему морально-нравственные темы. Пропускаемые при этом на страницы газеты его несколько непривычные размышления безусловно привлекали читателей, и не только молодых, особенно на фоне заунывно-дидактических призывов и социальных заклинаний, захлестнувших областную печать. И пока вроде бы взаимные интересы соблюдались, но мало кто знал, а вернее за исключением одной души никто не знал, какие помыслы вынашивал этот молодой, да ранний обновленец. Авдий Каллистратов надеялся со временем, с упрочением своего журналистского имени, найти некую приемлемую форму, некую пограничную идеологическую полосу, позволившую бы ему высказывать столь актуальные и столь жизненно важные, по его убеждению, новомысленнические представления о Боге и человеке в современную эпоху в противовес догматическим постулатам архаичного вероучения. Вся смехотворность заключалась в том, что перед ним стояли две абсолютно неприступные и несокрушимые крепости, сила которых зиждется на их обоюдной незыблемости и тотальной вза-

имонеприемлемости, с одной стороны — неподвластные времени, тысячелетние неизменные пасхальные концепции, ревностно оберегающие чистоту вероучения от каких бы то ни было, пусть даже благонамеренных новомыслей, и с другой стороны — в корне отвергающая религию как таковую могучая логика научного атеизма. А он, несчастный, между ними был все равно как между жерновками. И, однако, в нем горел свой огонь. Обуреваемый собственными идеями «развития во времени категории Бога в зависимости от исторического развития человечества», еретик Авдий Каллистратов надеялся, что рано или поздно судьба предоставит ему возможность приоткрыть людям суть своих умозаключений, ибо, как он полагал, все идет к тому, что людям и самим захочется узнать о своих отношениях с Богом в постиндустриальную эпоху, когда могущество человека достигнет наикритической фазы. Умозаключения Авдия носили пока не устоявшийся, дискуссионный характер, но и такой свободы мысли официальное богословие не простило ему и, когда он отказался покаяться в ереси новомыслия, чины епархии изгнали его из духовной семинарии.

У Авдия Каллистратова было бледное высокое чело; как многие люди его поколения, он носил волосы до плеч и отпустил плотную каштановую бородку, что, впрочем, если и не очень украшало, зато придавало его лицу благостное выражение. Серые навывкате глаза его лихорадочно поблескивали, в них выражался непокой духа и мысли, который был присущ его натуре, что приносило ему великую отраду от собственных постижений, а также многие тяжкие страдания от окружающих людей, к которым он шел с добром...

Ходил Авдий большей частью в клетчатых рубашках, в свитере и джинсах, в холод натягивал пальтецо и старую меховую шапку, еще отцовскую. Таким он и появился в Моюнкумской саванне...

И то, что он валялся в тот час связанный в кузове машины, навело его на разные горькие мысли. Но острее всего он чувствовал в этот раз свое одиночество. Ему припомнилось полузабытое изречение какого-то восточного поэта: «И среди тысячной толпы — ты одинок, и находясь с собой наедине — ты одинок». И тем горше и мучительнее думалось ему о ней, о той, которая с некоторых пор стала самым близким существом на свете, постоянно сопутствующим ему в мыслях, как ипостась его собственной сути, — и в этот час он не мог отделить ее от себя, не мог не обращать к ней свои чувства и переживания, и если действительно существует телепатия как сверхчувственное общение близких натур в особо напряженном состоянии, она непременно должна была в ту ночь испытывать странное томление духа и предощущение беды...

Теперь ему наконец открылась справедливость парадоксальных слов все того же восточного поэта, над которыми он прежде посмеивался, не верил, что можно утверждать: «Пусть не полюбится тому, кто истинно любить предрасположен...» Что за чушь! А теперь он тихо плакал, думая о ней, сознавая, что, не зная он о ее существовании, не любил ее так затаенно и отчаянно, как собственную жизнь перед смертью, не было бы этой неутраченной боли, этой тоски, этого неоторимого, безумного и мучительного желания немедленно, тотчас же вырваться, освободиться и бежать к ней среди ночи через саванну на ту затерянную в трансконтинентальной протяженности железной дороги станцию Жалпак-Саз, чтобы очутиться, как и тогда, хоть на полчаса, возле ее дверей, в том прибольничном домике на границе великих пустынь, в котором она живет... Но не в силах освободиться, Авдий проклинал свою, возможно, и ненужную ей преданность — ведь именно ради нее он вернулся, приехал во второй раз в эти азиатские края, очутился здесь, в Моюнкумах, где и лежал теперь связанный, оскорбленный и униженный. Но его чувства к ней были тем острее, чем неосуществимей было желание видеть ее, тем мучитель-

нее было сознание одиночества, и чувства эти открывали ему вместе с тем и всю благодать слияния с Богом, ибо теперь ему открылось, что Бог, являя себя через любовь, дарует тем самым человеку наивысшее счастье бытия, и щедрость Бога тут бесконечна, как бесконечно течение времени, а предназначение любви неповторимо в каждом случае и в каждом человеке...

— Слава Всевышнему! — прошептал он, глядя на луну, и подумал: «Если бы она знала, как велика божья милость, когда он вселяет в сердце любовь...»

И тут возле машины раздалися шаги, и кто-то, сопя и рыгая, полез в кузов. То был Мишаш, а вслед за ним показалась и голова Кепа. Кажется, они уже успели поддаться — резко шибануло в нос водкой.

— Ты что, бля, лежишь? А ну давай поднимайся, сука-поп, Обер требует тебя на ковер, перевоспитывать будет, — говорил Мишаш, как медведь в берлоге, продвигаясь через сайгачьи туши в машине.

Кепа, хихикая, в свою очередь добавил:

— Ковра не будет, на собственной заднице, на землеце моюн-кумской посидишь.

— Ковер ему еще, — пробасил Мишаш, отрывивая, — да за такое дело, бля, в Сибирь! Охмурить нас задумал, чуть ли не монахами решил сделать, да не на тех, бля, нарвался!

IV

За это время Авдий Каллистратов отправил Инге Федоровне несколько писем на станцию Жалпак-Саз, и она отвечала ему до востребования на городскую почту, ибо к тому времени постоянного адреса у него уже не было. Матери он лишился еще в детстве, и отец его, дьякон Каллистратов, оставшись вдовцом, тратил всю свою доброту и немалую начитанность, и богословскую и светскую, на сына и дочь, что была старше Авдия на три года. Сестра Авдия, Варвара, уехала учиться в Ленинград, хотела поступить в педагогический институт, но ее там не приняли как дочь служителя культа, поскольку это открыло бы ей доступ к школьному обучению, и тогда она прошла по конкурсу в политехнический да так и осела в Ленинграде, вышла замуж, обзавелась семьей и работала сейчас чертежницей в каком-то проектном институте. Авдию же дорога лежала в духовную сферу, этого хотел он сам, и этого очень хотел отец, особенно после истории с поступлением в пединститут дочери Варвары. Когда Авдий начал учиться в семинарии, дьякон Каллистратов ходил счастливый и гордый — он радовался тому, что мечта его сбылась, что не напрасны были его труды и внушения, что Господь внял его мольбам. Вскоре, однако, он умер, и, возможно, в том была милость судьбы, ибо он не перенес бы той еретической метаморфозы, которая случилась с его сыном Авдием, увлекшимся новомыслием на поприще вечного, как мир, богословия — учения, данного раз и навсегда в бесконечности и неизменности божественной силы.

А когда Авдий Каллистратов стал сотрудничать в областной молодежной газете, та небольшая квартирка, в которой дьякон Каллистратов прожил с семьей многие годы, была затребована для вновь назначенного служителя церкви, а бывшему семинаристу Авдию Каллистратову предложили освободить ее как лицу, не имеющему никакого отношения к церкви.

Авдий вызвал в связи с этим сестру Варвару, чтобы она по своему усмотрению увезла в Ленинград нужные ей родительские вещи, в основном старинные иконы и картины, как память и наследство. Себе Авдий оставил отцовские книги. То была последняя встреча брата и сестры — у каждого была своя планида. Больше они не виделись, отношения их были вполне нормальные, но жизненные пути разные.

С тех пор Авдий жил на частных квартирах, сначала в отдельных комнатах, потом в углах, так как отдельные комнаты стали ему не по карману. Оттого-то и письма писались ему до востребования.

И именно в этот период наметилась первая поездка Авдия Каллистратова в Среднюю Азию от редакции областной комсомольской газеты. Непосредственным поводом к тому послужила идея Авдия изучить и описать пути и способы проникновения в молодежную среду европейских районов страны наркотического средства — анаши, растения, произрастающего в Средней Азии, Чуйских и Примоюн-кумских степях. Анаша — родная сестра знаменитой марихуаны, особый вид дикой южной конопли, содержащей в листьях и особенно в соцветиях и пыльце сильнодействующие одурманивающие вещества, вызывающие при курении эйфорию, иллюзию блаженства, а с увеличением дозы фазу угнетения и вслед за этим агрессивность — форму невменяемости, опасную для окружающих.

Историю этой поездки Авдий Каллистратов подробно описал в своих путевых очерках, описал он, и как неожиданно столкнулся в степи с волчьим семейством, описал все пережитое — с болью и тревогой, как очевидец, как гражданин, озабоченный распространением одурманивающего зелья. Но публикация очерков, вначале принятых в редакции на ура, задержалась, а затем и вовсе остановилась.

Обо всех своих неудачах и переживаниях Авдий Каллистратов и писал Инге Федоровне, которую он считал даром судьбы, самым близким себе человеком, — ведь она, подобно реке, оживляла и воскрешала его для повседневного бытия. Вскоре он понял, что переписка с Ингой Федоровной — главное событие в его жизни и, возможно, то самое предназначение, которое оправдывает его существование.

Отправив ей письмо, он затем жил этим, заново восстанавливая в памяти все написанное и как бы комментируя себя. То была странная форма общения на расстоянии — непрерывное излучение во времени и пространстве его страждущей души.

«...Потом я думал много дней, не шокировали ли Вас начальные слова моего письма: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!» Я их привел, будучи воспитанным в этих традициях, они всегда служат мне камертоном перед серьезным разговором, настраивая на молитвенное состояние духа, и я не стал изменять этому правилу, хотя я и лишний раз напомяну Вам о своем происхождении из духовного сословия и семинаристском прошлом. Мое отношение к Вам не позволяет мне умалчивать о каких бы то ни было обстоятельствах, касающихся меня.

И еще думалось о том, что пишу на Вы, а, расставаясь, мы были уже на ты. Простите, но что-то произошло со мной, хотя я так недолго вдалеке от Вас. Впрочем, все чудачки пытаются найти себе какое-нибудь нелепое оправдание. Но это к слову. Позвольте все же на расстоянии обращаться к Вам на Вы. Так я чувствую себя гораздо удобнее. А если нам суждено будет встретиться, о чем отныне мои затаенные и оттого особо сокровенные мечты (эти мечты мне как дети, я их возвращаю и не могу без них, представляю, какое счастье любить своих детей, если любить их, как мечту), а мечты эти родились как устремление духа к божественному совершенству, вечно притягательному и бесконечному, так вот благодаря этим мечтам я, сам того не подозревая, противостояю угрозе небытия, возможно, потому, что любовь — антитеза смерти, она потому и являет собой ключевой момент жизни вслед за таинством рождения, все это я повторяю, как заклинание, чтобы нам суждено было встретиться, и обещаю при встрече не утруждать Вас — обещаю обращаться на ты... А пока так много есть чего сказать...

Инга Федоровна, Вы помните, надеюсь, что мы условились, как только появятся в газете мои материалы, ради которых я приезжал в Ваши края, незамедлительно слать их Вам авиапочтой. К сожалению

нию, я не уверен, что мои очерки о юнцах-подростках, о гонцах за анашой и обо всем том, что связано с этим печальным явлением наших дней, появятся в ближайшее время. Я говорю наших дней, потому что анаша произрастала на этих землях, как сорная трава, с незапамятных времен, а лет пятнадцать тому назад — Вы сами знаете, да что же я рассказываю Вам, специалисту, но, простите, я все равно буду рассказывать, Инга Федоровна, именно Вам, и только это придает теперь какой-то смысл всему этому предпринятию — так вот, лет пятнадцать тому назад, как утверждают местные жители, никто и не помышлял собирать эту злую штуку, или, как именуют ее анашисты, травку, ни для курения, ни для иного потребления. Это зло возникло совсем недавно, и в не малой степени под влиянием Запада. И вот теперь мне предлагают ограничиться какой-то докладной запиской в какие-то инстанции — это просто уму непостижимо. Понимаю, что тут особый разговор, ведь ложное опасение, что остросенсационный материал о наркомании среди молодежи — оговоримся для порядка: среди части малосознательной молодежи — причинит якобы ущерб нашему престижу, может вызвать лишь гнев и смех. Ведь это и есть страусовая политика... Зачем он нужен, этот престиж, если за него надо платить такую цену!

Представляю, Инга Федоровна, как Вы снисходительно улыбались, читая эти строки, улыбались скорей всего моему наивному возмущению, а может быть, и наоборот, хмурились, что, кстати, Вам очень идет. Когда вы хмуритесь, Ваше лицо становится чистым и глубоким, как у юных монахинь, всерьез озабоченных постижением божественной сути, ведь подлинная красота этих невест христовых в их одухотворенности. Скажи я это вслух, да еще и в присутствии других людей, это выглядело бы попыткой лести. Но я уже сказал, что в моем отношении к Вам нет абсолютно ничего, что я должен был бы преуменьшать или преувеличивать. И если Ваш озабоченный лик вызывает у меня в памяти Богоматерь в живописи Возрождения, отнесите это в крайнем случае к моему недостаточному искусствоведческому опыту. Как бы то ни было, я уповаю на то, что Вы верите в мою искренность... Ведь с этого все началось — Вы поверили мне с первого слова и открыли для меня новую полосу жизни...»

* * *

Сегодня снова был в редакции газеты по поводу своего материала, и опять то же самое — все на месте, никакого движения, никакого просвета. Никто не может толком объяснить, почему мои степные очерки, встреченные поначалу редакцией с таким ликованием, теперь ни у кого не вызывают энтузиазма, а ведь сколько откровенных признаний вызвали затронутые проблемы. Главный редактор газеты всячески избегает теперь встречи со мной, дозвониться ему невозможно, секретарша все ссылается на его занятость — то у него заседание, то планерка, то его вызвали в вышестоящие, как она любит подчеркивать, инстанции.

И снова я иду одиноко по знакомым улицам, как будто бы сторонний человек, случайно приехавший сюда, как будто бы я здесь не родился и не вырос, так пусто и отчужденно на душе моей. Иные знакомые со мной не здороваются — я для них церковный отлучник, изгнанный из семинарии еретик и прочее и прочее. И только одно греет мое сердце, одна желанная забота всегда со мной — мое письмо. Иду и думаю о том, что напишу, что в очередном письме я расскажу обо всем, что мне кажется интересным для нее, обо всем, что может дать мне повод поделиться с ней своими думами. Никогда не предполагал, что думать о любимой женщине и писать ей письма станет смыслом моей жизни. Я только и жду хотя бы малейшей возможности поехать туда, где мы встретились. Скорей бы! Иду и думаю об этом. Наверно, и у других людей были такие дни, когда они тоже на

какое-то время находили в любви главный смысл жизни и были ею счастливы, но в отличие от них я не перестану любить до самой смерти, и смысл моего житья будет только в этом...

Вот уже и листья падают на бульваре. А ведь то, о чем я писал, происходило в начале лета. Редакция в те дни приветствовала мою идею, торопила. Я же не предполагал, что, когда вопрос коснется дела, редакция уйдет в кусты. Не думал никак, что странный принцип — оповещать в массовой печати только о том, что для нас благоприятно, престижно, — настолько силен.

А в те дни я больше был поглощен предстоящей мне длительной поездкой в незнакомые и притягательные для меня, провинциального россиянина, южные края. Замысел состоял в том, чтобы поехать не как сторонний наблюдатель, а как один из гонцов за анашой, влившись в их тайную компанию. Конечно, возрастом я постарше их, но не настолько старше с виду, чтобы это настораживало. В редакции прикинули, что в старых джинсах и в разбитых кроссовках я вполне могу сойти за простецкого малого, если к тому же сбрую бороду. Так я и сделал — бороду на то время сбрил. Никаких записных книжек я с собой не брал, надеялся на память. Мне важно было проникнуть в ту среду, выяснить, почему именно эти ребята оказались туда вовлеченными, что двигало ими кроме соблазна наживы и спекуляции; мне необходимо было изучить изнутри личные, социальные, семейные и не в последнюю очередь психологические моменты этого явления.

С тем я и приготовился. Это было в мае. Именно в это время начинает цвести конопля-анаша, и именно в эти дни приступают к сбору ее цвета те, кто специально отправляется за этим зельем в Примоукумские и Чуйские степи. Обо всем этом мне поведал мой знакомый, учитель истории одной из школ нашего городка Виктор Никифорович Городецкий. Когда мы оставались наедине, беседуя о разных разностях, он называл меня в шутку отцом Авдием. Сам он сравнительно молодой человек, одноклассник моей сестры Варвары. А вот племянник его, сын его родной сестры, Паша, Пахом, которого Виктор Никифорович, оказывается, сам нарек этим именем, так вот Паша этот, как выяснилось впоследствии, попал в анашистскую компанию. Ни родители, ни Виктор Никифорович не знали об этом.

Как-то Паша отпросился у родителей съездить в Рязань к деду, у которого он часто бывал. Дней через пять после его отъезда Виктор Никифорович получил телеграмму от следователя транспортной прокуратуры Джаслибекова с какой-то далекой казахстанской станции. В телеграмме сообщалось, что его племянник Паша находится под стражей — его задержали в связи с преступным провозом наркотиков по железной дороге.

Виктор Никифорович сразу понял, почему именно ему, а не родителям адресовал следователь Джаслибеков телеграмму. Паша боялся отца, человека резкого и крутого. Виктор Никифорович немедленно вылетел в Алма-Ату, а оттуда через сутки добрался на поезде до той степной станции. Застал он Пашу в отчаянном состоянии. Ему грозил немедленный суд и приговор по особому указу со сроком не менее трех лет в колонии строгого режима. Суд был неизбежен — состав преступления налицо. Виктор Никифорович пытался, как мог, втолковать племяннику, что другого исхода, к сожалению, нет, что по закону за преступление следует наказание. Советовал, как держаться, что говорить на суде, обещал все объяснить родителям, обещал приехать к нему на свидания в колонию. Все это происходило в присутствии Джаслибекова. И тут вдруг Джаслибеков говорит:

— Виктор Никифорович, если вы поручитесь, что ваш племянник впредь не повторит подобное преступление, я отпущу его под свою ответственность. Мне почему-то показалось, что вы сможете настаивать этого молодого человека на путь истинный. Если же он еще раз

попадется с провозом анаши, его будут судить как рецидивиста. Вот решайте сами.

Ну, конечно, Виктор Никифорович несказанно обрадовался, тут же поручился за Пашу, не знал, как и благодарить следователя, и тогда Джаслибеков сказал:

— А вас, Виктор Никифорович, я просил бы помочь нам там, на местах у вас. Попробуйте поднять в прессе серьезный разговор на эту тему. Ведь вы учитель. Мы боремся с самими преступлениями, когда они уже совершены или в процессе совершения. А вот кто и что гонит таких, можно сказать, мальчишек вдаль, в безлюдные места, в среду деклассированных элементов, а то и отпетых рецидивистов, мы не знаем, а ведь мы этих подростков судим, вынуждены, обязаны судить. Очень хорошо, что вы, в частности, сразу откликнулись, незамедлительно приехали и тем очень помогли мне, а многие родственники — и таких большинство — не приезжают вовсе. И так попадает человек пятнадцати лет от роду в колонию строгого режима. А что там? Что с ними происходит, чему они там научатся? Никчемными, искалеченными людьми — вот какими они выйдут оттуда. Сами понимаете, тюрьма не от хорошей жизни. Виктор Никифорович, душа болит, на все это глядя. Верите ли, только в прошлый сезон по нашему участку дороги мы судили более ста подростков, а сколько мы пропустили, не смогли задержать, а они все едут и едут отовсюду, от Архангельска до Камчатки, прут, как рыба на нерест. Сколько же можно? Всех ведь не пересудишь. У них возникла целая система промысла. Среди них есть проводники — и здешние и нездешние, — которые ведут их в места произрастания анаши, их мы тоже судим. А что они творят с поездами? Останавливают в степи товарняки, в пассажирский-то они не смеют сунуться, там сразу их схватят. Кто-то снабжает их специальным составом, порошок такой, если посыпать ночью на шпалы, на рельсы, то в лучах фар возникает иллюзия, будто дорога занялась огнем. Шпалы горят, рельсы горят. Конечно, машинист останавливает состав — в степи всякое может случиться, выбегает на дорогу, но нет, ничего не горит, все в порядке. А анашисты тем временем залезают в вагоны со своими сумками, с чемоданами. Составы нынешние такие — на целый километр, попробуй уследи, а они забираются и едут до узловой станции. Там покупают билеты. Пассажиров-то вон сколько! Узнай, кто есть кто. Правда, милиция в последние годы завела специальных собак, они анашу по запаху находят. Вот вашего племянника и обнаружили с помощью собаки...

И еще много кое-чего узнал Виктор Никифорович в тех местах. Он-то и посвятил меня в эти дела. Но еще до этого я был внутренне готов к такому разговору. Меня давно терзала мысль — найти нехоженые тропы к умам и сердцам своих сверстников. Я видел свое призвание в поучении добру. Может, несколько самонадеянно было с моей стороны полагать, что в этом мое предназначение, но, во всяком случае, мне этого искренне хотелось, и, пожалуй, не в последней степени это объясняется моим происхождением. В некоторых статьях своих я уже говорил, хотя и в самых общих чертах, о пагубности алкоголизма среди молодежи, примерно то же писал и о наркомании, ссылаясь на печальный опыт Запада. Но все это было, по сути, с чужих слов, из вторых рук. А для яркого и в то же время проникновенного материала, где были бы мои собственные размышления и переживания по поводу всем известных и в то же время суеверно избегаемых многими как чумы случаев наркомании среди молодежи, особенно среди подростков, приводящих к печальным последствиям — от саморазрушения личности до садистских убийств, — так вот, для такого материала мне не хватало знания проблемы изнутри и реалий. А тут как раз получилось, что Виктор Никифорович Городецкий, столкнувшийся с этим явлением на собственном опыте, решил поделиться своими думами и душевными огорчениями. Чтобы

оторвать Пашу от прежних друзей-товарищей, промышлявших анашой, вся семья, отец, мать, дети, вынуждена была, обменяв квартиру на меньшую, переехать в другой город. Обо всем этом Виктор Никифорович и рассказал мне с печалью и горечью.

Это и подтолкнуло меня решительно взяться за задуманное дело.

* * *

Я прибыл в Москву, где должен был отправиться с Казанского вокзала в конопляные степи. Дело в том, что именно здесь, на Казанском, формировалась первоначально группа гонцов, они так себя и называли — гонцы. Эти гонцы, как я потом убедился, съезжались из самых разных городов Севера и Прибалтики, причем наиболее оживленными точками являлись Архангельск и Клайпеда, должно быть, потому, что анашу там могли перепродавать морякам, уходящим в плавание. Чтобы напасть на след гонцов, я должен был найти на Казанском вокзале носильщика с нагрудным знаком восемьдесят семь по кличке Утюг, или Утя, и передать ему привет от одного из бывших приятелей, упомянутого Пашей. Утюг имел знакомство в билетных кассах — он обеспечивал, безусловно за какую-то мзду, проезд. Но узнать, кто именно это устраивал, мне не удалось, видимо, звено кто-то возглавлял, хотя и тайно. Так вот, этот Утя обеспечивал организованный выезд группы гонцов, то есть он должен был добыть всем билеты на один поезд, но желательно в разных вагонах. Сойдясь поближе с гонцами, я узнал, что первая заповедь всех добытчиков анаши состояла в том, чтобы в случае провала ни за что не давать друг друга, поэтому на людях им надо было поменьше общаться между собой.

И вот знакомая площадь трех вокзалов, где я столько раз бывал, приезжая и уезжая из Москвы. Чудовищная толчея, особенно в метро и на вокзалах, — не пробьешься, не протиснешься от многолюдья, и кого только и откуда только не закрутит, как щепку, живой водоворот площади трех вокзалов, и все равно любил я наезжать в Москву, любил, вырвавшись уже ближе к центру на относительный простор, бродить по улицам, толкаться в букинистических магазинах, стоять у афиш и реклам и, если удастся, отправиться в очередной раз в Третьяковку или Пушкинский музей.

В этот раз, выйдя на Ярославском вокзале с электрички и следуя в потоке толпы к Казанскому вокзалу, я поймал себя на мысли, как хорошо, оказывается, мне жилось и чувствовалось прежде, когда я, предоставленный самому себе и своим неприхотливым побуждениям, не был обременен ничем и никакие заботы не ограничивали особенно моего времени и моих странствий по московским улицам. Сейчас же мне нужно было как можно быстрее разыскать на огромном, кишачем, как муравейник, Казанском вокзале того самого связника-носильщика по кличке Утюг с нагрудным знаком восемьдесят семь. Боже, сколько же их, этих носильщиков, а вернее тележников, на Казанском вокзале, если этот значился восемьдесят седьмым, — уж, наверно, не меньше ста. И действительно, в этом столпотворении оказалось не так просто его обнаружить. Потратив, по меньшей мере, полчаса на то, чтобы обойти все возможные стоянки тележников, я наконец нашел его на перроне у поезда, отходящего в Ташкент. Кого-то Утюг погружал, поспешно перенося с тележки в вагон чемоданы и коробки, бойко перебрасывался на ходу шутками с проводниками и повторял расхожее привокзальное присловье: «Деньги есть — Казан поеду, деньги нет — Чешма пойду». Я подождал в стороне — пока он освободится, пока отъезжающие скроются в вагоне, а провожающие рассредоточатся вдоль состава по окнам купе. И тут он вышел из тамбура, запыхавшись, суя чаевые в карман. Эдакий рыжеватый детина, эдакий хитрый кот с бегающими глазами. Я чуть было не

допустил оплошность — едва не обратился к нему на «вы» да еще чуть не извинился за беспокойство.

— Привет, Утюг, как дела? — сказал я ему насколько возможно бесцеремонней.

— Дела как в Польше: у кого телега, тот и пан, — бойко ответил он, точно мы с ним сто лет были знакомы.

— Значит, ты и пан, — заключил я, указывая на его тачку.

— А ты думал! Мы, брат, тоже знаем, у кого денег куры не клюют. А тебе чего, чавыча? Подвезти, может, что-нибудь надо? Изволь!

— Подвезти я и сам могу, — пошутил я. — Дело у меня есть.

— Ну говори, какое дело.

— Не здесь, давай отойдем.

— Айда, чавыча, отойдем.

И мы пошли по длинному перрону к зданию вокзала. Ташкентский поезд тронулся, уплывая мимо вереницей окон и вереницей лиц за стеклами, а на соседнем пути встал другой состав, прибывший откуда-то. Поезда стояли в несколько рядов, народ суетился, спешил, громкоговоритель то и дело выкрикивал номера отправляющихся и прибывающих поездов.

Когда мы дошли до вокзального здания, Утюг свернул тележку в уголок, где не было народа, и там, оглядевшись по сторонам, я передал ему привет от Пашкиного друга, которого звали Игорем, но у гонцов он прозывался Моржом. Почему Моржом, кто знает.

— А Морж где сам? — осведомился Утюг.

— Доходит, — ответил я. — Язва желудка замучила.

— Как в воду глядел, — с сожалением, но и не без торжества хлопнул себя Утюг по лбу. — Говорил я ему, чавыча, еще в прошлый раз говорил, не дури, Моржок, не лезь на хухок. Он же экстру применял ну и перехватил через край. Вот тебе и язва.

Я изобразил на лице сочувствие, хотя, откровенно говоря, не понимал, что это за экстра — водка или еще что. Но, слава богу, догадался не уточнять. Как выяснилось позже, под экстрой подразумевалось экстрагированное из пластилина — коноплянопыльцовой массы, напоминающей детский пластилин, — самое ценное сырье (насчет пластилина я, кстати, знал, Виктор Никифорович рассказывал), особое конечное наркотическое вещество наподобие опиума. Это и была экстра. В химических лабораториях экстра могла быть преобразована в порошок для инъекций, как героин. Это таким, как Морж, и прочим гонцам было недоступно, зато они при большом желании могли употреблять экстру — держать ее под языком, жевать, запивать водкой, глотать вместе с хлебом. Употреблять экстру называлось у них врезать по мозгам. Но самым доступным и простым было все же курить анашу — кто во что горазд — в чистом виде, в смешанном составе с табаком. Это, наверное, не хуже, чем врезать по мозгам, правда, действие дыма более быстротечно, нежели другие способы.

Все это и многое другое из жизни самих гонцов я постепенно узнавал в поездке на «халхин-гол», под «халхин-голом» опять же подразумевались места произрастания анаша. С этим «халхин-голом» я снова чуть не попал впросак.

— А ты, чавыча, тоже на «халхин-гол»? — спросил Утюг как бы между делом.

Я вначале запнулся, не поняв, что это за «халхин-гол» такой, а потом как-то смекнул:

— Да вроде. В общем-то да, а то чего бы мне...

— Ну тогда вот так. Насчет билетов, чавыча, не беспокойся. Все будет. Ну а насчет остального — это уже когда вернетесь с травкой, сам Дог разберется. Это дело не мое.

Кто такой был Дог, который обеспечивал нас билетами, и в чем он должен был потом разобратся, я и не знал и так и не выяснил до самого конца. Зато в том разговоре с Утюгом я узнал, что отъезд наш

в «халхин-гол» может состояться не раньше чем на другой день. Прежде всего потому, что съехались еще не все гонцы. Двое гонцов из Мурманска должны были прибыть ночным поездом. И еще один, не знаю откуда, мог приехать только к утру. Это меня нисколько не волновало, побыть лишний денек в Москве тоже что-нибудь да значило.

Прощаясь со мной до завтра, когда я в условленный час должен был прийти на Казанский вокзал (а что мне было туда приходиться, когда так и так пришлось бы ночевать на вокзале), Утюг поинтересовался, есть ли у меня рюкзак и полиэтиленовые пакеты, чтобы складывать травку, то есть анашу. Рюкзак и пакеты у меня имелись в чемоданчике. И он порекомендовал мне поискать в магазинах какую-нибудь герметически закрывающуюся стеклянную или пластмассовую коробочку, чтобы собирать в нее пыльцовую массу — так называемый пластилин.

— Не будешь лопухом, соберешь малость пластилинчику, хотя дело это и непростое,— пояснил он.— Сам я никогда не ездил, но много слышал. Тут есть один, Леха, так он за два сезона «Жигуль» отхватил. Ездит теперь себе по Москве поплевывает... А трудов-то — от силы дней на десять...

С тем мы и расстались. Я закинул свой чемоданишко в камеру хранения и пошел пройтись по Москве.

Стоял конец мая. Пожалуй, нет для Москвы лучшей поры, чем эти дни перед началом лета. Хотя ведь и осень, ранняя осень, когда прозрачность воздуха, золотистость листвы отражаются даже в глазах прохожих, тоже несказанно прекрасна. Но мне больше по душе именно московское предлетье — и днем отрадно на улицах и белыми ночами, когда царствует до утра пересвет ночной зари и в городе и в звездном небе над городом.

Я поспешил вырваться с вокзала на свежий воздух, но, вспомнив, что в центр лучше добраться на метро, снова окунулся в многолюдное движение. До вечернего часа пик было еще далеко, и я через чередующиеся, гудящие смены тьмы и света свободно доехал до самого центра. На площади Свердлова заглянул в мой любимый сквер. Круглый сквер зеленел и пестрел, как благодатный островок среди охватившего его кольцом непрерывного движения и обступивших строев. И я почти безотчетно двинулся в потоке прохожих вначале к Манежу — думал, там какая-нибудь выставка окажется, но Манеж был закрыт, и тогда я побрел мимо старого МГУ, мимо Пашкова дома на Волхонку и оттуда к Пушкинскому музею. Не знаю, отчего на душе у меня было так покойно и благостно — может быть, это от московских улиц в центре перед часом пик исходит такое умиротворение, а может быть, оно исходит от кирпичного силуэта Кремля, подобно незыблемому горному кряжу господствующему в этой части города. «Что видели эти стены и что еще увидят?» — думалось мне, и в уличных размышлениях, наплывающих сами по себе, я забыл, что недавно сбрил бороду, и оттого все время прикасался к голому подбородку; забыл на какое-то время и то, что я пытался постичь в гнездившемся на Казанском вокзале мутном средоточии зла.

Нет, все-таки судьба есть, она определяет и добрые и худые события. И надо же случиться такому везению, о котором, направляясь в Пушкинский музей, я даже не помышлял. Ведь я-то шел, надеясь в лучшем случае на какие-нибудь новинки в экспозиции музея, хоть и это было не обязательно,— походил бы себе и так просто по залам, освежил старые впечатления. А тут у самого входа, перед садиком, какая-то парочка, идя навстречу, остановила меня:

— Слушай, паря, тебе не нужен билетик? — предложил некий тип при ярком зеленом галстуке и в новых рыжих туфлях, которые ему явно жали. На лице у него и его спутницы были нетерпение и скука.

— А что, билетов нет, что ли? — поинтересовался я, так как никаких очередей не видно было.

— Да нет, это на концерт. Только бери оба.

— На какой концерт? — спросил я.

— А кто его знает, хор какой-то церковный.

— В музее? — удивился я.

— Берешь или не берешь? Отдаю два билета за трояк, бери.

Я схватил оба билета и поспешил в музей. Я не слышал, чтобы в Пушкинском устраивались концерты. Но оказалось, как выяснил я у администратора, что с некоторых пор при музее действовало нечто вроде лектория классической музыки, главным образом избранной камерной музыки в исполнении знаменитых музыкантов. А в этот раз — вот уж диво! — в зале, именуемом Итальянским двориком, предстоял концерт староболгарского храмового пения. Вот уж чего мне и не снилось! Неужели будет исполняться отец славянской литургии Иоанн Кукузель? К сожалению, администраторша подробностей не знала. Сказала только, что ожидаются важные гости, чуть ли не сам болгарский посол. Пусть это меня не касалось, но я разволновался и обрадовался, ибо от отца своего еще был слышан о болгарских песнопениях, а тут на тебе — такой подарок перед рискованной для меня поездкой. До начала концерта оставалось еще полчаса, и я не стал бродить по музею, а вышел на улицу подышать и успокоиться.

Ах Москва, Москва, на одном из семи взгорьев этих близ Москвы-реки, под конец майского дня! Все отрадно и осмысленно в граде, когда на душе ни тени и царит недолгая гармония бытия. Мне дышалось свободно и глубоко, в небе была ясность, на земле — тепло, и я ходил взад-вперед вдоль чугунной ограды сада перед музеем.

Мне стало жаль, что я никого не жду, — может быть, потому, что у меня было два билета. И как понятно и естественно было бы, если бы она с минуты на минуту должна была подоспеть и я увидел бы ее на другой стороне улицы, увидел, как она собирается перейти дорогу, боясь, что опоздает, а я, волнуясь за нее, такую прекрасную, неосторожную и глупую, делал бы ей отчаянные знаки, чтобы она ни в коем случае не перебежала улицу, — вон сколько машин несется, сколько людей повсюду, и только она одна среди всех несла в себе счастье, отпущенное мне, а она улынулась бы мне — ведь она догадалась бы о моих мыслях по выражению моего лица. И тогда я сам, упреждая ее, побежал бы к ней на ту сторону улицы, за себя я не боялся, я ловкий, а перебежав, посмотрел бы ей в глаза и взял бы за руку. Вообразив себе ни с того ни с сего такую сцену, я действительно почувствовал вдруг тоску по любви и в который раз подумал, что до сих пор не встретила мне та, которой предопределено судьбой быть моей любимой. Но существует ли она, такая предопределенная, не придумал ли я ее и не усложняю ли простые вещи? Об этом я много думал и каждый раз приходил к печальному выводу, что, пожалуй, сам во всем виноват, — то ли слишком многого ожидаю, то ли неинтересный я для девушек человек. Во всяком случае мои сверстники оказались в этом смысле гораздо удачливее и сноровистее. Оправданием могло послужить лишь то, что духовная семинария препятствовала окунуться в молодую жизнь. Но и после ухода из семинарии я несколько не преуспел на этом поприще. Почему? Вот если бы действительно она явилась сейчас, та, которую я готов полюбить, то я первым делом сказал бы ей: пойдем послушаем храмовое песнопение и в том обрете себя. Но потом на меня напали сомнения. А что, если это покажется ей скучно и однообразно, не совсем понятно, а главное, одно дело — ритуальное пение в храме, а другое — в светском здании при разнородной публике. Не получится ли, как если бы баховские хоралы стали исполнять на физкультурном стадионе или в казарме авиадесантников, привыкших к бравурным маршам?

К Пушкинскому музею стали подъезжать сверкающие глянем машины, прикатил даже интуристский автобус. Значит, настало время. У входа в Итальянский дворик уже толпились люди. Чем-то они все походили друг на друга, и женщины, и мужчины, — так бывает, когда люди сообща ожидают какого-то действия, события. Кто-то спрашивал лишний билетик. Я отдал один билет студенту, близорукому, должно быть, или не в тех очках. И сам был не рад. Он стал отсчитывать в толпе мелочь, ронял ее, я его просил прекратить, сказал, что билеты были мне подарены и потому один из них я дарю ему, но он ни в какую и, когда я уже проходил в зал, бросил мне ту мелочь в карман куртки. Конечно, деньги мне были нужны, я жил, как говорится, на вольных, но скудных хлебах, и все же... Смutilo меня и то, что столичная публика была соответственно одета, а я был в старых поношенных джинсах, в куртчонке нараспашку, в здоровых башмаках и еще с обритой бородой, к чему я так трудно привыкал, точно бы мне чего-то не хватало, — ведь я собрался в далекий путь-дорогу, в какие-то неведомые конопляные степи с невесть какими добытчиками анаши. Но все это были незначительные мелочи...

В высоком, в два этажа Итальянском дворике все экспонаты остались, как мне показалось, на местах, только в середине зала поставили плотными рядами стулья, на которых мы и разместились. Ни сцены, ни микрофонов, ни занавеса — ничего такого не было. Там, где положено быть президиуму, стояла с краю небольшая кафедра. Минуты через две всё места были уже заняты, кое-кто даже толпился у входа. Видимо, среди присутствующих было много знакомых, между собой все оживленно переговаривались, и только я один молчал, был сам по себе.

Но вот откуда-то сбоку из дверей вышли две женщины. Одна из них, служительница Пушкинского музея, представила другую — болгарскую, как она выразилась, коллегу из софийского музея при соборе Александра Невского. Разногосица в зале стихла. Болгарка, серьезная молодая женщина, гладко причесанная, в хороших туфлях, с красивыми ногами, что почему-то бросилось мне в глаза, строго глянув поверх больших затемненных очков, приветствовала нас и на сносном русском языке сделала небольшой доклад. Рассказала, что наряду с бесценными экспонатами церковного зодчества, старинными рукописями, образцами иконописи и книгопечатания они демонстрируют в своем музее, в крипте — полуподвальных залах собора, на вечерних концертах, как сообщила она с улыбкой, и экспонаты в живом исполнении — средневековые церковные песнопения. С этой целью по приглашению Пушкинского музея они-де и прибыли с капеллой «Крипт».

— Попросим! — предложила она под аплодисменты.

Певцы вошли, собственно, они оказались здесь же, за дверьми, через которые и мы проходили. Их было десять человек, всего десять. Причем все молодые, можно сказать, мои ровесники. Все в одинаковых черных концертных костюмах, с жесткими бабочками на белых манишках, все в черных ботинках. Ни тебе инструментов, ни микрофонов, ни эстрадных звукоусилителей, ни даже помоста для сцены и никаких, конечно, световых манипуляторов — просто в зале несколько приглушили свет.

И хотя я был уверен, что сюда собрались слушатели, имеющие представление, что такое капелла, мне почему-то стало страшно за певцов. Столько народу собралось, да и молодежь наша привыкла к электронному громогласию, а они — как безоружные солдаты на поле боя.

Певцы плотно выстроились плечом к плечу, образовав небольшое полукружие. Лица их были спокойны и сосредоточены, точно они вовсе не боялись за себя. И еще одну странность я заметил — все они почему-то казались похожими друг на друга. Возможно, потому, что в этот час ими владела общая забота, общая готовность, единый ду-

шевный порыв. Ведь в такие мгновения все, может быть, и очень важное в другое время в повседневной жизни каждого, начисто исключается из помыслов — точно так перед началом боя все думают лишь о том, как одержать победу.

Между тем ведущая, все так же серьезно поглядывая через затемненные очки, дала перед началом концерта коротенькую историческую справку о своеобразности болгарской церкви, идущей от византийских корней, но со своими особенностями, со своей литургией, коснулась также некоторых деталей, относящихся к национальным традициям болгарского пения. И объявила начало концерта.

Певцы были готовы. Они еще немного помолчали, настраивая дыхание, еще тесней сплотились плечами, и тут стало совсем тихо, зал точно опустел — до того всем было интересно, что же смогут эти десятеро, как они отважились и на что надеются. И вот по кивку стоящего справа третьим от края — видимо ведущего в этой группе — они запели. И голоса взлетели...

В той тишине как бы медленно тронулась с места божественная воздушная колесница со сверкающими ободами и спицами и покати-лась по незримым волнам за пределы зала, оставляя за собой долго не стихающий, всякий раз вновь возрождающийся из неисчерпаемых запасов духа торжественный и ликующий след голосов.

Уже с зачина стало ясно, что этой капеллой достигнута такая степень спетости, такая подвижность и слаженность голосов, которую практически немисливо достигнуть десяти разным людям, какими бы вокальными данными и мастерством они ни обладали, и если бы это песнопение проходило в сопровождении любых, особенно современных, музыкальных инструментов, то несомненно такое уникальное здание на десяти опорах разрушилось бы. Редкая судьба могла устроить такое чудо — чтобы именно они, эти десятеро, отмеченные свыше, родились примерно в одно и то же время, выжили и обна-ружили друг друга, прониклись сыновним чувством долга перед пра-отцами, некогда выстрадавшими Его, придуманного, недостижимого и неотделимого от духа, — ведь лишь из этого могло возникнуть такое непередаваемое истовое пение. И в этом была сила их искусства, сильного лишь страстью, упоением, могуществом исторгаемых звуков и чувств, когда заученные божественные тексты лишь предлог, лишь формальное обращение к Немю, а на первом месте здесь дух человеческий, устремленный к вершинам собственного величия.

Слушатели были покорены, зачарованы, повергнуты в раздумья; каждому представился случай самому по себе, в одиночку, примкнуть к тому, что веками слагалось в трагических заблуждениях и оза-рен-ных разума, вечно ищущего себя вовне, и в то же время вместе со всеми, коллективно воспринять Слово, удесятеряющее силу пения от сопричастности к нему множества душ. И в то же время воображение увлекало каждого в тот неясный, но всегда до боли желанный мир, слагающийся из собственных воспоминаний, грез, тоски, укоров со-вести, из утрат и радостей, изведанных человеком на его жизненном пути.

Я не понимал и, по правде говоря, не очень и желал понимать, что происходило со мной в тот час, что приковало мои мысли и чувства с такой неотразимой силой к этим десятерым певцам, с виду таким же, как и я, людям, но гимны, которые они распевали, словно исходи-ли от меня, от моих собственных побуждений, от накопившихся бо-лей, тревог и восторгов, до сих пор не находивших во мне выхода, и, освобождаясь от них и одновременно наполняясь новым светом и про-зрением, я постигал благодаря искусству этих певцов изначальную сущность храмового песнопения — этот крик жизни, крик человека с вознесенными ввысь руками, говорящий о вековой жажде ут-вердить себя, облегчить свою участь, найти точку опоры в необозри-мых просторах вселенной, трагически уповая, что существует помимо

Него еще какие-то небесные силы, которые помогут ему в этом. Грандиозное заблуждение! О, как велико стремление человека быть услышанным наверху! И сколько энергии, сколько мысли вложил он в уверения, покаяния, в славословия, принуждая себя во имя этого к смирению, к послушанию, к безропотности вопреки бунтующей крови своей, вопреки стихии своей, вечно жаждущей мятежа, новшеств, отрицаний. О, как трудно и мучительно это давалось ему. Ригведа, псалмы, заклинания, гимны, шаманство! И столько еще было произнесено в веках нескончаемых молеб и молитв, что, будь они материально ощутимыми, затопили бы собой всю землю, подобно горько-соленым океанам, вышедшим из берегов. Как трудно рождалось в человеке человеческое...

А они пели, эти десятеро, Богом сопряженные вместе, с тем чтобы мы погружались в себя, в кружащие омуты подсознания, воскрешали в себе прошлое, дух и скорби ушедших поколений, чтобы затем вознеслись, воспарили над собой и над миром и нашли красоту и смысл собственного предназначения,— однажды явившись в жизнь, возлюбить ее чудесное устройство. Эти десятеро пели так самозабвенно, так богодостойно — быть может, сами того не ведая,— что пробуждали в душах высшие порывы, которые редко когда охватывают людей в обыденной жизни, среди постылых забот и суеты. И оттого собравшихся безотчетно переполняла благодать, их лица были взволнованны, у некоторых поблескивали слезы в глазах.

Как я радовался, как благодарил случай, приведший меня сюда, чтобы подарить мне этот праздник, когда мое существование словно бы вышло на вневременной и внепространственный простор, где чудодейственно совмещались все мои познания и переживания,— и в воспоминаниях о прошлом, в сознании настоящего и в грезах о будущем. И среди этих размышлений мне подумалось, что я еще не любил, и тоска по любви, которая жила в моей крови и ждала своего часа, дала о себе знать щемящей болью в груди. Кто она, где она, когда и как это будет? Несколько раз я оглядывался невольно на двери — возможно, она пришла и стоит там, слушает и ждет, когда я увижу ее. Как жаль, что ее не было в тот час в том зале, как жаль, что невозможно было тогда разделить с ней то, что меня волновало и питало мое воображение. И еще я думал — только бы судьба не устроила из этого нечто смешное, такое, что потом самому будет стыдно вспоминать...

Почему-то вспомнилась мне мать в раннем детстве... Помню ясное зимнее утро, редко падающий снежок на бульваре, она, глядя мне в лицо улыбающимися глазами, застегивает пуговицы на распахнутом моем пальтеце и что-то говорит, а я бегу от нее, и она весело догоняет меня, и плывет над нашим городком колокольный звон из церкви на пригорке, где в тот час служит мой отец, провинциальный дьякон, человек, истово верующий и в то же время, как я теперь догадываюсь, прекрасно понимавший всю условность того, что создано человеком от имени и во имя Бога... А я, при всем сочувствии к нему, пошел совсем иным путем, не таким, как он желал. И мне становилось тягостно от сознания того, что отец ушел в мир иной в согласии с собой, а я мечусь, отрицаю прошлое, хотя и восторгаюсь при этом былым величием, могучей выразительностью этой некогда весильной идеи, пытавшейся, распространяясь из века в век, обращать души необращенных на всех материках и островах, с тем чтобы навсегда, на все времена утвердиться в мире, в поколениях, в воззрениях, сдерживая и отводя, как громоотвод отводит молнию в землю, вечный вызов вечно мятежных человеческих сомнений в глубины покорности. Благодарности, им — Вере и Сомнению, силам бытия, обоюдно движущим жизнь.

Я родился, когда силы сомнения взяли верх, порождая в свою очередь новые сомнения, и я продукт этого процесса, преданный анафеме одной стороной и не принятый со всеми моими сложностями дру-

гой стороной. Ну что ж, на таких, как я, история отыгрывается, отводит душу... Так думал я, слушая староболгарские песнопения.

А песни те пелись одна за другой, пелись в том зале, как эхо минувших времен. Библейские страсти в «Жертве вечерней», в «Избиении младенцев» и в «Ангеле вопиаше» сменялись суровыми пламенными песнями других мучеников за веру, и хотя все это во многом мне было известно, меня неизъяснимо пленяло само действие — то, как эти десятеро завораживали, претворяли знаемое в великое искусство, сила которого зависит от исторической вместимости народного духа — кто много страдал, тот много познал...

Вслушиваясь в голоса софийских певцов, опьяненных, вдохновенных собственным пением, вглядываясь в их мимику, я вдруг обнаружил, что один из них, второй слева, единственный светлый среди смугловатых и черноволосых болгар, очень похож на меня. Поразително было увидеть человека, так похожего на тебя самого. Сероглазый, узкоплечий — его, наверное, тоже в детстве звали хляком, — с длинными светлыми волосами, с такими же жилистыми тощими руками, он, возможно, так же преодолевал свою застенчивость пением, как мне подчас приходится преодолевать свою скованность, переводя разговор на близкие мне теологические темы. Можно представить себе, как глупо это выглядит, когда я завожу такие серьезные разговоры при знакомстве с женщинами. И обличем сероглазый певец был такой же — впалые щеки, нос с легкой горбинкой, лоб перерезан двумя продольными складками и — самое примечательное — борода точь-в-точь такая, как у меня до того, как я ее сбрил. Потянувшись невольно к былой бороде, я снова вспомнил, что завтра мне предстоит отправиться в путь-дорогу вместе с добытчиками анаши. И диву дался, подумав об этом: куда я еду, зачем? Какой контраст — божественные гимны и темные страсти привокзальных Утюгов по дурному дыму от дурной травы. Но во все времена настоящая людская жизнь с ее добром и злом протекала за стенами храмов. И наша современность не исключение...

Вот такое совпадение обликов обнаружил я на том концерте. Потом я уже не спускал глаз со своего двойника, следя за тем, как он пел, как вытягивалось его лицо, как разверзлся рот, когда он брал самые высокие ноты. И сочувствуя ему, я представлял себя на его месте, точно бы он был моим перевоплощением. Таким образом я как бы участвовал в процессе пения. Во мне все пело, я слился с хором воедино, испытывая необыкновенное, доходящее до слез чувство братства, величия, общности, точно мы встретились после долгой разлуки — возмужалые, сильные, и торжествующие голоса наши возносятся к небесам, и земля под нами прочна и незыблема. И так мы будем петь сколько будет петься, петь бесконечно...

Так пели они и я с ними. Такое состояние чудесного забвения я испытываю обычно, когда слушаю старинные грузинские песни. Мне трудно объяснить отчего, но стоит запеть хотя бы троим грузинам, пусть самым обыкновенным, — и изливается душа, и дышит искусство, простое и редкое по соразмерности, по силе воздействия духа. Наверно, это у них особый дар природы, тип культуры, а может, просто от Бога. Мне непонятно, о чем они поют, мне важно, что я пою вместе с ними.

Думая об этом, я слушал певцов, и меня вдруг посетило озарение, мне открылась суть прочитанного однажды грузинского рассказа «Шестеро и седьмой». Небольшой рассказ, каких полно в периодической печати, и нельзя сказать, чтобы он чем-то выделялся, рассказ больше фабульный, чем психологический, скорее романтического склада, но финал этой истории запомнился мне надолго, финал почему-то засел во мне занозой.

Содержание рассказа, а вернее баллады, «Шестеро и седьмой» (сложную фамилию ее малоизвестного автора я не помню) тоже весь-

ма тривиальное. Пылает революция, идет кровопролитная гражданская война, революция утверждает себя в последних схватках с врагом, и в Грузии, стало быть, типичный исторический исход — советская власть побеждает, все больше вытесняя последние остатки вооруженных контрреволюционеров даже из самых глухих горных селений. Действует основной в таких случаях закон — если враг не сдастся, его уничтожают. Но жестокость порождает ответную жестокость — это тоже давний закон. Особенно яростно сопротивляется отряд удалого Гурама Джохадзе, отлично знавшего окрестные горы, бывшего пастуха-конника, а ныне дерзкого неуловимого налетчика, запутавшегося в классовой борьбе. Но и его дни уже сочтены. В последнее время он терпит поражение за поражением. В отряд Гурама подослан чекист, который, рискуя быть раскрытым — со всеми вытекающими отсюда последствиями, входит в доверие Гурама Джохадзе, становится одним из его соратников. Он устраивает так, что, отступая после большого боя с поредевшим от потерь отрядом, Гурам Джохадзе попадает на речной переправе в засаду. Когда они на бешеном скаку достигают берега и бросаются в реку, чекист сваливается с коня возле зарослей: у него якобы обрывается подпруга. А большая ватага конников Джохадзе преодолевает на разгоряченных лошадях перекаты широкой горной реки, и на самой ее середине, где они открыты со всех сторон, два заранее установленных и замаскированных станковых пулемета косят их с двух берегов, берут их в перекрестный кинжальный огонь. Дикая свалка, люди погибают, захлебываясь в горной реке, но Гурам Джохадзе — судьба его бережет! — успевает вырваться из-под обстрела, поворачивает вспять и благодаря своему могучему коню уносится вдоль берега по зарослям. А за ним мчатся несколько верных всадников, оставшихся в живых, и среди них чекист, немедленно присоединившийся к ним, как только он понял, что операция не вполне удалась и что главарь уходит от расправы.

Этот пулеметный расстрел на реке означал окончательный разгром отряда Джохадзе, фактически полное его истребление.

Когда, оторвавшись наконец от преследователей, Гурам Джохадзе останавливает загнанного коня, выясняется, что от отряда вместе с Гурамом Джохадзе осталось всего семь человек, и седьмым был чекист — звали его Сандро. Отсюда, очевидно, и название рассказа — «Шестеро и седьмой».

Сандро имел приказ во что бы то ни стало ликвидировать главаря банды — Гурама Джохадзе. Голова его оценивалась в большую сумму. Но дело было даже не в сумме, а в том, как осуществить этот приказ теперь, когда уже было ясно, что Джохадзе больше не вступит в бой, где его можно было бы подстрелить; ведь нынче, когда он остался, по сути дела, один, как загнанный в ловушку зверь, он, рассчитывая лишь на себя, на свою личную ловкость, будет чрезвычайно бдителен. Было ясно, что Джохадзе не отдаст свою жизнь без борьбы до последнего издыхания...

И вот развязка этой истории — она взволновала меня больше всего...

После жестокого разгрома на реке Гурам Джохадзе, знавший все ходы в ущельях, поздним вечером того дня останавливается в одном труднодоступном месте — в горном лесу близ турецкой границы. И все они, шестеро и седьмой, едва расседлав коней, валяются от усталости наземь. Пятеро тут же засыпают мертвым сном, а двое не спят. Не спит чекист Сандро, его мучает забота — он обдумывает, как ему теперь быть, как лучше достичь своей цели, как осуществить возмездие. Не спит после сокрушительной катастрофы и удалой Гурам Джохадзе — он переживает разгром отряда, его мучает завтрашний день. И лишь один Бог ведает, о чем еще думали эти двое непримиримых врагов, разделенных революцией.

Полная луна стояла справа от их изголовья, лес шевелился по-

ночному тяжко и глухо, внизу неумолчно шумела по камням река, и горы вокруг замерли в каменном молчании. И тут Гурам Джохадзе неожиданно вскочил, словно чем-то обеспокоенный.

— Ты не спишь, Сандро? — удивленно спросил он седьмого.

— Нет, а ты что вскочил? — в свою очередь спросил Сандро.

— А ничего. Сон не идет, не ложится мне что-то на этом месте, луна сильно светит. Пойду лягу в пещере. — И Джохадзе взял свою бурку, оружие и седло под голову и, уходя, добавил: — Об остальном поговорим завтра. Теперь нам недолго осталось разговаривать.

И с этим ушел, устроился в устье пещеры — в бытность свою пастухом он не раз укрывался здесь от непогоды — вот и теперь то ли укрылся переживать свою бескрайнюю беду, то ли предчувствие подсказало ему расположиться так, чтобы к нему ниоткуда не подойти и чтобы он, наоборот, видел любого, кто приближается к пещере. Сандро забеспокоился: как понять этот, казался бы, здравый поступок главаря? Что, если он начал о чем-то догадываться?

Так прошла у них та ночь, а наутро Гурам Джохадзе велел седлать коней. И никто не знал, что у него на уме и что намерен он предпринять. И когда лошади были уже оседланы и все молча стояли перед ним, держа коней под уздцы, он со вздохом сказал:

— Нет, не годится так уходить с родной земли. Будем сегодня прощаться с землей нашей, взрастившей нас, а потом разбредемся кто куда. Но пока мы еще здесь, будем как у себя дома.

Он отправил двоих конников в ближайшее селение, где у него были верные люди, за вином и едой, еще двоих, Сандро и другого парня, оставил собирать сушняк для костра и стеречь лошадей, а сам с двумя оставшимися пошел на охоту — подстрелить, если удастся, какую-либо дичь, а то и косулю на прощальный ужин.

Чекисту Сандро ничего не оставалось как подчиниться и ждать подходящего момента, когда он сможет привести в исполнение приказ. Но пока что такой удобной ситуации не возникало.

Вечером все шестеро и седьмой снова собрались вместе: на краю леса возле пещеры разложили костер, расставили на холстине, привезенной из селения, хлеб, вино, соль, еду, что передали им на прощание верные люди Гурама Джохадзе. Костер разгорелся вовсю. Семеро приблизились к огню.

— Все ли кони оседланы и все ли готовы стать на стремя? — спросил Гурам Джохадзе.

В ответ все молча кивнули головами.

— Слушай, Сандро, — заметил Гурам Джохадзе, — дрова ты хорошие собрал, сильно горят, но почему ты оставил их так далеко от костра?

— Не беспокойся, Гурам, это моя забота, отвечать за огонь буду я. А ты скажи свое слово.

И тогда Гурам Джохадзе сказал:

— Други мои, мы проиграли свое дело. Когда стороны воюют, кто-то побеждает, кто-то терпит поражение. На то они и воюют. Мы проливали кровь, и нашу кровь проливали. Много сынов и с той и с другой стороны сложили свои светлые головы. Что было, то было. Прощения прошу у погибших друзей и погибших врагов. Когда враг погибает в бою, он перестает быть врагом. Будь я сейчас на коне, я все равно просил бы прощения у погибших. Но судьба отвернулась от нас, потому и народ в большинстве своем отвернулся от нас. И даже земля, на которой мы родились и выросли, не желает, чтобы мы оставались на ней. Нам нет на ней места. И нет нам прощения. Если бы я был победителем, я бы не миловал своих врагов, говорю это как перед Богом. Сейчас у нас только один выход — унести свои головы в чуждальные стороны. Вон за той большой горой — Турция, рукой подать, а чуть в стороне, за хребтом, над которым поднимается луна, — Иран. Выбирайте, кому куда. Сам я отправляюсь в Турцию,

в Стамбул, буду там грузчиком на пароходах. Каждый из нас должен сейчас решить, где ему преклонить голову. Нас осталось семеро. И через некоторое время мы, один за другим, отправимся на чужбину в семь разных сторон. Разбредясь по свету, каждому предстоит испить свою горькую чашу. Больше мы никогда не увидимся. Это последний день, когда мы, семеро оставшихся в живых, вместе и когда мы видим и слышим друг друга. Так давайте же попросимся друг с другом и попросимся с землей нашей, попросимся с грузинским хлебом и солью, попросимся с нашим вином. Такого вина больше нигде не пригубишь. Простившись, мы разойдемся каждый в свою сторону. Мы ничего не уносим с собой, даже песчинки с грузинской земли. Родину невозможно унести, можно унести только тоску, если бы родину можно было перетаскивать с собой, как мешок, то цена ей была бы грош. Так выпьем напоследок и споем напоследок наши песни...

Вино было бурдючное, крестьянское, в нем сочеталось земное и небесное. Оно пробудило удалой хмель и желание излить свою печаль, в душах заново боролись веселье и грусть. И песня полилась сама по себе, как пробивается вдруг родник среди камней на горном склоне, и всему, что будет соприкасаться с его водой на всем пути,— тому цвести и умножаться. И тихо завели они песню отцов, и тихо нарастала она, гортанно журча, как родник со склона,— все семеро превосходно пели, ибо нет непоющего грузина, пели слаженно, каждый по-своему и в свою силу, и песня разгоралась, подобно костру, вокруг которого они стояли.

Так начиналось прощальное песнопение семерых, вернее шестерых и седьмого, который, однако, не забывал ни на минуту о том, что ему предстояло совершить. Никто из них, и прежде всего Гурам Джохадзе, не должен был уйти безнаказанно за границу. Этого он, чекист, допустить не мог — так гласил полученный им приказ. И он должен был выполнить этот приказ.

А песни пелись одна за другой, и пилось вино, которое чем больше пьешь, тем охотнее оно пьется, и тем сильнее горит душа, жаждущая снова и снова вина и песни.

Они стояли в кругу, иногда возложив руки на плечи друг другу, иногда уронив их плетьюми, а когда хотели, чтобы их услышала божественная сила, неведомая и неотвратимая, но всевидящая и всезнающая, воздевали руки к небу. Как же так, если Бог все видит и все знает, куда он гонит их с земли своей? И почему так устроено, что люди воюют и борются между собой, что льется кровь, льются слезы, и каждый считает себя правым, а другого неправым, и где же истина, и кто ее вправе изречь? Где тот пророк, который бы их рассудил по справедливости?.. Не об этом ли, не об этих ли вылившихся в напеве страданиях, пережитых давным-давно, осмысленных отцами как изначальный опыт добра и зла, прочувствованных в их красоте и вечности, пелось в тех старинных песнях, сохраняемых в памяти народа? И потому в устах тех семерых от одной песни рождалась другая и они не размыкали круга, но седьмой, Сандро, время от времени покидал круг, чтобы поднести дров и подложить в костер. Не зря, пожалуй (на все ведь есть своя причина в жизни), не зря сложил он сушняк в лесу огромной кучей, зато теперь сам заведовал огнем. И песни он пел, как все, от души — ведь песни принадлежат всем в равной мере. Нет песен, которые бы пелись только царями, а другим их нельзя было бы петь, как нет таких песен, которые были бы достойны только черни. Пой, веселись, грусти и плачь, танцуй, покуда жив...

Кого ты любил, кого, трепеща, ждал на свидание, кто разлюбил тебя, и как страдал ты и как хотел, непонятый, умереть, и чтобы песню твою предсмертную услышала бы она, и как ласкала мать тебя в детстве, и где голову отец сложил, как други бились в бою кровавом, ка-

ким богам ты душу открывал в порыве чистом и бескорыстном; и думал ли, что такое рождение человека, и думал ли, что смерть всегда с тобой, пока ты дышишь, а после смерти смерти нет, но жизнь выше смерти, нет меры в мире выше жизни — и потому избеги смертоубийства, но коли враг пришел на землю, землю свою защити; и честь любимой береги, как землю родную; изведал ли, что есть разлука и что разлука тяжка, как тяжело на себя взвалить гору, что без любимой ничто не отрадно: ни цвет, ни свет, ни день грядущий, — да и мало ли о чем поется в песнях — всего не перескажешь...

И не было в ту ночь людей родней и ближе меж собой, чем эти семеро грузин, поющих горестно и вдохновенно в час разлуки. Стихия песен сблизала их еще тесней. Как много все же сумели предки пережить и придумать впрок для потомков задушевных слов, полных бессмертной гармонии. Как по полету можно отличить птицу, так по песне грузин грузина отличит за десять верст и скажет, кто он, откуда он, что с ним, что на душе у него, — на свадьбе развеселой был или горе его томит...

Уже луна довольно высоко поднялась над горами, луна заливала мягким светом всю землю — лес вкрадчиво покачивался темными верхушками от дуновения ветра, река приглушенно шумела, поблескивая, переливаясь влажным серебром по валунам, ночные птицы, как тени, неслышно пролетали над головами поющих у костра, и даже лошади, оседланные, терпеливо ждущие хозяев, прядали чуткими ушами, и в глазах их плясали огненные блики... Тем лошадям был уготован путь в чужие страны, и тот час приближался...

Но песням, казалось, конца не будет, за все отпеться решил, должно быть, Гурам Джохадзе: «Так пойте, други, пейте вино, нам больше вместе не собраться в круг, и слух наш не ублажат грузинские напевы»... То пели порознь, то вместе, то танцевали под собственный аккомпанемент истово и яро, как перед смертью, и снова становились в круг те семеро, вернее шестеро и седьмой. Сандро же то и дело выходил из круга — дрова подбрасывал в огонь, и жарко-жарко горел костер.

Решили спеть последнюю песню, потом еще, еще одну на прощанье, все не унимались и снова собрались в круг, склонили головы — и задумчиво и мощно нарастал, как гул из-под земли, напев. Сандро же снова отошел за дровами, хотя костер горел ярко. То был точный расчет — со стороны он отчетливо видел каждого из шестерых, стоящих в кругу, а тем, что пели у спящего зрение костра, он плохо был виден... Тяжелый маузер был уже готов — на взводе. Настал неотвратимый час расплаты, час возмездия. Вскинул многозарядный скорострельный маузер, опустил на руку для опоры и первым выстрелом, прогрохотавшим во тьме подобно грому, свалил главаря Гурама Джохадзе и тут же, не умерли еще слова песни, слетавшие с уст, уложил подряд всех остальных, и они даже не успели понять, что произошло. И так и еще раз в порочной круговерти убиений, и еще раз за пролитую кровь кровь пролил.

Да, законы человеческих отношений не поддаются математическим исчислениям, и в этом смысле Земля вращается, как карусель кровавых драм... Так неужто карусели этой дано кружить до самого скончания света, пока вращается Земля вокруг Светила?

Огонь был метким, и лишь один вдруг судорожно приподнялся на руках, но Сандро подскочил к нему и уложил выстрелом в затылок... Кони шарахнулись в испуге и снова замерли на привязях...

Костер еще горел, река шумела, лес и горы — все на месте, и луна на своем месте в невозмутимой высоте, только оборвалась песня, так долго звучавшая в тот вечер...

Лицо Сандро в ночи было бело как мел, он задышался, схватил бурдюк с оставшимся на дне вином и, обливаясь, захлебываясь, стал пить, чтобы залить огонь внутри... Потом отдышался, спокойно обо-

шел убитых, что в разных позах лежали вокруг костра. Затем снял оружие убитых, привесил к лукам их седла, сбросил уздечки и недоуздки с конских голов и отпустил коней на волю. Отпустил всех семерых коней, в том числе и своего гнедого... И смотрел, как они, почувавши свободу, гуськом пошли в низовья, в предгорное селение к людям... Ведь лошади всегда идут туда, где живут люди... Но вот стих и цокот подков, и скрылись в зыбкой лунной придымленности идущие цепочкой силуэты лошадей внизу...

Все было сделано. Сандро еще раз молча обошел шестерых, сраженных наповал, и, отойдя чуть в сторону, приставил дуло маузера к виску. Еще раз выстрел прозвучал в горах коротким эхом. Теперь он был седьмым, отпевшим свои песни...

Так завершилась та грузинская баллада.

Об этом я вдруг вспомнил, слушая в музее болгарских певцов, исполнявших староболгарские церковные песнопения. Эти песнопения были созданы людьми, возвышенно и даже истступленно взывающими из тьмы веков к Всевышнему, сотворенному ими же, к нереальности, превращенной ими же в духовную реальность, людьми, убежденными, что они так одиноки в этом мире, что лишь в песнях и молитвах они найдут Его.

Я вспомнил и пережил всю ту историю в какие-то секунды. По сравнению со скоростью мышления скорость света — ничто; мысль, что, уходя в прошлое, может двигаться в обратном направлении во времени и в пространстве, быстрее всего...

Теперь я поверил, что так оно и могло быть в те годы в самом деле. В заключение рассказа «Шестеро и седьмой» автор писал, что Сандро, то есть седьмой, был посмертно награжден каким-то орденом.

Но когда б трагедии гражданских войн не оборачивались трагедиями нации, когда б сопротивление одних истории нововходящей и нетерпение других в борьбе за ускорение этой же истории не переменили жизнь на корню, откуда бы эти страшные борозды на пашне революции и разве имела бы грузинская баллада такой исход?.. Цена ценою познается... Ведь тот, седьмой, мог бы торжествовать, остаться жить, но он не остался — по причинам труднообъяснимым. Всякий может истолковать их по-своему. А мне в тот час, когда я плыл в ладье болгарских песнопений под белым парусом возвышенного духа, что вечно бороздит вдали скрытый океан бытия, подумалось, что причиной такого завершения грузинской были послужили песни, в которых заключалась вера всех семерых...

Когда открытие делаешь для себя, все в тебе согласно и наступает просветление души. Глядя, как праведно, преданно и вдохновенно сияли глаза софийских певчих, поющих заветные гимны, как лица их от напряжения покрылись обильным потом, завидовал, что я не среди них, что я не тот, не мой двойник.

И на той волне нахлынувшего просветления подумалось вдруг: откуда все это в человеке — музыка, песни, молитвы, какая необходимость была и есть в них? Возможно, от подсознательного ощущения трагичности своего пребывания в круговороте жизни, когда все приходит и все уходит, вновь приходит и вновь уходит, и человек надеется таким способом выразить, обозначить, увековечить себя. Ведь когда все кончится, когда наступит тот грядущий через миллиарды лет конец света и планета наша умрет, померкнет, какое-то мировое сознание, пришедшее из других галактик, должно непременно услышать среди великого безмолвия и пустоты нашу музыку и пение. Вот ведь что неистребимо вложено в нас от сотворения — жить после жизни! Как важно осознавать человеку, как необходимо быть уверенным ему в том, что такое продление себя возможно в принципе: Наверное, люди додумаются оставить после себя какое-то вечное автоматическое устройство, некий вокально-музыкальный вечный двига-

тель — это будет антология всего лучшего в культуре человечества за все времена, и верилось мне, когда я наслаждался пением певчих, что те, кто услышит эти слова и музыку, смогут понять, почувствовать, какими противоречивыми существами, какими гениями и мучениками были люди на земле, единственные обладатели разума.

Жизнь, смерть, любовь, сострадание и вдохновение — все будет сказано в музыке, ибо в ней, в музыке, мы смогли достичь наивысшей свободы, за которую боролись на протяжении всей истории начиная с первых проблесков сознания в человеке, но достичь которой нам удалось лишь в ней. И лишь музыка, преодолевая догмы всех времен, всегда устремлена в грядущее... И потому ей дано сказать то, чего мы не смогли сказать...

Посматривая на часы, я не без ужаса ожидал, что кончится концерт в любимом мною Пушкинском музее и мне предстоит отправиться на Казанский вокзал, совсем в иной мир, и погрузиться в совсем иную жизнь, ту, что колобродит испокон веков в омутах суеты и коловращений, где божественные песни не звучат да и ничего не значат... Но именно поэтому я должен быть там...

V

Минуло полдня, поезд уже шел по приволжским краям, и в купированных вагонах успел установиться свой, насколько это возможно, стабильный дорожный быт, рассчитанный на много дней пути, а в общем вагоне, в котором ехал Авдий Каллистратов, шла, можно сказать, коммунальная жизнь. Народ ехал разный, и у каждого была своя причина следовать в поезде. И все это было в порядке вещей — людям надо, люди едут. И среди них — гонцы за анашой, попутчики Авдия Каллистратова. Он догадывался, что гонцов в этом поезде ехало с добрый десяток, но сам он пока знал только двоих — тех, к которым приставил его на вокзале разбитной носильщик Утюг. То были мурманские молодчики — один постарше, Петруха, лет двадцати, и второй совсем еще мальчик, шестнадцати лет, звали его Леней, но и он, Леня, отправлялся на промысел уже во второй раз. Оттого считал себя бывалым волком и даже кичился тем. Держались мурманчане поначалу сдержанно, хотя и знали, что Авдий, Авдяй, как стали они его звать на северный лад, свой человек, что начинает он в гонцах по рекомендации надежных людей. Разговаривать намеками о делах пришлось в основном в тамбуре, на перекурах. Народ теперь не терпел уже курящих в вагоне — при таком скоплении и при без того спертom воздухе. Вот и выходили в тамбур поболтать да покурить. Первым обратил внимание, что курит Авдий не так, как следовало бы людям их пошиба, Петруха:

— А ты, Авдяй, сроду не курил, что ли? Как дамочка какая, боишься, что ли, затянуться?

Пришлось соврать:

— Курил когда-то, да бросил...

— Оно и видно, а я вот сызмальства привык. А наш Леня — тот куряка так куряка, как дед какой смолит, да и выпить при случае не пропустит. Сейчас нам, правда, нельзя, зато потом врежем.

— Так ведь мал он еще!

— Кто мал. Леняка? Мал, да удал. Ты-то вот вроде впервой движешься по крупному делу, это тебе не шабашка какая. А он уже все ходы-выходы знает, будь здоров!

— И травку тоже потребляет или в гонцах только ходит? — поинтересовался Авдий.

— Леняка-то? А то как же, курит. Теперь все курят. Так ведь курить надо с умом, — стал рассуждать Петруха. — Иные есть — наглотаются до умопомрачения, такие в дело не годятся. Это тухляки. Завалят всю малину. Травка — она какая, она — радость приносит, на душе рай от нее.

— А отчего радость?

— А оттого, вон, скажем, маленький ручеек протекает, его перешагнуть да переплюнуть, а для тебя он — река, океан, благодать. Вот тебе и радость. А ведь радость — дело какое, откуда взять ее — радость? Ну, к примеру, хлеб купишь, одежду купишь, обувку тоже купишь, водку все пьют тоже за деньги. А от травки, хоть и деньги платятся немалые, — приятность особая: ты будто во сне, и все вокруг ну прямо как в кино. Только разница в том, что кино gazeют сотни да тысячи, а тут ты сам по себе только, и никому нет дела, а кто сунется, тому можно и в рыло дать, не твое, мол, дело, как хочу, так и живу, не лезь в чужой огород. Вот ведь оно какой оборот! — И помолчав, намекнул хамовато, щура острые глаза: — А то, Авдьяй, попробуешь, может, травки, покайфуешь для приятности, могу уделить из личных запасцев...

— Да я уж своего попробую, — отказался Авдьяй, — вот когда свой пай добуду, тогда другое дело.

— Тоже верно, — согласился Петруха, — свое есть свое. — Помолчал и решил высказаться дальше: — В нашем деле, Авдьяй, главное — осторожность, потому как все вокруг наши враги: каждая бабка, каждый ветеран с медалехой, каждый пенсионер, а о других и говорить нечего. Всем так и хочется, чтобы нас засудили да рассказали подальше по каторгам, чтобы с глаз долой. А потому правило у нас такое — веди себя вроде ты никто, неприметная серая птичка, пока свой куш не сорвал. А потом знай наших! Когда деньги в кармане, пошли они все к такой-то матери... А если что, Авдьясь, умри-подохни, но своих не выдавать. Это закон. А не выдержишь, так и так — хана, пришить могут как собаку. Хоть и в зоне, а все равно достанут. Это тебе не шуточки-игрушечки...

Выяснялось постепенно, что Петруха где-то на строительствах разных работал, а как лето наступало, отправлялся в приморские края, знал места, богатые анашой. Говорил, заросли есть такие, особенно по балкам, завались, хоть на весь мир хватит. Дома у него только мать была престарелая, пьющая. Братья разъехались кто куда, в Заполярье, на газопровод. Защибают, как выразился, бедолаги, деньги то в холодах, то в гнусе сплошном. А он прогуляется разок в Азию-косоглазию, и хоть весь год живи поплеывая себе в потолок, только бы слюны хватило. А у его напарника Леньки дела семейные обстояли еще хуже. Матери не знал. Определен был в Дом малютки. А когда было ему года три, какой-то мурманский капитан дальнего плавания, что главным образом на Кубу ходил, заявился с женой в приют и взял по всем правилам мальчишку на усыновление. Детей своих у них не было. А через пять лет все пошло прахом. Жена капитана укатила с кавалером куда-то в Ленинград. Капитан запил, перешел на портовые работы. Ленька учился в школе кое-как, жил то у тетки капитана, то у брата его, бухгалтера, а у того жена — цербер, и так и пошло все одно к одному, и отбилась малый от рук, остервенел. Ушел от капитана насовсем. Пристроился у одного инвалида войны, бывшего подводника, одинокого, доброго, но влияния на Леньку не имевшего. Парень жил как хотел. Захотелось куда-то закатиться — закатился. Захотелось вернуться — объявился. И вот уже второй сезон Ленька отправлялся гонцом за анашой, да и сам, похоже, пристрастился к этому зелью дурному, а ведь ему всего шестнадцать лет, и впереди вся жизнь...

Авдию Каллистратову стоило немалой выдержки не реагировать на все вопиющие подробности, поскольку он поставил себе задачу — постичь природу этих явлений, затягивающих в свои тенета все новых и новых молодых людей. И чем больше вникал он в эти печальные истории, тем больше убеждался, что все это напоминало некое подводное течение при обманчивом спокойствии поверхности житейского моря и что помимо частных и личных причин, порожд-

дающих склонность к пороку, существуют общественные причины, допускающие возможность возникновения этого рода болезней молодежи. Причины эти на первый взгляд было трудно уловить — они напоминали сообщающиеся кровеносные сосуды, которые разносят болезнь по всему организму. Сколько ни вдавайся в эти причины на личном уровне, толку от этого мало, если не вовсе никакого. Тут необходимо было как минимум написать целый социологический трактат, а лучше всего открыть дискуссию — в печати и на телевидении. Вон он чего захотел, ну точно пришелец... А он и был таковым, если учесть его семинаристскую ограниченность и неведение повседневной жизни. Потом он убедится: никто не заинтересован в том, чтобы о подобных вещах говорилось в открытую, и объяснялось это всегда соображениями якобы престижа нашего общества, хотя, по сути дела, речь шла прежде всего о нежелании рисковать лишней раз своим положением, зависящим от мнения и настроения других лиц. Видимо, для того чтобы поднять тревогу о неблагополучии в какой-то части общества, помимо всего прочего нужно было еще не бояться поступить во вред себе. К счастью и несчастью своему, Авдий Каллистратов был свободен от бремени такого затаенного страха. Но пока все эти житейские открытия были впереди. Он только вступал на этот путь, только соприкасался с той стороной действительности, которую он из сострадания к заблудшим душам жаждал познать на собственном опыте, чтобы помочь хотя бы некоторым из этих людей и не нравочениями, не упреками и осуждением, а личным участием и личным примером доказать им, что выход из этого пагубного состояния возможен лишь через собственное возрождение и что в этом смысле каждому из них предстоит совершить революцию в масштабах хотя бы своей души. Но опять же он не предполагал, как дорого придется платить за такие прекраснодушные идеи.

Молод был. Разве что только молод был... А ведь как изучал в семинарии историю Христа — переносил Его муки на себя в такой степени, что плакал навзрыд, когда прочел, как в Гефсиманском саду Его предал Иуда! О, какое крушение мироздания видел он в том, что Христа распяли в тот жаркий день, на той горе на Лысой. Но не подумал в ту пору малоопытный юнец: а что, если существует на свете закономерность, согласно которой мир больше всего и наказывает своих сынов за самые чистые идеи и побуждения духа? Быть может, стоило подумать: а что, если это есть форма существования и способ торжества таких идей? Что, если это так? Что, если именно в этом — цена такой победы?

Хотя еще в самом начале был как-то об этом разговор с Виктором Городецким, которого, несмотря на небольшую разницу в годах, Авдий величал Никифоровичем. А разговор зашел перед тем, как Авдий уже решился порвать с духовной семинарией.

— Что мне сказать? Видишь ли, отец отрок, ты не обижайся, Авдий, что подчас отцом отроком тебя зову, но сочетание уж больно хорошее, — размышлял Городецкий, когда они пили чай у него дома. — Ты уйдешь из семинарии, а скорей всего тебя отлучат от церкви, я уверен, что наставники твои не допустят, чтобы ты покинул их, бросив им вызов... Тем более, что ты уходишь по причине, так сказать, редкой и очень неприятной для церкви — не потому, что ты какую-нибудь несправедливость испытал, не из-за обиды, притеснений и не потому, что поскандалил с каким-нибудь лицом церковным, нет, отец отрок, церковь перед тобой ни в чем не виновата... Ты порываешь, так сказать, по чисто идейным соображениям.

— Да, Виктор Никифорович, это так. Прямых причин нет, это было бы слишком просто — обида. Дело вовсе не во мне, а в том, что традиционные религии на сегодняшний день безнадежно устарели, нельзя всерьез говорить о религии, которая рассчитана была на родовое сознание пробуждающихся низов. Сами понимаете, если

история сможет выдвинуть новую центральную фигуру на всемирном горизонте верований — фигуру Бога-современника с новыми божественными идеями, соответствующими нынешним потребностям мира, тогда еще можно надеяться, что вероучение будет чего-то стоить. Вот причина моего ухода.

— Понимаю, понимаю! — снисходительно улыбнулся Городецкий и, прихлебывая чай, продолжал: — Звучит все это вроде ошеломляюще. Но прежде чем коснуться твоей теории, должен сказать тебе, что сижу сейчас, чай пью и радуюсь самым натуральным образом, что мы с тобой не в средние века живем. Да за такую неслыханную ересь где-нибудь в католической Европе, в Испании или в Италии, только за то хотя бы, что ты осмелился сказать, а я имел неосторожность выслушать тебя, нас бы с тобой, отец мой отрок, вначале четвертовали бы, потом сожгли бы на костре, потом перемололи бы останки в порошок и развеяли бы по ветру. Ух как люто расправилась бы инквизиция с нами, и с каким удовольствием! Уж если священная инквизиция сожгла одного несчастного только за то, что в доносе на него было сказано, будто он позволил себе загадочно улыбнуться при упоминании непорочного зачатия, то надо думать...

— Виктор Никифорович, прости, но придется тебя перебить, — усмехнулся Авдий, нервно застегивая пуговицы черного семинарского сюртука. — Я понимаю, что немало развеселил тебя, но без шуток, если бы в наше время существовала инквизиция и если бы завтра мне грозило сожжение на костре за мою ересь, я не отказался бы ни от одного своего слова.

— Верю, — согласно кивнул Городецкий.

— Я пришел к этой идее не случайно. Я пришел к ней, изучив историю христианства и наблюдая над современностью. И я буду искать новую, современную форму Бога, даже если мне никогда не удастся ее найти...

— Это хорошо, что ты упомянул об истории, — прервал его Городецкий. — Теперь послушай меня. Твоя идея о новом Боге — это абстрактная теория, хотя в чем-то и чрезвычайно актуальная, выражаясь языком наших интеллектуалов. Это твои соображения, как прежде говорили, умственные выкладки. Ты программируешь Бога, а Бог не может быть умозрительно придуман, как бы это заманчиво и убедительно ни выглядело. Понимаешь, если бы Христос не был распят, он не был бы Господом. Эта уникальная личность, одержимая идеей всеобщего царства справедливости, вначале была зверски убита людьми, а затем вознесена, воспета, оплакана, выстрадана, наконец. Здесь сочетается поклонение и самообвинение, раскаяние и надежда, кара и милость — и человеколюбие. Другое дело, что потом все было извращено и приспособлено к определенным интересам определенных сил, ну да это судьба всех вселенских идей. Так вот подумай, что сильнее, что могущественней и притягательней, что ближе — Бог-мученик, который пошел на плаху, на крестную муку ради идеи, или совершенное верховное существо, пусть и современно мыслящее, этот абстрактный идеал.

— Я думал об этом, Виктор Никифорович. Вы правы. Но я не могу отрешиться от мысли, что настала пора пересмотреть прошлое, каким бы оно ни было незыблемым, представление о Боге, давно не соответствующее новым познаниям мира. Ведь это же очевидно. Не будем спорить. Очень возможно, что я иду от абстракции, ищу то, что не подлежит поискам. Ну что ж! Пусть мои мысли не совместимы с каноническим богословием. Я ничего не могу поделать с собой. Я был бы счастлив, если бы кто-нибудь мог переубедить меня.

Городецкий понимающе развел руками:

— Я тебя понимаю, отец Авдий. Но при всем при этом должен предостеречь тебя — богоискательство, в представлении церкви...

ков, самое страшное преступление против церкви, это равносильно тому, что ты вознамерился бы перевернуть весь мир вверх дном.

— Я это знаю,— спокойно сказал Авдий.

— Но еще больше не любят богоискательства в миру. Ты об этом думал?

— Это парадоксально,— удивился Авдий.

— Поживешь — увидишь...

— Но как же так? Здесь их позиции смыкаются?

— Не то что смыкаются, но никому это не нужно...

— Странно, самое нужное, выходит, никому не нужно...

— Думаю, тяжело тебе придется, отец Авдий. Я тебе не завидую, но и не останавливаю,— сказал напоследок Городецкий.

Прав он был. Во всем прав. Некоторое время спустя Авдий Каллистратов имел возможность в этом убедиться.

Небольшая история эта произошла перед тем, как быть ему изгнанным из семинарии. В этот день к ним в городок прибыло встреченное ректоратом на вокзале с большим почтением важное лицо — Координатор патриархии по учебным заведениям отец Димитрий. В семинаристской среде его так и звали — отцом Координатором. Благообразный и благоразумный человек средних лет, каким в идеале он и должен был быть, отец Координатор прибыл на этот раз в связи с чрезвычайным происшествием, виновник которого, один из самых лучших семинаристов, Авдий Каллистратов встал на путь ереси — открытой ревизии священного писания, выдвинув сомнительную идею о Боге-современнике. Разумеется, отец Координатор прибыл как наставник и миротворец, с тем чтобы силой своего авторитета вернуть заблудшего юношу в лоно церкви, не вынося размовку за ее стены. В этом смысле церковь мало чем отличается от светских институтов, для которых честь мундира важнее всего. Будь на месте Авдия Каллистратова человек более опытный в житейском плане, он так бы и воспринял отеческое намерение Координатора, но Авдий совершенно искренне не понял видного церковника, чем сильно осложнил его расчеты.

Авдий был вызван на беседу к отцу Координатору в середине дня и пробыл при нем часа три, никак не меньше. Поначалу отец Координатор предложил помолиться совместно у алтаря в академической церкви, устроенной в одном из залов главного корпуса.

— Сын мой, ты безусловно догадываешься, что у меня к тебе серьезный разговор, однако не будем спешить, сблаговоли проводить меня к алтарю Божьему,— попросил он Авдия, глядя на него выпуклыми красноватыми глазами,— чувствую, нам надо вначале помолиться совместно.

— Спаси вас, Господи, владыка,— сказал Авдий,— я готов. Лично для меня молитва есть контрапункт постоянных размышлений о Всевышнем. Мне кажется, мысль о Боге-современнике никогда не покидает меня.

— Не будем столь поспешны, сын мой,— сдержанно промолвил отец Координатор, поднимаясь с кресла. Он даже пропустил мимо ушей дерзновенную фразу о Боге-современнике, о контрапункте, многоопытный клирик не пожелал обострять разговор с самого начала. — Помолимся. Должен тебе сказать,— продолжал он,— чем больше я живу на свете, тем больше убеждаюсь в благости Божией, в беспредельной его милости к нам. И счастлив, что дано это почувствовать в самозабвенной молитве. Бесконечно все прощение Господне. Поистине Всевышний бесконечен в любви своей к нам. Возможно наши молитвы для него всего лишь легкомысленный лепет, но в них наше нерасторжимое единство с Богом.

— Вы правы, владыка,— проговорил Авдий, стоя в дверях.

И затем, поскольку зелен был еще и нетерпелив, не выдержал требуемую молитвенную паузу в беседе и сразу выложил свой козырь:

— Осмелюсь заметить, однако, что Бог в нашем понятии бесконечен, но поскольку мысль на земле развивается от познания к познанию, напрашивается вывод: Бог тоже должен иметь свойство развития. А как вы думаете, владыка?

И тут отец Координатор не смог уйти от ответа.

— Однако же ты горяч, сын мой,— проговорил он, глухо покашливая и оправляя на себе плотное облачение.— Не пристало так судить о Боге, пусть и по молодости. Нам не дано познать предвечного Творца. Он существует вне нас. Даже материализм признает, что мир существует вне нашего сознания. А Бог и подавно.

— Простите, владыка, но лучше называть вещи своими именами. Вне нашего сознания Бога нет.

— И ты уверен в этом?

— Да, потому и говорю.

— Ну что ж, не будем сразу ставить точки над «и». Допустим, мы устроим небольшую учебную дискуссию. К ней мы вернемся после молитвы. А пока, будь милостив, проводи меня в храм.

Уже один тот факт, что отец Координатор оказал Авдию честь помолиться вместе в академической церкви, по логике вещей должен был быть понят как знак доброжелательства, и семинарист, которому угрожало исключение, казалось бы, должен был воспользоваться этой благоприятной для него ситуацией.

Они шли по коридору — впереди отец Координатор, сбоку на полшага позади Авдий Каллистратов. Глядя на прямую осанку священника, на его уверенную поступь, на черную, свободную, ниспадающую до полу рясу, придававшую ему особую величественность, Авдий почувствовал в нем ту сложившуюся веками силу, которая в каждом человеческом деле, охраняя каноны веры, прежде всего соблюдает собственные интересы. С ней-то, этой исконно противостоящей силой, и предстояло ему столкнуться на пути поисков истины в жизни. Но пока они оба шли к Тому, в которого верили, каждый по-своему, и именем которого обязаны были внушать другим людям общие для всех мысли о мире и месте в нем человека. И тот и другой уповали на Него, поскольку Он был всезнающ и всемилостив. Итак, они шли...

В академической церкви в тот час было пусто, и потому она казалась не такой уж малой. В остальном это была церковь как церковь, разве что в глубине притемненного алтаря лик Христа в строгом обрамлении потемневших волос, с пристальным, взыскующим взглядом слишком уж белел, выхваченный матовой подсветкой. К Нему обратили взоры и мысли оба коленапреклоненных человека — пастырь и молодой обученец, пока еще не лишенный свободы собственного суждения. Каждый из них пришел сюда в надежде как бы на персональную беседу с Ним, ибо Он мог вести синхронный диалог в любое время суток с неисчислимым количеством желающих к Нему обратиться, практически со всем человечеством одновременно в любых точках земного пространства. В этом и была Его вездесущность.

И на этот раз все обстояло так же: творя молитву, каждый желал изложить вместе с тем и свои тревоги, и печали, и оправдания своих действий, исходящих из веры в Него, и каждый попытался соотносить себя с воображаемой вселенной, в которой он занимал столь микроскопическое место на столь микроскопический срок, и каждый, осеня себя крестом, благодарил Творца за то, что ему суждено было родиться на свет, и каждый просил, когда настанет последний из последних дней, дать ему умереть с Его именем на устах...

Потом они снова вернулись в тот кабинет к своим делам, и здесь состоялся открытый разговор с глазу на глаз.

— Так вот, сын мой, я не стану читать тебе нравоучений,— прозвнес для начала отец Координатор, располагаясь поудобней в кожаном кресле напротив Авдия Каллистратова, сидящего на стуле, сми-

ренно положив руки на худые колени, остро выступающие из-под серого семинаристского одеяния.

Авдий был готов к крутому разговору, и это несколько удивило его — он не увидел в глазах владыки ни гнева, ни иных недобрых побуждений, наоборот, отец Координатор внешне был весьма спокоен.

— Слушаю, владыка,— ответил покорно семинарист.

— Так вот, повторяю, я не стану распекать тебя и читать тебе нотации. Такие примитивные способы воздействия не для тебя. Но те речи, что ты себе позволяешь — и не так по легкомыслию, как по горячности,— не могут не вызывать досады. Но и при этом ты, наверно, заметил, что я говорю с тобой как с равным. Более того, ты достаточно умен... Скажу тебе откровенно: в интересах церкви, чтобы ум твой не противостоял ее учению, а служил бы безраздельно и безусловно заветам Господа. И я не скрываю этого. Хотя мог бы и за уши отодрать тебя по-отечески, поскольку хорошо знал твоего покойного батюшку и в добром был с ним взаимопонимании. Человек он был воистину христианских добродетелей и к тому же весьма образованный. Но вот судьба свела и с тобой, Авдий, с сыном покойного дьякона Иннокентия Каллистратова, выражаясь канцелярским языком, многие годы бывшего служителем церкви. И что же выходит? Не скрою, вначале был весьма наслышан о тебе с положительной стороны, но привели меня сюда теперь, как сам понимаешь, обстоятельства тревожного свойства. Получается, что ты встал на путь ревизии вероучения, будучи, если взять твой статус, всего лишь обученцем. Из твоих даже чисто случайных высказываний я успел убедиться, что заблуждения твои, пожалуй, больше возрастного характера. Хотелось бы так думать. Дело в том, что молодости в силу целого ряда причин свойственна особая самонадеянность, которая по-разному проявляется у разных лиц в зависимости от темперамента и воспитания. Слышал ли ты когда-нибудь, чтобы пожилой человек, изведавший немалые жизненные муки, разуверился бы в Боге к концу жизни или стал бы толковать на свой лад божественные понятия? Нет, такое если и случается, то несомненно случается крайне редко. Суть божественного все глубже познается именно с возрастом. Ведь все европейские философы, в частности так называемые французские энциклопедисты, начавшие в смутную предреволюционную эпоху атеистической штурм религии, который длится уже без малого триста лет, были, кстати сказать, молодыми людьми, не так ли?

— Да, владыка, они были молоды,— подтвердил Авдий.

— Ну вот видишь. Не говорит ли это о том, что молодости свойствен эдакий — модное сейчас слово — экстремизм, прежде всего потому, что это ее возрастная особенность?

— Да, но эти молодые люди, которые, на ваш взгляд, владыка, оказались экстремистами, имели, скажем для справедливости, к тому же еще довольно основательные убеждения,— вставил Авдий.

— Безусловно, безусловно,— поспешил согласиться отец Координатор,— но это особый вопрос. Во всяком случае, они не были священнослужителями, их отношение к религии было их частным делом, с них другой и спрос, а ты, сын мой, будущий пастырь.

— Тем паче,— перебил его Авдий,— ведь по идее люди должны всецело верить мне и моим познаниям.

— Не спеши,— нахмурился отец Координатор,— если ты не намерен взять в толк сказанное мной для твоего же блага, давай поговорим по-другому. Ну, во-первых, не тобой первым, не тобой последним овладевает дух противоречия на стезе постижения веры. Таких, как ты, засомневавшихся, церковь на своем веку знавала немало. Ну и что? В каждом великом деле неизбежны издержки. Такие преходящие моменты, случайности были и будут. Важно то, что они имеют совершенно неизбежный исход: или решительный отказ субъекта от своих сомнений и решительный его поворот с еще большим усердием

и рвением к неукоснительному признанию истинной веры, из чего вытекает прощение его вышестоящими отцами, или, в случае же упрямства и несогласия, исторжение оного еретика из лона церкви и предание его анафеме. Тебе ясно, что третьего пути не дано, что третий путь исключается? Новомыслие твое не может быть принято. Тебе ясно?

— Да, владыка, но я допускаю, что третий путь необходим не так мне, как самой церкви.

— Ну-ну,— насмешливо покачал головой отец Координатор.— Это же надо такое нагородить! — воскликнул он и с горьким злорадством предложил: — Так изложи, будь милостив, что это за третий путь ты готовал Священной церкви. Уж не революцию ли какую? Ведь такого еще не знала история...

— Преодоление вековой закостенелости, раскрепощение от догматизма, предоставление человеческого духу свободы в познании Бога как высшей сути собственного бытия...

— Остановись, остановись! — запротестовал отец Координатор.— Эта самодеятельность смешна, дорогой!

— Ну если вы исключаете самостоятельность мысли как таковую, то, к сожалению, владыка, нам не имеет смысла дальше разговаривать!..

— Вот именно — не имеет смысла! — разгорячился отец Координатор и встал с места. Голос его загудел: — Очнись, юноша, отринь гордыню! Ты на гибельном пути! Ты мнишь, несчастный, что Бог лишь плод твоего воображения, а потому сам человек почти Бог над Богом, тогда как само сознание сотворено небесной силой. Дай волю новомыслию, и ты на нет сведешь тысячелетние заветы и запреты, так дорого оплаченные людьми в прозрениях и муках, чтобы пронести божественные устои через все поколения. Вот куда ты метишь, ратуя за раскрепощение от догматизма, тогда как догматы даны по благодати Господа. Без новомыслий церковь может стоять, как стояла, а без догматов вероучения быть не может. И если уж на то пошло, запомни: догматизм — первейшая опора всех положений и всех властей. Запомни. Ты, якобы улущшая Бога новомыслием, на самом деле игнорируешь его. И ты готов собою подменить его! Но благо не от тебя и не от подобных тебе зависит, как Богу с нами быть,— твое же богохульство уничтожает только тебя самого. А Господь пребудет неизменно и вечно! Аминь.

Авдий Каллистратов стоял перед отцом Координатором с побелевшими губами: ему было мучительно его бурное негодование. И все-таки он не отступался:

— Простите меня, владыка, не стоит приписывать небесным силам, что происходит от нас самих. Зачем было бы Богу создавать нас столь несовершенными, если бы Он мог избежать того, чтобы мы, Его творения, сочетали в себе одновременно две противоположные силы — силы добра и силы зла. Зачем бы Ему понадобилось делать нас столь подверженными сомнениям, порокам, коварству даже в отношениях с Ним самим. Вы ратуете за абсолют вероучения, за конечное раз и навсегда постижение сущности мира и нашего духа, но это же нелогично — неужто за две тысячи лет христианства мы не в состоянии добавить ни одного слова к тому, что было сказано едва ли в не добиблейские времена? Вы ратуете за монополию на истину, но это по крайней мере самообман, ибо не может быть такого учения, даже богоданного, которое бы раз и навсегда познало истину до конца. Ведь если это так, значит, это мертвое учение.

Он замолчал, и в наступившей тишине слышно стало, как зазвонил за окном колокол городской церкви. Так близок и так знаком был тот колокольный звон — символическая связь между человеком и Богом, и Авдию хотелось уплыть, удалиться, исчезнуть, как эти звуки, в бесконечности...

— Ты слишком далеко заходишь, молодой человек, — промолвил отец Координатор холодным, отчужденным тоном. — Мне не следовало бы заводить с тобой теологические споры, ибо твои познания весьма незрелы и даже сомнительны, — не говоришь ли ты по наущению врага рода человеческого — дьявола? Но одно скажу тебе на прощание: тебе с такими мыслями не сносить головы потому, что и в миру не терпят тех, кто подвергает сомнению основополагающие учения, ведь любая идеология претендует на обладание конечной истиной, и ты с этим непременно столкнешься. А жизнь мирская куда жестче, чем может показаться, и ты еще заплатишься за свое недомыслие и еще припомнишь наш разговор. Но довольно, готовься уходить из семинарии, ты будешь отлучен от церкви — дома Божьего!

— Моя церковь всегда будет со мной, — не отступался Авдий Каллистратов. — Моя церковь — это я сам. Я не признаю храмов и тем более не признаю священнослужителей, особенно в сегодняшнем их качестве.

— Что ж, мальчик, дай Бог, чтобы все обошлось, но можешь быть уверен: мир научит тебя слушаться, ибо там существует насущная необходимость — добывать себе кусок хлеба. И эта необходимость до сих пор повелевала жизнью миллионов таких, как ты...

Предостережения эти потом действительно припомнились не раз и не два, но в всякий раз Авдию Каллистратову казалось, что главное в его предназначении, некий высший смысл — еще впереди, как черта видимого горизонта, что все перипетии и житейские невзгоды на пути к нему лишь временны и что настанет день, когда многие люди последуют его примеру, а не в этом ли цель его существования?

В те дни, когда он ехал вместе с гонцами за анашой в конопляные степи, глядя с утра до вечера на пустынные просторы из окна поезда, он говорил себе: «Ну вот, теперь ты сам по себе, ни с чем не связан, кроме задания редакции, во всем остальном ты волен распорядиться собой по своему усмотрению. Ну и что, что тебе открылось в хождении по мукам? Вот она, жизнь, как она есть, и ты лицом к лицу с ней. Как и сто лет назад, народ едет в поезде откуда-то и куда-то, и ты один из пассажиров, и гонцы среди них тоже пассажиры как пассажиры, но потенциально они люди отчаянные — ведь они паразитируют на одном из самых страшных пороков. Тот горький дым, казалось бы, ничто, сладкий дурман, но он разрушает человека в человеке. А как ты защитишь их, когда они сами себя приносят в жертву? Знаешь ли ты, отчего все это происходит? В чем кроются причины? Молчишь — не знаешь, с какого конца подойти, как объяснить, что предпринять? А не ты ли рвался с неудержимой силой из стен семинарии на стремнину жизни, чтобы хоть в чем-то изменить ее к лучшему? Соученики по семинарии тебя идеалистом окрестили. Не зря, наверно. А сейчас ты уже думаешь, нуждаются ли эти гонцы в тебе, необходимо ли им, чтобы ты вмешивался в их дела и поступки. Да и что ты можешь для них сделать? Переубедить, заставить жить другой жизнью? И пока ты терзаешься, думаешь что да как, они едут с твердо намеченной целью, и жаждут удачи для себя, и видят в том счастье свое. Но как их разубедить, как повернуть их лицом к истине? А если не вмешаться, не помочь, они рано или поздно будут осуждены, брошены по колониям, но воспримут это не как вину, а как беду. Другое дело — суметь отвратить от зла, очистить покаянием, заставить самих отречься от этого преступного промысла и увидеть подлинность счастья в другом. Как это было бы прекрасно! Но в чем они должны увидеть свое счастье? В наших рекламируемых ценностях? Но ведь они порядком обесценены и вульгаризированы. В Боге, в котором они с детства видят дедкино-бабкино посмешище, сказку, и не больше? И в конечном счете что может слово перед возможностью занять запросто большие деньги? У всех ныне на устах расхожий афоризм — спасибо к делу не пришьешь, а день-

ги это деньги! А эти деньги, что делают гонцы, наверно, не только наши, но очень даже возможно, что и чужие,— вон сколько гонцов едет из портовых городов — из Мурманска, Одессы, Прибалтики, а говорят, и с Дальнего Востока. Куда уходит анаша и производное от пластилина и экстры? Да разве дело в этом — куда уходит? Почему это происходит, почему возможно такое в нашей жизни, в нашем обществе, которое на весь мир провозгласило, что наша социальная система недоступна для пороков. О, если бы удалось так сделать, написать такой материал, чтобы откликнулись на него многие и многие, как на кровное дело свое, как на пожар в собственном доме, как на беду собственных детей, только тогда слово, подхваченное многими беспристрастными людьми, может пересилить деньги и победить порок! Дай-то Бог, чтобы так оно и получилось, чтобы сказано оно было не впустую, чтобы, если и вправду «Вначале было слово», то чтобы оно и осталось в своей изначальной силе... Так бы жить, так бы думать...

Но, Боже, опять же к тебе обращаюсь: что есть глагол перед звонкими деньгами? Что есть проповедь перед тайным пороком? Как одолеть словом материю зла? Так дай же силы, не покидай меня в моем пути, я один, пока один, а им, одержимым жаждой легкой наживы, несть числа...

* * *

Оставив позади саратовские земли, поезд Москва — Алма-Ата уже вторые сутки шел по казахстанским краям. Впервые оказавшись на Туранской стороне континента, Авдий Каллистратов поражался в поездке размаху и масштабам края, обретенным некогда Россией географическим пространствам — перед взором расстилались поистине неоглядные дали: если взять вместе с Сибирью, мысленно представляя он себе, это же почти полсвета суши... И так редки тут поселения... Города, деревни и аулы, станции, разъезды, случайные скотные двory и дома примыкали к железной дороге, как редкие мазки на необъятном степном холсте, лишь загрунтованном, но так и оставленном в незакрашенном сером однообразии... В здешней стороне повсюду простирались открытые степи, сейчас они находились в той поре цветения, когда великие и малые травы достигают своего апофеоза, преобразующего лик земли всего на несколько дней, чтобы снова затем пожухнуть под нещадным солнцем и затем целый год ждать весны...

В приоткрытые окна вагонов наплывами доносились густые запахи цветущих степных трав, особенно сильные, если поезд задерживался на каком-нибудь безвестном полустанке, открытом со всех четырех сторон света, и тогда хотелось выскочить из душного вагона и побегать на воле по тем травам, невзрачным с виду, но таким полынно-пахучим, отдающим одновременно соком и сухостью почвы. Странно, думал Авдий, неужели и та проклятая конопля-анаша растет так же привольно и так же заманчиво пахнет? Пожалуй, запах у нее должен быть куда сильнее и резче, судя по тому, что рассказывают гонцы в минуту откровенности, но главное, говорят они, анаша длинная и стеблистая, и заросли ее высотой чуть ли не до пояса. Однако далеко не везде растет она, эта дикая конопля, есть у нее свои места произрастания, и слава богу, что не везде, что за ней надо ехать и ее надо разыскивать. была б она доступнее, можно представить себе, что творилось бы... Вот и едут гонцы из далеких портовых городов из одного края света в другой, едут как замороженные в поисках одурманивающей анаши... Еще далеко, им еще ехать да ехать — и неизвестно, чем все это обернется, что выйдет из этой затеи.

А бывало, что Авдий Каллистратов, забывая на время о цели своей тайной поездки, рисовал в воображении, кем и в какие времена населялись эти края, вспоминал в связи с этим прочитанные книги,

фильмы, которые ему доводилось видеть в школьные годы, и радовался тому, что встречались еще приметы и следы ушедшей жизни: стада бурых верблюдов, разбросанные по степи, как покинутые города, кладбища-мазары, небольшие аулы в несколько кибиток, а то и промелькнет юрта — одна-одинешенька, насколько видит глаз, и страшно становилось за обитателей этого затерянного в мире ветхого жилища, пронеслись перед взором всадники то в одиночку, то группой, иные еще, как в былые времена, в островерхих шапках, на лошадях в старинной сбруе... И думалось ему: как могли люди жить здесь и не умереть от тоски и безводья в этих великих пространствах? А как им по ночам? Что чувствует человек здесь перед лицом ночного космоса, как, наверное, страшно и жутко ему от ощущения полного своего одиночества в беспредельности мира, и потому, должно быть, проходящие здесь поезда в радость и нисколько не действуют на нервы, как бывает в больших городах. А может быть, наоборот, величие степных ночей рождает в душах великие стихи, ведь что такое поэзия как не самоутверждение человеческого духа в мировом пространстве...

Но такие размышления отвлекали его ненадолго, снова приходило на ум, что он следует вместе с гонцами за анашой, что имеет дело с точки зрения закона с преступными лицами и до поры до времени ему придется в интересах задуманного им социально-нравственного репортажа для газеты мириться с этой жизнью, с тем злом, которое анашисты несут в себе. Он чувствовал при этом невольный под ложечкой холодок, неприятное ощущение в желудке, смутную до озноба тревогу, будто он сам был одним из гонцов, одним из замешанных в этих преступных делах. И тогда он понимал внутреннее состояние тех, кто живет с тайным грузом на душе, понимал, что как ни велика земля, как ни радостны новые впечатления, но все это ничего не стоит, ничего не дает ни уму ни сердцу, если есть в сознании хоть крохотная болевая точка, она определяет исподволь и самочувствие человека и его отношения с окружающими. Приглядываясь к гонцам, с которыми он делил теперь свой путь в конопляные степи, пытаюсь разговорить их, вызвать на откровенность, Авдий Каллистратов предполагал, что при всей своей внешней самоуверенности каждый из гонцов-попутчиков, должно быть, угнетен своим промыслом и неотступным страхом перед неотвратимым возмездием, и жалел их. Ведь ничем иным объясняется их бравада, вызывающий жаргон, карты, водка, их удаль — пан или пропал, ибо не видят они для себя иного хода жизни. Вызволить души этих людей из-под власти порока, раскрепостить их, раскрыть им глаза на самих себя, освободить от вечно преследующего страха, отравляющего их, как яд, разлитый в воздухе, — вот чего хотелось Авдию Каллистратову, и, призывая себе на помощь все свои познания и пусть не богатый, но все же и не малый житейский опыт, он пытался найти подступы к осуществлению этого возвышенного намерения и теперь понимал, что, уйдя из семинарии, расставшись с официальной церковью, в душе он оставался проповедником и что нести людям слово истины и добра так, как он понимал его, — самое великое, что он мог бы совершить на своем жизненном пути. А для этого не обязательно быть рукоположенным, для этого надо быть преданным тому, чему поклоняешься. Но между тем он пока еще не представлял себе в полной мере того, на что отваживался по велению разума и сердца, влекомый благими пожеланиями. Ведь одно дело прекраснорудно мечтать и в мечтах нести спасение от пороков, а другое — творить добро среди реальных людей, вовсе не жаждущих, чтобы их наставлял на путь добродетели какой-то Авдий, такой же гонец-добытчик, кативший на край света так же, как и они, за длинным рублем. Какое им дело до того, что Авдий Каллистратов был одержим благородным желанием повернуть их судьбы к свету силой слова, ибо непоколебимо верил, что Бог живет в слове

и, чтобы слово возымело божественное действие, оно должно идти от истины подлинной и безупречной. В это он верил, как в мировой закон. Но он пока не знал одного: что зло противостоит добру даже тогда, когда добро хочет помочь вступившим на путь зла... Это ему предстояло еще узнать...

VI

Горбатые отроги снежных гор, возникшие на рассвете четвертого дня, возвестили о приближении поезда к низовьям Чуйских и Примонкумских степей, куда они и направлялись. Снежные горы были лишь общим ориентиром в этих пространствах, с удалением в степные просторы и они должны были исчезнуть из поля зрения. Но вот появилось солнце на краю земли, и в несчетный раз все осветилось мирным светом, и поезд, полный людей с такими разными судьбами, не доезжая гор, сверкнул длинной вереницей вагонов в степи и свернул в затянутые маревом равнины — туда, откуда не видны горы...

На станции Жалпак-Саз гонцам-добытчикам предстояло сходить и дальше двигаться своим ходом на свой страх и риск — каждый сам по себе, но по единому замыслу и под единой командой. Это-то больше всего и занимало Авдия Каллистратова — кто он такой, Сам, главный в этом деле, неусыпное око которого следило за ними, о котором упоминали вскользь и негромко.

До станции Жалпак-Саз оставалось часа три езды. Гонцы зашевелились в сборах. Вызывая с утра недовольство пассажиров, Петруха долго отмывался в туалете после ночной попойки, перед тем как отправиться к Самому за последними указаниями. В прошлый вечер он с дружками начал с шампанского, которое для них было детской забавой, — они пили его стаканами, как лимонад, а потом перешли на водку, и это дало себя знать. Малолетний Ленька — так тот совсем сомлел, и Авдию с трудом удалось поднять его на ноги. Только упоминание о том, что скоро Жалпак-Саз, заставило Леньку пересилить себя и сесть на полке, свесив лохматую голову на безвольной тощей и грязной шее. Кто бы мог подумать, что этот мальчишка зарабатывает неплохие деньги преступным путем и что жизнь его уже загублена.

Поезд шел ровно и ходко по ровным степным просторам, и где-то в каком-то вагоне находился Сам, к которому и поспешил осоловелый Петруха, опрокинув стакан густого и черного, как деготь, чая для окончательного протрезвления. Видимо, Сам не очень-то жаловал выпивох. За всю дорогу Авдию Каллистратову так и не удалось увидеть Самого хотя бы издали, а ведь ехали все в одном поезде. Кто он, каков из себя? Попробуй угадай его среди сотен пассажиров. Но кто бы он ни был, он был осторожен, как камышовый зверь, затаившийся в чаще, за всю дорогу ничем не выдал себя. Вскоре Петруха вернулся от Самого, как побитая собака, угрюмый, обозленный, очень посерьезневший. Разумеется, Сам крепко выmaterил его за ночной перепой как раз накануне прибытия. Его можно было понять — с того часа, как поезд прибудет в Жалпак-Саз, самое время действия для добытчиков анаши, а олух Петруха надрался так, что будет всю неделю маяться головной болью. Недовольно глянув на Авдия, будто тот был в чем-то перед ним виноват, Петруха буркнул:

— Пошли, разговор есть.

Они подались в тамбур. Там закурили. Стучали, гремели колеса.

— Ты вот что, Авдяй, значит, запомни, — начал Петруха.

— Да слушаю. — поморщился Авдий.

— А ты не больно вороти нос, — обозлился Петруха. — Кто ты такой есть?

— Да что ты, Петр, — постарался утихомирить его Авдий, — зачем зря обижаться? Ну я не пью, ты выпиваешь, так что из этого, зачем ругаться? Ты лучше скажи, что будем дальше делать?

— Дальше будет, как Сам скажет.

— Ну вот об этом я и говорю. Что Сам-то сказал?

— Твое дело малое,— оборвал его Петруха.— Ты для нас новый, а потому пойдешь со мной и Ленькой, в общем, трое нас будет. А другие ребята, кто сам по себе идет, а кто и на пару с дружкой.

— Ясно. Только куда идти-то?

— А это не твоя печаль, со мной пойдешь. Выйдем в Жалпак-Сазе. А дальше добираться надо самим. На попутных машинах до совхоза «Моюнкумский», а дальше безлюдье — там пойдем уже пешка.

— Вот как?

— А ты как думал, на «Жигульке», что ли, тебя доставят? Нет, братец! Там ведь, если заметят кого, могут и зацапать, а если кто на машине или на мотоцикле едет, совсем хана!

— Ну и ну! А Сам что, Сам-то где будет, он с кем идет?

— А тебе какое дело? — возмутился Петруха.— И чего ты все спрашиваешь о нем? Идет, не идет! А может, он и совсем не идет! Он что, тебе подотчетный, или как это понимать?!

— А никак. Раз он у нас главный, надо в случае чего знать, где он.

— Вот как раз об этом тебе знать и не надо! — высокомерно заявил Петруха.— Не наше это с тобой дело, где он будет да как. Понадобится ему, так он тебя хоть из-под земли достанет.— Петруха многозначительно помолчал, как бы оценивая произведенное впечатление, и потом добавил, глядя в упор мутными, все еще не протрезвевшими глазами: — А тебе, Авдьяй, Сам передавал: ежели будешь работать как надо, будешь постоянно наш ходок, а ежели, не ровен час, курвой окажешься, лучше тебе сейчас из дела выйти. Вот сойдем мы на станции, и валяй потихоньку на все четыре стороны, мы тебя не тронем, ну а как войдешь в дело — все, назад ходу нет. Скурвишься — на земле тебе места не будет. Понял?

— Понял, конечно, что тут понимать. Не маленький,— отвечал Авдьяй.

— Ну так вот, запомни: я тебе передал, ты слышал, чтоб потом никаких — не знал да не понял, простите да помилуйте.

— Хватит, Петр,— прервал его Авдьяй.— Не повторяй бестолку. Я ведь тоже сам себе голова. Знаю, на что иду, и знаю, что мне надо. Ты лучше послушай теперь мой совет. С сегодняшнего дня завяжи и Леньку не спаивай. Он дурачок. Да и тебе зачем? Вот двинемся в те края, поддаться да на такой жаре — какие же мы добытчики будем?

— Согласен,— отрезал Петруха и с облегчением улыбнулся, скривив мокрые губы.— Что верно, то верно. Верь, Авдьяй, сам не возьму ни капли в рот и Леньке не позволю. Все, крышка!

Они помолчали, довольные тем, что разговор завершился к общей пользе. Поезд, раскачиваясь, поспешал к узловой станции Жалпак-Саз, где происходит пересмена тяги и машинистов. Многие пассажиры, которым предстояло выходить, уже собирали вещи. Ленька тоже беспокойно выглянул в тамбур.

— Вы чего тут? — поинтересовался он, морщась от головной боли.— Собираться ведь надо. Через часок приезжаем.

— Не бойсь,— отвечал Петруха.— Что нам собираться? Чай, не девки. Рюкзачок за плечи — и айда.

— Леня,— подозвал к себе мальчишку Авдьяй.— Подойди ко мне. Голова болит? — Ленька виновато покачал головой.— Вот мы с Петром постановили: с сегодняшнего дня чтобы ни капли. Согласен? — Ленька молча закивал головой.— Ну иди, мы сейчас подойдем. Успеем, не беспокойся.

— Да времени еще навалом,— сказал Петруха, глянув на часы.— Целый час с лишним.— А когда Ленька ушел, сказал: — Это ты верно насчет Леньки-то. Сам же, гаденыш, рвется пить, а выпьет — на ногах не стоит. Но теперь — баста! Дело есть дело. Это мы в дороге малость побаловались. А потом, не думай, я на Ленькины деньги не пил, может, сам он что... но я пью на свои.

— Да разве в этом дело,— отозвался с горечью Авдий.— Просто жалко мальчишку.

— Это ты верно,— вздохнул с пониманием Петруха. Откровенный разговор навел, должно быть, Петруху на какую-то давно не дававшую ему покоя мысль.— Слушай, Авдяй, а до этого, до нас то есть, ты чем промышлял или работал где? Может, ты из фарцовщиков будешь? Ты не зажимайся, нам теперь или за одним столом гулять в ресторане, или одну парашу выносить из камеры. Кидай хоть так, хоть эдак!

Авдий не стал скрывать:

— Никакой я не фарцовщик. И зажиматься мне нечего. До этого я в духовной семинарии учился.

Такого оборота Петруха, должно быть, никак не ожидал.

— Постой, постой! В семинарии, говоришь,— так, значит, ты на попа учился?

— Да, выходит, так...

— Ого! — вытаращил глаза Петруха и дурашливо присвистнул, сложив губы дудочкой.— Так чего же ты ушел оттуда, или погна́ли за что?

— И то и другое. В общем, ушел я.

— А чего так? Бога не поделили, что ли? — озорно продолжал Петруха.— Вот смеху-то!

— Выходит, не поделили.

— Ну вот скажи, раз ты все так знаешь... Бог есть или нет?

— На это трудно ответить, Петр. Для кого он есть, а для кого его нет. Все зависит от самого человека. Сколько будут люди жить на свете, столько они будут думать, есть Бог или нет.

— Ну а где же он, Авдяй, если он, скажем, есть?

— Он в наших мыслях и в наших словах...

Петруха примолк, обдумывая сказанное. Громче и явственней застучали колеса вагонов — их звук доносился в оставленную не закрытой какими-то прошедшими через вагон пассажирами дверь тамбура. Петруха прикрыл дверь, прислушался к приглушаемому стуку колес и наконец сказал:

— Выходит, у меня его нет. А у тебя, Авдяй, он есть или нет?

— Не знаю, Петр. Хотелось бы думать, что есть, хотелось бы, чтобы был...

— Значит, тебе это нужно?

— Да, для меня это необходимо...

— Вот и пойми тебя,— огрызнулся Петруха. Что-то его, видимо, задело.— А на хрен в таком случае едешь ты с нами, коли тебе Бог нужен?

Авдий решил, что пока не время и не место углублять разговор.

— Но деньги ведь тоже нужны,— сказал он примирительно.

— Э, вон ты как запел. Или Бог, или шальные деньги. А сам все же за деньгами двинулся!

— Да, пока получается так,— вынужден был признать Авдий.

Этот разговор послужил для Авдия Каллистратова толчком к размышлению. Во-первых, он отчетливо уяснил для себя, что Сам, тот, который незримо держал поездку гонцов за анашой под своим контролем на протяжении всего пути, крайне недоверчив, расчетлив и, должно быть, жесток и что, если он заподозрит что-то неладное в каком-нибудь звене проводимой им операции, он не остановится ни перед чем, чтобы отомстить или обезопасить себя и стоящих за ним. Этого надо было ожидать — на то она и торговля наркотиками. Второе, что понял он из дорожных разговоров с Петрухой и другими,— на гонцов имеет смысл воздействовать словом, что долг проповедника — доверительный разговор, внушение словом без оглядки на грозящую опасность: несли же некогда самоотверженные миссионеры

слово Христа диким африканским племенам, рискуя жизнью своей, ибо спасения душ ценой жизни может оказаться конечным итогом, судьбой, смыслом его жизненного пути,— так он спасет душу.

На станцию Жалпак-Саз прибыли они около одиннадцати часов дня. Станция была узловая, пересадочная, две ветки отходили отсюда в сторону завидневшихся на рассвете далеких снежных гор, и потому проезжих в разные концы здесь было много, что для гонцов имело свои удобства: можно затеряться в той станционной суете. И все обошлось как нельзя лучше. Авдий удивился, как запросто и деловито просочились они в обеденное время в привокзальную столовую. Вместе с Авдием их было человек двенадцать (так показалось ему), тех, кому предстояло отправиться дальше в степи за анашой. Сидели гонцы за столиками разобщенно, по одному, по двое, но на виду друг у друга, хотя между собой открыто не общались и внешне не выделялись среди дорожной толпы — таких, как Ленька, и более взрослых парней, как Петруха, было полно. Все куда-то и откуда-то ехали в разгар летнего сезона — типичное смешение азиатских и европейских лиц.. И хотя сюда то и дело заходили работники милиции для наблюдения за порядком, и хотя на станции на каждом шагу встречался милиционер, их это не беспокоило. Пообедали они быстро, уступив место другим жаждущим своей очереди перекусить дежурными блюдами, и после этого по какому-то неуловимому знаку незаметно рассредоточились — каждый со своим багажом: с вещмешком, с портфельчиком, в которых несли они хлеб, консервы и прочие нужные им вещи. Вот так гонцы разъехались по местам, растворились в бескрайних просторах здешних степей Примоюнкумья.

Петруха, а с ним Авдий и Ленька отправились втроем, как и было задумано и санкционировано Самим, которого Авдию так и не удалось увидеть. Но в том, что Сам незримо руководил всей операцией, не было никакого сомнения. Ехали они с Петрухой в самый отдаленный конец, чуть не к Моюнкумам, на попутной грузовой машине до отделения совхоза «Учкудук» за четвертак, выплачиваемый Петрухой из денег, отпущенных Самим. На всякий случай сочинили они себе легенду: они-де шабашники. Авдий — плотник, самый нужный в здешних краях человек, что, кстати, соответствовало истине: Авдий и в самом деле был неплохим плотником. Отец с детства научил. Петруха положил ему в вещмешок, тоже на всякий случай, немудреный инструмент — рубанок, топор, долото,— предусмотрительно захваченный им из дому. Себя и Леньку Петруха должен был выдавать за штукатуров и маляров — они, мол, на каникулах, учащиеся ПТУ и ехали, стало быть, на отхожий промысел, в далекий «Учкудук», в Примоюнкумье подзаработать у степняков на постройках домов. Версия вполне правдоподобная.

День стоял знойный, но в открытом грузовике было легче — не так припекало и продувало свежим степным ветерком. Правда, дорога, как и всякий проселок, была никудышная — вся разбитая.

Когда машина притормаживала у колдобин, пыль из-под колес настигала тучей — оставалось только отмахиваться да откашляиваться. Единственное, что примиряло с тяжелой дорогой,— окружающие пространства, невольно появлялась мысль: были бы крылья, полетел бы над землей... «Теперь я как бы воочию убедился, что земля — это планета,— думал Авдий, стоя у кабины.— А как тесно человеку на планете, как боится он, что не разместится, не прокормится, не уживется с другими себе подобными. И не в том ли дело, что предубеждения, страх, ненависть сужают планету до размеров стадиона, на котором все зрители заложники, ибо обе команды, чтобы выиграть, принесли с собой ядерные бомбы, а боельщики, невзирая ни на что, орут: гол, гол, гол! И это и есть планета. А ведь еще перед каждым человеком стоит неизбывная задача — быть человеком, сегодня, завтра, всегда. Из этого складывается история. Куда мы едем сейчас, ради какой жизненно

важной надобности люди ищут отравы себе и другим, что их толкает на это и что они находят в том страшном круте отречения от самих себя?»

* * *

В Учкудуке, в этом поистине затерянном и богом забытом казахском поселке, они с ходу нашли себе работу — подрядились на пару дней штукатурить и столлярничать в недостроенном доме одного чабана. Сам чабан находился с отарой на отгоне, семья была с ним, а стройка пустовала, порученная соседу-родственнику на тот случай, если объявятся вдруг, как в прошлом году, шабашники. Они объявились, будто наперед знали, — Петруха, Авдий, Ленька, три гонца-молодца.

Жили они в том же строении, благо крыша была и погода стояла жаркая. Очажок устроили на дворе и кое-что варили даже. Надо сказать, работали как звери. Петруха сам поднимался спозаранку, будил немедленно своих артельщиков, Авдия и Леньку, и они принимались за дело, вкальвали до самой темноты. Ужинали уже при свете костерка, и только тогда Петруха позволял себе немного передохнуть и поразмышлять.

— Ты вот, Авдяй, смотрю, очень доволен даже — работаешь. Что-то, как положено, с хозяина, конечно, получим. Но такие деньги, если хочешь знать, нам тьфу! На один зуб! Это мы так, для отвода глаз. А вот как двинемся да на хорошее место выскочим, чтобы в две руки обрывать тот цвет, там дело другое — один денек помотался по степи, зато целый год живи, как министр. Ленька, ты-то знаешь! Так ведь?

— Знаю немного, — отвечал все больше помалкивавший Ленька.

— Только смотрите, ребята, — строго предупреждал Петруха, — никому ни слова, ни соседу, ни другим здешним, они люди добрые, и все равно — умри, но никому ни слова. Особенно если кто зайвится да начнет расспрашивать. Ты, Авдяй, говори: мол, знать не знаю, ведаю не ведаю, вон, мол, наш бригадир, это я, стало быть, с ним, мол, и разговаривай, а я человек маленький, ничего не знаю. Ясно?

Что тут еще ответишь — ясно, значит, ясно... Но не это беспокоило Авдия, а то, что вынужден был помалкивать, не мог пытаться как-то повлиять на ребят, вступивших на скользкий путь, жаждущих любой ценой добыть те преступные деньги, — такого вмешательства требовала его душа, но он не мог себе этого позволить. Если бы даже Авдию удалось силой мысли и слова поколебать их, заставить задуматься о своем падении, если бы даже допустить, что эти двое послушают голос разума и решат порвать с такой жизнью, они не посмеют и не смогут этого сделать по той простой причине, что они уже крепко-накрепко повязаны некой жесткой круговой порукой с другими, имеющими неписаное право карать их за измену. Но как разорвать этот порочный круг? Утешало Авдия лишь то, что он может послужить благородному делу, узнав на своем опыте, как действуют гонцы-анашисты, и затем, изложив это в большом газетном материале, раскрыть глаза людям. И это будет, как он надеялся, началом моральной борьбы за души оступившейся части молодежи. Лишь это помогало Авдию примириться с тем, что он невольно оказался замешанным в их дела, состоял в группе Петрухи.

На третий день их пребывания в Учкудуке произошел один небольшой случай — Авдий ему не придавал большого значения. Петруха же, узнав о нем, очень обеспокоился. Сам Петруха в тот час отлучился с соседом-стариком, инвалидом войны, они поехали на его коляске в центральную усадьбу совхоза консервами, сигаретами да сахаром запастись, так как на другой день с рассветом решили двигаться в степь — вроде бы уходили шабашничать в другое место.

Ленька доштукатуривал дом внутри, а Авдий, пристроившись в тени, сбивал для сарайчика дверь. Когда с улицы вдруг донеслось тархтение мотоцикла, Авдий оглянулся, приставил ладонь к глазам. Возле дома остановился, гудя, большой мотоцикл, водитель легко прыг-

нул с седла. К удивлению Авдия, мотоциклистом оказалась совсем молодая женщина. Как только она управляетя с этой тяжелой машиной, да еще по таким дорогам?! Женщина сдернула с головы круглый шлем с болтающимся ремешком, сняла ветрозащитные очки, встряхнув головой, разметала по плечам густые светлые волосы.

— Запарилась! — улыбнулась она, показав белый ряд зубов. — А запылилась-то как, боже ты мой! — радостно воскликнула она, отряхивая с себя пыль. — Здравствуйте!

— Здравствуйте, — смущенно ответил Авдий. Дурацкие наставления Петрухи подействовали на него. «Кто она? Зачем сюда приехала?» — подумалось Авдию.

— А хозяин на месте? — спросила мотоциклистка, все так же приветливо улыбаясь.

— Какой хозяин? — не понял Авдий. — Хозяин дома, что ли?

— Ну да, конечно.

— Так вроде он сейчас не тут, а где-то на отгоне.

— А вы что, не видели его?

— Нет, не видел. Нет, видел, только мельком, он тут приезжал недавно. Но я с ним не разговаривал.

— Странно, как же вы с ним не разговаривали, — вы, кажется, здесь работаете, строите ему дом?

— Простите, но я действительно не успел с ним поговорить. Он тогда, кажется, спешил. С ним разговаривал мой старшой. Его зовут Петром. Сейчас его нет. Он скоро должен приехать.

— Да мне это ни к чему, извините, если что. Просто мне хотелось повидать Ормана — он чабан и знает то, что меня интересует. Потому и заскочила по пути, думала, застану его. Ну извините, я, кажется, помешала.

— Да нет, что вы.

Мотоциклистка снова надела шлем с болтающимся ремешком, завела мотор, отъезжая, глянула на Авдия сквозь стекла наглазников и мельком кивнула. Авдий же в ответ, сам того не замечая, помахал ей рукой. И долго потом мысли его были заняты этим, казалось бы, незначительным, случайным эпизодом. И вовсе не потому, что в душу его закралось подозрение: так ли безобиден ее неожиданный визит накануне их выхода за добычей и не вынюхивает ли она чего, — нет, совсем о другом думал он. Уже после того как она укатила, оставляя позади клубы пыли, он представил ее себе, зримо, подробно, точно бы задался целью на всю жизнь запомнить ее. И теперь отмечал, с удивлением и удовольствием, что она была хорошо сложена, невелика ростом, чуть выше среднего, но все в ней было женственно и соразмерно, как и хотелось ему. «Нет, кроме шуток, — говорил он так, будто спорил с кем-то. — Женщина такой и должна быть! Вот именно такой и должна быть женщина». Авдию запомнились необыкновенно тонкие черты ее одухотворенного лица, карие, едва ли не черные глаза, сияющие живым блеском, при том, что волосы ее, свободно падавшие на плечи, обрамляя лицо, были совсем светлые, и это сочетание темных глаз и светлых волос придавало ей особую прелесть. И все в ней ему нравилось: и небольшая, едва заметный шрам на левой щеке (может быть, в детстве упала?), и то, как ладно она была одета — джинсы, куртка, поношенные сапоги с отвернутыми голенищами, — и то, как уверенно она вела мотоцикл: ведь сам Авдий умел ездить разве что на велосипеде... И еще как он оконфузился, когда она спросила насчет хозяина, а он: видел, нет, не видел, нет, видел... просто как мальчишка и чего это он так растерялся?

Занятно, очень занятно было Авдию Каллистратову думать о ней, хотя, казалось бы, и вспоминать не о чем — приехала, внезапно уехала, только и всего. И все же кто она такая, откуда она появилась, судя по всему, она откуда-то приехала, но зачем и что делать такой женщине в этих пустынных местах?..

Петруха, узнав, что к ним заезжала странная женщина на мотоцикле, не на шутку всполошился и долго и занудно выспрашивал, что она говорила, да чем интересовалась и что Авдий ей отвечал. Пришлось пересказывать их разговор несколько раз слово в слово.

— Тут что-то не то, тут что-то не то,— с сомнением покачивал головой Петруха.— Жаль, что меня не было, я бы с ходу раскусил, что за птица такая. Видишь, Авдьяй, хоть ты и умный и грамотный, а я б лучше тебя тут справился, расспросил бы ее, раз такое дело. Выяснил, кто такая да что ей надобно, а ты, друг, растерялся, вижу, что растерялся, хоть я тебя на такой случай и предупреждал.

— Что ты переживаешь? — пытался урезонить его Авдий.— Ну чего тут такого, чтобы так бояться?

— А то, что на наш след могут выйти легавые. Что, как ее подослали высмотреть да разузнать?

— Да брось ты чепуху городить!

— Интересно, что ты потом скажешь, когда за решеткой очутишься или когда Сам с тебя спросит, а уж он спросит построже, чем легавые: шкуру сдерет, а то и чикнет. Ты хоть понимаешь, что такое — чикнуть?

— Успокойся, Петр, чему быть, того не миновать. Об этом надо было раньше думать. Вот Ленька, малыш еще, а кто его затянул в такое дело? Или хотя бы ты, сколько тебе лет — двадцать будет или нет? А ты как болван, шагу ступить не смеешь, слова лишнего не скажешь — как бы не прогневать Самого. Подумал бы лучше над тем, как оно дальше будет, тут есть над чем поразмыслить.

Но заход Авдия не имел успеха — Петруха сразу обозлился.

— Ты это брось, Авдьяй, и Леньку не трожь. Если ты на попа учился, забудь об этом. Забудь. От твоих хороших слов пользы грош, а при нем, при Самом, мы деньги загребаем. Ясно? Ленька сирота — кому он нужен, а с деньгами он сам с усам. Хочу — пью, хочу — ем. А твоими баснями сыт не будешь, а уж насчет того, чтобы погулять с друзьями на славу, чтобы столы ломались и чтобы девки на эстраде так пели, чтоб до печеночек пронимало, — и не мечтай. Вон у меня братья-братухи, трудяги-работяги, а глянул бы, как им дается этот рубль! Работают не разгибаясь. А мне ничем рублевкой подтереться! Деньги не любит только дурак, верно ведь, Ленька?

— Верно,— блаженно улыбаясь, тот согласно кивал головой, не усомнившись ни в чем.

Но это был лишь подступ к более основательному разговору, когда представится случай. Авдий понимал, что не следует слишком далеко заходить,— иначе кто поверит, что он гонец-анашист, жаждущий прежде всего добыть деньги.

На другой день поднялись с рассветом. На краю земли едва занялась заря, раскинувшиеся поодаль дворы поселка еще спали, и даже собаки не лаяли, когда трое гонцов бесшумно пробирались огородами в открытую степь. По словам Петрухи, идти было не так далеко. Он знал, куда путь держать, и обещал, как только увидит где коноплю-анашу, сразу показать ее Авдию.

Вскоре такой случай представился. Довольно прочное, стеблистое, прямое растение с плотной бахромой соцветий вокруг стебля оказалось той самой анашой, ради которой они ехали из Европы в Азию. «Боже мой,—думал Авдий, глядя на анашу,— с виду такое обычное, почти как бурьян, растение, а столько дурманной сладости в нем для иных, что жизнь кладут на это зелье! А здесь оно под ногами!» Да, то была анаша, солнце уже поднялось и начало припекать, а они стояли среди безлюдного степного простора, где нет ни единого деревца, и вдыхали, разминая пальцами лепестки, прилипчивый запах терпкой дикой конопли. А ведь какие только причудливые видения не порожидала анаша у курильщиков на протяжении многих веков! Авдий пытался представить себе былые восточные базары (он читал о них в книгах)

в Индии, Афганистане или Турции, где-нибудь в Стамбуле или в Джайпуре у старых крепостных стен, у ворот некогда знаменитых дворцов, где анашу открыто продавали, покупали и там же и курили и где каждый на свой лад, в меру своей фантазии предавался разнообразным галлюцинациям — кому мерещились улады в гаремах, кому выезды на золоченых шахских слонах под роскошными балдахинами при стечении пестрого люда и трубном громогласии на праздничных улицах, кому мрачная тьма одиночества, порождаемая в недрах омертвелого сознания, тьма, вызывающая клокочущую ярость, желание сокрушить и испепелить весь мир. Немедленно, сейчас, один на один!.. Не в этом ли крылась одна из роковых пагуб некогда процветавшего Востока? И неужели то сладостное помутнение разума таилось в дикой конопле, запросто и обыденно произраставшей в этих сухих степях?..

— Вот она, родная! — приговаривал радостно Петруха, обводя широким жестом степные просторы.— Глянь, а вон еще и еще! Это все она — анаша! Но только здесь не будем собирать — это что! Это так себе! Я поведу вас в такие места, аж голова поплывет кругом...

И они пошли дальше и через час набрели на такие густые заросли анаши, что от одного духа ее повеселели, как от легкого опьянения. Конопля здесь было сколько душе угодно. И они стали собирать и листья и цвет анаши и расстилали собранное для просушки. Петруха утверждал, что просушивать следует часа два, не больше. Работа спорилась... И все шло как нельзя лучше. Но вдруг откуда-то послышался гул вертолета. Он низко летел над степью и, кажется, направлялся в их сторону.

— Вертолет, вертолет! — по-мальчишески громко и радостно заорал Ленька и дергано запрыгал.

Но Петруха — тот не растерялся.

— Ложись, дурак! — закричал он и пустил матом.

И все они легли ничком, попрятались в траве — вертолет прошел чуть стороной, так что вряд ли вертолетчики заметили их, но Петруха потом все не мог успокоиться и долго выговаривал Леньке — ему казалось, что вертолет специально прилетал высматривать гонцов.

— А что,— рассуждал он,— сверху все видно, каждую мышку. А нас, дураков, видно за сто верст. Он как увидит, так и сообщит куда надо по рации. А если нагрянет милиция на машинах, здесь деваться некуда — только руки вверх, и крышка!

Но вскоре и он забыл об этом, надо было работать. Именно в тот день и произошел совершенно немыслимый случай: Авдий встретился с волчьим семейством. А произошло это так.

Сделали перекур, подзакусили немного, и тут Петруха и сказал:

— Слушай, Авдяй, ты вроде прижился уже у нас, стал свой в доску. Так вот я тебе что скажу. Значит, так, есть у нас один закон для новеньких, таких, как ты. Если первый, значит, раз на дело идешь, должен вроде сделать Самому уплату или подарок, как хошь понимай.

— Какой еще подарок?— развел руками Авдий, удивленный таким оборотом дела.

— Да ты постой, ты чего всполошился? Ты что думаешь, в магазин, что ли, за подарком бежать надо? Тут не добежишь. А я вот, значит, о чем толкую. Надо тебе пластилинчику подсобрать, ну хоть бы со спичечный коробок. Побегаешь тут по травкам, я тебе расскажу, как это делается, а тот пластилин, стал быть, при встрече преподнесешь вроде в дружбу, да ты же умный человек, все понимаешь: Сам — он главный, ты подчиненный, такое тебе от него доверие...

Авдий задумался: а ведь для него есть тут свой резон — подношение пластилина, пыльцовой массы анаши, самого ценного продукта, могло открыть доступ к Самому. Возникла возможность увидеть наконец Самого. А как бы это было нужно! Вдруг удастся разговориться

с Самим, под чьей властью были все гонцы. «Власть, власть, где два человека, там уж и власть!» — горько усмехнулся Авдий Каллистратов.

— Хорошо, — сказал он, — значит, соберу я пластилин и отдам его Самому. А когда отдам, на станции, что ли?

— Точно не знаю, — признался Петруха. — Может, завтра и отдашь.

— Как завтра?

— А так. Восвояси пора возвращаться. Хватит. А завтра — двадцать первое число. Завтра нам, как штык, до четырех дня надо быть на месте. Вот и двинемся.

— На каком месте?

— А на таком. — чванился своей осведомленностью Петруха. — Соберемся, тогда узнаешь. На триста тридцатом километре.

Авдий больше не стал спрашивать — понял и так, что триста тридцатый километр — это какой-то участок железной дороги на Чуйской ветке; важно было другое — встреча с Самим скорее всего могла состояться там и скорее всего завтра. Так не лучше ли, не теряя времени, приступить к сбору этого самого пластилина?

Дело оказалось немудреное, но до предела выматывающее и по способу варварское. Надо было, раздевшись догола, бегать по зарослям, чтобы на тело налипала пыльца с соцветий конопли, что он и делал. Ну и пришлось же побегать Авдию Каллистратову в тот день — никогда в жизни он столько не бегал! Пыльца эта, едва видимая, почти микроскопическая, почти бесцветная, хотя и налипала, но собрать с тела этот почти незримый слой оказалось не так-то просто — в результате всех усилий пластилина получалось ничтожно мало. И только сознание, что это необходимо для встречи с главным, величаемым Самим, для того чтобы, накопив материал, вскрыть потаенные пружины поведения гонцов и через слово, через газету огласить криком боли всю страну, — только это заставляло Авдия бегать и бегать взад-вперед под жарким солнцем.

В той беготне Авдий порядком удалился от дружков, выискивая в степи наиболее густые заросли анаши. И тут наступил какой-то момент удивительного состояния легкости, парения то ли наяву, то ли в воображении. Авдий и не заметил, как это случилось. В небе щедро светило солнце, воздух был пронизан теплом, порхали и перестывались какие-то птицы, особенно заливались жаворонки, мелькали бабочки и другие насекомые и тоже издавали разные звуки, — словом, рай земной, да и только, и в том раю, раздевшись догола, оставив на себе только панаму, очки, плавки и кеды, Авдий Каллистратов — белокожий тощий северянин, охмелевший от пыльцы, носился как заводной взад-вперед по степи, выбирая наиболее высокий и густой травостой. Вокруг него клубилась потревоженная пыльца цветущей, завязывающей семя конопли, и от долгого вдыхания того летучего дурмана в воображении Авдия, естественно, возникали разные видения. Особенно отрадно было одно: он мчится на мотоцикле, устроившись позади вчерашней мотоциклистки. Причем его нисколько не смущало то обстоятельство, что он сидит не за рулем могучего мотоцикла, как подобало бы настоящему мужчине, а пассажиром, пристроившись позади — там, где обычно сидят женщины. Но что делать, если он не умеет водить мотоцикл да и вообще далек от техники. Его вполне устраивало то, что он ехал вместе с ней на одном мотоцикле. Ее волосы развевались на ветру, выбиваясь из-под шлема, касались его лица, как руки ветра, липли к губам, к глазам, цекотали шею, и это было прекрасно; иногда она оглядывалась, озорно улыбалась ему, сияла глазами — как ему хотелось, чтобы так продолжалось вечно... без конца...

Очнулся он, лишь когда увидел возле себя троих волчат. Вот те на! Откуда они взялись? Он не верил своим глазам. Три волчонка, виляя хвостиками, хотели приблизиться к нему, поиграть с ним —

робели, но не убегали. Голенастые, как подростки, с полуторчащими, нестойкими ушами, остромордые еще и с живыми и до смешного доверчивыми глазами. Это почему-то так тронуло Авдия, что, позабыв обо всем, он стал ласково подзывать их к себе, забавлять и подманивать, а сам весь сиял от расположенности человеческой, и именно в этот момент он увидел — блеск белой молнии, белый оскал набегающей на него волчицы. Это было так неожиданно, так стремительно, но и так медленно и страшно, что он и не почувствовал, как сами собой подогнулись колени и как он присел на корточки, схватившись за голову, — он и не ведал, что именно это спасло ему жизнь; а волчица была уже в трех шагах и в яростном прыжке вдруг перемахнула через его голову, обдав звериным духом, и в ту минуту их глаза встретились, Авдий увидел огненный синий взор волчицы, ее бесподобно синие и жестокие глаза, и мороз прошел по коже, а волчица тем временем еще раз стремительно, как ветер, перескочила через него, и кинулась к волчатам, и с налета погнала их прочь, пустив в ход зубы, и заодно круто завернула с пути высунувшегося из оврага страшного зверя — громадного волка со вздыбленным загревком, и все они вмиг исчезли, словно бурей их унесло...

А Авдий, унося ноги, долго бежал по степи, и страх криком выходил из него. Он бежал, а голову мутило, тело отяжелело, и земля качалась под его заплетавшимися ногами — ему хотелось упасть, свалиться, заснуть, и тут его начало рвать, и он почувствовал, что настал его смертный час. И все-таки у него хватило воли отбегать каждый раз в сторону от мерзкой блевотины и бежать дальше, пока новый приступ рвоты не скрючивал его в три погибели, вызывая адские боли и резь в животе. Изрыгая пыльцовую отраву, мучаясь от судорог, Авдий, стелая, бормотал: «О Боже, прекрати, хватит! Никогда, никогда больше не буду собирать анашу! Хватит с меня, я не хочу, не хочу видеть и слышать этот запах, о Боже, сжался надо мной...»

Когда наконец рвота отпустила и он собрался уже идти искать свою одежду, к нему подбежали Петруха с Ленькой. Рассказ о встрече с волками страшно подействовал на них. Особенно перепугался Ленька.

— Ну не дрейфь ты! Чего так дрожишь? — напустился на него Петруха. — Когда люди за золотом шли, какие были случаи, и ничего, все равно шли... А ты каких-то волков испугался — так ведь их уже и след простыл...

— Так то за золотом, — сказал Ленька, помолчав.

— А какая тебе разница? — огрызнулся Петруха.

Этим и воспользовался Авдий.

— Разница есть, Петр, — промолвил он. — И очень большая разница. От золота тоже много зла, но его открыто добывают, а анаша — она отраву для всех. На себе испытал, чуть концы не отдал, всю степь облевал...

— Да перестань, отравился малость с непривычки, кто тут виноват, — недовольно махнул рукой Петруха. — Тебя что, тащили сюда? Ты все о Боге, да что хорошо, да что плохо, чего ты нам игру портишь? Чего ты все воду мутишь? А как деньги, так ты тут — прикатил, чуть волкам в пасть не попал!

— Я хочу не мутить, а очистить воду. — Авдий решил, что придется раскрыться больше, чем рассчитывал. — Вот ты, Петр, вроде умный парень, но не может быть, чтобы ты не понимал, что на преступление идешь...

— Иду! А ты на что идешь?!

— Я иду, чтобы спасти!

— Спасать! — зло крикнул Петруха. — Это как же ты будешь спасать нас? Ну-ка расскажи!

— Для начала — покаемся пред Богом и пред людьми...

К удивлению Авдия, они не рассмеялись. Только Петруха сплюнул, будто в рот ему гадость какая попала.

— Покаемся! Придумал тоже,— проворчал он.— Это ты кайся, а мы будем деньгу делать. Нам нужны деньги, понял — просто и ясно! А ты — покайся! И если шутишь, Авдьяй, шути поосторожней! Узнает Сам, что ты тут сбиваешь нас, до мест своих не доберешься, запомни! Я тебе как другу говорю. И нас не смущай, для нас деньги — прежде всего! Ленька, скажи, что тебе нужно — Бог или деньги?

— Деньги! — ответил тот.

Авдий промолчал. Решил повременить, отложить разговор.

— Ну хватит, поговорили, и довольно, будем собираться,— примирительно распорядился Петруха. — А с твоим пластилином, Авдьяй, так, стало быть, ничего и не получилось?

— К огорчению, нет. Как кинулась на меня волчица — сам не знаю, где что оставил. И одежда где-то, пойду искать...

— Одежда-то найдется твоя, куда она денется, а вот пластилинику наскрести уже не успеешь. Сегодня уходить пора. Ладно, расскажем, как дело было, поймет. А не поймет, в следующий раз насобираешь...

С рюкзаками, набитыми травой анашой, до самой полуночи шли они в сторону железной дороги. Идти было не так тяжело, какая уж там тяжесть — подсушенная трава, но сильный запах анаши, не приглушаемый даже полиэтиленовыми пакетами, кружил голову, клонил ко сну. В полночь гонцы завалились спать где-то в степи, с тем чтобы на рассвете двинуться дальше. Ленька втиснулся между Авдием и Петрухой — после того случая боялся волков. Понять нетрудно было — мальчишка еще. Получилось все наоборот, так хотелось спать на ходу, а когда легли, Авдий долго не мог заснуть. То, что Ленька попросился в середку, его очень тронуло, кто бы мог подумать — эдакий парнишка, волков боится,— но какова должна быть власть порока, исковерканных сызмальства представлений о жизни, если даже Ленька давеча не моргнув глазом ответил, что деньги для него важнее Бога. Бог, конечно, имелся в виду условно, как символ праведной жизни. Вот о чем думалось Авдию...

Есть своя красота в степных ночах в летнюю пору. Тишина безмерная, исходящая от величия земли и неба, теплынь, напоенная дыханием многих трав, и самое волнующее зрелище — мерцающая луна, звезды во всей их неисчислимости, и ни пылинки в пространстве между взором и звездой, и такая там чистота, что прежде всего туда, в глубину этого загадочного мира, уходит мысль человека в те редкие минуты, когда он отвлекается от житейских дел. Жаль только, ненадолго...

А думалось Авдию о том, что все пока что сошлось, как он того хотел: добрался с гонцами до конопляных степей, увидел все воочию и, как говорится, попробовал все на себе. Теперь оставалось самое сложное — сесть на поезд и уехать. Для гонцов наиболее опасный момент был провезти анашу. Задерживала их милиция главным образом на азиатских станциях, в российской части в этом смысле было полегче. А уж если удавалось добраться до Москвы и далее до места, это уж полный триумф. Великое зло бытия торжествовало, обернувшись маленьким успехом маленьких людей...

Смириться с этим Авдию было трудно даже в мыслях, но и предпринять что-либо, чтобы не просто пресечь, скажем, данное преступление, а перековать мышление, разубедить и переубедить гонцов, это — он понимал — ему не по силам. Тот, кто ему противостоял, находясь где-то здесь, в этих степях, тот, кто незримо держал в руках всех гонцов, и в том числе имел контроль и над ним, Авдием, тот, кто именовался среди них Самим, был гораздо сильнее его. И именно он, Сам, был хозяином, если не более того,— микродиктатором в их походе за анашой, а он, Авдий, примкнувший к ним, как бродячий

монах к разбойникам, был по меньшей мере смешон... Но монах, господний идеалист и фанатик, при всех обстоятельствах должен оставаться монахом... Это и ему предстоит...

Думалось ему еще о том, какой странный случай пережил он минувшим днем,— эти волчата, неразумные длинноногие переростки, принявшие человека за некое смешное безобидное существо, с которым они не прочь были порезвиться, и вдруг эта синеглазая разъяренная волчица. Какой гнев вскипел было в ней, и как затем все обошлось, и какой смысл в том, что она дважды перепрыгнула через него? И если на то пошло, что стоило ей и ее волку растерзать его вмиг, голого — если не считать панамы и плавок — и беззащитного городского идиота, настолько голого и беззащитного, что только в анекдоте могло быть такое. И вот надо же — судьба в лице этих звей смилоствовала над ним: не значит ли это, что он еще необходим этой жизни? Но как хороша, как стремительна была необыкновенная синеглазая волчица в своем яростном порыве, в страхе за детенышей. Да, конечно, она была права по-своему, и спасибо ей, что не налетела, не наделала беды, ведь и он был ни в чем не повинен. И думая об этом, Авдий тихо рассмеялся, представив, что, если бы увидела его тогда та самая мотоциклистка, вот посмеялась бы! Потешалась бы небось, как над клоуном в цирке. Но потом его охватил страх: а что, если мотоцикл вдруг заглохнет где-то посреди безлюдной степи, она одна, а тут налетят волки?! И тогда он стал суеверно заклинать синеглазую волчицу: «Услышь меня, прекрасная мать-волчица! Ты здесь живешь и живи так, как тебе надо, как велено природой. Единственное, о чем молю, если вдруг заглохнет ее мотоцикл, Бога ради, ради твоих волчьих богов, ради твоих волчат, не трогай ее! Не причиняй ей вреда! А если тебе захочется полюбоваться на нее, такую прекрасную на могучей двухколесной машине, беги рядом, по обочине, беги тайно, обрети крылья и лети сбоку. И может, если верить буддистам, ты, синеглазая волчица, узнаешь в ней свою сестру в человеческом облике? Может же быть такое — ну и что, что ты волчица, а она человек, но ведь вы обе прекрасны каждая по-своему! Не буду скрывать от тебя — я бы полюбил ее всей душой, да дурак я, конечно, дурак, кто же еще! Только безнадежные дураки могут так мечтать. А если бы она каким-то образом узнала, о чем я думаю, то-то посмеялась бы, то-то нахохоталась бы! Но если бы это порадовало ее, пусть смеется...»

Было еще относительно темно — только-только свет над степью разлился, когда Петруха стал будить Авдия и Леньку. Пора было вставать да двигаться к трехсот тридцатому километру. Чем раньше, тем лучше. Потому что не они одни, а еще две-три группы гонцов должны были к тому времени сойтись в том месте с добытой и уже подсушенной анашой. Предстояло остановить какой-нибудь проходящий товарняк, незаметно сесть в него и добраться так до станции Жалпак-Саз, а уж там просочиться на другие поезда. В общем, для гонцов начинался самый опасный отрезок пути. Всей операцией вроде бы должен был руководить Сам. Он ли их встретит, они ли его отыщут на трехсот тридцатом километре, Петруха толком не объяснил. То ли не знал, то ли не желал говорить.

И снова вскинули рюкзаки на плечи и двинулись за Петрухой. Удивляло Авдия топографическое чутье, память Петрухи. Он заранее предсказывал, где какой овраг, где родничок в притенении, где ложбинка или балочка. И сожалел Авдий, что такие способности, такая память в Петрухе пропадают! Наездами здесь бывал, а как все знает!

Так я, говорил он, родом из крестьянской семьи. Рассказывал еще Петруха, что, по слухам, километрах в двухстах от этих мест начинается пустыня Моюнкум, а там, дескать, сайгаков этих, антилоп степных, видимо-невидимо и что вроде хорошие люди, у которых

добрые служебные «газики», наезжают на охоту чуть ли не из самого Оренбурга. И приезжают-то как — закуска живая бегаёт, а выпивон, какой хошь, с собой привозят. Да, царская охота! Но и опасность вроде немалая, бывали случаи, что машина выходила из строя, а охотники погибали от жажды, заплутавшись в степи. А зимой, случалось, и буран застигал степной. Потом находили, мол, только косточки. А один охотничек даже умом тронулся — его потом на вертолете искали. Вертолет за ним летит, хочет его спасти, а он от вертолета бежит, прячется. Долго за ним гонялись, а когда поймали, он уж разговаривать разучился. А жена, говорят, тем временем за другого успела выскочить! Вот стерва! Все они такие! Вот я и не думаю жениться. Есть у меня в городе одна баба классная, подкинешь ей на шмотки, так лучше нет, и слово дает — никаких ребёночков не будет. А самое главное — мотягу уже купил, чехословацкий спортак в сарае стоит, а теперь, значит, «Жигуль» — это не проблема, вот бы где «Волгу», ту, новую, что на «мерседес» похожа, вот где бы такую отхватить с кассетником, чтобы включил бы, а она тебе поет, в печенки лезет. Блат нужен, всюду плата и переплата. Да на своей «Волге»-то покатить в Воркуту — пусть братуханы поглядят. Хе-хе, жены-то их от зависти лопнут. А в багажнике выпивон на выбор, все больше иномарка. Ну и своя водочка — лучше нет, конечно. Как тут не позавидовать, вроде Иванушка-дурачок, а на тебе... А потому и хожу в гонцах и вас, милые дружочки, веду поживиться, живи, когда лафа, а нет — соси лапу до вздутия живота...

Слушая эту, казалось бы, никчемную, непритязательную болтовню Петрухи, занимавшего тем самым себя и своих попутчиков, Авдий думал о своем, о том, что человек раздирается между соблазном обогащения, подражанием тотальному подражанию и тщеславию, что это и есть три кита массового сознания, на них всюду и во все времена держится незыблемый мир обывателя, пристанище великих и малых зол, тщеты и нищеты воззрений, что трудно найти такую силу на земле, включая и религию, которая смогла бы перебороть всеильную идеологию обывательского мира. Сколько самоотверженных взлетов духа разбивалось об эту несокрушимую, пусть и аморфную твердыню... И то, что он шел в этот час на явку добытчиков анаши, свидетельствовало о том же — дух беспомощен, хоть и неустанен... И такова, выходит, его планида... Всю дорогу он мысленно готовил себя к встрече с Самим — он должен был быть готов к бою...

Они вышли на трехсот тридцатый километр часа на два раньше — и в третьем часу были уже на месте. Приближаясь к балке, что шла вдоль железной дороги, Петруха предупредил: рюкзаки прятать там, где укажет, не высовываться, не разгуливать на виду у проходящих поездов. Все время ждать его указаний.

Устали все же порядком — еще бы, столько пройти за день! Приятно было растянуться в балке на шелковистом лугу, где вперемешку с шалфеем рос ковыль. Приятно было слышать, как возникал вдали гул поездов, как он нарастал, как гудели и подрагивали рельсы под набегавшими тяжеловесными километровыми составами, как грозно пролетали поезда, громяхая колесами и принося с собой дух железа и мазута, и как долго еще не умолкал вдали шум движения, постепенно растворяясь в океане окружающей тиши... Пролетали и пассажирские поезда, один — в одну, другой — в другую сторону. Авдий встрепенулся было — он с детства любил стоять смотреть, куда несутся пассажирские поезда, кто мелькает в окнах, чьи фигуры и лица. Ах счастливы, возьмите меня с собой! В этот раз, однако, и этих мимолетных радостей он был лишен — пришлось притаиться за кустиком и не поднимать головы. А что хуже того — ему предстояло **быть** соучастником или хотя бы очевидцем бандитской остановки одного из товарных поездов на этом участке. Нет, никто не собирался

грабить состав, но остановка поезда позволяла гонцам заскочить в вагоны, а дальше уже все шло само собой. Дальше им предстояло укатить, спрятавшись в товарняке...

Поезда шли туда-сюда. Потом наступила длительная пауза и полная тишина. Авдий было задремал, но тут раздался свист. Петруха прислушался, тоже свистнул — и в ответ ему еще раз раздался свист.

— Ну, вы тут ждите спокойно,— сказал Петруха,— а я пойду, меня вызывают. И чтобы без меня никуда, слышал, Авдяй, слышал, Ленька? Товарняк застопорить не такое простое дело. Тут надо действовать с головой.

С этими словами он исчез. Вернулся он примерно через полчаса. И странный какой-то он вернулся, Петруха. Что-то в нем неуловимо изменилось, глаза были вороватые, избегали прямых взглядов, Авдий не любил в таких случаях давать волю своей подозрительности, гнал от себя ненужные мысли. Мало ли что может показаться — вдруг у человека просто живот болит... И потому спокойно осведомился:

— Ну что, Петр, как дела-то?

— Пока ничего, все нормально. Скоро будем действовать.

— Товарняк останавливать, что ли?

— Ну ясно. Самое верное в нашем деле — укатить на товарняке. А самое лучшее — если б на ночь глядя прикатить на станцию да поставить бы состав на запаску.

— Вот оно как.

Они помолчали. Петруха закурил и сказал как бы между прочим, затягиваясь сигаретой:

— Тут у нас один друг ногу подвернул, Гришаном зовут. Я сейчас его повидал. Не повезло Гришану. С ногой разве что насобираешь — куда там, с палкой ходит. Обидно, конечно, человеку. Так вот, может, скинемся все понемногу, сколько нас тут будет, гавриков,— человек десять. Каждый понемногу отсыплет от себя анашишки, смотришь, и выручим парня.

— Я готов,— отозвался Авдий. — Ленька вон спит, но думаю, и он не поскупится.

— Ну, Ленька-то — он свой оголец! А ты, Авдясь, пошел бы да поговорил бы с Гришаном. Как, мол, да что, человек ты грамотный, вроде и настроение бы поднял захромавшему...

— А Сам где, там, что ли? — неосторожно спросил Авдий.

— Да что ты все — Сам да Сам,— рассердился Петруха. — Откуда мне знать? Я тебе про Гришана, а ты мне про Самого. Надо будет, он найдет нас, а не надо, наше дело маленькое. Что ты все беспокоишься?

— Да ладно тебе. Ну спросил ненароком. Успокойся. А где он, Гришан-то? В какой стороне?

— А иди вон туда — вон он там, в тенечке, под кустом сидит. Иди, иди!

Авдий и направился в ту сторону и вскоре увидел Гришана — тот сидел среди трав на маленьком раскладном стульчике, держа палку в руках. Кепочка прикрывала ему лоб. Верткий, кажется, был человек — не успел Авдий подойти, а он уж оглянулся и в кулак кашлянул. Неподалеку от него сидели еще двое. Всего их было трое. И Авдий понял, что это и был Сам... Замедляя шаги, он почувствовал, как пронизало его холодом и сердце учащенно заколотилось...

Конец первой части

РАСУЛ ГАМЗАТОВ



Работа

Сгущалась мгла. Я был обманут другом,
И, как змея, полз недруга навет.
Осточертевшим мучаясь досугом,
Я проклинал в душе весь белый свет.
И сквозь окно на улицу с тоскою
Глядел, вздыхая, думая о том,
Что в самый раз бежать порой такую
Куда-нибудь, родной покинув дом.
Быть может, на Чукотке, иль Камчатке,
Или в краю таджиков среди гор,
Как боевого сокола с перчатки,
Стих вознесу всему наперекор.
Открыл журнал, перевернул страницу
И отстранил его перед собой.
Часы, дневную перейдя границу,
Не мне ль в укор исторгли лунный бой?
Хотел заснуть, но сон ушел, как поезд,
Казались звезды угольем в золе.
И лист бумаги, чистый, словно совесть,
Вблизи пера светился на столе.
И прошептала полночь вдруг: «Подумай,
Сколь раз к тебе бывала я добра...»
Присев к столу, холодный и угрюмый,
Безжизненно коснулся я пера.
И в тот же миг небесный пламень кто-то
В груди как будто к пороху поднес.
Кровь затрубила в жилах, как охота,
И мысль метнулась, словно гончий пес.
И вновь слова блаженного полета
Взлетели, дух пленительно клубя.
И ожил я: «О праздник мой — работа,
Вернулась ты, благодарю тебя!»
Почувствовал я всадником бывалым
Себя в седле, не осушая слез.
А рядом тучи прижимались к скалам,
Беременные молниями гроз.
И гневу доброта пришла на смену,
И явь напоминала сладкий сон.
Грех отпустил я другу за измену,
И даже недруг мною был прощен.
Восток заре распахивал ворота.
Перо сжимал я, счастья не тая.
О праздник мой единственный — работа,
О мука добровольная моя!
Не расторгай с душой моею лада
И каторжно приковывай к перу.
Клянусь тебе, мне отдыха не надо,
Успею отдохнуть, когда умру.

Тени

Тень, словно прикусившая язык,
 В моем обличье предстает воочью,
 Как будто призрак мой или двойник,
 Меня сопровождая днем и ночью.
 Какой она непревзойденный мим,
 Без всяких репетиций и без грима,
 Я, как в немом кино, бываю им
 Изображен всегда неповторимо.
 Стоит зима. Я до костей продрог,
 А тень не мерзнет, шествуя за мною.
 Я от жары июльской изнемог,
 А тень, что рядом, неподвластна зною.
 Снег издает под сапогами хруст,
 И вторит эхо мне у перевала.
 А тень не в силах распечатать уст:
 Не выдаст и под пыткой, что слыхала.
 Является бесплотная, как дух.
 И впрямь в ней есть таинственное что-то.
 Дочь дьявола, по мнению старух,
 Она войдет и в царские ворота.
 А я твержу: «Благословенна будь,
 Тень дерева, когда мы ищем сени.
 Пусть всякий раз, когда выходим в путь,
 Великих предков предстают нам тени».
 Я, пребывая жизни посреди,
 Сумел понять еще в молодые годы:
 Быть чьей-то тенью — бог не приведи,
 Поэт лишен не может быть свободы.
 Любая тварь, любой земной предмет
 Роняет тень от теми и до теми.
 И только то, что излучает свет,
 В подлунном мире не имеет тени.
 Взошла звезда. И памятный след
 Над царствием теней мерцает снова,
 И у высокой мысли тени нет,
 И нет ее у истинного слова.

Если дружбы ты верен заветам,	Небеса над горами едины
То хотел бы я знать, для чего	И для ворона и для орла.
Ты настраивал струны при этом	Но ни разу их вместе вершины
На пандуре врага моего?	Не видали, хоть вечность прошла.

Судьбу избирала Марьям не сама,
 А продана в жены родными была.
 И сын офицера Кебед-Магома
 Застежки на платье ее расстегнул.
 И как тосковал по любимой Махмуд,
 Лишь знал Кахаб-Росо — нагорный аул.
 И песни Махмуда поныне поют
 Об этой печали в Аварии всей.
 Ах как по любимой сходил он с ума
 И вскоре от пули погиб в Игалй.

Сынов двух оставил Кебед-Магома,
 Когда он скончался, постылый супруг.
 Махмуд и Марьям — эти имени два
 В горах, где рукою подать до небес,
 Связала навеки людская молва...
 Петрарку с Лаурою вспомните вновь.

Письмо Гамзата Цадаса в правление колхоза его имени

Вчера отец явился мне во сне,
 В очах мерцала горькая угроза,
 И на листе бумаги в тишине
 Он написал в правление колхоза.
 «Одно из двух,— потребовал отец,—
 Иль воровству, которое отвратно,
 Немедля вы положите конец,
 Иль имя заберу свое обратно!»

Алиму Кешокову

Прибыл в Нальчик я, дружбой томим,
 И встречавших спросил на вокзале:
 «Где кунак мой, Кешоков Алим?»
 «Вдалеке он»,— они отвечали.
 И окинули кручи вершин,
 И печально потупили взоры.
 Опроверг я предвзятых мужчин:
 «Неразлучны Кешоков и горы!
 Гордо горское носит тавро
 Зычный стих его, вверенный годам.
 И поныне, как прежде, перо
 Повествует, откуда он родом.
 Смерть грозила ему на войне,
 Был он конником и пехотинцем.
 И при этом в любой стороне
 Оставался всегда кабардинцем.
 Были к странствиям приобщены
 Молодыми на свете мы белом.
 Но где б ни были, обращены
 Наши помыслы к отчим пределам.
 След вам знать, что Алим мой собрат,
 И, каленная в пламени схваток,
 Наша дружба крепка, как булат,
 И пошел ей четвертый десяток.
 Славно ведая дело свое,
 Смог кинжально, на радость и слезы,
 Породнить он стиха острие
 С острием им отточенной прозы.
 И вдали от отеческих лоз,
 Как поэт настоящего ранга,
 Он аульскую речку вознес
 Над волнами великого Ганга.
 Каждый собственной верен звезде
 И в долгу у пожизненной дани.
 Я душою всегда в Дагестане,
 А Кешоков всегда в Кабарде».

Перевел ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ.

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

★

«ЖЕНЩИНА И НТР»

Рассказ

Ровно полчаса Кузьменковы ловили такси. Наконец-то поймали, втиснулись на потрепанные сиденья, отдышались.

— А я бы вот сейчас пуговицу пришла...— сказала Надежда Васильевна.— К твоей дубленке. Пуговицу.

— Полгода собираешься...

— И три года собиралась бы, а сегодня, вот сию минуту, даю честное слово — пришла бы! Вчера в метро видела: на мужчине дубленка, а на дубленке — одна пуговица. И сразу же тебя вспомнила. И твою дубленку.

— А я сегодня видел в метро мужчину без пальто и без шапки... Но тебя не вспомнил...

— Значит, закаленный мужчина...— вздохнула Надежда Васильевна.— С детства закаленный. Или — сбежал откуда-нибудь. Конечно! Прямо с работы и сбежал! Да, вот еще что: как имя-отчество к кому мы едем? Хоть убей, не запоминается.

— Сколько тебе говорить: член-корреспондент Академии наук Эс Эс Эс Эр Анатолий Агафонович Бурляй! Запомнила? Повторить еще раз?

— Без тебя знаю, что Бурляй! Без тебя знаю, что член-корреспондент! Просто я забыл, что он — Ага-фонович!

— Директор крупнейшего НИИ. Председатель комиссии... комиссии при президиуме Академии наук... Ну вот, а дает интервью какому-то там журналисту Кузьменкову... Ты это должна понять...

— Левка! Сколько раз тебе говорила: не самоуничижайся! Мне это не нравится! Я этого не терплю! Ты это тоже должен понять. Давно.

— ...интервью на самую животрепещущую тему — об энтээр. А если удастся, то и еще более конкретно: «Женщина и энтээр»! Ни один читатель не останется равнодушным! Не пройдет мимо!

— Может, и не пройдет... Я-то зачем твоему Бурляю? Агафоновичу? Ты, Левка, что-то темнишь... А?

— Подробно объяснял, и не раз! Он спросил: «У вас, конечно, есть жена?» Я сказал: «Конечно, есть!» Он сказал: «А что, если пригласить и ее? Для такого разговора это было бы интересно!» Я сказал...

— Если он позвал меня на беседу — значит, ты обо мне натрепался? Иначе с чего бы ему приглашать? Он спросил — молодая у тебя жена?

— Спросил... Для порядка. Каждому понятно, что жена — не старше своего мужа.

— А что ты сказал?

— Сказал, молодая.

— Дурная привычка — трепаться обо мне за моей спиной. Он, наверно, будет на меня смотреть?

— Наверно, посмотрит... Вот что, Надежда, помолчи, дай мне сосредоточиться. Очень ответственное интервью. Очень важная встреча. Очень...

— Подумаешь, не видела я членкоров. Добра-то... У нас, в политехническом... — Надежда Васильевна отвернулась, стала смотреть в окно.

А панели в кабинете Бурляя были уж слишком отлакированными. И слишком темными. Траурными они были.

А люстра была слишком скромная, домашняя, ей бы в спальне висеть, а не в кабинете членкора.

А Бурляю было за пятьдесят, на лице слишком отчетливо выступал нос. Не такой большой, но отчетливый. Ну да — если у человека маленькие глазки, нос кажется больше, чем на самом деле. И галстук на Бурляе был аляповатый, слишком много красного цвета.

Когда Левка поставил на стол перед Бурляем магнитофон и задал первый вопрос: «Скажите, Анатолий Агафонович, в чем, на ваш взгляд, сегодня особенно заметно сказывается влияние энтээр на нас, простых людей, и особенно — на женщин?» — Бурляй очень внимательно посмотрел на Надежду Васильевну, словно угадывая, что она-то думает по этому вопросу... И даже угадывая, кто она, что за женщина.

«Ну? Какова?» — тоже взглядом ответила Надежда Васильевна, и, к ее удивлению, Бурляй несколько смутился. «Может, изобразил смущение? — подумала она. — Может, это у него в привычке — для начала изображать смущение?»

— Видите ли, — заговорил Бурляй глуховатым, но, в общем-то, симпатичным голосом, — видите ли, на мой взгляд, энтээр, как и всякое глобальное явление, действует и проявляется во всем и повседневно. Поэтому она и не может быть определена точно, не может быть схвачена за руку. Дело в том, что она рассеяна повсюду.

— Ну да, — кивнула Надежда Васильевна. — Как рассеянный склероз.

Бурляй еще внимательнее посмотрел на нее и, наверно, что-то ей сказал бы, но тут вмешался Левка:

— Вы, Анатолий Агафонович, можете говорить подробно и не считаясь со временем. Ваше выступление в «Комсомольской правде» заинтересовало очень многих, но там, чувствуется, вы были стеснены газетной площадью. А наш журнал может предоставить вам любой объем — печатный лист и даже больше. Итак, на чем мы остановились? Надежда! Не прерывай, пожалуйста, Анатолия Агафоновича, Надежда.

Бурляй все еще молчал, и Левка подбодрил его:

— Вы, Анатолий Агафонович, не философ, не социолог, не экономист, не футуролог, не... Вы крупнейший авторитет в области биологических наук и поэтому, естественно, смотрите на проблему как бы со стороны. И со своей собственной, независимой точки зрения. А это — особенно интересно! И ценно!

Опять наступило молчание. Надежда Васильевна решила рассеять его.

— А можно задать вам вопрос? Мне — вам... — спросила она. — Для начала.

— Пожалуйста, пожалуйста! — охотно согласился Бурляй. — Подключайтесь к нашей беседе. И даже так: начните нашу беседу. Пусть ваш вопрос будет как бы направляющим.

— Вопрос такой: что, по-вашему, будет после энтээр? Еще какая-нибудь революция? То есть какой-нибудь перманент. Или же все-таки наступит нормальная эволюция?

— Надежда! — не на шутку возмутился Левка. — Надежда! Ну что у тебя за вопрос? Ты только подумай: где в нем логика, какая?

— Как это — какая? Нормальная. Все, что бывает, когда-нибудь кончается. А что не кончается, того не бывает. В чем ненормальность?

— Ну, а вселенная — тоже когда-нибудь кончится? — улыбнувшись, спросил Бурляй.

— Вселенная, вселенная... — задумалась Надежда Васильевна, а потом догадалась: — Ну, так ведь вселенная и не начиналась никогда! А энтээр началась на моих глазах, я свидетельница, значит, она обязательно должна кончиться! Все кончается, чему есть свидетели.

— Может быть... может быть, — снова задумался и снова очень внимательно посмотрел на Надежду Васильевну Бурляй. — Но дело в том, что одной эпохе не дано предвидеть другую. Во время феодализма никто не предвидел, что будет капитализм. Во время капитализма никто не предвидел энтээр. Так и сама энтээр не знает, что будет после нее.

— Вот как? А когда она об этом узнает? Ведь во время капитализма уже предполагался социализм. А социализм отчетливо предполагает коммунизм! — не сдавалась Надежда Васильевна.

— Надо выключить магнитофон! — сказал Левка, глубоко вздохнув. — Поговорим для начала отвлеченно, а когда нащупаем существово вопроса, включим снова. Кассеты надо экономить.

— Ну да! — усмехнулась Надежда Васильевна. — Знаю я твою технику: ты ее выключишь, а потом она не включится. Вот будет экономия — смех!

— Итак, — сказал Бурляй, — давайте брать быка за рога. И тут я должен сказать, что очень важно сосредоточить в нечто целое разоб- щенные между собой подсистемы энтээр. Дело именно в этом!

— Вот-вот! — обрадовался Левка. — Вот-вот, а нельзя ли, Анатолий Агафонович, эту очень интересную мысль продемонстрировать на каком-нибудь конкретном примере? Все равно каком, но конкретном.

— Все дело в том, что энтээр нуждается в четкой инфраструктуре. Ибо она, ибо ее тоже ведь можно рассматривать как некую пусть и глобальную, но организацию. И все же она еще не является чем-то цельным. Цельной системой.

— И еще, и еще, Анатолий Агафонович! Если бы и к этой мысли тоже конкретный пример. Если бы... — прямо-таки дрожал от нетерпения Левка. — Если бы...

— Дело в том, что вы только представьте себе, сколько в энтээр существует подсистем?! Подсистема создания новой техники — это раз! Подсистема — почти самостоятельная! — внедрения этой техники в производство — два. Идеологическая подсистема и опять-таки внедрение ее в сознание людей — три. Подсистема образования и воспитания людей, близкая к третьей и все-таки вполне самостоятельная, — четыре. Охрана природы, иначе говоря, экологическая — пять. Демографическая... Это у нас уже какая — пятая или шестая подсистема?

— Это шестая, Анатолий Агафонович... Давайте фиксировать наше внимание на следующей — на седьмой! — торопил Бурляй Левка. — Давайте!

— Давайте, — согласился Бурляй. — И возьмем следующий, седьмой подсистемой проблему... эмансипации женщин. Ведь это явление, начавшись в прошлом веке, еще тридцать лет тому назад выглядело совершенно иначе, чем сегодня. И здесь тоже произошли принципиальные, коренные сдвиги! И эта подсистема тоже нуждается в том, чтобы вписать ее в общую картину энтээр. Как вы думаете, Надежда...

— Васильевна... — как будто даже и не совсем уверенно подсказал Левка.

— Как вы думаете, Надежда Васильевна? Что вы думаете об этом искусственном разделении?

— Искусственном? — пожалала плечами Надежда Васильевна. — Как сказать... Для ученых и для журналистов оно искусственное, это разделение, это так, но ведь для самой-то энтээр это естественно? Она, наверно, другой, не разобщенной по разным подсистемам, попросту быть не может?

— Извини, Надежда, — сказал заметно покрасневший Левка, — но только ненормальный ум может признать такое неестественное разобщение нормальным. Только!

Надежда Васильевна уже готова была хорошенько выдать Левке, но тут поторопился Бурлай.

— Надежда Васильевна, — сказал он, — дорогая! Дело вот в чем: нам надо перейти к более конкретной и более интересной для вас беседе. И вот я предлагаю как бы начать нашу беседу заново, и не вы передо мной, а уже я перед вами поставлю такой вопрос: отмечаете ли вы в нашем современном обществе тот факт, что чем дальше, тем все больше и больше женщина выступает в роли воспитательницы мужчины? Поясню свой вопрос. В детских садах все без исключения воспитательницы женщины, в школе — в большинстве случаев они же, в младших классах исключительно они. Если хотите, это тоже открытие эпохи энтээр. Откры-тие! А ведь мальчик должен воспитываться мужчиной, это прекрасно понимали в прошлом, когда, помните, девочек воспитывали гувернантки, а мальчиков — гувернеры?

— И репетиторы, — согласилась Надежда Васильевна. — И учителя фехтования!

— Ну вот, значит, помните? — дружески и даже мило улыбнулся Бурлай.

— Нет, не помню... — сокрушенно вздохнула Надежда Васильевна. — Но знаю, что виноваты нынче исключительно мужчины. Ведь вот же — женщины! Энтээр в нашем веке или что-то другое, но женщины как воспитывали детей, так — худо ли, хорошо ли — и продолжают их воспитывать. А мужчины? Кто из них принес себя в жертву следующему мужскому поколению и пошел воспитателем в детский сад? Не знаю ни одного случая! Кто из них пошел учителем в первый класс? Тоже не знаю случая. Знаю только, что мужчины недовольны тем, как женщины воспитывают мальчиков. Знаю, что они удивляются, когда женщины воспитывают их, мужчин. А чему удивляться-то? Совершенно нечему! Если я привыкла воспитывать двенадцати- или пятнадцатилетнего мальчишку, почему бы мне не воспитывать сорокалетнего мужчину? Не такая уж между ними разница. Тем более что мужчины не воспитывают ни мальчиков, ни девочек, у них нет и не может быть никакого опыта. А женщины воспитывают и тех и других, значит, у них опыт есть. Вы меня поняли? Поняли, что мужчины очень любят сваливать свои обязанности на кого-нибудь: на машины, так на машины, на женщин, так на женщин. Свалют, а потом еще и назовут это каким-нибудь открытием. Например, эн-тэ-эр!

Надежда Васильевна никогда не считала себя женщиной излишне самонадеянной, но сейчас она, кажется, была довольна собой. Она улыбнулась Бурляю доброй улыбкой и еще сказала:

— Когда наш сын, наш Колюнька, был маленький, он всем объяснял: «Когда моя мама была маленькая, меня вообще не было!» И очень радовался этому... от-кры-ти-ю...

Левка спросил:

— Ты это к чему, Надежда?

— Думаю о том, как уже в детстве мужчины радуются своим открытиям...

Левка нервничал. И совершенно напрасно. А если напрасно, значит, дело его личное: понервничает и перестанет.

Бурляй молчал. Потом он сказал:

— Дело вот в чем: мне кажется, нам есть смысл вернуться к началу нашего разговора... Интересного, в общем-то, разговора. Конечно, есть. Так вот, дорогая Надежда Васильевна, вы удивили меня с самого начала, когда спросили: а что будет после энтээр? Мы еще и в самой-то энтээр не до конца разобрались, все еще нет, а вы уже хотите знать, что будет «после». Вы знаете, дорогая Надежда Васильевна, я и не припомню, чтобы кто-нибудь и когда-нибудь ставил вопрос так, как ставите его вы! В такое время живем, что уже завтра может и не быть никакого завтра, тем более — следующего десятилетия или года. Неужели вы ничего этого не знаете, не придаете этому значения, если спрашиваете, что будет «после»? После энтээр?

— Ну как же мне всего этого не знать — я взрослая женщина. И мало ли я, взрослая женщина, знаю разных неприличных вещей? И очень-очень грустных. И очень несправедливых. Что же мне делать, если я все это знаю, — жить неприлично? Очень грустно? Несправедливо? Нет, что бы там ни было, я предпочитаю жить прилично, не совсем грустно и как можно справедливее. Еще я хочу знать, что будет после того, когда кончится то, что есть. Чем оно продолжится? Если ничем, тогда какой смысл в нашей сегодняшней беседе? А что предпочитаете вы... Анатолий Ага-фонович?

Бурляй постучал пальцами по столу и сказал:

— Кажется, есть какая-то логика...

— В чем? — спросила Надежда Васильевна.

— В вашем ответе. На мой вопрос.

— Наверное, есть! — согласилась Надежда Васильевна. — Исключите, дорогой Анатолий Агафонович, из моего ответа логику, что в нем останется? — А вот это она произнесла таким тоном, которым говорила с Колюнькой, когда что-нибудь объясняла ему. Правда, таким же тоном, и нередко, она разговаривала и с Левкой. Она знала, что это дурная привычка, но не так-то просто отделаться от привычек, тем более если они тебя то и дело подводят.

Но не успела она до конца сообразить, обидела она Бурляя или не очень, как вмешался Левка.

— Анатолий Агафонович! — воскликнул он, явно впадая в панику. — Анатолий Агафонович, пожалуйста, не обращайтесь на нее внимания — она завелась! С ней это бывает, чистосердечно признаюсь, бывает, но я не думал, не предполагал, что она заведется сегодня, в вашем присутствии! Не успели как следует поговорить, она — уже!

— Ну и что же, что завелась! — пожала плечами Надежда Васильевна. — По-моему, мужчины должны благодарить бога за то, что женщины все еще заводятся... Сами по себе. — Потом она сказала: — Лева! Иди покури, Лева! А?

— Господи! — еще больше взвился Левка. — Год как не курю!

— Разве? Тогда просто так иди проветрись, Лева...

Левка сидел неподвижно, вытаращив на нее глаза. Надежда Васильевна смотрела на него тоже в упор, потом приняла решение.

— Ладно... — сказала она. — Пусть будет так: я первая проветрюсь. Вот здесь. У окна.

Она встала из-за стола и перешла к окну, где вдоль всей стены выстроился чинный ряд чинных стульев. У окна она быстренько припудрилась, поправила прическу, вообще устранила все неполадки, возникшие во время разговора за столом, и снова посмотрела на Бурляя: что он теперь скажет?

— Дело вот в чем, — задумчиво сказал Бурляй. — Действительно, в нашей дискуссии необходима аспирация.

«А мне теперь все равно! — ответила Бурляю сердитым, неприемлемо-сердитым взглядом Надежда Васильевна... — Если уж ты не приглашаешь меня обратно за стол, по мне хоть десять аспираций! Уйти мне, что ли? Совсем? Хлопнуть дверью и уйти! Отчего бы нет?»

Но она не ушла, а внимательно стала смотреть в окно.

На улице стемнело. Еще больше стало мокрого снега и слякоти, плотнее стали толпы пешеходов, особенно тех, которые по сигналу светофора туда-сюда пересекали улицу, еще больше пожелтели фары, которыми машины упирались в толпу на переходе, и почему-то нельзя было представить, что в этой толпе под этим густо-желтым светом был хоть один счастливый человек. А ведь, наверное, был, спешил на какое-нибудь счастливое свидание. Минуту Надежда Васильевна изо всех сил сопротивлялась желанию зареветь, но вдруг ей пришла такая мысль: а ведь она хорошая женщина! Конечно, хорошая! Ее обидели, а она спокойно-тихо отошла к окну, смотрит в окно, о чем-то своем думает, никому не мешает... Дальше — больше, и она не заметила, как решила стать еще лучше и вечером обязательно пришить пуговицу к Левкиной дубленке, проверить у Колюньки уроки и подарить ему новую авторучку... Пожалуй, она так и сделает... Сегодня вечером Левка будет рвать и метать, зачем она мешала его разговору с Бурляем, а она будет молча улыбаться и пришивать пуговицу. Пожалуй, сегодня вечером она вообще начнет новую жизнь и никогда больше не будет ругаться с Левкой. Все! С этим завязано навсегда! Левку тоже надо понять: сорок два, критический возраст, он или застрянет на том, что он есть сегодня, или пойдет и пойдет в своем развитии вперед. Пусть идет вперед — у него есть данные, его только нужно поддерживать, нужно быть ему настоящей опорой. Чего греха таить, она, конечно, была ему опорой, настоящей, но ведь не всегда. Кроме того, Левка совершенно не виноват, ведь это же Бурляй ее пригласил, хозяин этого кабинета. Он и должен вести себя с гостями прилично. С гостьей — особенно... «Женщина и НТР»?! Да что он понимает в женщинах, Бурляй? А если понимает, спрашивается, в каких? Да Надежда Васильевна скорее умрет, чем окажется среди тех женщин, в которых понимает Бурляй! А что он понимает в НТР? По всему видно — ничего, разве только в каких-нибудь энтэ-эровских поделках! Чует, чует ее сердце, что так оно и есть, а сердце Надежды Васильевны еще не подводило ее, особенно когда дело касалось мужчин. А Левка — мало ли что, — а все равно он тоже хороший! Молодой, стройный, нос нормальный. Удивительно: у Бурляя лицо круглое, а нос большой! Надо же! На круглых лицах нос, как правило, бывает небольшим, большие носы — на лицах вытянутых. Ну все это — пустяки, сущие пустяки, другое дело — почему в семье Кузьменковых с самого начала повелось, что Надежда Васильевна стала Надеждой Васильевной, а Лев Владимирович — Левкой? А если бы наоборот? Если бы Надежда Васильевна была Надькой, а Левка — Львом Владимировичем? Тоже нехорошо, но лучше, чем теперь... А ведь когда Надежда Васильевна вошла нынче в кабинет, она произвела на Бурляя гораздо большее впечатление, чем он на нее. И думать нечего — большее! Она отлично вписалась в этот слегка сумрачный кабинет, в котором заметны далеко не все морщинки на лице, но прекрасно должна обозначаться все еще почти что стройная фигура... И глаза должны хорошо обозначаться... «О, эти карие глаза-а», — захотелось пропеть Надежде Васильевне. А что? Голос у нее тоже приятный. Одним словом, будь она мужчиной, членкором за пятьдесят, она обязательно заинтересовалась бы Надеждой Васильевной и ей захотелось бы так повести разговор, чтобы ее певучий голос звучал еще приятнее... чтобы... Но где ему, Бурляю, — мальчишка! Мальчишка ничуть не страшный. А чтобы привлечь внимание настоящей женщины, нужно ее чуть-чуть, немножко, а все-таки устроить. К сожалению, Надежда Васильевна уже несколько лет как никого и несколько не страшилась, все мужчины для нее — на одно детское лицо. Это — старость, вот что это такое. Но представить себя старой, хоть убей, Надежда Васильевна до сих пор не может. Ради молодости она могла и Левку любить, и ссориться с ним — и по гамбургскому

счету, без зрителей, без аплодисментов, а где-то там, за кулисами жизни, бороться за эту жизнь... Но ради старости? Боже мой, нелепо-то как! Женщина запрограммирована на молодость, а что сверх того, то и сверх ее личной программы, то уже налог в пользу семьи, общества и государства,— вот что надо было бы сию минуту записать на магнитофон! Прервать мудрецов от энтээр и записать немедленно! Пусть после этой записи они продолжают свое, бог с ними! Пусть и дальше Левка таращит глаза на Бурляя и дважды в каждой своей фразе с придыханием повторяет: «Анатолий Агафонович! Анатолий Агафонович!», пусть Бурляй каждую фразу начинает с «дело в том, что» и режет — «в чем тут дело?», пусть, но сначала их надо прервать, перебить и записать ее требование молодости. Вот какую революцию надо искать — чтобы она продлила молодость женщин до семидесяти лет! Вот что надо записать в нынешнее интервью! Но почему-то нельзя... И нельзя почему-то...

А женщина молодая и женщина старая — только биологический вид один, но существа разные, они друг друга не понимают, не предвидят и не вспоминают. Образ жизни у них разный, способ мышления разный, все у них другое. Отсюда возникает вопрос: Надежда Васильевна хотя еще и не постарела, но живет она уже только ради своей старости, такой неизвестной и такой нежеланной?.. Это... очень грустно... это можно понять вот как: она разлюбила Левку... Была любовь — не стало любви, вот и все. Вот и объяснение всему на свете. Во всяком случае — всей ее личной жизни. Вот она возьмет да полюбит кого-нибудь под занавес и тотчас под занавес помолодеет. Ведь ради молодости чего только не сделаешь!.. Если бы вдруг большая любовь? Тогда о чем разговор, тогда — очертя голову! Хоть и страшно, все равно — очертя! Хоть и радуешься втихаря, что вот годы идут, а ее, слава богу, нету, большой, может, пронесет, минует, но если все-таки явится — значит, очертя...

Впрочем... Еще одно-два поколения женщин переболеют этой возрастной болезнью, а там энтээр обеспечит их каким-нибудь витамином, какой-нибудь машиной, какой-нибудь барокамерой — и все! Почитывай себе «Анну Каренину» и удивляйся: «Надо же! Как это у них там было, у варваров?! Под поезда бросались... И поезда-то ходили со скоростью тридцать километров в час — все равно бросались...»

Бурляй сказал там, за столом:

— В чем дело? Дело в том, что любовь и материнство — это две составляющие, которые до сих пор определяют психологию женской половины человечества. Поэтому, прогнозируя наше будущее, мы не можем не думать об эволюции, а может быть, и о революции в этой области, об этих высокодуховных сферах и вершинах.

«Ух ты, на какие высоты забрался Бурляй-то?! — удивилась Надежда Васильевна. — И все-таки, и на высоте, в Бурляе почему-то ничего не бурлит...»

— А-а-альпинисты... — сказала она негромко, чтобы не быть услышанной. — Верхо-о-лазы...

И снова задумалась. О самой себе... Вообще-то она нынче чаще оглядывается на себя прошлую. Еще недавно она не чувствовала в себе ничего прошлого, вот и не на что было оглядываться... Еще недавно было только настоящее, было вещество жизни, которое природа поручила Надежде Васильевне воплотить в жизнь: в фигуру, в формы, в кожу и в глаза, в голос и в движения, — миссия, одним словом. Само собой разумеющаяся, и заметить-то это было невозможно, и слов не было никаких, но это все равно было. Конечно, и тогда случалось не только счастье, и тогда было все, но даже и это все было досадным сопровождением жизни, но никак не самой жизнью. И только когда это чувство стало исчезать, она его заметила и стала

поторапливаться жить и догадалась, что не грех всерьез подумать о том, как она выглядит, какую носить прическу, какое следует шить платье, какие туфли, какую к туфлям сумочку. У нее не было особых возможностей одеваться, посещать дорогие парикмахерские, тем больше она полагалась на себя — на свой вкус и сообразительность. Потом она подумала, что с ее вкусом и сообразительностью пора поторопиться замуж... Теперь-то она знает, что проявила в то время излишнюю самонадеянность и выбрала себе мужа в туристском походе, у костра, в виду ласково-лунного Черного моря. Так красиво, так... Очень скоро она почувствовала желание написать прокламацию: «Девушки! Не выбирайте мужей в туристских походах!» Это крупным шрифтом, ниже — нормальный текст по существу дела. Она очень хотела предупредить юность, себя-то она утешила: «Зато — опыт! Приобрела опыт!» И с этим опытом довольно скоро вышла за Л. Кузьменкова, журналиста. Теперь-то она знала, как не надо растрачивать себя, как надо беречь свою хоть и не первую, а все-таки молодость, как сохранять в себе эту уверенность: «да-да, еще молодая!», «нет-нет, еще не старая!», она знала, как это губительно — изо дня в день считать себя несчастной. Считать надо уметь: чувство молодости последовательно убывает, а результат все равно должен получаться со знаком плюс. В каждую историческую эпоху такой счет ведется женщинами по новой методике, но обязательно все с тем же результатом. Если бы хоть однажды результат получился отрицательным, не только женщины, но и все человечество погибло бы — уж это точно! Поэтому и нынче вопрос стоит так: дайте женщинам методику подсчета своего возраста, соответствующую эпохе НТР, дайте ее, и все будет в порядке! «Вот в чем тут дело!» — сказал бы товарищ Бурляй, если бы догадался, о чем думает, сидя у окна, эта еще молодая, с карими глазами женщина. Но Бурляй — недогадлив. По лицу видно, что недогадлив.

А если представить себе, что ты полюбила такого вот специалиста по проблеме «Женщина и НТР»? Ведь это же почти то же самое, что любить сексолога, который каждый вечер будет читать тебе лекции по своей специальности! Право же, это хорошо, что мужчины беседуют одни, без ее участия... Они беседуют, а она так хорошо, так прекрасно думает для себя! Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь...

Очень лихо Бурляя спрашивал и комментировал Левка. «Левка-то, а? — подумала Надежда Васильевна. — Нет, не пропадет Левка, он еще разовьется. Левка!»

Бурляй спокойно Левке отвечал, время от времени поглядывал в сторону Надежды Васильевны, вот-вот снова позовет ее. А она не подойдет, она скажет: «Благодарю вас!» А Левку она не заденет ни словечком. Потому что он, в общем-то, хороший и даже редкостный, далеко не каждому мужчине под силу жить рядом с таким характером, как Надежда Васильевна. Она вот по собственной глупости разлюбит Левку, а что тогда? Или Левка догадается, что она окончательно его разлюбила, — что тогда? Мурашки по коже, вот что! Она думает, будто она такая женщина, такая женщина — на всем свете не сыщешь! И ни муж, ни сын без нее дня не проживут, думает она. А вот и проживут! Левка в последние годы стал гораздо самостоятельнее и работящее, а Колюнька яичницу сам поджаривает и кашу сварить может. Если, конечно, молоко свежее и не свертывается. И не подгорает, поскольку слишком сильно разбавлено водой.

В этот момент как раз в этот. Бурляй к ней обратился снова:

— Надежда Васильевна! Дорогая! А вот скажите нам как женщина: в чем вы чувствуете присутствие энтээр повседневно? В быту? Какие у вас наблюдения?

И Надежда Васильевна, еще не подумав, как ответить, ответила Бурляю так:

— Молоко стало скисать. Ни утром, ни вечером нельзя на молоке сварить нормальную кашу. До наступления эпохи энтээр такого явления не наблюдалось!

Левка подскочил за столом и, словно барышня, закрыл себе рот рукой, Бурляй довольно странно засмеялся. Все-таки тупицы мужики, не умеют слушать женщину, не всегда важно — что женщина говорит, важно — как говорит! Но как — этого они не знают, не слышат. А она ведь говорила шутливо, с полным доброжелательством к ним, невежам, а может быть, и невеждам. Ну и бог с ними, с тупицами, все-таки хорошо, что не все мужчины так же тупы и глухи, — вот Покровский, начальник учебной части политехнического института, в котором Надежда Васильевна, по существу, является начальником бюро расписаний, тот говорит: «Бранитесь, бранитесь, Надежда Васильевна, сколько хотите, — я всегда готов слушать ваш голос!» Она Левке о начальнике учебной части говорила, и не раз, — где там! Где ему взять в толк, что в политехническом Надежда Васильевна — фигура, все ее слушают, все о чем-нибудь просят: и студенты, и доценты, и профессора-завкафедами, и деканы. Мало ли что в бюро расписаний компьютеры и энтээр на каждом шагу, без Надежды Васильевны, без ее личного участия и сообразительности вместо расписания все равно получится первозданный хаос: учебные корпуса, мастерские и лаборатории будут перепутаны, вечерники вклинятся в дневные часы, заочники — в очников, станкостроители — в обработчиков, автоматчики — в электриков. Специализированные аудитории и те будут перепутаны, а весь учебный процесс — прахом! Она даже и зрительно и на слух представляла себе этот прах — что-то вроде Хиросимы, только без человеческих жертв.

Ну, а домой придет эта фигура, которая ежедневно спасает политехнический от гибели и праха, придет, а муж (зовут Левкой!) погружен в себя. И не разговаривает, у него неприятности на работе! У всех остальных, конечно, ничего не произошло, кроме приятностей, а у него — нервный день. Ну, а если так — начинается.

Начинаются упреки — ведь сил же нет Левку не упрекнуть! Упреки — это ее самоутверждение, ее заслуженное право, попробуй откажись от заслуженного! Конечно, вместо того чтобы упрекать Левку, можно из-под земли выкопать кусок парного мяса, изжарить бифштекс — можно! И по головке погладить можно, руки не отвалятся, и слово сказать — язык не отсохнет. Все можно, но ведь далеко не всякий раз, а упрек — вот он — всякий раз готовенький!

И упрекая Левку, Надежда Васильевна вспоминала совсем еще недавнее время, когда ей не надо было никому доказывать себя, когда она была заведомо права одним-единственным фактом — фактом своего существования... Ну, а потом упреки были уже сами по себе, в химически чистом виде, без воспоминаний.

Теперь времена другие, и себя нужно доказывать всем: мужу, сыну, профессорско-преподавательскому составу политехнического и самой себе... Насчет политехнического она уже не раз прикидывала: уйти? Страшная же нервотрепка, вот и сократить расход сил и здоровья вдвое. Но куда уйдешь — в какое-нибудь конторское бабье царство? Целиком переключиться на воспитание Левки и Колюньки? Левку — могила исправит, Колюнька и без этого нормальный. Учит-ся неважно? Лев Толстой тоже неважно учился... Колюньку важно от телефона отучить — вот что! В отца, что ли, пошел, журналистом будет! Мало ему дня, на ночь утащит телефон в туалетную комнату, «бум-бум-бум» — басок уже сформировался, «хи-хи-хи!», снова «бум-бум!»; а слышимость сквозная, а спать хочется, а наутро Колюньку не добудисься, ну хоть обливай водой из кухонного ведра! То ли дело когда Надежда Васильевна сама была девочкой — и девочек и мальчиков в семье много, а телефонов ни одного, — в туалете не засидишься — детей же много, все время находишься под здоровым

влиянием здорового коллектива. Вот какие были времена! А из политехнического не уйдешь, нет... Сто пятьдесят рэ на дороге не валяются. Были случаи, если бы не эти сто пятьдесят, Кузьменковым хоть по миру идти, а неохота идти-то... Такой случай снова может наступить, не исключено, ничуть.

А что еще? А еще Надежда Васильевна могла сию же минуту затосковать — вот что! Так затосковать, что и Левке и Колюньке станет тошно и политехническому — тошно, о ней самой и говорить нечего... Но — нельзя... Это последнее дело, а самое последнее дело всегда надо откладывать на потом...

Тут Бурляй по ходу своего интервью сказал:

— Любить мы и сегодня умеем, а вот беречь любовь...

Это уже было интересно, Надежда Васильевна прислушалась к разговору, а разговор, оказывается, кончился, это под занавес было сказано.

Стали любезно прощаться, Бурляй сказал:

— Извините нас, Надежда Васильевна, что мы заставили вас скучать.

— Скучать?! — удивилась она. — Что вы, я так хорошо посидела, так подумала... Оглянулась вокруг — на темные стенные панели, на люстру... Другого такого же места и не найдешь, чтобы так же посидеть... в эпоху энтээр... Кроме того, поскучать — это же необходимо: женщина, которая никогда не скучает, — очень скучная женщина!

И тут Бурляй что-то пробормотал насчет политехнического, насчет того, что Надежда Васильевна в политехническом самый главный и общепризнанный диспетчер... Что без нее политехнический как без рук...

«Ах вот как! — подумала Надежда Васильевна. — Значит, Левка и еще что-то рассказывал Бурляю о своей жене? Значит, своей жене он рассказал не все, что рассказывал о ней Бурляю? Значит, Левка очень хотел, чтобы Бурляй пригласил его жену на эту беседу? Значит... Ну, берегись, Левка!»

А Левка-то?

Он забыл, что обижаться тоже надо в меру, иначе так обидишь своей обидой обидчика, как ничем другим!

И ведь как назло: ехали к Бурляю — полчаса гонялись за такси, поехали от Бурляя и не собирались такси искать, а оно — вот оно, зеленый огонек у самого подъезда бурляевского института.

Левка вскочил в такси первым, а ей бы не вскакивать, ей бы самостоятельно на метро, так нет, она силой втиснулась, втиснувшись, спросила:

— Ну что, мальчик, разволновался? Потерпи! Приедем домой, дам тебе капли Вотчала, уложу тебя в постельку: баю-баюшки-баю!

Тут, в присутствии таксиста, Левка и начал выдавать.

Первое, что выдал, — она его унизила перед Бурляем, он не знал, сквозь что провалиться...

— А теперь — знаешь?

— Что?

— Ну сквозь что провалиться? Провались сквозь потолок. Сквозь пол — это слишком тривиально!

Второе Левка выдал — Надежда Васильевна бесчеловечный человек. Злой! Ехидный! Психически ненормальный! Разве нормальный человек скажет в лицо крупному ученому: «Альпинист! Верхолаз!» Скажет он это членкуру? Скажет человеку, от которого сегодня прямо-таки зависит судьба ее собственного мужа?

О господи, Левка и это слышал — про альпинистов-верхолазов! Это ужасно!

Надежда Васильевна сказала сквозь слезы:

— Ну и что? Подумаешь, ненормальный человек! Невидаль какая! А делать из-за этого дикий скандал — это нормальность, да?

— А молоко в эпоху энтээр свертывается — ты уже забыла? А привязываться к человеку — что будет после энтээр — нормально? А отправлять меня курить, если я не курю? «Исключите из моего ответа логику, что в ней останется?» — это нормально?! А...

Надежда Васильевна в голос заревела:

— А мне все равно! Теперь уже мне все равно — кто я?! Если один человек не понимает другого совершенно, если не знает, кто кого в действительности унизил, а кто кого простил, кто кого все еще любит, а кто кого давно уже ненавидит, кто в ком на всю жизнь сегодня и навсегда разочаровался, — разве после этого все еще не все на свете все равно?

Приехали домой, тут вообще невозможно стало понять, кто кому и что говорит, и Колюнька забился в туалетную комнату просто так, без телефона. Дело было дрянь, дело было такая дрянь, как никогда в их общей жизни. Кажется, никогда...

Надежда Васильевна постелила на диване в столовой, не раздеваясь легла и редела, редела... Потом разделась, и снова легла, и снова редела. Потом надела халатик, старенький, буренький, — хорошо греет и колени и душу. Нынче он ничего не грел — ни коленок, ни души, и Надежда Васильевна думала: «Ну ладно, дело решенное, а с Колюнькой-то как быть?» Единственная нерешенная проблема — с Колюнькой, других нет... Правда, почему-то еще вспомнилась Икс-Игрек, Христина Ульяновна — формально начальница бюро расписаний политехнического института. Она пришла на ум в связи с тем, кажется, фактом, что гуманизм, конечно, существует на свете, но существует очень странно — обязательно едет на ком-нибудь верхом. А тот, на ком он едет, не находит в себе сил освободиться от него. Ну кому это нужно, чтобы Икс-Игрек числилась начальницей бюро расписаний? Это уже лет десять как никому не нужно, даже ей самой, она человек обеспеченный, дети хорошо зарабатывают, хорошо одевают мамочку. Надежда Васильевна так не одевается, куда там! Но, видимо, детки укоренили мамочку в должности навечно, а всю работу везет и вечно будет везти она, Надежда Васильевна, а Икс-Игрек... ей только и остается что завивать на себе седенькие-реденькие...

Конечно, в каждом отделе, в каждом пусть даже небольшом коллективе обязательно существует свой всеми признанный бездельник — чья-нибудь дочь, у которой что ни рабочий день, то отгул или бюлетень, чей-нибудь и даже не чей-нибудь, а сам по себе сын — что ни день, то особое поручение от начальства, то командировка, то шахматы. Но тут — ни то, ни другое, тут чья-то старенькая розовенькая мамочка на работу ходит как часы, все дела бюро расписаний принимает очень близко к сердцу, но ничего не делает — где ей, старенькой-то? Уж лучше бы чья-нибудь дочка, та, по крайней мере, новости приносила бы: кто и что говорит «наверху» — и тем самым уже облегчала бы моральное состояние Надежды Васильевны, женщины такой энергичной, такой сообразительной, такой, которую все слушаются... Такой просто грех не работать с утра до ночи, грех что-нибудь напутать, грех подумать, что она ведь чужую работу ломит...

И вот всякий раз, когда Надежде Васильевне плохо — с Левкой она ссорится, с Колюнькой не ладит или сама по себе болеет, — всякий раз ей приходит на ум Икс-Игрек. Приходит и не уходит. И доказывает, что Надежда Васильевна сама себе вина. Вот она за свою вину и расплачивается: на работе ей работать за двоих, дома — за двоих. И вот еще страдать за двоих — это почему? А если у нее хватит чувств, хватит боли, то и за троих? За десятерых? И мерзко так

и гнусно жалеть себя?.. Но при чем она, если на свете существует такая гнусная арифметика?.. Такой гуманизм...

То ли дело эгоизм? Заезженный и невзрачный такой коняга, клейма на нем ставить негде, от носа до хвоста весь давным-давно клеймен, а сел на него, и он сам повезет тебя туда, где пахнет жареным...

Гуманизм же — конь благородных кровей, красавец писанный, но у него один-единственный недостаток — куда он не везет, его надо тащить на себе. Его, гуманного, тащишь, а он строго указывает: «Правее! Левее! Еще левее! Прямо и быстрее!»

Часу уже в четвертом Надежде Васильевне отчетливо припомнилась она сама... Она сама в кабинете Бурляя... Сидит и в окно смотрит. Смотрит и думает о себе. Оказывается, как хорошо, как чудно она умеет думать и думать о себе! Не то чтобы это было настроением счастья, но настроением жизни — было... С таким настроением жить не только можно, но и нужно! Сейчас бы — такое же! Что бы только она не отдала, чтобы — такое же!..

Но тут зажегся свет, вошел Левка...

Вот он — полюбуйтесь! Полюбуйся, жена!

Вместо того чтобы быть уверенным в себе, вместо того чтобы благородно попросить прощения, вместо того чтобы забыть все, что произошло, вместо всего этого он — жалкий, растрепанный и даром никому не нужный. За одно это, за то, что он мог быть и должен быть одним, а появился совсем-совсем другим, за одно это его еще раз следовало возненавидеть!

Надежда Васильевна так и сделала, сказала: «Уйди!» — и отвернулась к стене. Было противно слышать знакомое дыхание незнакомого человека в пестрой пижаме, которую она купила на прошлой неделе... Еще она знала об этом человеке, что он мог бы, мог бы быть мужчиной, но не хочет. И думает, что это его личное дело, личный выбор. Но она-то, Надежда Васильевна, она-то что за женщина при мужчине-немужчине? Он об этом подумал?

Левка сказал:

— Все... — И поставил на журнальный столик магнитофон.

Она не глядя догадалась, куда и что он поставил. Она уже обо всем догадалась и сказала:

— Так тебе и надо! Так и надо, так и надо!

— Все... — повторил Левка.

— А кто тебе говорил? Кто тебя предупреждал? Кнопка, что ли, запала? Совсем?

— И кнопка — совсем... И неизвестно что — совсем...

— Лента не размагничена? Что там, на ленте, записано?

— Кажется, этот... Высоцкий...

— Высоцкий? Не дай бог — всегда был бузотером. А кто тебя предупреждал? Так тебе и надо! Бурляю так и надо!

Левка тихо, убийственно тихо и жалобно стал рассказывать о том, какой он несчастный, как ему не везет в жизни... Ему не везет, а он все равно упорным трудом добился и уже три года как стал видным специалистом по проблемам энтээр, уже год как написал книжечку об энтээр, уже полгода как заключил с издательством договор на вторую книжку об энтээр, и гвоздь этой, второй и решающей для его судьбы книжки — Бурляй, член-корреспондент...

— Тоже мне гвоздь! Глаза бы не смотрели! — отозвалась Надежда Васильевна.

— Бурляй — очень умный. Очень порядочный... Бурляй — наша надежда номер один... Наша... то есть моя и твоя.

— Какой-какой номер?

— Один... Номер один...

— Что же ты теперь будешь делать со своей надеждой? — спросила Надежда Васильевна и снова заплакала негромко и горько. — Что?

— Знаешь, что мы, Надежда, сделаем?

— Мы?

— Конечно, мы... Ну, кто же еще? В тяжелых случаях жизни иначе быть не может... Как только ты, как только мы... Одним словом, как только ты, мы и я...

— Говори разборчивее — о ком речь? О ты-мы или о мы-ты?

— Господи! Нашла время издеваться! Нет, право, у тебя железные нервы. И значит, Надежда, так... Значит, я, а еще лучше, если, Надежда, ты, мне кажется, это будет лучше, значит, мы позвоним сегодня Бурляю и попросим его принять нас снова. И повторить беседу. Мы признаемся чистосердечно, что ты не просмотрела как следует кассеты, и вот вышла накладка, и вот мы просим... Мне кажется, что если ты по-настоящему мобилизуешься, и позвонишь, и объяснишь Бурляю наше положение, тогда мы...

Надежда Васильевна вскочила с дивана и бросилась к Левке с кулаками, но, чуть-чуть не добежав, повернулась и снова упала на диван... Полежала молча, схватила голову руками и так, в распахнутом буреньком халатике, стала кричать:

— Ты с ума сошел? Показывать себя таким тупицей! разявой! растяпой! И меня тоже показывать тупицей?! разявой?! растяпой?! И еще бог знает кем, черт знает чем?! Так вот, слушай: я не буду звонить Бурляю, и ты не будешь ему звонить. Ты меня понял?! Ты стнесешь ему готовую запись вашей беседы, какой бы она ни была, — понял? И он ее подпишет, вашу беседу, какой бы она ни была, — понял? Дай сюда магнитофон! Включи штетсель!

Надежда Васильевна подержала в руках черную холодную коробку, пристально рассматривая ее, потом приложила к одному уху, к другому... Потом три раза сильно тряхнула ее и похлопала сначала с одной стороны, потом с другой...

«И верный мой товарищ, жена-домоуправ...» — так, кажется, или почти что так хрипло пропел Высоцкий, потом послышалась гитара, потом Бурляй: «Одной эпохе не дано пред... изго...»

— Тоже мне — гвоздь... — тяжело вздохнула Надежда Васильевна... — Кнопку бы сделать из этого гвоздя. Кнопку номер один, и то хорошо... Гвозди бы делать из этих людей, кнопки бы делать из этих гвоздей...

Она чуть-чуть прокрутила кассету назад и услышала себя: «Что по ваш... бу... после энтэ... Еще... нибудь революция? Значит — перманент?» Но тут снова запел Высоцкий...

— Так... — сказала Надежда Васильевна. — А тебя, Левка, почему-то нет... Все есть, а тебя почему-то нет... Странно...

— Есть! — сказал Левка. — Я есть и обязательно буду, ты не беспокойся!

— Бр-р-р... ничего себе поп-музыка! Где до, где си, где до-ре-ми — попробуй разберись! Ну тогда вот как: на столике бумага... тут поници авторучку... Будем слушать запись и что-нибудь из нее восстанавливать. Ты будешь записывать, а я буду слушать и тебе диктовать. Ты помнишь, что ты говорил Бурляю?

— Не думаю... Не думаю, что помню. Нет, не помню. Провал памяти. Стресс. Аберрация. Все пропало. Все напрасно, но ты этого не хочешь понять...

— А я помню все, что говорил Бурляй. Все! Сидела у окна, не слушала, но все помню. Садись вот сюда, на диван, и записывай... Подстели одеяло, а потом садись.

— Я чистый. Я — в пижаме. И я — в новой... — сказал Левка.

— Порядок есть порядок, нельзя плюхаться прямо на чужую простыню. Ну? Запускаем с самого начала! Запускай!

Магнитофон хрипел, гудел и вопил, соседи постучали. Надежда Васильевна пыталась сквозь стенку извиниться, до соседей не дошло. Беседа кое-как восстанавливалась. Кузьменковы работали, как на конвейере.

Только один раз Надежда Васильевна остановилась, задумалась — это когда они записали следующие слова Бурляя: «...Женщина воспринимает явления энтээр предметно, то есть в предметах: в новом телевизоре, в новом агрегате, в небьющемся стекле, в новом клее, который склеит любое стекло и каблук к подошве ее туфли тоже приклеит. При этом женщина не размышляет над самой идеей энтээр и как бы даже отвергает ее, в то время как для мужчины именно идея и общее направление мысли является главенствующим».

— Что с тобой? — спросил Левка задумавшуюся Надежду Васильевну. — Может, воды принести? Холодной, из-под крана?

— Просто так... Хочу понять, что следует из этих слов о мужчинах и женщинах.

— Это — констатация факта, и только. Фиксация факта. Факт как таковой — вот и все...

— А — следствие?

— Надежда?! Ты можешь объяснить, зачем тебе следствие? Зачем оно тебе сейчас же, сию минуту? В совершенно неподходящую минуту. Если уж тебе так нужно следствие — оно будет. Лет через пять или десять. Посиди и подожди. Все-таки странные у тебя требования к фактам, очень странные!

— Никаких требований. Просто жду и жду что-нибудь от умных людей... от умных мужчин. Вот и голова разламывается, и тошнит, не то что стоять — сижу с трудом, так бы и легла сейчас и потеряла бы память, но надо же — я все равно жду...

— Что?

— Что-нибудь от умных мужчин... Но теперь уже ясно: не дождусь. Скажи хотя бы, что ты наговорил обо мне Бурляю, когда договаривался с ним о беседе?

— Ничего особенного...

— Припомни. Неособенное припомни.

— Значит, он сказал: «Хорошо бы в нашей беседе участвовала женщина.. много работающая... энергичная... современная... семьянинка...»

— Еще какая?

— Еще... эмансипированная.

— «Еще эмансипированная» — это самое главное?

— Я сказал: «Так ведь это же моя жена!» И даже, знаешь, как я сказал: «Честное слово — это моя жена!»

— Плохо ты знаешь свою жену...

— В чем я ошибся? Разве все это не так?

— Это не так, потому что это не только так... Но ты слишком просто выдаешь свою жену малознакомым людям... Достаточно, чтобы перед тобой был членкор, и ты уже выдаешь ему мою характеристику. Без подписи и печати, а под честное слово... В следующий раз, пожалуйста, согласовывай характеристику со мной... Хотя бы давай мне ее прочесть. А то видишь, как получилось: я не знала своей характеристики и подвела тебя. И Бурляя перепугала... Сказал бы мне заранее, кто я,—я бы знала, кто я. И никого бы не подвела. Жалко...

— Кого тебе жалко? Кого — скажи?

— Больше всего, представь, себя жалко... С головы до ног эмансипированную. И все еще что-то ожидающую от умных мужчин... Ну ладно, Левка, дело сейчас в том, что так дальше у нас не пойдет... Мне уже скоро вставать Колюньку будить. Кашу ему, тебе варить и на работу спешить.

— Кашу надо было с вечера сварить! В первый раз, что ли?

А работу с магнитофоном отложим до вечера. Вечером продолжим. Я тоже страшно устал! Надо отдохнуть! И прийти в себя.

— К вечеру у меня памяти не будет: сегодня утверждаем расписание экзаменационной сессии, а после этого я собственное имя забываю, не то Надежда, не то Маланья — не помню. Нет-нет, сейчас же надо что-нибудь придумать, что-нибудь рационализаторское. Сию же минуту!

— О господи, когда это кончится? — взмолился Левка. — Когда наконец кончится?!

— В кухне, на второй полке, маленький магнитофон. Заряди и принеси. А дальше так: вместе будем слушать и что услышим с этого, с большого магнитофона будем на маленький наговаривать, но по отдельности: ты сам за себя, а я — за Бурляя.

— Ты? За Бурляя?

— Я же заочно.

— Ну а потом? Знаешь, что будет потом? Я расшифрую нашу запись, в которой ты за Бурляя, перепечатаю ее на машинке, отнесу Бурляю, и тут — все пропало: он себя не узнает!

— Головой ручаюсь — он себя узнает! Но обязательно напечатай беседу как можно аккуратней, без всяких помарок, и тогда он себя узнает. Я бы перепечатала, но вряд ли выкрою сегодня время, так что ты — сам. Без помарок...

— Пуговицу пришей — обещания надо выполнять! А маленький магнитофон давно не работает. Странная у тебя, Надежда, логика... Очень странная.

— У меня — странная. А у тебя какая?

— Ты работаешь в политехническом? — вдруг спросил Левка.

— И больше — нигде! — подтвердила Надежда Васильевна.

— Ты должна бы уже привыкнуть к разговорам об энтээр. К размышлениям о ней. К пониманию ее.

— Ты так думаешь? Но... во-первых, в политехническом все делают энтээр, и никто о ней не говорит. Говорят другие...

— А во-вторых?

— Во-вторых... Вы с Бурляем ничего не понимаете в энтээр по-мужски, а я не понимаю в ней по-женски. Еще разница в том, что вы свое незнание публикуете, а я свое — держу при себе. Крепко держу! Такие мы знатоки... Вот и все интервью. Ну так неси маленький магнитофон. В кухне, на второй полке.

— Он не работает. Еще летом, еще на даче испортился.

— Неси, неси! Похлопаем хорошенько — заработает!

Через три дня Бурляй без единой поправки завизировал беседу с журналистом Л. Кузьменковым.

Через два месяца его «Женщина и НТР» была опубликована в журнале и привлекла внимание широкого читателя.

И до сих пор на нее ссылаются самые разные авторы. Не только в нашей стране, но и за рубежом.

ЛАРИСА МИЛЛЕР

★

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Я встретила погибшего отца,
Но сон не досмотрела до конца.
Случайный шорох помешал свиданью,
Прервал на полуслове, и с гортанью
Творилось что-то... Тих и близорук,
Он мне внимал растерянно... И вдруг
Проснулась я, вцепившись в одеяло,—
Отца нашла. Нашла и потеряла.

Пиросмани

Тихо заняли места,
К долгой трапезе готовы:
Позы чинны и суровы,
Скатерть белая чиста.

Славьте, добрые мужи,
Живописца из Кахети.
Без него ушли бы в нети
Эти ваши кутежи.

Медлит с чашею рука.
Все возвышенно и строго.
Потечет вино из рога,
Потечет из бурдюка.

Лишь по милости его
Вы, подняв большие роги,
Ясноликие, как боги,
Живы все до одного.

* * *

Легко проделав путь обратный
К шумеру с бородой квадратной,
Учи историю, дитя,
Через столетия летя;
Через столетия вприпрыжку,
Как через тоненькую книжку,
Через Египет, Вавилон,
Подъем, падение, полон
Лети, орудуя веками,
Эпохами, материками,
Мирами всеми, чтоб потом
С великим постигать трудом
Сердцебиение и вздохи
Одной-единственной эпохи.

ЮРИЙ ШИШЕНКОВ

★

ПРЕДУПРЕДИТЬ БЫ...

Записки инженера

ШШШ ла вторая половина октября, а, судя по сводкам погоды, на всей европейской части страны было тепло-претепло. Но вот двинулся с севера холодный воздух. По фронту встречи тепла с холодом бушевали ветры. В Москве рвало провода и валило деревья. Через двое суток фронт сместился к Кавказу.

В гибели штукатура Любови Павловны Лисицыной на стройке в Орджоникидзе роковую роль сыграл порыв ветра. Налетев внезапно, ветер рванул стрелу башенного крана — на крюке в это время был штабель дверных блоков. Блоки посыпались. Один из блоков (всего тридцать килограммов) ударил по голове Лисицыну. Четверо детей от трех до восемнадцати лет остались сиротами. Была утроем мама — нет вечером мамы.

Это записки о технике безопасности в строительстве. О ТБ. Когда я пишу эти записки, мне пятьдесят лет. Двадцать семь из них я прослужил в Советской Армии. Уволившись, стал получать пенсию. По образованию я инженер-строитель. Возможно, работая, занялся бы чем-то повеселее, чем техника безопасности. Однако занялся ТБ. В одном довольно крупном союзном строительном объединении. Жилье мне нужно. В объединении обещали. Надеюсь и жду, хотя обещанный срок миновал. Я уж тут год отработал, не специализируясь в ТБ...

О себе рассказываю потому, что будет это иметь отношение к теме повествования.

— Не везет нам с людьми на должности инженера по ТБ, — сказал мне главный инженер объединения. — Один был гражданин — занялись им органы ОБХСС, пришлось с ним расстаться. Второй от многочисленных наших беспорядков сам испереживался так, что заболел и умер. Третий ваш предшественник пил, пришлось выгнать. На вас надеемся.

— Подумаю над вашим предложением, — ответил я главному инженеру, — дайте время подумать.

Двадцать пять лет работаю в строительстве. С учебой — все тридцать. Восемь из них непосредственно на линии. У прораба техника безопасности — это то, за что можно «получить срок, случись что». А возможностей для случаев не мало, когда это протростроительство. За восемь лет, что работал на линии, у меня на участке не было смертей. Но прорабы-соседи Марсель Ахтямов, Толя Жданов — те попались. А чем я лучше их? Дело, как говорится, случая. Раз пять я платил начеты — компенсацию пострадавшим.

Думаю, что техника безопасности — штука вторичная. Первичное — вообще организация работ. И такие категории, как дисциплина, обученность, общий уровень культуры или вещь вовсе уж эфемерная по своей зависимости от организаторов — бдительность работающего.

Хотя все это довольно общие понятия, но, бывший прораб, я знаю — решающие. Смогу ли я влиять на технику безопасности целого объединения?

На линии должностей выше начальника участка я не занимал. Да и не стремился, по правде сказать. Пугала изрядная грубость этого процесса — строительства. Хотя я и люблю строительство. Без сомнения, люблю. Такое почти романсовое противоречие: «люблю и проклинаю...» Но в данном случае я вот о чем. Люди жаждут страстей. Сознательно, не сознательно — жаждут. Отсюда тяга к детективам. «Схватка с абвером», «Следствие с риском для жизни», «У опасной черты» — это я только один раз глянул на киноафиши. Теперь уверен: настоящее участие в производстве жажду в страстях удовлетворяет с лихвой. В свое время я убоился грубости и упустил страсти...

А еще в технике безопасности мне близка и притягательна конечная цель — сохранить жизнь и здоровье людей.

Так что не только обещание жилья, есть и другие стороны, привлекающие меня в ТБ.

Случай в Орджоникидзе произошел за день до моего назначения на должность. Пятый смертельный случай в объединении за год.

Погибла мать.

— Никто не хотел тебе плохого, Любовь Павловна, — приговаривает потрясенный начальник стройуправления, пока мы занимаемся расследованием. — Никто не хотел, а вон что вышло-то...

Все тут, кажется, смешалось в кучу.

Лисицына работала на штукатурной станции, агрегате, стоявшем в четырех с половиной метрах от строящегося дома. По нормам положено пять. Пачку дверных блоков подняли на крышу, так как вокруг стройки частные дома и воруют стройматериалы. Порыв ветра налетел в момент, когда крановщик включил стрелу на поворот и тем самым растормозил ее. Наискось, планируя и рассыпаясь, полетели двери с пятиэтажного дома. Люди закричали. Да разве успеешь тут понять, в чем дело!

Лисицына была без каски. Очевидцы говорят, дверь ударила ее как бы вскользь. Каска, конечно, могла облегчить травму. Одно из основных требований техники безопасности: «Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски». Лисицыной каска была выдана. Она ее не надела.

Таковы подробности. И нет противоречий. Не всегда так бывает.

Прораб и крановщик пошли под суд. Ветер ветром, но люди обязаны предусматривать — это аксиома.

Суд — дело не скорое. А как бы я рассудил, я, теперь этим вещам не посторонний?

Мне видится вот что. В ТБ необходима скрупулезность (находишься штукатурная станция в пяти метрах, а не в четырех с половиной, все могло б обернуться иначе). В ТБ нужна бдительность (думай крановщик о ветре...). И сплетается ТБ с социальными проблемами (воруют). И... виновата пострадавшая (не надела каску).

Виновата пострадавшая? Погибшая?.. Виновата?.. И некому было объяснить, убедить, потребовать?

Была утром мама — нет вечером мамы.

Я не берусь сейчас отвечать на этот вопрос. Ответ надо еще искать.

Первое, что всегда характеризует состояние дел, — статистика. Тут данные таковы: за год в строительном объединении происходит от пятнадцати до двадцати несчастных случаев, из них три — шесть смертельных.

Второе, что характеризует дело, это принципы. Впрочем, на втором месте это положение только потому, что принципы всегда понять и сформулировать труднее, чем посчитать цифры.

После того как я согласился работать, главный инженер объединения мне сказал:

— На каждый месяц чтоб был письменный план работы, на квартал — отдельный, на год — само собой. Чтоб у нас целая папка планов была, понял?

Я, признаться, ничего не понял.

— Разве чем больше планов, тем меньше несчастных случаев? — спросил я главного.

— Чем больше планов, тем спокойнее можно спать, — твердо сказал главный.

Была утром мама — нет вечером мамы.

Сижу я в производственном отделе объединения. Кроме меня, в нашей комнатушке еще трое: два инженера-куратора, папа Вася и Аркаша, и машинистка Алевтина Исаковна, сокращенно Алиса. Папа Вася мой ровесник. Он работяга, в объединении на него возлагаются обязанности, требующие энергичности и конкретности. К примеру, он возглавляет ремонт помещений самого объединения или срочный ремонт кровли. Папой мы его называем за то обилие хлопот, которое он являет по устройству сына, вернувшегося из армии. Аркаша — тридцатилетний малый, ни дня не работавший на производстве, однако умеющий с большим апломбом представлять на местах да и по телефону «человека из объединения». Алисе за пятьдесят, но она моложава, одинока и души не чаёт в Аркаше.

В объединении все идет по раз навсегда установившимся обычаям: непрерывные совещания, трепет по поводу прогрессивок, перегруженность машинисток. В отделе — долгие разговоры по междугородним телефонам, сбор информации, ежемесячное писание обширной справки, называемой у нас балдой (писать велют, но пишущие считают ее никому не нужной), приготовление чая, угощение друг друга домашними заготовками, слушание по радио «В рабочий полдень» концертов по заявкам.

Обстановка мне привычна, но задачи новы. Из всех закоулков набираю библиотеку литературы по ТБ. Есть техника безопасности, однако нет, кажется, науки безопасности. Почему? Может, порассуждать на эту тему, начав с цитаты из солидного словаря, с определенных понятий «наука» и «техника»? Впрочем, пустое это. Судьбе угодно было, чтоб я начал свою работу с участия в деле Лисицыной. На этом деле я и узнал всю структуру службы охраны труда.

Перебираю старые дела. Боже, какая же уйма бумаг! Что ни шаг — то план, что ни шаг — мероприятия. В одном из наших трестов опытный, давно работающий глава службы охраны труда сказал мне: «Работа у нас бюрократическая». «У нас? Бюрократическая? Да вы с ума сошли!» Ухмыляется.

С интересом читаю документы предшествующих лет, особенно описания несчастных случаев. У японцев есть простая формула: труд опасен. Помнится даже, это у них пословица. Какие главные опасности на стройке? «Падающего предмета и падения человека с высоты, работающего механизма и поражения электротоком, взрыва и отравления...» — так пишут в инструкциях. Вообще же, строительство, по моему, может, только войне и уступает по бесконечному разнообразию опасностей.

Объединение — это тресты, заводы, отдельные управления. Это почти четыре десятка инженеров, занимающихся только охраной труда, уж не говоря о главных инженерах, отвечающих за технику безопасности. А травм много.

Что можно и нужно сделать?

Как-то я завел разговор в своем отделе, присутствовал еще кто-то из приезжих подведомственных, — какова цель охраны труда. Все — строители, у всех есть понятие. Сказали: обучение безопасным мето-

дам работы, проработка приказов и инструкций, своевременный доклад наверх... Ну, и так далее. «По-моему,— сказал я,— исключить несчастные случаи». «Это само собой разумеется»,— сказали все.

Может, и само собой разумеется. Только отчего же вот так просто об этом и не заявить? Я уверен — надо взвинтить атмосферу в вопросах техники безопасности. Допускаю, что можно поморщиться от выражения «атмосфера в вопросах техники безопасности». Но так у нас говорят. От среды отрываться трудно. Методы взвинчивания: упростить и сделать более ясной цель — исключение несчастных случаев на производстве. Именно эту формулу решаю повторять в приказах по ТБ, исходящих от объединения. А вообще, количество приказов должно быть минимально. Работающий человек и рабочее место — главное. Человеку — знания и бдительность. Рабочему месту — чтоб было оно «как положено».

У кого помощь найти? Есть такая категория — общественные инспектора по ТБ. Из рабочих. У нас очень много объектов. Общественные инспектора могут быть на каждом объекте, в каждой бригаде. Люди разные — есть пассивные, есть активные, это зависит и от природы и от воспитания. Найти активных. Заново и заново искать их. Публичной похвалой, премией поощрять активных. Гнать, стыдить и гнать пассивных.

Я должен убедить командиров производства заниматься этим!

Хотя от общественных инспекторов будет начальству беспокойство. Но зато какая благая цель! И надо добиться, чтоб вопросами ТБ как можно больше интересовались партийная, профсоюзная, комсомольская организации.

У наших руководителей что главное? Всегда план, снабжение, необходимость рассчитаться с рабочими. Когда начальники вспоминают о технике безопасности? Когда что-то происходит.

Надо приучить наших руководителей к другому. Приучить! Вот к чему. С непоколебимой равномерностью идет только время. Вот и надо руководителям наметить определенные дни, четверги там или какие-то числа месяца, и в эти дни, как говорится, железно уделять внимание ТБ. Что это будет: обход объектов или работа с прорабами — не знаю. Но в этот день начальники, главный калибр, как я их называю, на все производство должны смотреть через очки техники безопасности. Именно начальники! У инженеров по ТБ каждый рабочий день — день ТБ. Нереально того же требовать от главного калибра. Но реально главному калибру периодически обращать свою мощь к вопросам ТБ.

Таковы идеи. Конечно, они не новы, не бог весть какое открытие. Но освежи их, думается,— и польза будет.

Включаю эти идеи в приказ по итогам года и задачам на предстоящий. Лаконично. Не довольствуюсь этим. Проходят балансовые комиссии по работе организаций объединения. Держу там пространные напористые речи. Тону моему, чувствую, внимают. Но что реализуют — не знаю. Не довольствуюсь и балансовыми комиссиями. На объектах и в стенах управлений при каждой очной встрече с теми, от кого зависит реализация идей, повторяю и повторяю свои речи.

В начале нового года отдаем приказ о проведении перекрестной проверки состояния ТБ. Традиционное у нас дело. (Терпеть не могу слово «мероприятие».) По итогам проверки собираем совещание. На совещание приглашаются партийные и профсоюзные секретари, представители общественных инспекторов. Присутствует руководство. Делается обзор состояния, ставятся задачи. Конечно, не обходится и без стандартов типа «пора поднять значение службы охраны труда». Но стараемся и чтоб дошло до души. Говорим о политическом значении нашей службы. Травмы людей — это травмы коллектива. Выступаю и говорю, что мы, можно сказать, не просто техникой безопасности занимаемся, а занимаемся техникой государственной безопасности. Мо-

жет, это и красное словцо. Да чем крупнее роль, тем наверняка охотнее ее актер играет.

Выступают активно. Жалуются на нехватку внимания, материалов. Ставят конкретные вопросы: недостает лесов и подмостей, не хватает грузозахватных приспособлений, необходима помощь центра в обеспечении... Энергичная резолюция. Совещание однодневное. Никаких подготовленных ораторов. Это совсем не мало — полный рабочий день разговоров на одну тему.

Из высказываний в кулуарах:

— Пока водку жрать не перестанут, происшествия не переведутся.

— Раз оживилось к нам внимание — сейчас жди несчастья...

И несчастье, правда небольшое, происходит тут же, в зале совещания. Вдруг прорывает трубу центрального отопления. Легкое наводнение. И смех и вздохи. Один из руководителей министерского главка говорит: пусть это будет последним ЧП у нас.

Оно в моде у нас — суеверие. Скажут: «все в порядке» — и тотчас прибавят: «пока» — и сплюнут трижды через левое плечо. Поскольку пики неблагополучия, означающие поражение нашей службы, называются случаями, несчастными случаями, то тут вроде бы легкое суеверие — оно и оправданно, оно и уместно. Случай — это то, причины чего неуловимы, уходят как бы в некую неподвластную людям область.

Да только такой взгляд — гарантия неудач. Я тоже суеверен. Повторяю и повторяю такую мысль: чтобы чего-то добиться, надо сделать все, абсолютно все, что от тебя зависит, а после этого надо еще глубоко верить в успех. Именно так: самому все сделать и еще верить. Вера и дело помогают друг другу. Если веришь, что случай произойдет, он произойдет, если веришь, что не произойдет, он не произойдет. Так думаю. Впрочем, это, возможно, уже философские дебри.

Будни. Утро. Начальник отдела на очередном совещании. У папы Васи есть поручение — выполняет предписание пожарника. Аркаша уставился в окно и щедро комментирует «столовый роман», как он его окрестил. Напротив нашего окна — школа, вход в кухню. Там разворачиваются события между поварихой и шофером, привозящим продукты.

— А малый-то факт женат, — анализирует Аркашка, — ишь как наглажен. И толстомыкая про то знает. Однако льнет...

Алиса приникает к окну и уточняет у Аркаши детали.

Есть и у меня в объединении привлекательный собеседник. С Николаем Ивановичем, заместителем начальника отдела, у нас похожие биографии: почти ровесники, в один и тот же период праздновали вуз и хлебали линию. Характер бесед у нас с ним как бы несколько абстрактен. Мне кажется, что Николай Иванович чрезвычайно чуток и раним, пожалуй, это одно из главных его свойств. У нас нередки ситуации, достойные критики. Николай Иванович на них реагирует с искренней болью. По-моему, иногда даже излишне болезненно.

— Ты посмотри, — говорит он мне, — какой громоздкий, многоступенчатый у нас аппарат по передаче информации наверх. Но какой смысл в этой передаче? Во-первых, информация так обширна, что наверху ее всю усвоить не могут. Во-вторых, даже если и усвоят, что дальше? Чтоб внизу что-то сделали, нужны не команды и протоколы, а материалы, оборудование, свобода действий, наконец.

— Сверху это и дают.

— Вздохнуть свободно не дают...

Так разговариваем. А я думаю, не просто это — разобраться, кто когда виноват.

Много несчастных случаев у нас за прошлый год связаны со скверным состоянием лесов, применением случайных подмостей, лестниц. Несчастья происходят из-за плохо, кустарно сделанного вспомогательного оборудования. В наше объединение входят как строительные ор-

ганизации, так и механические заводы. На двух заводах я побывал. Из уст руководителей слышал: заводы страдают от незагруженности. Что из этого вытекает? Да конечно же, заводы объединения должны изготовить инвентарь для строек объединения. И ведь хороший инвентарь нужен не просто в интересах ТБ, с ним повышается производительность труда. Тут, думаю, будет много союзников. Займись инвентарь — это включить его производство в план, получить деньги, материалы, документацию.

Предвкушение согласия и союзников питает мои самые радужные надежды.

Уже канун Первого мая. В этом году в объединении еще не произошло ни одного несчастного случая. Полагаю, это результат и перекрестной проверки, и совещания, и приказов, и бесед. А еще я несколько месяцев после случая с Лисицыной придерживался такого правила: каждый день думал, как бы сегодня не случилось несчастья. Мысль подгоняет случайное событие. Правда, только произвольная мысль. Но зато если не хочешь случая, подумай про него, а потом отметь: думаю вот. Случай и не произойдет. Такое вот правило.

Это я пишу не в шутку и не всерьез. Хотя, может быть, есть и то и другое. Просто хочу быть точным и откровенным.

Полгода с начала работы в ТБ я был взведен: Лисицына — была утром мама, а вечером ее нет... Какое-то время горел. Но со временем все притупляется. Да, к апрелю я поостыл. И про день, когда пришло то известие, никак не могу вспомнить, вел ли я игру с собой и со случаем так, как описал. Раз не могу вспомнить, скорее всего не вел.

Начальник объединения вызвал меня после обеда. Вхожу — он разговаривает по телефону. Жестом велел подойти и по лакированной поверхности стола толкнул в мою сторону желтоватый обрезок телетайпной ленты. По телефону, слышу, командует:

— Передайте Аркадию Михайловичу, чтоб немедленно предпринял все возможное.

Читаю телетайп: «В Ереване на звезде «Х» при разгрузке стекла из вагона в автомашину смертельно травмирован рабочий Малинцян, 47 лет, осталось трое детей».

— Свяжитесь с Ереваном, — говорит начальник, — доложите мне подробности. Вам надо лететь в Ереван. Из министерства полетит Курязов. Билет поможет достать Аркадий Михайлович.

Моя работа и моя повесть, к сожалению, связаны с несчастиями. И с тем, что вокруг. Так вот сейчас я еще о том, что вокруг.

Наше объединение — организация государственная, официальная. Но официальным государственным путем билета на самолет срочно сейчас, в канун праздника, нам вероятнее всего не достать. Ту же точку зрения уже изложил и Курязов из министерства. Не достать билета даже при наличии телетайпного сообщения о несчастном случае. И запросы, бланки, штампы, печати не помогут. Вот для таких случаев у нас в объединении есть жучок. (Жучок — сугубо авторский термин.) А за стенами объединения существует, по этой терминологии, жучковая сеть. Наш жучок — это Аркадий Михайлович, или паш Аркашка. Человек со связями. Ячейка жучковой сети. Он связан и с кем-то в системе продажи авиабилетов. Официальными путями официальные лица в системе продажи билетов не помогут. А жучковая сеть — может. Почему так? Или руководство системой продажи билетов не знает о жучковой сети в своей системе? Вероятнее всего знает. Почему же терпит конкуренцию? Скорее всего потому же, почему наш начальник терпит нашего жучка. Жучок необходим. Не отправь начальник объединения меня вовремя — и он получит разнос от вышестоящего (такой всегда есть) начальника. Вышестоящий обычно знать ничего не желает.

Такой вот экскурс на фоне бедняги Малинцяна. Торопимся. Дефицит билетов. Жучковая сеть. Хотя чего теперь, в сущности, торопиться? Разве дело сейчас в скорости? Разве она сейчас может чему-нибудь помочь?

Расследование в Ереване. Малинцян возглавлял звено рабочих, разгружавших стекло. Погиб он, придавленный пачкой стекла, которую по неосторожности опрокинул на себя сам. Пачка из пятимиллиметровых стекол размером полтора на полтора метра весила более пятисот килограммов. А из-за прозрачности стекла тяжесть его так обманчива. И еще рассказывают: Малинцян торопился, его ждала жена... Но стоп. Это уже детали.

Да главное совсем не в ошибке Малинцяна! Вся схема транспортировки стекла порочна от начала до конца! Вагон — более двух тысяч стекол — разгружают неделю. Каждый лист, весящий около тридцати килограммов, носят вручную. Такая перевозка стекла противоречит азам требований СНиПов и ГОСТов — необходимости применения механизации и контейнеризации. К такому единому мнению приходит комиссия по расследованию этого несчастного случая.

И виновата администрация нашего завода — недоглядели, недоучли. Однако способ транспортировки стекла задан заводом-отправителем. Если там не заложена возможность применения контейнеров и механизмов, то уж получателю ни то, ни другое не применить.

Технический инспектор ЦК профсоюза нашей отрасли по Армении, главный, кто ведет расследование, молодой интеллигентный человек, работает строго и, как часто говорят в науке и почти не говорят на производстве, корректно. В квалификации несчастного случая наши с ним точки зрения совпадают полностью.

Комиссия докладывает свои выводы руководству. Комиссия рвется изменить способ транспортировки. Такие вагоны со стеклом хоть редко, но прибывают к нам.

И тут выявляются новые обстоятельства. Местные руководители упрощают комиссию не винить завод-отправитель: «Они же нам больше не дадут стекла!» «Как так? Да разве они не государственная организация? Разве все дело только в их желании? А планирование?»

Оказывается, это стекло — внеплановое. Завод-изготовитель (естественно, совсем не нашего ведомства) хочет — отправляет стекло, хочет — нет. Планом, фондами не предусмотрено. Тут некая частная договоренность. Кто-то из наших руководителей лично знал кого-то на стекольном заводе, упросил: «Ты — мне, я — тебе...» Дело вроде обычное.

Да жучковая же сеть, она самая!

Как быть?

Но производственник — я понимаю производственников: не будет стекла — не будет плана, ввода, зарплаток, премий. Однако сейчас мне, представителю службы охраны труда, какое до всего этого дело? Роковым образом пренебрежение планом, обход государственного механизма оборачиваются пренебрежением СНиПами, ГОСТами, техникой безопасности, жизнями людей. Да и кто вообще смеет основывать производственные достижения на опасности для здоровья и жизни людей?!

Спустя некоторое время в Москве я узнаю такую деталь: оказывается, завод — поставщик стекла уже давно поднимал вопрос об изготовлении контейнеров для перевозки стекла, и ему руководство объединения вроде бы обещало. Наши заводы могут сделать такие контейнеры. У объединения руки не дошли.

— Что же вы, министерство, — спросил я Курязова, — не потребовали?

— Команды, — говорит Курязов, — не было.

За неделю, что прожили мы с Курязовым в ереванской гостинице, увидел я, что отчаянный он любитель своего «Запорожца». В разлуке

с «Запорожцем» заботы о нем прямо переполняли Курязова: поиски запчастей, сладкие мечты, воспоминания. Теперь еще вижу, что хотя служил Курязов в армии ефрейтором всего два года, военный он никак не меньше, чем я. А может, и гораздо больше.

Мы почти топчемся на месте в попытках обеспечить наши стройки лесами, подмостями, лестницами — инвентарем. Препятствия такие, что систему в них выявить очень непросто. Вот проектная документация. Ее доставали три месяца. Груды синек. Автор — солиднейший Центральный научно-исследовательский, проектно-экспериментальный институт организации, механизации и технической помощи строительству. Разбираемся в чертежах.

«Двухвысотный монтажный столик». Кипа чертежей. За пышным техническим термином «двухвысотный монтажный...» скрывается, попросту говоря, подставка для работающего. Так ее повернул — одна высота, набок положил — другая. Листок из блокнота — весь расход бумаги на такой проект. ЦНИИОМТП решает эту проблему на десяти огромных синьках. Пока кипы лежат у нас в отделе, мне все приходится стеречь их от Аркашки, который норовит в синьки дефицит из соседнего магазина заворачивать.

Но на этих полотнах нет ответа на такой вопрос: сколько металла потребуется на изготовление одного двухвысотного, монтажного?

Ошибка? Случайность?

Таковы же проекты и других «сложных» устройств — лесов, лестниц, подмостей. Получается — система. Непонятная, необъяснимая система... То есть необъяснимая с позиций «интересов дела», или, серьезнее говоря, государства. А то, что кому-то такая работа выгодна, — это несомненно.

И сообразил я, что еще меня привлекает в технике безопасности: ясность цели, близость блага. Благо — это отсутствие жертв. Ясность цели делает сравнительно ясными и средства. Хотя очевидно, конечно, что техника безопасности не единственная и не главная цель общественного производства.

А вот еще эпизоды, связанные с ТБ. Заместитель начальника нашего техотдела Терехин сломал ребро. Сломал вроде бы у меня на глазах. Как ни странно, но это настораживает. Дело было так. В понедельник утром я пришел на работу и на секунду задержался возле вахтера. Тут же рядом начинается лестница, ведущая на второй этаж. На втором этаже сидит начальство, там с утра начиналась планерка. И вот Терехин, перекинувшись со мной какими-то словами, весьма торопясь к начальству, намеревается ступить на лестницу и вдруг, так сказать, промахивается и налетает грудью на лестничное ограждение. Заохал, скорчился, позже принес бюллетень — трещина в ребре. Примечательно, что в этом месте перила — не так, как это бывает. Конец торчком, нет, они загибаются книзу и обрамляют вертикальные стойки. Хотя, конечно, тупой угол, но он есть. Так вот об этот самый тупой угол и — ребро.

Однако самое любопытное — реакция сослуживцев, особенно женщин. Пошло обсуждение, разговоры:

— Как же... о перила... слушайте вы его больше. Да в воскресенье, поди, на гараже своем долбанулся, а в понедельник спектакль разыграл.

Исключить, что в подобных пересудах есть доля истины, нельзя. Не для того ли он меня поджидал, чтоб уж верняком?.. С другой стороны, оскорблять Терехина ложными подозрениями тоже не хотелось бы...

Ну не техника безопасности, а криминалистика и психология, в том числе социальная, здесь нужны!

Нетрудоспособность вроде терехинской принято оплачивать. Надо составлять акт. Каковы причины несчастного случая? Собственная неосторожность? Указывать собственную неосторожность как причину несчастного случая не полагается. В одном регламентирующем документе приведено такое рассуждение: «Условия работы должны быть таковы, чтобы исключить несчастный случай даже в результате собственной неосторожности работающего». Сказано, видимо, с сознанием выполненного долга. Так предписывается. Это устоявшееся обыкновение.

У меня невелик опыт в технике безопасности. Но кое-какой жизненный опыт у меня есть. И я позволю себе порассуждать. Мне кажется, тут нужна грань. Нельзя ставить человеку в вину его собственные грехи, когда он пострадал тяжело. Живым для своей же пользы вину за несчастья надо возлагать на себя, на живых. А вот обществу выгораживать легко пострадавших — вряд ли верно. Получается просто поощрение человеческой безответственности. Разве неправильно будет так прямо и заявить человеку: сам виноват, что шишку набил. А то ведь потом, когда из-за его легкомыслия не только он сам, но и другие пострадают, может быть поздно.

С Терехиным нашелся такой выход. В одном из пособий по квалификации несчастных случаев я обнаружил подходящую рубрику. Случай «имел место в результате отклонения от маршрута». Такая причина официально признается. Действительно, маршрут Терехина лежал на лестницу, а он отклонился и врезался в перила. Проницательный читатель может, конечно, тут же задать вопрос: а почему отклонился?

Ну, не будем, не будем. Автор прежде всего старается рисовать реалии, а не создавать философский трактат.

Лечу на Кавказ. Взлетели — и сотни раз испытанное и все-таки потрясающее ощущение полета, когда голубизна неба уже не над мной, а подо мной. Лирическое настроение могу себе позволить потому, что поводом для командировки является не несчастный случай.

В прошлом году наихудшие результаты в ТБ у северокавказского треста. В адрес его мы напускали уйму указаний и приказов. У меня задача проехать по всем основным объектам треста, посмотреть, что же все-таки там делается. Это шесть северокавказских городов. На курорт бы сюда приехать...

Но пока — завод. Здесь компания у меня солидная: зав. строительным отделом обкома, директор завода, главный инженер треста, начальник строительного управления. Разговоры — о расстановке бригад (начальник управления: «Снять бригаду!», директор завода: «Не выпускать с территории!»), о комплектации оборудованием («Когда будет поставлено?» — «А когда будет фронт для монтажа готов?»), о деньгах.

Я о своем: не могут показать акт-допуск. Значит, не оформлен. А положено, раз работы на заводской территории. Говорю об этом директору. Директор: «А? Да-да, безобразие». И опять о деньгах, о бригадах.

Металлические детали будущего корпуса. Дрова у хозяина складываются аккуратнее. Соскользнет, человечье тело — кисель под такими массами. Говорю директору. «Да-да...» — идет и не притормаживает.

Как пронять? Чем пронять директора, а главное — строителей? У прораба металлическая будка не заземлена, материалы в диком состоянии. Почему? В чем дело? Прораб сначала врет, а когда я уточняю, наседаю, сбегает. Исчезает — и никаких.

Гляжу вокруг и удивляюсь. Не тому удивляюсь, что происходят несчастные случаи, а тому, что они сравнительно редки.

Врываюсь в паузу и почти в крик ору о безобразном отношении к технике безопасности. Содержание крика простое: войны нет, а дети сиротеют (свежие примеры) и прочее. На короткое время солидную

компанию привлекает только мой тон — вопль. На то и рассчитываю. Хотя бы так.

У строительного начальства требую собрать линию — мастеров и прорабов. Мне представляется очень важным для нас посмотреть друг на друга. Говорю с ними. Поминаю статьи кодекса об уголовной ответственности за нарушение ТБ. По кодексу, поминаю, нарушение ТБ может уголовно наказываться, даже если оно не повлекло несчастья. Уговариваю, поминаю, пугаю. План, говорю, важен, но не важнее людской судьбы, в том числе и вашей судьбы, прорабы.

Такая вот неделя стремительной поездки по Северному Кавказу. Транспорт — автобус, «Волга», цементовоз, «Москвич». Скорость даже у цементовоза за сто. Фон — снежные горы, закат над Эльбрусом. И нет минуты, чтоб остановиться, полюбоваться, расслабиться душой, отдаться красоте жизни, а не ее грубой требовательности.

Это край, где некогда господствовал ислам, и еще много осталось от нравов, в которых есть и плюсы (сравнительно мало пьют, что условно уменьшает травматизм), но есть и минусы (не без того же ислама утвердилось здесь пренебрежение к технической культуре). Есть вещи, что называется, вопиющие. Расширяется современный завод в горном городе. На стройке огромные краны работают без элементарных документов, испытаний. Высоковольтный кабель, питающий завод, обнажен при рытье котлована. Так чуть не по кабелю ездят гусеничные краны, чуть не на него складывают многотонные металлические конструкции. Никто на это не обращает внимания! Есть, конечно, конкретные отвечающие люди. Произношу перед ними речи, пишу-пишу предписания, распоряжения, указания.. Должностные лица в ответ красноречиво бьют себя в грудь, обещают и божатся. Что в душе у них — не знаю. Знаю, что руководящих бумаг у них и без моих хватало. На живые контакты еще надеюсь.

Когда я был военным прорабом, у нас был несчастный случай. Солдат по фамилии Новиков при остеклении заводского корпуса на Урале оказался на путях движения мостового крана и был придавлен к конструкциям. Было это пятнадцать лет тому назад. А сегодня мне сообщили, что рабочий одного из наших московских РСУ при остеклении цеха на заводе имени Куйбышева был придавлен мостовым краном к конструкциям корпуса, в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении больницы имени Боткина. Фамилия рабочего Новиков.

Среди русских Новиковых много — это так. Но что ж это за закономерность, что Новиковы попадают под мостовые краны, занимаясь остеклением?!

Этот случай не за нами. Новиков — наш рабочий. Но несчастье произошло с ним, когда он шабашил. Наши работы он выполнял по соседству. Подвернулась возможность, и он с двумя товарищами в свободное от основной работы время подрядился подработать. Ох артисты!..

Деловито, вместе с инженером по технике безопасности треста направляемся мы в боткинскую больницу. Закрытые тревожные двери, коридор с желтыми облупленными стенами, бумажонки на стенах с чернильными надписями «Продукты подписывать с указанием числа», «Шоковая», снующие девицы в голубых пилотках и косынках — реанимационная. Посетители — несколько пожилых женщин с сумками.

Просим медиков проинформировать о Новикове. Обещают. Но никто не выходит. Четверть часа, полчаса, час. Среди посетителей — бледная женщина с заплаканными глазами. Слышу, тоже интересуется Новиковым. Оказалось, жена.

Впервые встречаюсь с родственниками пострадавшего. Я — вплотную с горем.

И только тут начинаю чувствовать, о чем речь. Вижу жену Новикова, и доходит до меня что-то новое. Как по-разному смотрим на происшедшее я и эта женщина!

Ведь было это если не радость, то, во всяком случае, облегчение: случай не за нами, не нашей работе минус, не нас будет грызть начальство. Ну то есть «наш человек» и «морально мы ответственны» — эти слова и даже чувства были. Однако главным было вот такое утешение: единичка (при исчислении несчастных случаев) прибавится не у нас. Чиновничий синдром.

А теперь я вижу эту женщину. Мы молчали, она рассказывала. Новикову пятьдесят четыре года. Взрослые дети — дочь и сын-инвалид, студент одного из вузов. Дети живут с родителями.

— Все на нем держалось, — сказала жена, — хотел побольше заработать.

Ждать решения участи близкого человека — может ли быть испытание более жестокое? Я испытал подобное: моя дочь с тягчайшим некупирующимся приступом астмы была в реанимационной. Здесь муж, кормилец, спутник жизни.

Вышла медицинская сестра (а когда-то было теплее — сестра милосердия), сказала, что врачи у постели Новикова, ставят артерию, но обязательно выйдут.

— Тяжелое положение? — спрашивает жена Новикова.

— Почему тяжелое? — говорит сестра и исчезает.

Опять ждем. В коридоре начинается какая-то суета, цокают каблучки по холодным плиткам. Прибегает девица со связкой ключей и пытается отпереть дверь с чернильной надписью «Шоковая». Дверь не открывается. Девица, чертыхаясь, с возгласом «шок везут!» исчезает в глубинах реанимационной. Кто-то начинает дергать дверь шоковой изнутри, та все не поддается. Уже на лестничной площадке появляется зеленая каталка, когда люди наконец одолевают дверь. На каталке седая женщина с запрокинутой головой, запавшим ртом и задранной подбородком. Что-то у нее растерзано в области груди. Она в пальто, раскинутые ноги в сморщившихся чулках. Я не совсем ориентируюсь, что там, на груди, — то ли кровь, то ли только одежда в беспорядке. С этой женщиной совсем недавно где-то происходило страшное. Мне, непривычному, жутко, тошнит.

Наконец появляется женщина-врач и говорит нам о положении Новикова. В объяснениях ее мелькает много медицинских терминов. Кое-что я решаюсь переспросить. Слушая объяснения, жена Новикова зарыдала. Но быстро взяла себя в руки. На просьбу жены увидеть мужа врач поколебалась и отказала:

— Реакции его неадекватны, вам вряд ли удастся вступить с ним в контакт.

Мы потом, посоветовавшись с инженером из треста, решили, что это неплохой признак, раз отказала. Когда дело безнадежно, родным не отказывают.

О Новикове я думал ночью. Какие странные связи есть в жизни! Какими силами так все устраивается, что видимых зависимостей между явлениями никаких, а невидимые и необъяснимые — несомненно. Я вот о чем. В несчастных случаях с обоими Новиковыми, солдатом и рабочим, есть еще одна общность. Она в том, как эти случаи относятся лично ко мне. Пятнадцать лет назад солдат Новиков работал на моем прорабстве. А потом его перевели на другое прорабство стекольщиком. Я еще хотел потребовать его перевода обратно, да все некогда было. Через несколько дней произошло несчастье. И стало так, что юридически для посторонних я не был ответствен. Но для себя — не вступился, времени не нашел — был. Вот и сейчас — несчастье с Новиковым случилось не у нас. А сотрудник он наш. Юридически я к несчастью не причастен. Но не фактически. Разве не странно сходство взаимодействия этих случаев со мной?

Хотя есть, конечно, слово, которым можно объяснить что угодно,— случайность. Но если вдуматься, то признай случайность непостижимой — и не нужна ни техника безопасности, ни литература. Так, кажется...

Еще ночью мне вспомнилось вот что. Когда ту седую женщину на каталке ввели в шоковую, дверь, что с трудом открывали, осталась полуоткрытой. Как там работают, в шоковой, я, естественно, не имел представления. Но поразило такое: в шоковой было весело. Оттуда слышалось оживленное девичье щебетание, остроты, несколько раз — звонкий смех. Это над той, что в бессознании, значит. Вот как оно сейчас... Кого уж тут заинтересуешь какой-то там общностью в каких-то там несчастных случаях.

День я не звонил, не узнавал о состоянии Новикова. Бессилен — нечего лезть. А сегодня позвонил в трест, попросил справиться и оповестить. Оповестили: положение резко ухудшилось.

Неделя с момента несчастья. Все думаю о близких Новикова. В случае болезни человека близкие его как-то подготовлены, горе подступает к ним постепенно. При несчастных случаях оно рушится. Вдруг, в повествовательной жизни, среди благополучия.

Начальник объединения вызвал меня и сказал, что, несмотря на то что случай с Новиковым не за нами, налицо недисциплинированность и необходимо получить объяснения от начальника управления и управляющего трестом. И второе, что сказал мой начальник: мне не следовало ездить в больницу. В объединении народу много, и моя обязанность направлять аппараты трестов, а не лезть всюду самому.

В понедельник позвонили и сообщили, что в пятницу Новиков скончался.

Через неделю управление и трест представили объяснительные. В объяснительных формулировки одни и те же: «Рабочие действовали самостоятельно, проявили недисциплинированность...», «Администрация об этом не знала, справок для работы по совместительству не выдавала».

В отделе нашем обстановка обычная. Аркаша вернулся из командировки и, раскладывая пивные этикетки, говорит, что теперь он их решил коллекционировать. Алиса интересуется тем, что Аркаша думает по поводу ее идеи выгодно продать мех (котик шипаный, десять лет назад куплен за девять рублей, теперь, говорят, можно продать за девяносто). Папа Вася терзает телефон, пробивая ордер на земляные работы.

— Ты что-то порой пишешь? — спросил меня Николай Иванович.

— Все техника безопасности... — сказал я уклончиво.

— На твою технику безопасности смотрели и будут смотреть как на дело второго сорта.

— Может быть, — сказал я, — может, ты и прав. Это потому, что ТБ очень зависит вообще от организации производства. Но по влиянию на судьбы людей ТБ — дело первого сорта.

— А... Судьбы единиц — это малоинтересно.

— А мир преступности? Все эти детективные истории, расследования, погони — это тоже в конце концов дело единиц. Но читают про это и смотрят в ящик разинув рот миллионы.

— Так там страсти, ум, интрига.

— И в технике безопасности есть интрига. В преступлениях зло — это хитрость, жадность, жестокость. В нарушениях ТБ зло от глупости, от лени, равнодушия, безграмотности. И там и там велика роль эгоизма, и там и там в итоге бывают жертвы. И всегда надо разглядеть противоречия, понять происходящее, и всегда для этого нужны страсть и ум...

То, что техника безопасности нуждается в документировании, нет сомнения. Никогда и ничего иного я не утверждал. Хотя не один раз в выступлениях и в документах разными словами повторял: ни в коем случае ТБ не должна исчерпываться оформлением документов. Надо дойти до живого человека и до рабочего места. А бывает, к сожалению, что наши усилия и наше рабочее время исчерпываются ведением журналов, составлением планов мероприятий, писанием докладных наверх и директив вниз. На проверку же того, как все это реализуется, уже времени не остается. Это неверно, вредно, недопустимо.

Это я говорил. И так и эдак. Но всегда оговаривался: и все-таки тщательное ведение документации — важнейшая сторона техники безопасности.

Меня не поняли. Хотя чего тут, кажется, не понять-то? Стали говорить: недооценивает роли документации. Стали пророчить: молодой (это я-то молодой!), обожжется — научится, поживет — пообтешется. Так говорили и те, кто годами много моложе меня.

Я твердил свое. Тогда один высокий начальник из министерского главка уже более грозно повелел мне: «Пренебрегать документами не смейте!» «Мои слова не означают пренебрежения. Но результатом я могу считать лишь снижение количества несчастных случаев, а не увеличение количества бумаг. Для этого, мое мнение, на первое место надо поставить дело». «Болтовня. Бумага вас же оградит и спасет. Остальное...» — И руководящее лицо изобразило ерунду, прах, ничто и закончилось: — ...предусмотреть трудно». «А я, — сказал я, — не техникой собственной безопасности занимаюсь, а безопасностью работающих на стройке людей».

У меня это бывает. Меня несет. Лезу на рожон. Поступаю себе во вред. То есть во вред четким материальным выгодам. Одолевает пресловутое «за справедливость». Даже с возрастом не проходит. Иначе и не было бы у меня квартирного вопроса.

Мои записки — это разговор с миром и где-то с самим собой. Вот еще один разговор с собой.

«Не техникой собственной безопасности занимаюсь, а безопасностью работающих...» — это похоже на браваду, позерство и легкомыслие. Я могу отодвигать на задний план бумаги, поскольку мне сравнительно мало что грозит. У меня есть пенсия, определенная экономическая независимость. Но могут ли себе то же позволить другие? Их благополучие — это правильно оформленные бумаги. Из-под удара выводит именно бумага. Такова действительность.

Очень плохо, что действительность такова. Бумаги выводят из-под удара взысканием, но не выводят из-под удара кирпичом. И тем более, если у меня есть козырь — пенсия, я обязан пустить его в ход.

Конфликтуя с начальством, я ставлю под угрозу виды на жилье. Но уж коли завел убеждения, да еще публично их пытаюсь отстаивать, то надо отстаивать до конца.

Никто-никто из руководства объединения не поинтересовался результатами моей поездки по Северному Кавказу. Может, это и хорошо — мне, так сказать, доверяют и на меня полагаются. А может, и плохо — технику безопасности высокое начальство игнорирует. У меня есть основания для такого утверждения. На коллегии министерства уже не раз выносили решения о технике безопасности и, в частности, об образовании в объединении отдела охраны труда. Но решения, принимаемые наверху, должны выполняться низами. Однако существует разрыв между благими решениями — пожеланиями руководства и экономическими закономерностями, которым в основном и подчиняются хозрасчетные низы. Выполнить решение колле-

гии — это пересмотреть штаты, увеличить фонд заработной платы и тому подобное. То есть осуществление решения требует новых решений. Таких нет. Реализации принятых решений нет.

И тут передо мной стеной встают вопросы, на которые я, как ни тужусь, не могу найти ответа. Такие вопросы.

Неужели высоким инстанциям трудно разобраться в механизме, препятствующем выполнению принятых решений, или высокие инстанции не желают в этом разбираться? Почему? Или они лишены, так сказать, самолюбия: решения выносятся, а выполняется ли намеченное — инстанциям все равно? Привычные благие решения принимаются, и это дает основания для некоего нравственного удовлетворения. А для более высокой нравственности — критическому отношению к самому себе уже нет места? Наверно, большие знания и совесть нужны, чтобы по-настоящему заботиться о выполнении собственных решений.

Административная комиссия района штрафует папу Васю на пятьдесят рублей — привлекает к ответственности за неасфальтирование участка теплотрассы.

Дело вот в чем. Папа Вася энергично провернул ремонт теплотрассы. Провернул летом, пока тепло, а то нередко такое до морозов тянут. Этот ремонт теплотрассы к зданию объединения на папу Васю возложило руководство. Что значит возложило? У нас обычно это означает: звони, а лучше бумагу пиши в подведомственную организацию, поручай, назначай ответственного, напоминай, контролируй... Объединение же, начальство.

Папа Вася действовал иначе. Начал с того, что выписал на себя ордер на земляные работы. Выписать ордер — это провести десяток согласований, удовлетворить сотню требований. Папа Вася сделал это. Потом организовал экскаватор и подвоз новых труб, добыл изоляционные материалы, наладил работу сварщиков. Каждый шаг — с боем. Все сделал папа Вася. С шоферами, крановщиками чуть, кажется, не породнился. Отремонтировал теплотрассу, закрыл канал, засыпал грунтом. Но последний этап — асфальтирование поверху, наведение глянца — пока не сделал. Главное, тепло в зданиях теперь гарантировано. А уж глянец... Ну, расслабился. Руки не дошли.

Административной комиссии все рассказанное, естественно, не касается. В ордере как ответственного указана фамилия папы Васи. Его предупредили раз, другой. А потом взяли и вкатили штраф. И смех и грех. Ходит теперь, добивается у начальства, чтоб ему компенсировали убыток. Я-то им восхищаюсь. А вот главный инженер объединения, когда папа Вася сказал, что оформляет ордер на себя, буркнул: «И на кой черт тебе это нужно?» Такой вот интересный у нас главный. Так же не одобряет бескорыстную прыть папы Васи Аркашка. «Так тебе и надо», — говорит он, имея в виду штраф. Говорит беззлобно, как бы поучая. Сам на двадцать лет моложе «ученика». И его «правоту» вроде бы подтверждает опыт. Будь прыть папы Васи проявлена в личных интересах, Аркашка ее безусловно бы одобрил. Еще папу Васю порицает Алиса. Но порицает молча. Ни к одному моему высказыванию вслух не присоединяется. Думаю, что при всей пассивности молчание — это явная и действенная сила. Получается, у нас в отделе папу Васю одобряет меньшинство.

А жилищный вопрос мой так и не решается. О содержании его я не пишу. Это другая тема, не имеющая отношения к ТБ. Он, как всякий жилищный вопрос, острый. Прошло уж вдвое больше времени, чем срок, обещанный, когда меня приглашали в объединение. Но самое удручающее вот что: когда я недавно пришел к начальнику объединения и спросил, будет ли выполнено данное мне слово, начальник сказал... что он ничего не обещал.

Я дар речи потерял. Я б понял — «нет возможности», «надо ждать» и тому подобное, но «не обещал»? Вот тут я не знаю, что делать. Поговорил я еще в партийных и профсоюзных инстанциях. Там тоже знают, что обещал. Там меня успокоили, от обещаний не отказывались, про начальника сказали, что не вовремя попал, что, вообще, он слово держит, что такой человек и такой у него стиль.

Он интересная фигура, наш начальник объединения. Фамилия его Гуртовой. Сидит он на втором этаже, над всеми, в трехкомнатном кабинете. Он отстранен, непререкаем, хотя влияние его на ход работ понять непросто. Изрядно подвластен ему только аппарат объединения. В низовых же организациях явно не очень верят в возможности Гуртового поколебать естественный ход событий. А Гуртовой фанатик дела. То есть дела вообще. Он энергичен и яростен невообразимо, идет ли речь об огнезащитной обработке чердачных помещений объединения или о составлении комплексных пятилетних планов совместно с заказчиками. А уж план, говорят, Гуртовой способен сделать в любой ситуации. План, как известно, делается с двух сторон.

Конечно, получение жилья зависит от обстановки с жильем. Но и очень существенно — от Гуртового. Не знаю механизма этой зависимости, но знаю, что существенно.

Значит, стиль такой. Ладно. Я человек, кажется, терпеливый. Интересно, правда, как такой стиль сказывается на технике безопасности?

Белополье — это километрах в двухстах от Москвы. Там сейчас у нас стройка. И совсем уж дело случая, что именно в Белополье двадцать лет тому назад я работал военным прорабом. Лихое было время, самое начало объекта, хоть и недалеко от столицы, а начинали чуть ли не десантированием. Съездить бы теперь туда — одно удовольствие. Если б не тот повод, что сейчас мне выпал.

В Белополье несчастный случай. По телефону сообщили, что с балкона ремонтируемого здания с высоты метров в семь упал рабочий. Оборвался трос у площадки подъемника. Человек падал головой вниз. Отправлен в ближайший город в больницу.

Ох-хо-хо... Бог ты мой, и как это они так?

Вызываю на место происшествия ответственных из треста и сам мчусь в Белополье. До приезда вызванных товарищей связываюсь с медиками и узнаю об ошеломляющей удаче: у пострадавшего парня, оказывается, ни одного перелома, никаких сотрясений, ничего тяжелого. Он падал вслед за площадкой подъемника, возможно, она скользила по направляющим и смягчила удар.

Прибывают товарищи из треста. Чтобы не расхолаживались, об удаче им пока не говорю.

— Что ж это происходит-то?..— Начинаем с ними разбор.

Слежу за собой. Мысли скачут. Вот как оно бывает в технике безопасности... А так мечтал проводить дочь в первый класс. Три года не мог собраться, а тут собрался и отремонтировал фотоаппарат. Предвкушал. У меня три дочери — двадцати шести, шестнадцати и семи лет. Меньшая еще вчера, кажется, барахталась на кухонном столе в ожидании купания, череду заваривали...

Сейчас кажется, у меня было предчувствие. Что-то уж очень удачно все вокруг складывалось. Это везение в Белополье...

А теперь вот что. В тот самый день, когда определился благополучный исход под Москвой, в Новосибирске произошел смертельный несчастный случай.

Телефонные сведения таковы. Бульдозерист Ткачев праздновал: у него родился второй ребенок, девочка. Праздновал Ткачев в гараже стройуправления, в котором работал. После работы. Вокруг — братва. Выпили. Добавили. Еще сбегали — еще добавили. Позже в

этот же вечер Ткачева нашли в осмотровой канаве гаража. Были ссадины, не больше. Кореша решили: отлежится, очухается — и оставили на ночь на лавке тут же, в гараже. Утром сторож увидел: пьяный лежит в том же положении, что и накануне. Еще дышал. Вызвали «скорую». Через несколько часов в больнице Ткачев скончался.

Никак не могу привыкнуть. Наверно, лучше б так. «Что ж, работа как работа. Где-то за тридцать земель с посторонним, неведомым мне человеком что-то произошло. Я-то тут при чем? Все, что мог, я делал — директивы и приказы составлял и рассылал. Кто-то их нарушал. Да и не во мне дело — нарушались установленные нормы и порядок. И вот трагическое следствие. Я тут ни при чем. Мне следует только сухо выполнить формальности. Ну, поездка... Так ведь не на похороны родственника. Божемойкать бессмысленно». А на деле: «Мать узнает — пропадет молоко. Без войны, а дитя и отца не увидит. Явился маленький человек в мир, а в мире такое... Так ведь и при живых отцах бывает, дети отцов не ведают. Бывает...»

С рациональной точки зрения бессмысленный внутренний монолог, он идет беспрерывно.

Самолет в Новосибирск летит в ночь.

Может быть, процент населения, бодрствующего ночью, один из показателей цивилизованности общества? Раньше все люди ночью спали. То есть совершенное большинство. Теперь же все большее число людей ночью бодрствуют. Впрочем, так же, наверно, как днем спит. Уж во всяком случае раньше ночью почивали путники. А сейчас вот попробуй поспи в самолете. Бродят и бродят в голове полусонные мысли. Завтра... нет, теперь уж сегодня мой первачок, моя дочура, идет первый раз в первый класс. Когда-то мне казалось: жизнь моя бесконечна. А сейчас чувствую, как отлетают куски ее с нарастающей скоростью. А Ткачева жизнь кончилась. Он позже меня родился и раньше меня умер. И никогда уж дочку свою никуда отец не проводит. Бедная девочка...

Технический инспектор профсоюза уже работает. Принимаюсь за эту тяжкую обязанность — участие в комиссии по расследованию смертельного несчастного случая.

В гибели Ткачева оказалось много неясного. Шоферы Качусов, Сусоев и Золотарев во вторую смену ремонтировали свои машины. Ткачев на вторую смену не занаряжался, не работал, зато пришел с бутылкой водки в гараж и там колобродил. Вроде бы с ним был еще кто-то, чьи ноги шоферы-свидетели видели из осмотровой канавы из-под машины. Кто это был, не разобрали. Они потом, Качусов, Сусоев и Золотарев, работали вне гаража, с Ткачевым не пили, заметили его позже в канаве под машиной. Они вытащили Ткачева, уложили рядом на ящики, сказали сторожу, чтоб приглядывал, и уехали.

— Почему не подняли тревогу?

— Ну перебрал, с кем не бывает... Не хотели подводить Ткачева, его за пьянку могли лишить премиальных.

— Ткачев упал в осмотровую канаву гаража вниз головой, — делает вывод технический инспектор ЦК профсоюзов, председатель комиссии по расследованию.

Темная история. Опрашиваем многих. Мелькают сведения о какой-то потасовке в гараже накануне, о вроде бы утере тогда же Ткачевым аванса. И кто был тот неизвестный, с кем был Ткачев и чьи ноги из-под машины вроде бы видели Качусов с Сусоевым? Думается, расследованием в этом направлении должен срочно заняться уголовный розыск. Мы побывали в угрозыске. Спортивные молодые люди в костюмах-тройках и все по-сибирски — с челками пока передают дело по инстанциям. Кроме нашего, другого расследования не ведется.

Работа нашей комиссии тоже идет негладко. Технический инспектор вторые сутки подряд сосредоточен на журналах инструктажа,

сомневается: почему подпись Иванова — Петрова здесь не похожа на подпись Иванова — Петрова там? «В журналах ли инструктажа сейчас дело?» — думаю я. Предлагаю съездить в морг, выяснить результаты вскрытия, характер травм пострадавшего. По ним можно судить о происшедшем.

Технический инспектор профсоюза формулирует:

— Основной причиной несчастного случая с летальным исходом явилась неудовлетворительная трудовая и производственная дисциплина, отсутствие надзора за производством работ со стороны административно-технического персонала.

— Это происшествие, — утверждаю я, — очень похоже не на несчастный случай, а на преступление вследствие групповой пьянки и вероятнее всего ссоры.

— Это нас не касается, — говорит технический инспектор, — с этим пусть милиция разбирается.

— Как бы не получилось так, — опасаясь я, — что мы квалифицируем гибель Ткачева как несчастный случай и никто его больше всерьез разбирать не станет.

Мы съездили в морг и получили медицинское заключение о смерти: «Тупая травма головы — перелом основания черепа... Ссадины на теле».

Судмедэксперт выразился так:

— По травмам такого рода можно судить о причинах смерти, но нельзя судить о способах их нанесения.

Уверен, что картину происшедшего могли бы прояснить энергичные действия уголовного розыска. Имеется статья Уголовного кодекса «Неоказание помощи пострадавшему», есть чем воздействовать на свидетелей-участников. Может, это выявило бы новые обстоятельства.

— Это несчастный случай, — настаивает технический инспектор, — связанный с производством.

— Никаких нарушений техники безопасности здесь не выявлено, — возражаю я. — Основная видимая причина происшедшего — в употреблении алкоголя.

Спорим с инспектором. Упорствуем. Злимся друг на друга. Хотя спорим в рамках своих обязанностей только об одном: связан несчастный случай с производством или нет?

Связан — не связан?

Это не схоластический спор. Так уж устроен общественный механизм, что из той или иной квалификации следуют практические выводы. Но об этом ниже.

Мое мнение: случай не может быть связан с производством, ибо никто Ткачеву на вторую смену заданий не давал, травма получена не на работе и не вследствие нарушений правил техники безопасности. Причина только в алкоголе.

Технический инспектор: случай связан с производством, ибо произошел на производственной территории и администрация не обеспечила должную дисциплину.

Тут инспектор говорит, что надо было удалить Ткачева из гаража (как, насильно?), и что гараж использовался до сдачи в эксплуатацию (еще бы, ведь строители), у канавы положен бортик, и что инструктаж Ткачева проведен четыре месяца назад, а положено три...

На рожон я не лезу. Отлично понимаю, скажут: защищая администрацию, выгораживает себя. Но не могу и не спорить:

— При чем здесь бортик высотой три — пять сантиметров? Этот бортик — чтоб ключи и детали в канаву не сыпались. А инструктаж? Во-первых, в самом СНиПе есть противоречие, там есть цифра и три и шесть месяцев. А во-вторых, суть-то, суть! Неужели человек, учившийся в нашей школе, изучавший физику, биологию и литературу,

молодой и здоровый, не ведает без инструктажа, что не следует падать в канаву вниз головой? Неделпо!

Но эти мои доводы, особенно эта самая «суть», не воспринимаются совершенно. Пункт, как сейчас говорится, железно следует в акт.

Я утверждаю свое. Это пьянство явило разом все свои омерзительные стороны! Пьянство у нас уже вылилось в самостоятельную мощную злую силу. Считаю, что всюду, где пьянство являет свое влияние, оно должно преследоваться и караться.

Инспектор: нет должной организации труда... не осуществляется должный надзор... необходимо повысить требовательность...

И я вдруг остро чувствую, что мои формулы не доходят. Они непривычны, их нет ни в одной инструкции, они вроде эмоций — у каждого свои. А формулы инспектора укладываются в мозги и на бумагу как по маслу.

И все же нет, не могу уняться! Лишний раз клевать руководство стройуправления? Производственника, на котором, по существу, в обществе все держится! Да ему наиболее трудно! Недаром те, кто пообразованнее, все норовят в обширнейший конторский аппарат, в то, что называется наукой, но не в стройуправление, не на стройплощадку. Там тиски. И усугублять трудности еще нежеланием называть пьянство пьянством?

Не удается мне переубедить инспектора. Злюсь.

— Вы формалист,— говорю я.

— Я и обязан быть формалистом.

— Вы оторваны от жизни.

— Мы с вами жизнь понимаем по-разному.

— Возможно,— говорю,— возможно...

В этих спорах есть один самый трудный момент. Это вопрос о детях пострадавшего. Если несчастный случай связывается с производством, пенсия детям увеличивается раза в полтора, ибо производство доплачивает к тому, что платит собес.

— Поэтому, быть может, увязывание с производством, даже искусственное,— это добро, желание помочь осиротевшим девочкам?

— Да, по отношению к двум конкретным девочкам это, наверно, добро. Но, в общем, связывая случай с производством, мы как бы оправдываем пьянство. Раз оправдываем, значит, поощряем в людях безответственность по отношению к своим семьям и к себе. И, значит, увеличиваем угрозу безответственности, сиротства, случаи, которые подсчитать невозможно, но которые существуют в действительности...

Как непросто здесь определить свою позицию!

С другой стороны, что ж это я, писал, что ТБ требует скрупулезности, а на деле норовлю обойти вопрос о бортике, об инструктаже, пытаюсь винить погибшего?

Это пьянство вызывает ненависть! Виню вино. Да алкоголь и его влияние следует сравнивать с войной, с фашизмом!

Впрочем, особенно абстрактных вещей уж я инспектору не говорю, стараюсь выражаться на понятном ему языке: «Отрицательное влияние употребления алкоголя...» Инспектор все равно остается при своем мнении: виновата администрация, случай связан с производством. Даже несмотря на то, что профсоюзная организация стройуправления считает — не связан.

Работа нашей комиссии, по сути, закончена. Я не жду оформления всех бумаг, беру обратный билет на самолет.

Вылетаем утром, по-московскому вообще еще ночь. Усталый, невыспавшийся — так и не привык к местному времени,— мечтаю расслабиться в самолете. Мечтаю, да не удается.

В каждом смертельном несчастном случае меня поражает нечто главное. В случае с Лисицыной — четверо осиротевших детей. В слу-

чае с Малинцяном — что это вроде бы даже и не случай: скорее закономерность: порочная технология, инертность руководителей, невыполнение обещаний, недооценка прозрачной тяжести стекла, роковая тень женщины...

В случае с Ткачевым поражает совершенная, законченная нелепость. Как не нелепость, когда молодой (тридцать лет), здоровый (медзаклучение о смерти), малопьющий (по отзывам знавших) человек валится с высоты один метр в условиях полной возможности удержаться (на канаве две автомашины, между ними метр). И словно специально для подчеркивания всей нелепости — накануне падение человека с семи метров со сравнительно легкими последствиями. Словно искусная режиссерская разработка. Умеет жизнь.

У этой нелепости имя — пьянство.

И мы еще берем вину на себя... Чувствую, что ведомственный, так сказать, патриотизм помешает уголовному розыску всерьез расследовать дело.

В разговоре с судмедэкспертом я задал риторический вопрос: «Какие силы делают ставку на алкоголь?» Я с интересом разглядывал человека редкой и мрачной профессии. «Дьявольские», — сказал судмедэксперт. «И у бога и у дьявола есть человеческое обличье. Так что в людях-то?..»

В магазинчике возле гаража я это увидел: тусклые обоймы консервов, пестрый иконостас из бутылок — житейское обличье дьявольских сил.

Трудная была полоса. От этого теперь у меня тупая головная боль, будто самому череп надломили.

В самолете у бортипроводниц, чья молодая привлекательность подчеркнута аэрофлотовской формой, с ночи усталые лица. И я устал и зол на пьянство. А заодно и на цивилизацию. В мозгу моем полусонном само собой рождается что-то получастушечное:

Смылся Ванька из деревни
И построил самолет,
А теперь и сам не знает,
Черт куда его несет.

Жить бы в избе у леса и реки, выгонять утром корову, копать в огороде, рубить дрова да по ночам дрыхнуть бездумно... Люди летят. А куда?

И вот уж Москва ясноебаея, золотоосенняя, бабьелетовая. Это не красивости — красота. А какой ухоженный таки в Москве народ... Впереди выходной. Внутри отпускает, расслабляюсь. Надолго ли?

Нашел по документам, что в прошлом году пьянство принесло объединению два горя, два смертельных несчастных случая, квалифицированных как не связанные с производством. В одном из городов Рязанщины штукатур Кирюхина, сорока четырех лет, в пьяном виде на спор прыгнула с балкона второго этажа строящегося корпуса, сломала себе шейный позвонок, через два дня скончалась. О том, что прыгнула добровольно, Кирюхина заявила соседкам по больничной палате и опрашивавшему ее сотруднику милиции. И осталась от штукатура Кирюхиной на белом свете восемнадцатилетняя дочь.

Во втором случае в южном городе вместе со сторожевой будкой сгорел сторож. Курил, заснул, загорелся — схема, к сожалению, не редкая. «Пострадавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения сильной степени» — так сказано в акте. Сторож был человеком одиноким, пьющим, не осталось на земле от него никого.

Не могу успокоиться по поводу пьянства. Как тут успокоишься, если мы обвиняем производство там, где надо обвинять пьянство... А дети Ткачева? А дети остальных?..

Пишу в ЦК отраслевого профсоюза протест против связывания с производством несчастного случая с Ткачевым. Попутно там же веду разговоры на эту тему.

В одном из разговоров тема вдруг поворачивается неожиданной для меня стороной.

— Все эти ваши доводы,— говорят мне в ЦК отраслевого профсоюза,— все ваши рассуждения не имеют никакого значения. Если Ткачеву доплачивали за совмещение профессий бульдозериста и ремонтника, значит, он работал во вторую смену, значит, случай связан с производством.

— А если не доплачивали?

— Тогда надо вообще смотреть,— так туманно высказываются в ЦК.

Дело не в содержании, доходит до меня, дело, как это, к сожалению, часто у нас бывает, в форме.

Запрашиваем Сибирь. Оттуда звонят, телетайпируют: не доплачивали.

— Что ж, не связан?

— Да как сказать...

Такая вот... возня.

А дети Ткачева чем виноваты? А дети других легкомысленных родителей чем виноваты?

И вдруг приходит ко мне мысль совсем-совсем с другой стороны. Почему, вообще, пенсия детей зависит от того, виновато ли производство? Да производство всегда виновато. У нас же нет безработицы, все взрослые связаны с производством. И, значит, производство всегда-всегда виновато, когда сиротеют дети. Производство виновато в том, что оно трудно, небезопасно. Производство виновато в том, что оно — производство... вина. Производство виновато в том, что оно производство... Такие вот, в общем, эмоции.

Однако есть у меня еще и мысли по поводу алкоголя на стройках. Впечатление такое, что чем квалифицированнее рабочие, тем меньше они пьянствуют, то есть специалисты пьют меньше разнорабочих. Малозанятые или простаивающие по тем или иным причинам пьянствуют чаще, чем занятые работой. Это можно уточнить и так: обеспеченные стройматериалами пьют меньше, чем необеспеченные. Там, где выводилка, пьют больше, так же как и почасовики. Там, где получают за фактически сделанное, меньше.

Но совсем не очевидна такая закономерность: контролируемые со стороны пили бы меньше, чем неконтролируемые, если под контролем иметь в виду участие начальства и, так сказать, надсмотр.

Пожалуйста, примеры. Без стеснения пьянствовали кровельщики, ремонтировавшие кровлю на здании самого объединения. Один дядя, приняв дозу, в середине рабочего дня через окно, выходящее на кровлю пристройки, являлся на манер Карлсона прямо в кабинет главного инженера, игнорируя все совершающиеся там высокие заседания, в том числе и по вопросам повышения дисциплины, волна такая была. Волна волной, а что сделаешь кровельщику, когда его где угодно с распростертыми возьмут?

Да что там объединение, стены самого министерства не смущали мастеровых, оказавшихся там по ремонтной надобности. Гудели, что называется, и никаких! Правда, когда простаивали.

Трудно описать самые простые дни. Что происходит, когда ничего не происходит? Будни. То есть та самая суть, которая или подготавливает несчастный случай или предотвращает.

Пока я разъезжал, накопилось множество бумаг. Кто их только не шлет моей службе: министерские отделы — строительства, охраны труда, пожарной безопасности; различные инспекции; статистические организации; профсоюзные органы — это все с одной стороны. Все

подведомственные организации — с другой. Как результат — неразобранная гора бумаг. Моя задача — перелопатить гору, отчитаться наверху и дать указания вниз.

Как чаще всего пишутся бумаги по технике безопасности? Берется старая и переписывается с некоей корректировкой. Я решил так: не сделаю принципом, но сделаю тенденцией — в старые бумаги не глядеть. В лучшем случае старые бумаги решали злободневные для их времени вопросы. Чаще же просто переписывались с еще более старых. К дьяволу старые бумаги и старые идеи! Лучше бы вовсе в них не заглядывать, так они осточертели. Хотя умом понимаю, что это уж крайность, это уж слишком. Это неверно.

А что там с лесами, подмостями и прочими приспособлениями для наших строек? Как там ожидаемый энтузиазм по поводу не только безопасности работ, но главным образом по поводу роста производительности труда? Интенсивным разговорам уже скоро год. Есть решения, протоколы. Больше полугода как на заводы отправлены проекты, ущербные, правда, но проекты. Инстанций много. Понять, делается ли инвентарь на заводах, трудно. Тут в объединение приехал директор одного из заводов и мне удалось поговорить лично с ним.

— Ничего не делаем,— сказал директор,— и делать не собираемся.

— Почему?

— А деньги? Я сделаю, понесу затраты, а где гарантия, что потребитель возьмет инвентарь за мою цену?

— Здравствуйтесь,— говорю я.— Вопрос считаю законным, деловым, да ведь его полгода назад задавать надо было. Что же вы полгода делали?

— Ничего не делали. Я в убыток работать не буду, мне с рабочими рассчитываться надо.

— А как же вы протоколы подписывали со всякими там сроками?

— Протокол что — бумажка.

— А что же не бумажка?

— Деньги...

Такой вот оборот. Может, я и сам виноват, что поздно вытягиваю вопрос из директора? Может быть. Но ведь мои усилия — это только вопрос моей сознательности. И я, и директор завода, и все объединение мало экономически заинтересованы в совершенствовании производственного процесса. Очень уж отдаленно, опосредованно заинтересованы, через множество далеких друг от друга факторов.

Есть у нас форма премирования за внедрение новой техники. Да только с конкретным вопросом — с упущениями в старой технике — та премия никак не связана. Вообще, мало кому понятно, с чем именно она связана. Ее обычно воспринимают так: премия, ну и слава богу. За что, про что — все от бога-начальника.

Ищу, ищу форму воздействия на состояние техники безопасности. Упрощая, проповедую: есть всего два адреса наших усилий — работающий человек и рабочее место. Если человек будет обучен и настроен, а рабочее место в должном порядке, считай, мы решили свою задачу. Исключить, исключить несчастные случаи! Еще проблема — защитные каски. Обеспечены ими все. Но не носят, да и все тут! А прошла серия травм головы: тохватило доской, упавшей с лесов, то сам споткнулся и головой саданулся. Готовлю приказы, пытаюсь объяснять, убеждать, заставлять.

Бывая на объектах, обязательно говорю с рабочими. Обязательно... Почему с рабочими? Хотя мой начальник и считает: из объединения с каждым не общаешься. Да, с точки зрения математики — нелепо. И мне не заменить инструктаж, обучение. И не в демонстрации «интереса центра» к вопросам ТБ дело. Просто моя работа ка-

сается прежде всего этих людей. Всегда прошу собрать кого можно и бесеую.

Разговаривал с главным инженером одного из наших трестов о ТБ. А он достал из кармана и показал мне вырезанную из «Правды» статью «Прогульщики нарасхват». Я подумал, что действительно требовательность отдельного руководителя много не сделает, если обстоятельства попустительствуют разгильдяям. Подумал это, но ничего не сказал, требовать все равно надо.

Пришел ответ из ЦК отраслевого профсоюза на наше возражение по связи гибели Ткачева с производством. Формулировки в ответе такие: «Не осуществляется должный надзор за производством работ со стороны административно-технического персонала...», «Воспитательная работа в коллективе находится на низком уровне...», «Администрация обязана не допускать появления работающих в нетрезвом виде».

Вывод: случай обоснованно связан с производством.

Предлагается «принять действенные меры по укреплению трудовой дисциплины». Солидная подпись. Слова «пьянство» в ответе вовсе нет.

ЦК отраслевого профсоюза — орган важный. И не так протест вызывает их решение по конкретному случаю с Ткачевым, как удивляет равнодушие к пьянству. Если бы чувствовались тревога, боль, стремление найти выход! Нет их.

А есть набор стандартных чиновничьих формул.

ЦК отраслевого профсоюза — авторитетный орган. Там работают хорошо образованные люди. Подготовленный ими документ безупречен с точки зрения орфографии и синтаксиса.

Но откуда это явление — частокол из общих формулировок? Откуда нескончаемые штампы — форма бегства от живой жизни? Знают ли в ЦК отраслевого профсоюза реальное производство? Те ли там люди, которые собственной кожей ощущали проблемы стройуправления, площадки, жизни? Как это, в общем, легко — натаскаться на определенный стиль словоговения и спокойно занимать определенную служебную ступеньку...

Но все же и легче на душе моей стало. Легче оттого, что двум конкретным осиротевшим девочкам пенсия будет выплачиваться в большем размере.

Год еще не кончился, когда пришел приказ из министерства «О состоянии охраны труда в объединении». В приказе утверждается: в прошлом году было три смертельных несчастных случая, в этом году уже два. В приказной части — «разработать мероприятия» и «усилить требовательность». Мне в приказе объявлен выговор. За что? За мой отъезд с разбора несчастного случая в Новосибирске до окончательного оформления бумаг.

Я пришел в министерство к Курязову. Считается, что Курязов в главке наряду с другими обязанностями курирует вопросы техники безопасности. Мы с ним вместе ездили на разбор случая с Малинцаном. Но в Сибирь по поводу случая с Ткачевым Курязов не выехал, не достал билет на самолет. Он, конечно, и готовил министерский приказ, раз курирует.

— Огорчен я приказом, — говорю Курязову.

— Это хорошо.

— Огорчен его пустотой, опять общие слова: разработать, доложить — перевод бумаги.

— Мое дело бумажное.

— Слушайте, неужели вам действительно наплевать, есть несчастные случаи или их нет?

— Я делаю все, что могу.

— Хорошо. Но за что все-таки мне выговор, когда при мне произошло снижение числа смертельных несчастных случаев за

год до двух? А всего в прошлом году было семнадцать несчастных случаев, а в этом шесть. Снижение?

— Снижение. Бывает. Дело случая.

— То есть моя работа роли не играет?

— Дело случая.

— Да вы понимаете ли, что говорите?

— А что?

— Вы ведь утверждаете: работай, не работай — все равно дело случая. И знаете, чем я больше всего огорчен? Есть конкретные вопросы, не решаемые в объединении, а должны бы решаться. И вы о них ни мур-мур.

— Это какие же?

— Вот вы о них даже не знаете.

— У меня тысячи вопросов, и все конкретные.

— Понятно. Вы, значит, и не представляете, о чем идет речь. Да об изготовлении лесов, подмостей, грузозахватных средств...

Такие дебаты.

И я думаю, что, в общем-то, лично ко мне у них в министерстве серьезных претензий нет. Выговор мне — это их недовольство тем, что допустил связь с производством несчастного случая с Ткачевым. А еще сей приказ — это в некоей системе факт, документ проделанной работы. Издали приказ — значит, сработали, дело сделали. А выговор дали — так это совсем уж здорово потрудились. Удивительно. Удивительно, что система эта, незримая и неписаная, существует вполне реально.

А, в общем, я, конечно, сделал мало. У нас есть управления, где давно уже дела идут хорошо. И инженеры по ТБ там работают подолгу. Добивался повышения их в старшие инженеры — и пока не добился. Хочу активизировать контроль за безопасностью работ в последние дни месяцев, когда ИТР заняты нарядами и процентками, когда чаще всего и происходят несчастья, — слабо удастся. И вообще, все эти идеи привлечь к ТБ внимание и руководителей и «общественных сил» — не стали они еще, как говорится, достоянием масс и материальной силой. Да и станут ли так, чтоб уж раз и навсегда? Не станут. Гореть здесь нужно, и все. Очень просто...

В начале следующего года в министерском главке состоялась балансовая комиссия по работе нашего объединения. Что такое балансовая? Это там, где ругают. Я мечтал: а что б вдруг спокойно, деловито — ведь не война в конце концов — поискали и разобрали главное в недостатках, суть. Да не принято у нас, и нет, кажется, умения. Другое дело — ругать. С руководящих высот это так гладко получается.

Ругали нас крепко. За технику безопасности — поделом: два смертельных несчастных случая. Когда подняли меня, я заикнулся, что внизу не слушаются, не выполняют указаний. На это начальник главка, проводивший балансовую, мгновенно среагировал и ввинтил, что, может быть, вообще объединение не нужно, раз оно не способно управлять и его не слушаются. От такого оборота я полез на рожон и сказал, что не в одном объединении дело, дело шире...

«Как это шире?» — Кто-то поднял голову.

Но тут я сообразил, что балансовая комиссия не место для теоретических дискуссий, и замолчал. Начальник объединения Гуртовой поспешил вмешаться и исправить положение, заявив, что инженер по ТБ выражает лишь личное мнение. Потом в объединении Гуртовой собрал всех в своем кабинете и на моем примере объяснил, что надо думать раньше, чем говорить. На это я взвился: «К сожалению, на моем участке работы дипломатией не отделаешься!»

Гуртовой не стал развивать эту тему.

Что имел я в виду, сетуя — не слушаются? А то, что мы, вышестоящая организация, не добиваемся выполнения своих указаний и

сами подрываем свой авторитет. Среди наших указаний есть выполнимые и невыполнимые. А еще наших указаний слишком много, тьма указаний. И оттого, что их много, теряются среди них принципиальные. Помимо этого, нередко наши распоряжения нами же не обеспечиваются материально. Да и более общие вещи хотелось сказать что считаем мы свои указания истиной в последней инстанции, что не лезем вглубь, не признаем своих ошибок, отбываем номер, не горим, не приучены искать и спорить и в то же время сохранять порядок... Хотя это долгая штука — привыкать спорить и соблюдать порядок. Но для жизни — необходимейшая!.. И все это далеко не только в ТБ.

А в целом внизу с изрядным почтением относятся к вышестоящим инстанциям. Это традиция.

Тут вспоминается мне моя поездка на Кавказ. Все время норовили проявить гостеприимство. Чаще всего я уклонялся. Но не всегда. Чувствовал: в Москве, устраивая застолье, хотят подкупить, на Кавказе соблюдают традиции предков. Есть разница. Все надо решать самому.

Запомнился мне инженер по ТБ в одном из наших управлений. Осетин по фамилии Шавлаев. Его иногда называли старичком, хотя какой же он старик — всего на пять лет старше меня. Фронтвик. И уже другое поколение. Уделом и качествами этого поколения я не устаю удивляться. Шавлаев рассказал: «Добивался трехсот рублей, чтоб поощрить работников линии за хорошее отношение к технике безопасности на их участках. К одному начальнику сунулся, к другому — ничего не получается, нет трехсот рублей. Пошел к самому управляющему местным стройбанком. Банкир оказался маленьким человечком в огромном кабинете. «Не предусмотрено, — говорит, — поощрение за ТБ». «А почему?» — «Нет такой статьи в финансовых законах». — «Почему?» — «Нет у меня времени с вами объясняться. Выйдите отсюда». — «Почему вы так разговариваете?» — «Разговор окончен». — «Я пойду в партийные, в советские органы, в печать...» И уж уходя, — рассказывал Шавлаев, — слышу вслед: сволочь. — Я вернулся. «Как вы сказали? Это на меня, фронтвика?» — Я запустил в него чем-то тяжелым с его же стола. Он орал, как резаная свинья... Вы-то понимаете, — наседали уже на меня Шавлаев, — в Советском Союзе, в советском законодательстве нет статьи, чтоб поощрить человечность?!»

Я понимал Шавлаева. Вот бы какие принципиальные вопросы рассматривать на заседаниях в министерствах и других высоких инстанциях.

С Шавлаевым мы говорили целый вечер. И все только о ТБ. Хотел я беседу опустить на кавказскую землю — не получилось. Интересную мысль высказал Шавлаев, под которой и я б с радостью подписался: «У нас в строительстве много незавершенки. А знаете, что такое незавершенка? Это, наверно, то, что не очень нужно людям. Вернее, отсутствие чего люди могут терпеть. А вот жизнь отдельного человека нужна всегда — ему самому, его близким, всем людям. Поэтому я с удовольствием занимаюсь техникой безопасности...» Так сказал фронтвик.

И пошел новый год.

Есть мнение, и мне его высказывали те, кто знаком с производством издавека: в погоне за планом у нас чуть ли не сознательно готовы пренебрегать ТБ. Цинично, но как бы с элементами истины.

Так вот мое убеждение: это чушь. Сознательность в пренебрежении ТБ — чушь. За нарушение техники безопасности сняли главного инженера одного из наших стройуправлений. За ТБ получил взыскание начальник объединения. Гуртовой сказал мне: «Это ты меня в приказ министра вставил? Попадусь министру в приказах

пару раз за твою ТБ и полечу...» За ТБ боится полететь со своих должностей и начальство из главка. Никто сознательно ТБ не пренебрегает.

Но вот что ТБ игнорируют бессознательно — это точно. В том числе и руководство. По-моему, не хватает культуры, принципиальности, привычки к инициативе. Да ведь у нас по тем же причинам той же возможностью выполнить план пренебрегают! Не хватает осознанности.

Вообще, сложные существуют отношения с ТБ у командиров производства, то есть у тех, от кого безопасность работ больше всего и зависит. Громогласно все они заявляют, что чтят и со вниманием относятся к требованиям техники безопасности. А уж явить свое почтение работникам нашей службы, особенно если те сверху, готовы все и всегда. Внешнее почтение. На деле же командиры производства привыкли рисковать. Вообще привыкли. Рисковые ребята работают на линии. Говорил же я, что производство удовлетворяет человеческую потребность в страстях. Инженеров на линии опутывает такая уйма всяких требований и запрещений, что, строго говоря, если всерьез принимать всю регламентирующе-запрещающую бумажную глыбу, то строить вообще будет нельзя.

Но ведь строить все-таки — это главное!

Бумажную глыбу игнорируют. Привычно рискуя, на что-то не обращают внимания. Заодно нередко игнорируют и ТБ. Вот такие у меня даже не мысли — ощущения.

Но ведь бумажную глыбу конкретные люди создают.

От главного инженера объединения время от времени я получаю бумаги с резолюцией: «Затребуйте нормально оформленный приказ на хорошей бумаге». Это один из трестов прислал нам копию своего приказа на неважной бумаге. Или: «Затребуйте докладные остальные». Это если кто-то присылает докладные о выполнении каких-нибудь мероприятий.

Я не выполняю этих распоряжений главного. Не спорю, не возражаю, молчу и забываю. Знаю, что это можно трактовать как мою нерадивость и бессовестность. Но я считаю, что это наш главный бессовестен и нерадив. И вот почему. Он отбывает номер. Он играет роль и делает, как предписано незримым автором и режиссером. Играть роль, как повелось, — это, может быть, в его личных интересах. Но никак не в интересах ТБ.

— Почему это ты так уверен? — спросил меня Николай Иванович, когда я высказал ему эти свои мысли. — Роль нашего главного — это роль руководства, если хочешь, роль управляемости. Если не требовать к себе уважения, в данном случае — приличной бумаги, управляемости не будет.

— Возможно, ты и прав... — задумался я, — возможно. Да больно много пыла уходит на бумаги. А насчет управляемости... Как раз управляемостью, мне кажется, никто у нас всерьез и не озабочен. Управляемостью рабочих. Озабочены чиновники из министерства управляемостью чиновников из объединения, да и то...

Вот такие левацкие во мне настроения.

Только это ведь почти кукиш в кармане. Ну, поспорили мы с Николаем Ивановичем. Ну, спорил я и с нашим главным. Не в тех выражениях, что здесь записаны, но спорил. Разве это что-нибудь меняет?

На меня давит проблема жилья. На каждого что-нибудь давит.

Я по поводу жилья сходил еще раз к Гуртовому. Собрал чуть не все свои силы и пошел. Не спорил, а плакался. Гуртовой обеща-

Тут позвонил я в Новосибирск.

— Как с уголовным делом по гибели Ткачева?

— А никак. Уголовное расследование не дало ничего. Все ограничилось административным.

Так. Этого я и ожидал. Что тут думать? Что делать? Что писать? И моя вина есть в том, что скрыто преступление, может быть...

Почти весь первый квартал я не выбираюсь из стен объединения. Пишу. Пишу уйму каких-то длиннющих отчетов, решений, справок. В них я обязан заполнить раздел по ТБ. Может, и есть разница в заголовках этих документов — содержанием они похожи, как близнецы. Спрашиваю, зачем столько одинаковых бумаг. Окружающие глядят на меня тупо. Чувствую, такой вопрос им в голову не приходит. Кто-то требует, а зачем — какая разница.

Хорошо папе Васе — он занят делами и к созиданию бумаг не привлекается.

А мне тут попало. Я несвоевременно сдал Курязову годовой отчет. Курязов проинформировал нашего главного. Я выслушал несколько нотаций. Сам Курязов, в частности, напомнил мне ту светлую истину, что «социализм — это учет». Социализм — это, конечно, учет. Да ведь не несчастных же случаев! Между прочим, Курязов, как я понял, в министерстве считается книжником. Сейчас многие гоняются за книгами, он один из таких. Кажется, хобби его — исторические романы. Второе хобби после «Запорожца».

В прошлом году, еще до того как он мне выговор организовал, я как-то поделился с Курязовым некоторыми мыслями. Я, оказывается, ошибался, полагая, что нет науки по технике безопасности. Есть наука по технике безопасности. Есть у нас в министерстве научно-исследовательский отдел охраны труда. Он прислал нам методические рекомендации по составлению актов о несчастных случаях. Я подосадовал и высказал Курязову сожаление (а кому еще его выскажешь-то, кого еще это интересует?), что наука рекомендует, как составлять акты, но не говорит, как избегать несчастных случаев.

— Раньше, чем что-то рекомендовать, — сказал Курязов, — надо исследовать вопрос.

Я сказал, что, вообще, сомневаюсь, возможна ли здесь наука. Можно, конечно, выявить систему, как зависят несчастные случаи от стажа пострадавшего, времени дня или рода тока, поразившего человека. Но почему проявлено легкомыслие, почему недооценена опасность теми, от кого зависел случай, — как это понять? А главное, как этого избежать?

— Философствуешь ты много, — сказал Курязов.

— Просто думаю, — сказал я. — Думаю, что в интересах дела надо искать пути не только к уму людей, но и к их сердцам. К эмоциям надо искать пути. Может быть, даже в первую очередь надо искать пути к эмоциям. Помимо науки, нужно еще и искусство.

— Какое еще искусство? — спросил Курязов.

— А такое, земное, — ответил я. — Вот, например, если есть при министерствах отделы науки, почему бы не быть отделам искусства? Чтоб на местном материале думали, как и чем людей пронять...

— Самодеятельность разводить? — спросил Курязов.

— Самодеятельность, — сказал я, — самодеятельность.

Курязов хитро прищурился.

— А ты возьми да напиши об этом докладную самому министру.

— Напишу, — сказал я, — напишу.

И, ей-богу, глядя на Курязова, я прочел его мысли: «Не знаю, упекут ли тебя в психиатричку, но ненормальным посчитают — это точно».

И у меня тоже остались мысли про себя: «Любимые мои авторы — Дмитрий Фурманов и Михаил Кольцов. Кольцов сплошь и рядом был не только автором, он был действующим лицом. А в «Чапаеве» описан революционный театр, местные постановщики и авторы.

Почему в то огненное время при всей, в общем, малограмотности общества это было приемлемо? Почему теперь при всей образованности — нет?»

Итак, идет еще один год. В ТБ новый год — новый отсчет. Происшествиям. Год — он вроде матча, полугодие вроде тайма. Ну, каков счет?..

Я обнаружил в себе закономерность: записи свои делаю тем больше, чем хуже у меня на душе, и тем меньше, чем все вокруг благополучнее. Вот отдельные мои заметки.

Убеждаю своих инженеров по ТБ, что мы должны участвовать в борьбе с пьянством. Некоторые противятся: это дело профсоюза, за нашу зарплату нам забот хватает.

Когда настаиваю, умолкают. Но я остаюсь в неведении: оттого ли, что убедил, или оттого, что я вышестоящая организация? Скорее второе. Огромна сила привычки.

Говорю одному из своих коллег: «Поднажми, усиль» и прочие общие фразы, он мне отвечает, что старается. И я полностью верю ему. Потому верю, что в ответе его есть фраза: «Знаешь, мне ведь срок два года, хочется что-то значить, хочется не впустую жизнь проживать».

Вижу я, наш главный калибр склонен отшучиваться от требований ТБ. По-хорошему, объяснениями — ничего не получается. А средств принуждения у службы ТБ никаких. Почти никаких.

Один главспец в споре со мной сказал так: «Палишь ты из пушки по воробьям. Что, в сущности, означает одна человеческая жизнь?.. И вообще, планете грозит перенаселенность».

Что ж, есть такая точка зрения. И есть среди окружающих люди, которые хоть и не во всеуслышание, хоть, может, и не очень четко, но убеждены в ничтожестве одной жизни. Человеколюбие, неповторимость и прочее — то все интеллигентские выкрутасы. Какое, к черту, может быть человеколюбие к пьяни?

Человеколюбия к пьяни быть не может. Но убеждение, что люди могут и должны жить и работать по-человечески, может быть глубочайшим. Да таково оно и есть у большинства людей. Потому люди и создали социализм. Но уяснить, что такое — по-человечески, люди, наверно, будут, пока существуют. Уяснению еще служит литература.

Тут у нас в отделе произошел разговор, касающийся литературы. «В рабочий полдень» заслушались мы концертом по заявкам. Звучало рондо-каприччиозо Сен-Санса. И Николай Иванович вдруг начал говорить, что никакой другой инструмент так не трогает его, как скрипка.

— Чудится — невероятно, что человек мог такую музыку измыслить. Это ж черт знает на какую прелесть способны люди!..

— Черт и прелесть — что-то ты не того, — заметил я.

— Принцип нужен, ох как принцип нужен.

— Ты это о чем?

— А о том. Принципа не пойму. Читал тут «Литературку». То пишут о браконьерах, браконьерят, как хотят, и управы на них нет. То ценное сырье на выброс идет — и всем наплевать. Или вот еще: умер человек в Ленинграде, завещал какую-то сумму для поощрения детских врачей, бескорыстно завещал, даже имени упоминать своего не просил. Так ни одна организация — министерства, институты — не принимает дара, и все тут. Никого не интересуют «ничьи» деньги, благородные движения души. Хуже того, должностные лица уж и мордуют вдову-старушку, которая добивается, чтоб деньги у нее взяли. Ее уж черт знает в чем обвиняют... Ну не сумасшедший мир? С одной стороны, дивные дела люди делают, красоту, благородство являют, а с другой — творят мерзости, да и шабаш. И никакой социализм их не берет!

— Да погоди ты обобщать-то, — сказал я, — тут думать надо.

— Поменьше б писали в вашей «Литературке», — вдруг подала голос Алиса, — и все б в порядке было.

И я да и Николай Иванович, кажется, обомлели. Алиса — и такой вдруг голос.

— Вот где собака-то зарыта, — подмигнул я Николаю Ивановичу, — а ты — «принцип»...

— Ведь объединяет же что-то мерзости? — продолжал он.

— Литература с ними и борется, с мерзостями, — сказал я.

— Разве обо всем напишешь? — сказал Николай Иванович. — Принцип надо искать, принцип.

В следующий раз он вернулся из командировки и завел такой разговор.

— На степной железнодорожной станции, — сказал Николай Иванович, — засмотрелся я на два сооружения — старую водокачку и новый склад. До чего же разная кирпичная кладка! На старой водокачке карнизы, пилястры, тяги разные — сложная кладка, да кирпичик к кирпичику, ровно, красиво — искусство, да и только. На новом складе кладка проще некуда, а все тяп-ляп, швы то тонкие, то толстые, то пустые, кирпич в трещинах, пляшет... Почему ушла радость в труде? — спрашивает Николай Иванович, подняв палец. — Не верю я, что те артельские мужики, что водокачку клали, из-под палки трудились. Радовались они работе и умению своему — вот в чем штука! Ведь не в столицах, не на красном месте — в степях кладку клали. Водокачке уж век небось, а она все как игрушка. А склад уже теперь разваливается. Совесть была раньше в труде!

— А сам небось в алюминиевом да пластиковом вагоне ехал, — говорю я, — это что, не совесть?

— Я не о том, — стоит на своем Николай Иванович. — То научно-техническая революция, то умом достигнуто. А в чем видно, чтоб люди совестливей стали? Ведь бывало, что ни делали — душу вкладывали, совестились, бога боялись. А теперь на что угодно плюнут да разотрут.

— Что ж, в страхе все дело, что ль? — противлюсь я.

В словах его мне видится правота, но с чем-то я и никак не соглашусь.

Про правоту я еще вот почему думаю. Кажется мне, что выпуск тех бестолковых проектов на строительный инвентарь, что достались нам из московского института, и уход новосибирского уголовного розыска от дела Ткачева, и та современная кирпичная кладка, о которой говорит Николай Иванович, — явления одного порядка. Одна манера. И вообще, взять эту привычку подменять дело составлением бумаг. Уж чего-чего, а души человеческой в этом нет. Безусловно, в чем-то прав Николай Иванович.

Но ему я говорю другое:

— А сам-то ты всегда в дело душу вкладываешь?

— Что ты имеешь в виду? — удивляется Николай Иванович.

— Да хоть бы работу нашего производственного отдела. Пишете справки, протоколы, балду, ты брюзжишь, сто раз говорил, что работой своей недоволен. А ведь ничего нового ты не предлагаешь.

— А что тут предложишь?

— Никогда я не видел, чтоб у нас в отделе хоть что-нибудь считали, сравнивали варианты организационных решений. А ведь даже информацию в наш век можно копить иначе — есть для этого карточки, даже электронная аппаратура. Но все это надо искать, организовывать, внедрять. Что б тебе заняться-то этим?

И тут пошел у нас с Николаем Ивановичем спор, чуть не ссора. Он говорит:

— Ничего один человек сделать не может.

— Ищи единомышленников — вот ты уже и не один.

— Ты много их в своей технике безопасности нашел?
— Нашел и ищу.
— Никого ты не нашел. Всем на все наплевать.
— У прекрасного писателя Андрея Платонова есть мысль: «Не путайте себя с человечеством!» По-моему, к месту.
— Писателям лишь бы сказать красиво.
— Ты ж за принцип ратовал. Вот тебе и принцип — возлагать лично на себя ответственность за нужные дела и нужные слова.
— Ты возложишь, я возложу. А большинству-то какое до всего этого дело?
— Так ведь ты же личное неудовлетворение испытываешь. Не ной — поступай...

В спорах люди, по-моему, редко убеждают друг друга. Так и мы с Николаем Ивановичем. Нет, мы не рассорились. Хотя вроде бы и хотели угодить друг другу. Я-то уж точно хотел. Но что я мог доказать? Мало что словами можно доказать. Впрочем, делами без слов, в общем, докажешь не больше.

Еще как-то раз наизлагал я Николаю Ивановичу своих соображений о технике безопасности, а он мне говорит: «Что там ни крути, а случай — он случай и есть...»

Как говорят в Одессе, ну так на ж тебе вот.

Такое отношение было и остается самым типичным к вопросам, о которых я пытался поговорить. От этого простодушия руки опускаются больше, чем от нерешения квартирной проблемы. Вот и жди понимания...

Но квартирная проблема моя как раз решается! И все оказалось очень просто. Получаю минимум: за выездом. Но получаю! Предложили — и я сразу согласился. Я на все согласен. Боже, как же взлетает мое настроение, какой гигантский груз падает с души!

Когда я сказал слова благодарности Гуртовому, он ответил: «Советскую власть благодарите». Хорошо сказал Гуртовой — советскую власть.

И ушел я в отпуск. И не было меня на работе целый месяц... А в конце того месяца в объединении в одном из городов в ночи езды от Москвы произошел еще один смертельный несчастный случай. Рухнувшей глыбой земли задавило рабочего в траншее. Это была глубокая канализационная траншея, вырытая без крепления. У нас это любят — на авось. Думали быстро отрыть, быстро уложить трубы, быстро зарыть. Думали... Да все ли умеют думать-то, черт бы их взял?! И это после всех моих попыток создать напряжение.

Прихожу к выводу, что в технике безопасности самое важное вовсе не техника. Самое важное — психология. Начинаю думать, что вообще ТБ правильнее было бы назвать психологией безопасности. Я б сказал так: безопасность работающего гораздо больше зависит от психологии руководителей, чем от каких-либо технических моментов. В сущности, ведь и пьянство — явление психологическое.

Или вот я писал: «...исключить несчастные случаи — эту формулу надо повторять и повторять в приказах о ТБ». И повторяю. И лишь постепенно доходит до меня новая истина: да ведь это слишком похоже на заклятие, на религиозный ритуал. Повторяем, повторяем... И вот уже повторение превращается в свою противоположность, ведет не к положительному, а к отрицательному результату. Потому что заслоняет конкретное дело. Да ведь главное же в руководстве — взять на душу новый шаг, новый поворот, новый поступок и новое, новое слово.

Великий поэт, великий человек сказал: «Слова у нас до важного самого стареют быстро, ветшают, как платье...» Давно сказал. А слова всё стареют. Ну, то есть все. И отчаянная попытка поэта предостеречь людей, его слова, которые мы в школе заучиваем наизусть, устарели

Только не надо путать понятия «устарели» и «потеряли смысл»! Происходит что-то более страшное, когда живая человеческая душа чуждается слов из-за одного того, что их слишком часто произносят. Может, обессиливание слов — одно из тех проклятий над родом человеческим, которые считаются библейскими. А может, и благо: никогда не считайте, что все главное сказано и сделано, живите сами, ищите слова сами, всегда ищите сами...

А впрочем, что слова? А разве дела всегда проникают людей?

Есть у меня младший брат, двадцать пять лет плавающий по морям и океанам старшим помощником капитана на танкере. Как-то я спросил его:

— Ты знаешь, кто такой Ален Бомбар?

— А он знает, кто я такой?

— Ну чистый Победоносиков. А что ты слышал о плавании Бомбара в одиночку через океан, о его книге «По своей воле за бортом»?

— Отвяжись от меня, ничего не слышал.

— И ничего не знаешь о том, что французский врач Ален Бомбар в одиночку, без продовольствия и пресной воды провел в океане шестьдесят пять дней? На серийном надувном спасательном плотике он пересек Атлантический океан с единственной целью — дать морякам моральную поддержку, лучшее доказательство — пример, что в море можно очень долго жить и бороться за свое спасение. Вам бы, морякам, методы его вызубрить, пример его знать, как таблицу умножения. Хоть разговоры-то были на корабле?

— Никогда не слышал.

Братец мой не хуже и не лучше других моряков. Я спрашивал еще некоторых — самое отдаленное понятие. Но это упрек, конечно, не вообще морякам, а прежде всего тем, кто отвечает за морскую их технику безопасности. Им бы на Бомбара молиться, а они...

И все-таки, думается, новые слова, новые дела — самое важное. Только этим жизнь и жива. Только проявление инициативы делает человека живым. Только проявление инициативы делает коллектив живым. Только возможность инициативы делает общество живым.

Что-то у меня уже неважно получается выдумывать что-нибудь самому. Наверно, старею.

Ловлю идеи других.

В одной организации составили перечень травмоопасных участков работы. Тотчас велим всем составить такой перечень.

В другой устроили отличный стенд с информацией по ТБ. В частности, если где-то мелькает весть о несчастном случае — в приказе, газете, — она тотчас на стенде. В человеке заложено любопытство к происшествиям. Так удовлетворите его! И — польза. Требуем, чтоб всюду — в управлениях, цехах — были такие стенды. Возле кассового окошечка!..

Туго идет. За стенды приходится воевать.

У нас есть целая категория лиц, убежденных, что говорить правду о несчастных случаях нельзя. И это несмотря на то, что по министерству издаются открытые приказы обо всех смертельных несчастных случаях. Да что там категория лиц! Я сам в начале своей работы в разговоре с начальником отдела охраны труда министерства выразил сомнение: можно ли? «Не можно, а нужно, — сказал начальник отдела охраны труда министерства. — Зачем в приказах дается подробное описание обстоятельств несчастного случая? Чтобы извлекать урок. Горький, но урок. Правда помогает предупредить новое несчастье. Соккрытие правды, даже не ложь, а просто умалчивание, ведет к новым несчастьям».

Ведет. Умалчивание ведет к несчастьям, может быть, даже чаще, чем ложь.

Опять проводим перекрестные проверки.

Несколько моих командировок.

А вот мероприятие (отвратительное слово!), которое мне не удастся. (Впрочем, не слово «мероприятие», конечно, отвратительно, а укоренившаяся манера прикрывать этим словом пустоту.)

На ВДНХ была выставка, посвященная охране труда. Я предложил руководству собрать для посещения выставки лучших из общественных инспекторов. Москва, ВДНХ — поощрение, а за технику безопасности — резонанс и польза. Руководство отвечало: дело упирается в гостиницу. Удалось мне договориться о гостинице. Тогда мне отказали просто так, без мотивировки.

Так и закончился второй год с одним смертельным несчастным случаем. Первый год моей работы — с двумя, второй — с одним смертельным несчастным случаем.

И опять в министерстве состоялась балансовая комиссия по работе объединения. По вопросу техники безопасности выступил Курязов. Он начал с того, что показал комиссии две пачки бумаг. Первая пачка аккуратная — отчет проектного главка о ТБ. И это отчет не о том, как проектировщики работают над ТБ на стройках. Нет. О том, как проектировщики справляются с опасностями на их работе. Вторая кипа бумаг на бланках разных размеров — наш отчет, строителей. Потрясая этой разношерстной пачкой, Курязов ярился, что это не что иное, как свидетельство «безответственного отношения к вопросам техники безопасности». Критика нерадивости нашей шла таким путем: «Не носят касок! Не пользуются монтажными поясами! А ногу монтажник сломал оттого, что на складе арматуры не внедрен общесоюзный стандарт на складирование материалов! И от этого, — тут уж Курязов в крик кричал, — повысился коэффициент тяжести!»

Уйма эмоций. Брызги слюны. Жестикуляция — ну прямо боксерский бой с тенью.

Встал наш главный и покался. Собственно, каялся он во всем сразу. ТБ — небольшая темка огромной покаянной симфонии...

Что на все это сказать? Не принято у нас в открытую возражать начальству. К сожалению, не принято. Даже если начальство несет вздор. Принято легко каяться. Скоро, скоро, не задумываясь начинают бить себя в грудь и виниться.

Думаю, это все от равнодушия. Каяться — это ведь так просто и ничем не грозит. И эти приемы — они во многих местах проходят. Да не в технике безопасности.

А возразить-то можно было. Хотя бы с этим коэффициентом тяжести K_T . Вышестоящая инстанция через того же Курязова судит однозначно: чем выше K_T , тем хуже обстоит дело с ТБ. Но если вдуматься, если потратить на это минуту? Что такое коэффициент тяжести? А это отношение (дробь) количества дней нетрудоспособности к количеству несчастных случаев. Так вот при смертельном несчастном случае числитель у дроби (количество дней нетрудоспособности) остается неизменным. Конечно, логичнее его делать бесконечно большим, но тогда смысл в показателе исчезает мгновенно. А знаменатель увеличивается на единицу. Получается, K_T уменьшается. Чем больше смертельных случаев, тем меньше K_T !

И этот пренелепый показатель, эта идиотская выдумка кочует из бумаги в бумагу. Как у нас пишутся бумаги?..

Члены балансовой комиссии изображают на лбах великую озабоченность, внимая Курязову, и ахают: «Возрос-возрос...» И задуматься, что он возрос именно потому, что смертельных несчастных случаев стало меньше, членам балансовой комиссии некогда. Некогда! О это принципиальное состояние! Некогда вдуматься, некогда разобраться. Некогда разобраться в показателе, некогда — в причинах.

Ну хорошо, на балансовой некогда. А говорил ли я о нелепости этого показателя, коэффициента тяжести, в другое время тому же Курязову? Да десятки раз. Больше того, Курязов согласен со мною.

А другим говорил? Говорил. И другие согласны. Все согласны. Ну и что? А ничего. Согласие и понимание нелепости — это нечто личное. А дело ведется не в соответствии с личным мнением, а как принято...

И прошло еще полгода. И наступила всегда долгожданная пора — лето. Лето — это еще когда обостряется вечная жажда свободы.

В этом первом тайме счет у нас очень приличный, существенно лучший счет, чем «за соответствующий период предыдущего года». Меня лично благополучие всегда несколько тревожит, в затишье чудится предшествие бури. Может, нервы.

Во взгляде на себя со стороны бывает иногда интерес, бывает неприязнь. Рассказ о себе, конечно, может грешить кокетством. А рассказ без себя — высокомерием. Легко судить со стороны. Вот некоторые факты, настроения, определившие следующий поступок. В поступках стараюсь не быть для себя неожиданным. Но, к сожалению, бываю.

Платят мне на моей должности в объединении минимум. В ожидании жилья мирился. Но с того момента, как получил я жилье, уже миновал год. Не ребенок, о деньгах поговорил с начальством. Ответили: сейчас нет возможности, но со временем должна быть. А через месяц узнаю, что в объединение взяли строителя на должность с гораздо большим, чем у меня, окладом. Я с новеньким говорил, тоже бывший военный, моих лет. Оказалось, у нас немало общих знакомых.

Нередко кажется мне, что меня третируют. Да не просто меня — технику безопасности. Так, если прихожу в кабинет главного с вопросом (а прихожу я минимальное число раз и еще того реже к Гуртовому), то уж не говорю о том, что любой телефонный звонок, любой вошедший — шофер, секретарь — прерывают меня, отодвигают на второй план. Определяют очередность, конечно, руководители. И чувствую я, что третирование это тем более усиливается, чем меньше становится несчастных случаев.

Говорю с собой: «Играет в тебе, наверно, нездоровое самолюбие, болезненная амбиция. Независимость почувствовал, вот и взрываешься? Возможно, возможно...»

И тут же, как это у меня бывает, обобщающие мысли. Да ведь сознание независимости у каждого человека в нашем обществе вообще стремительно прогрессирует, прогрессирует прежде всего потому, что мир вокруг, войны нет и отсутствует безработица. Так что руководство людьми все больше может основываться только на почве совестливости, сознательности, но не страха. И здесь есть определенная заслуга у литературы.

Дальше. Все произношу речи перед главным калибром, беседую «по душам». Но думаю: как люди ко мне относятся? Главкалибр, вижу, снисходительно. Демонстративно вежливы, внимательны и предупредительны. Но отчество часто путают. Свой брат инженеры по ТБ относятся хорошо, чувствуют во мне опору. Кое-где знают рабочие. Прихожу как-то на площадку один, никого вроде знакомых, говорю: «Дайте каску, я из объединения». Рабочие говорят: «А мы вас знаем».

Поскандалил с главным. Когда я отпрашиваюсь у него, с тем чтобы отсутствовать на рабочем месте, он являет недовольство. Можно заниматься чем угодно на рабочем месте, важно — сидеть. Ну словно я пацан! Посетовал я на это в разговоре с еще одним ответственным товарищем, тот говорит: «Таков стиль в ведомстве. Главное — дисциплина и исполнительность». Стиль... По-моему, доведение до абсурда положительной тенденции, положительного требования — распространеннейший метод дискредитации этого самого положительного требования и тенденции.

А поступок мой вот каков: подал я заявление об уходе. В отставку, так сказать. Предложили мне работу с частичной занятостью и тем же окладом. В науке. Точнее, около науки. Однокашники мои сейчас в немалых чинах, и курс наш вузовский на редкость прочно сохраняет связи.

Господи, да сколько ж мне цапаться с моим главным, на должности которого, кстати, уже третий человек с тех пор, как я занялся техникой безопасности?

Устрою все разом, отделаюсь от каждодневного ожидания беды, увеличу свою свободу, все у меня есть — займусь чем хочу. Таково одно мое настроение. Но есть и другое.

Еще мое заявление — это блеф. И что-то вроде вотума доверия в парламенте. Расчет — пристыдят: «Что ж ты, получил квартиру и уходишь?», а я и выступлю, и обговорю себе небольшие гражданские свободы...

Ничего подобного не происходит. Никого мое заявление не задевает. Главный подписал его без звука. Ни руководство, ни парторганизация не поинтересовались причинами моего бессовестного поведения. Ну, правда, профорг наша подсадовала: я стенгазету выпускал неплохую.

Что это? Ведь считали б меня никчемным — жилья б не дали. Или «понимают» и «оправдывают» мое шкурничество? Или действительно всем на все наплевать?

Такой вот поворот.

А с другой стороны, вовсе и нет никаких вопросов, ибо ничего дурного не произошло, и все, наоборот, даже стало лучше, чем было. И пора кончать мне свои записки.

Правда, есть суеверный страх: поставлю точку, и случится несчастный случай. Но вот записал мысль — и уже подстраховался...

А может, и глупость все это — мое суеверие. И прав Курязов, что отсутствие несчастных случаев — это счастливый случай. Может, Курязов лучше меня представляет себе всю систему отношений и понимает, что никакое донкихотство не имеет значения? Мудрее он меня — отсюда и его консервативность? Это консервативность человека, знающего, что головой стену не пробьешь. Так разве он менее прав, чем тот, кто лупит головой в стену?.. А жилье мне дали за то, что бывший военный, в годах, да и ситуация была аховая...

Среагировал на мое заявление об увольнении Николай Иванович.

— Получил жильишко — и в кусты? — говорит он. — А трепался — «возлагать на себя...», «ищи единомышленников...», «не путайте себя с человечеством...». Такой же прохвост, как и все.

Хоть кто-то не безразличен к моему намерению.

Я говорю с Николаем Ивановичем примирительно, объясняю свои настроения, досаую:

— Что ж это начальству-то безразлично?

— С приветом ты, — говорит мне Николай Иванович. — Да потому никто не возражает против твоего намерения уйти, что не любят у нас независимых-то.

— А результаты в технике безопасности — разве они никого не волнуют?

— Результаты в технике безопасности всегда можно объяснить случаем.

— Я независим... Да я зависим по самому своему воспитанию, по пониманию долга...

— То, брат, все высокая материя. А на практике от тебя черт знает чего можно ожидать. Пишешь вот...

— Но руководство ж объединения само помогло моей независимости.

— Советская власть помогла, принципы советской власти. А персонально тебя, я знаю, некоторые у нас терпеть не могут.

— Похоже на правду, похоже... Черт подери, значит, действительно надо уходить.

— Но почему? Не персонально же кому-то ты служишь.

— Как бывший военный, привык очень даже оглядываться на начальство.

— Привыкай выше. Привыкай оглядываться на народ...

Смутил меня Николай Иванович, смутил.

И еще являются ко мне новые мысли о важности техники безопасности. Служба ТБ—это профилактика беды. А сейчас кажется, люди дожили до стадии, когда борьба с самой возможностью беды—главное. Сейчас допустить беду—войну—это уже то, что давным-давно было названо концом света. В этом смысле вся борьба за мир—это техника безопасности света. Хотя у техники безопасности есть и более конкретное значение. Принципы ТБ вместе с тем, что это сугубо технические правила,—это еще и искусство избегать несчастных случаев. Смысл слова «случай»—нечто неожиданное, незапрограммированное, неуправляемое, неподвластное человеческой воле. И есть сейчас сфера, где случай недопустим. Ядерное оружие. Растущее ядерное вооружение. Обуздать гонку вооружения у людей пока не получается. А технико-психологическая структура этой сферы наверняка очень сложна. Вот и выходит: не сумей люди предусмотреть несчастный случай в этой сфере, даже без сознательного намерения затеять войну,—война может разразиться. И не станет никаких людей. Коротко: или люди предусмотрят случай—или случай уничтожит людей. Есть же научная теория, что жизнь произошла в результате случая. Может она в результате случая и исчезнуть... Вот чем теперь становится техника безопасности.

Хотя это, конечно, не мой уровень. (Впрочем, отчего ж не мой? Мог быть и моим, коли был я в погонах.) Но принципы, принципы.

Кстати, о принципах. Несчастные случаи—это их сопровождение. Одни принципы сопровождаются несчастными, другие счастливыми случаями. Может, главный принцип—оглядываться на народ.

И литература, если она принципиальная искренность по отношению к действительности, может для той же техники безопасности сделать много. Для меня вот литература и ТБ оказались нераздельными.

Так и не знаю: увольняться, не увольняться? Такая трудность—свобода выбора.

Я поколебался и с облегчением забрал заявление об уходе.

Продолжал работать.

Следующий год закончился без смертей. И общее число несчастий уменьшилось на треть. Я далек от мысли приписывать этот успех себе. Главное—в обществе произошел революционный поворот к отрезвлению. Но и не думаю, что в нашем объединении ничего не значили мои усилия.

Однако в итоговом приказе за год на меня только что взыскания не наложили. Самые жесткие выражения в мой адрес: «указать...», «потребовать...», «предупредить...» Дело в том, что по итогам пятилетки министерская коллегия наказала за ТБ руководство объединения. По итогам пятилетки.

Ох уж эти мне оперативность и автоматизм!..

На высоких уровнях вдруг заговаривают о несчастных случаях. Гибнет «Челленджер»...

Трудно вылавливать причины беды в океанских толщах. Может, вся надежда на Слово, существующее на Земле?

АЛИМ КЕШОКОВ



Кони удачи

На саблях дорог непологих
Звенят серебром стремяна.
Удачи коней тонконогих
Ценили во все времена.
Поныне их жажда успеха
Седлает в подножии гор.
И славы заманчиво эхо
Звучит с незапамятных пор.
И цокот разносится гулко,
И рядом повисла луна.
Что путь до вершины — прогулка,
Лишь видимость только одна.
— Эй, всадник, хоть конь твой двужилист,
Дороги решительна власть:
Подъем над подъемом обрывист,
И бездна ошурила пасть.
Я сам, удержаться не в силах,
Наездником делался вновь —
Не зря ведь течет в моих жилах
Горячая горская кровь.
Когда достигал я вершины,
Манила меня и звала,
Наверное не без причины,
Вершина, что выше была.
Тропа вдоль гранитных карнизов
Шла в небо, грозна и крута.
Зазывно бросала мне вызов
В какой уже раз высота.

* * *

Чтоб не могла в чащобе

скрыться

Подранок, дикая коза,
Присела хищная к ней птица
И клювом целится в глаза.

Когда на поле боя ратник,
Бывало, кровью истекал,
К нему не ангел, а стервятник
С небес для пиршества слетал.

И трижды проклятый от века,
На жертву предъявив права,

Все норовил у человека
Глаза он выклевать сперва.

Не потому ли кабардинец,
Когда он ранен был в седле,
Не потерять надежды сиясь,
Старался лечь лицом к земле?

Кружит стервятник, как и
прежде,
Но у последней грани лет
Должны мы пребывать
в надежде,
Пока в очах струится свет.

Памяти Кайсына Кулиева

Всегда до жизни был охочим,
Ты — всадник истинный, Кайсын.
Но вот с конем в ауле отчем
Простился около вершин.

И завещал коню на воле
Пастись, покуда в свой черед
К нему, твоей достойный доли,
Наездник с неба не сойдет.

Все ты познал: любовь, и муку,
И славы ранний приговор,
И несвободную разлуку
С грядую соплеменных гор.

И со словами звездной вести
Ты слал гонцов сквозь облака.
И на эфесе горской чести
Твоя покоилась строка.

И женщин пред тобой, как лозы,
Склонились скорбные рой,
И ты на них глядел сквозь
слезы,
Хоть слезы выплакал свои.

И горы, как перед пророком,
Заката приспустили медь.

И дан печальный знак потокам
Вблизи Чегема не греметь.

Давно ли одному мы стану
Вручали молодость свою?
Когда ты ранен был в бою,
Твою перевязал я рану.

И на плечах до медсанбата
Тащил наперекор пальбе,
О если б мог,
тебя, как брата,
Из гроба вынес на себе.

Но в даль такую ты пустился,
Назад откуда хода нет.
Иль мать увидеть торопился
Ты, как в конце военных лет?

Подобно плакальщицам, тучи
Сошлись, и на правах родни,
Забыв как будто, что летучи,
Тебя оплакали они.

Я в горе был с другими вместе,
Но знал одно наверняка,
Что на эфесе горской чести
Твоя останется строка.

Соловьиная ночь

Плуг еще не коснулся нови,
И с черемух не сыплется вьюга,
Но уже замирает округа
Оттого, что поют соловьи.

Все слилось:
этот свист в тишине,
Эти трели, и сумрак, и лунность.
Молодые забыли о сне,
А седым вспоминается юность.

Завтра пахарь, поднявшись чуть свет,
Выйдет в поле.

И свист соловьиный
Разольется в кустах над низиной,
Пока день не взойдет на хребет.

Но покуда небес посреди
Ясный месяц свисает, как стремя.
Мать младенца подносит к груди...
На часах соловьиное время.

Перевел с кабардинского ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ

ВАЛЕРИЙ СУРОВ

★

ПОСЛЕДНИЙ ПАРОМ

Рассказ

Спешил я из Тарловки в Казань на мотоцикле. Гнал на полной скорости, согнувшись в три погибели. Ветровое стекло разбило камнем — я его снял и выкинул... В восемь должен был пойти последний паром на ту сторону Вятки. Тогда мост через Вятку еще только строили, а через эту прекрасную реку перевозил автомобили, лошадей и людей паром. Чумазный буксир — трос — деревянная ветхая баржа.

После Елабуги дорога глинистая. Ухабов! Весь путь из ухабов! Пыли тоже много. Коричневая. Лето. Жара... В деревнях даже псы не лают — лень пасть открывать. В такое время не поехал бы, да разругался с подругой, психанул, прыгнул на тачку и вперед! Ура! Успею, если поднажму. «Ява» все-таки!.. Настроение, надо заметить, неважное. «На паром, а там всего каких-то сто семьдесят километров. Да я еще засветло буду в городе!» — так думал я, посматривая на километровые столбы и на спидометр.

В половине восьмого показался дебаркадер — раздрызганная баржа с будочкой на макушке. «Успел!» — подумал. Сейчас размяться, перекурить — и все будет отлично. Бензина достаточно, хотя за дорогу из-за большой скорости успел выдуть его многовато.

Подкатил прямо к воде. Поставил тачку на подножку и принялся разминать ноги, вытаскивая сигареты и спички. На меня неодобрительно посмотрел мужик в длинном зеленом плаще. Вот-де лихач! При мужике была огромная белая лошадь. При лошади — телега, нагруженная ящиками с бутылками. Видимо, ехал сдавать посуду от какого-то сельмага в райцентр.

Усмехнулся я. Вымыл быстро мотоцикл. Подкрутил. Подвинтил. Старик пристроился на телеге и стал смотреть задумчиво на тот берег.

Я прислонил мотоцикл к деревцу, что торчало недалеко от воды, а сам лег на траву и принялся смотреть в вечернее темно-голубое небо. Краем глаза заметил, что подкатили два мужика, оба лет сорока, на тракторе с прицепом и, не вырубив мотор, спрыгнули на траву. Сразу же заматерились понапрасну. Шкипер удил сорожку. Сидел зазря на борту с удочкой и ждал, когда клюнет.

— Начальник! — крикнул один тракторист. — Где паром?

— Ужо придет, — ответил тот, не поднимая головы.

Возчик укоризненно посмотрел на тракториста.

Времени до парома оставалось минут десять, когда к переправе подкатила машина, переоборудованная под автобус, и из салона вывалилась толпа женщин одного возраста, где-то от сорока до пятидесяти. Они загадали, пошли выяснять, почему до сих пор нет парома, а шофер направился к трактористам, ища родственную душу.

Без пяти восемь подъехал солидный мужчина на новой «Волге» голубого цвета. Он так и остался сидеть в машине.

На том берегу виднелась пристань, за пристанью несколько строений, а дальше и сам городишко Пападыш. С паромом рядом покачивались на мягкой волне какие-то буксирчики, самоходная баржа, десятка три деревянных лодок, могучий плавкран.

Я снял каску, очки, краги и бросил все это на траву. Трава у причала была перепачкана маслянистыми пятнами. Валялись окурки, бумажки, шелуха подсолнуха, фольга от плавленых сырков.

— Вы не узнавали, почему нет парома? — спросил меня владелец «Волги», высунув седую голову в окно.

— Не знаю, — ответил я. — Сейчас дамы выясняют. Может, что саомалось там?..

Он ничего не сказал. Принялся смотреть на дебаркадер, где женщины в пух и прах разделявали шкипера. Тот поначалу отмахивался. Потом вытащил удочку и, сматывая ее на ходу, направился к будке, что торчала на корме.

— Конечно! — кричали ему вослед женщины. — Тебе плевать! За что только деньги платят таким!.. Не мужик, а лец какой-то!

— По расписанию в восемь должен отседа отчалить, а все еще сюда не пришел паром! Где порядок, а? Для чего расписание писано, а?! — стучали ему в дверь.

На другом берегу паром и не думал трогаться с места. Буксир покачивался на воде, густо дымя. Солнце жутко покраснело, потолстело и как бы от тяжести повалилось к горизонту, озаряя горы, леса и деревни пожарным светом.

Я был уверен, что паром все равно придет, и не волновался. Валялся на траве, покуривал. Что ж? Можно и ночью ехать — двигатель греться не будет.

Трактористы и шофер автобуса полезли в заводь щупать раков под корягами. Владелец «Волги» вышел размять ноги. Он пошел по прибрежному песку, подковыривая носком туфли плавун. В заводи всплескивала крупная рыба. На каждый всплеск трактористы бурно реагировали.

— Эх, бредешок бы! — вздыхали они.

Раки им не улыбнулись. Мокрые и злые, механизаторы выбрались на сушу и от скуки облаяли шкипера. Тот в ответ занавесил еще и окошко.

— Что закрылся? — закричали женщины. — Продавай билеты на переправу-то!

— Паром придет — продам, — ответил тот из будки, не высываясь. — Мое дело маленькое...

Время тянулось к вечеру, к ночи. По прибрежным кустам и пойменным лугам пополз красивый вечерний туман. Далеко, в нескольких километрах, чернела громадина строящегося который год бетонного моста. Его так давно строили, что даже у переправы о нем перестали говорить и задавать такие глупые вопросы, как: «А когда запланировано построить? Когда наконец-то?..»

Женщины расселись на перилах и принялись сплетничать. Все они выглядели одинаково — в одинаково вытянутых и выцветших кофтах, в одинаковых косынках, в одинаковых стоптанных башмаках. Отправляли их, видимо, на тот берег в местную командировку что-нибудь полоть. Сжалившись над ожидающими, шкипер вышел, посмотрел на ту сторону реки и поразмыслил:

— Наверно, буксир сломался. Сейчас починят и придут. Не волнуйтесь. На речфлоте порядок.

— А нам спешить некуда, — хохотнули беззлобно женщины.

Поняв, что перемирие состоялось, шкипер вытащил из будки удочку и забросил крючок в воду.

— Ты вон под кусты кидай! — крикнул ему с берега шофер. — Пюд вечер самый жор.

— Сам знаю, — ответил шкипер.

— То-то и видно, — усмехнулся тракторист. — Сколько сидишь, а и кошке не наловил.

— Да он пустой крючок забрасывает, — сказал другой тракторист. — Ты на крючок рублевку насади — живо клюнет!

— С рублевкой надо крючок в магазин закидывать, — ответил шкипер.

— В магазин надо трояк наживлять, — не согласился тракторист.

Они заглушили двигатель, поняв, что до прихода парома еще далеко.

Владелец «Волги» вытащил из багажника аэрозоль и принялся тереть капот и без того сверкающей машины. Глядя на него, я тоже полез в багажник и стал копаться в мотоцикле. Надо же было чем-то заняться.

Становилось темнее. Время перевалило за девять, а положение наше не менялось.

— Смотрите! — крикнул кто-то.

Все обратили взоры на ту сторону и увидели, что буксир наш, паромный, откинул чалку и поплюхал совсем в другую сторону без баржи. Взбурлил воду и задымил вверх по течению — и через пятнадцать минут исчез из поля зрения.

— Парому не будет, — пояснил шкипер. — Все ясно. Придет только завтра или ночью... Видимо, что-то серьезное у них...

— Бардак! — заорали трактористы. — Куда же нам теперь? Назад возвращаться? Такую-то даль! Так завтра опять сюда, да? Куда ваше начальство смотрит?!

— Граждане! Я человек маленький и отвечаю за свои слова.

— А ну их! Пошли, девушки, купаться! — закричали женщины и дружно направились к озерам, что темнели невдалеке от переправы. Вода в озерах была куда как теплая.

За ними спустя несколько минут потянулись трактористы и шофер. Они заговорщицки двинулись в кусты, ухмыляясь и подмигивая друг другу.

— Тьфу! — в сердцах сплюнул шкипер, глянув на трактористов и шофера.

— Срамота! — поддержал его возчик, брезгливо отворачиваясь. Он принялся копаться в телеге на передке, извлекая оттуда поочередно то бутылку молока, то краюху хлеба, то огурцы, то помидоры, то яйца, то сало... Обнажив все это, он заботливо распряг лошадь, спутал ей передние ноги и отпустил на волю. Лошадь попрыгала к кустам и стала щипать траву.

Владелец «Волги» неопределенно дернул плечом, как бы тоже выказывая свое неодобрение действиями механизаторов. Завершив полировку машины, он отогнал ее метров на десять в сторону, открыл багажник и вытащил оттуда складной столик, складной стульчик, складной стакан, складной примус и прочую утварь, всю складную. Затем извлек чемоданчик, открыл его. Чего там только не было для дороги! Установил стол, стул...

Возчик скинул брезентовый плащ и пошел к Вятке умываться. Он долго и старательно плюхался у воды, затем причесался, вытер руки о тряпицу и стал расстилать холстину на траве, чтобы разложить на ней свой состоятельный ужин.

От озер слышался визг, хохот, гогот механизаторов, крики женщин. Плеск воды. Снова крики... Вскоре появились механизаторы. Один был в мокрой одежде. Он стал стягивать рубаху и освобождать голову от водорослей.

— Искупали, — пояснил всем шофер. — Бабы заволокли в воду. У нас в Письмянке бабы отчаянные!

— Ну как они тебя заволокли, да еще и тины на башку накрутили...

— Ай ну тя! — отмахивался смущенно тот, выжимая уже штаны. — Оне ж здоровущие! А тут навалились...

Шофер полез в машину и, видимо, прилег там на сиденье.

— Ну, доставай! — сказал Федька, стоя на траве в длинных, до колен, трусах.

Другой тракторист стал стаскивать с прицепа брезент.

Не одеваясь, Федька полез в кабину трактора, достал оттуда кирзовую сумку. Расстелив брезент, они принялись готовиться к ужину. Глядя, как владелец «Волги» добывал все складное из багажника, один заметил:

— Гадом буду — сейчас складную поллитру достанет.

— Да-а, придумали бы таблетки такие — разбавил в воде и пей. А то вот таскай! — сказал другой, извлекая на свет зеленую бутылку портвейна. — Э, деда! Иди к нам!

Возчик покачал осуждающе головой и уткнулся в свой ужин.

— Надо шофера кликнуть.

— Не надо. Он за рулем.

— И вы за рулем, и вы, — укорил их возчик.

— У нас трактор. А у него скорость тише. Ровно что твоя кобыла.

Женщины засуматошничали. Развели костер и поставили варить картошку.

— Лечитесь от простуды? — крикнули они насмешливо трактористам. — Давайте!

— Лечимся, — согласился Федька. — Посля греться к вам придем! Ближе к полуночи...

— Приходите! Мы парочку жердин прихватили для сутреву!..

В стороне в тумане паслась лошадь. Вот она вошла в туман, и показалось, что из белого облака торчит белая голова. Словно у тумана была голова.

— Гриша, — обратился пострадавший тракторист к товарищу, — сходил бы у шкипера стрельнул воблы.

— У него, наверное, нет.

— Ты сходи. Вдруг да есть.

Гриша потопал по трапу на дебаркадер. Федька обратился к возчику:

— Дед, дай огурчика.

— Не дам.

— Жалко, да?

— Не жалко. А навроде урока вам. Следующий раз с собой еду станете брать.

— Не станем. На этот счет у нас головы не работают.

— Ну и напрасно, — вставил владелец «Волги», доставая и ставя на примус складную сковороду.

Тракторист враждебно глянул на него. Владелец «Волги» поймал взгляд и сказал:

— Держи бутерброды... А то без закуски вас развезет.

— Ну и жесткая! — воскликнул Федька, надкусив. — Это что за колбаса такая?

— Твердого копчения. Саями.

— Такую колбасу и мой Шалай не разгрызет! — уважительно заметил тракторист.

— Дурак, — определил возчик. — Неужто такую колбасу станут делать для псов?

— А что? За границей, говорят, для собак мясные консервы делают,— сказал Федька и выразительно покосился на обильный складной столик владельца «Волги».

Тот поймал косой взгляд, поморщился и сказал Федьке:

— Я всю жизнь учился как проклятый да работал по тридцать часов в сутки... А ты небось за всю жизнь десяток книг прочел, да и те про шпионов.

— Не десять,— возразил Федька,— а три.

— Ну и катайся на тракторе с портвейном.

— Понял? То-то,— назидательно поднял корявый палец возчик.

— Вот ты учился всю жизнь, а скажи мне: почему нет паромов? — подковырнул Федька.

— Об этом сам шкипер не знает! — крикнул Гриша, скатываясь дробно с трапа на берег со связкой воблы.

— А я знаю почему! — взбеленился владелец «Волги». — Знаю. Потому что тут, на Вятке, порядку нет.

— А где он есть? На Оке? — подъел его Федька.

Вокруг собственного костра галдели в стороне женщины. Они неуклюже снимали с перекладки ведро, суетились. Казалось, что, кроме них, на берегу никого нет. На мужиков они не обращали ни малейшего внимания.

— Русский человек сам не знает толком, что ему надо,— мудро изрек Гриша,— но всегда хочется чего-нибудь другого.

— Порядок нужен, порядок,— вставил возчик, осуждающе глядя, как Федька разливает почти что черное вино в стаканы.— А откуда ему быть, порядку-то, если вы выпиваете? Паромов нету. И по домам никто не возвращается. Мне-то ладно. Все равно, где лошадь пасти. А остальные-то?

— У меня дорога только вперед,— сказал владелец «Волги».

— А мы сто километров пилили за этими удобрениями — что ж теперь, возвращаться, да?

Я так и лежал на траве, и на меня никто не обращал внимания, словно бы я коряга у берега и больше ничего. Нагой стороне зажглись огни на судах, на плавкране, на дебаркадере. Затеплилась лампа и в будочке нашего дебаркадера.

Женщины, обжигаясь, ели картошку с молоком и о чем-то оживленно разговаривали. Посмотрев на трактористов, владелец «Волги» достал дорожную поллитру какого-то мудреного напитка. Налил себе стопочку и со вкусом выпил. Покосился на богатую крестьянскую снедь у возчика и облизнулся. Принялся копать складной вилкой в банках и в сковороде — закусывать. Федька извлек из сумки еще бутылку, так как первую они уже прикончили.

— Э-э! Бабочки!

— Ай? — откликнулись у костра.

— Дайте картошечки!

— Нету уж. Всю съели.

— Во-о! — назидательно вымолвил дед.— Побирайтесь теперь, как нищие! Следующий раз подумаете головами-то! Заранье надо соображать-то, о!

— Ты бы не совестил, а отрезал сала кусок,— сказал Гриша.— Жмот. Кулак, наверное, бывший.

— А ты — комбед,— спасовал возчик.

— Отвяжись от него,— сказал Федька.— У нас воблы полно... Эй, начальник! — обратился он к владельцу «Волги». — Хочешь вятской воблы?

— Спасибо. Не надо.

— Лови! — Федька все-таки кинул владельцу «Волги» широкую сухую рыбину.

Тот ловко поймал. Поблагодарил.

— Бабочки!

— Ай?

— А вы что не возвращаетесь домой?

— Издалека мы. Из Письмянки! — ответили от костра.

Владелец «Волги» достал еще из багажника аккуратную походную лампу на батареях и поставил на стол, чтобы светлее было есть.

Возчик, дожевывая яйцо, завернул очистки и скорлупу в бумажку и бросил комок в кусты. Потом пошел к Вятке, зачерпнул в горсть воды и попил.

Глядя, как все вокруг едят, я тоже порядочно проголодался, но у меня ничего не было. А ехать куда-либо в село было уже поздно. Просить — стыдно. «Надо в следующий раз, когда стану в дороге есть, посмотреть внимательно, не сидит ли кто рядом голодный», — подумалось мне. Сам-то рассчитывал перекусить на берегу, в Пападыше. Был бы паром вовремя — я бы уже сытый к Казани подъезжал...

На пустой желудок хорошо злиться, и я принялся злиться на порядки вятской переправы: «Как собственный буксир, мать их за ногу, когда хотят, тогда и перевозят! Тьфу! Во-от и о людях не беспокоятся — я, например, валяюсь на траве, и хорошо еще, что дождя нет». Потом подумал: «А сколько у нас народу валяется вот так на переправах, на вокзалах, на дебаркадерах! Почему-то негде переночевать! Хоть бы палатку поставили и сдавали по рублю за койку! Или дебаркадер подогнали бы попримичнее, с каютами!..»

Словно подслушав меня, принялся рассказывать байку владельцу «Волги» Гриша. Федя тем временем направился к бабьему костру. Ему вослед осуждающе посмотрел возчик — он устраивался под телегой на ночлег. Лошадь где-то шлялась по кустам.

— Говорят, сюда приезжали американцы, на Вятку, — сказал Гриша. — Осмотрели все, обошли кругом по берегам и предлагают: мол, давайте мы почистим вам фарватер совершенно бесплатно, ничего нам не надо, только то, что найдем на дне, наше! Но наши подумали и говорят: «Не пойдет. Там, на дне, золота много — это у нас как в камере хранения!»

— Враки, — сказал владелец «Волги», пристраиваясь на траве. — Эту же историю я слышал на Десне. В Суздале слышал, что тоже из-за границы приезжали, предлагали дороги построить, кемпинги, и тоже бесплатно, но с условием — эксплуатировать Суздаль пять лет...

Я тоже слышал подобные легенды в разных городах и принимался размышлять: откуда такие легенды берутся? От тоски по разумному хозяину? Взять ту же Вятку — во-он навстречу друг другу идут баржи с лесом, причем с одинаковым.

— Шарик у них там работают, — сказал Гриша и кивнул за океан.

— Работают, — согласился владелец «Волги». — Да и у нас тоже не дураки.

— Это верно, — изрек из-под телеги возчик. — Хотя парома нет...

Вернулся Федька.

— Ну что у баб? — спросил его Гриша.

— А ничего. Едут полоть свеклу на ту сторону... Давай отцепим лафет, и я скатаю куда-нибудь за вином?

— Где ты его сейчас добудешь-то?! Плыви вплавь на ту сторону. Там, мож, достанешь.

— Далёко.

— Заегазили! Загоношились! — проворчал возчик под телегой.

— А ты спи там, старый хрыч, — беззлобно сказал Гриша.

— Я хоть и старый хрыч, да купил «Москвич», — парировал возчик.

В темноте послышалось, как хлопнула дверь на дебаркадере. На палубу вышел шкипер, сладко потянулся и громко ругнулся. Он, видимо, привык, что ночами на переправе никого, кроме него, нет, смело помочился в воду, звучно сморкнулся и ушел в будку.

— Бессовестный! — проворчал возчик в полусне.
— Вот ведь!.. Не спится ворчуну! — сказал Гриша.

Владелец «Волги» принялся стелить возле машины постель. Он извлек надувной матрац, простыни, подушку, одеяло в пододеяльнике. Костер у женщин дотлевал. Небо густо усыпало звезды. Ласково лизали прибрежный песок волны Вятки. Стояла тишина. На том берегу слышался отдаленный лай собак. Где-то в кустах всплескивали весла. Гуднул вдалеке пассажирский пароход, что шел вниз по течению...

Гриша принялся укладываться на брезенте. Федька еще покурил, покосился на возчика, на владельца «Волги», на Гришу, на меня.. Потом поднялся и осторожно направился к берегу. Когда он уже порядочно отошел, возчик под телегой звучно прошептал:

— Поперся, кот блудливый! Ни стыда, ни сору!..

Гриша захрапел. Владелец «Волги» долго ворочался на надувном матраце и тоже вскоре ровно засопел.

Мне, однако, не спалось. «Скорее бы уснуть,— мечтал я.— Во сне не так есть хочется. Ну и дурак! Не взять с собой куска хлеба!» Злой на себя и на весь мир, я долго поправлял каску под головой, пристраивал краги на нее, чтобы помягче, но не спалось — хоть веки шивай!

Подумал про попутчиков, принялся сочинять их жизнь. Владелец «Волги», конечно же, какой-нибудь деятель. Ездит по стране, любит, а в этих краях, наверное, потому, что был в Елабуге. Там могилы Цветаевой и кавалерист-девицы Дуровой. Там и Шишкин родился... А может, и сам родом с Камы? Живет в Москве, а сюда — молодость вспомнить?.. Возчик, пожалуй, живет в селе давно. Всю жизнь верил в бога, работал в поле, в войну воевал, а сейчас на пенсии и подрабатывает на колхозной конюшне. Вероятно, за его ворчанье в селе у него имеется и прозвище... С трактористами все ясно. Послали за удобрениями. Рады, что из дому уехали. Можно выпить, отдохнуть да и свет повидать...

Надоело пролеживать бока, и я сел. Потом поднялся и побрел по берегу, чтобы не видеть ничего, чтобы посидеть у воды, а может, и искупаться. Шел и размышлял о том, что если искупаться, то усилится аппетит, которого и без купания предостаточно... Возле воды, на пригорочке, в кустах почуял возню, хруст валежника и бормотание мужского голоса, а затем и женского... Смутившись, повернул обратно. Меня не заметили. Лег у мотоцикла и задремал. Спустя какое-то время пришел и Федька. Было слышно, как он довольно покашливал, устраиваясь на брезенте возле товарища. Под телегой осуждающе засопел возчик, но промолчал.

Прекрасна ночь в средней полосе у реки! Тихо, тепло. Звезды ярко горят. Тугой туман крадется из кустов, пластается над темной водой, и кажется, что должно что-то произойти чудесное, и верится в кощя и ягу, и верится в царевичей и прекрасных царевен, и хочется пожить в сказке самому, только сменить конька-горбунка на мотоцикл с хорошим карбюратором да и царевых дочерей переодеть в более модные одежды. В затуманенном сознании уже погуливает водяной, уже выныривают из Вятки русалки и принимаются водить хороводы, распустив зеленые волосы. Но появляется водохлеб и выпивает всю Вятку, и русалкам пойти некуда, и перевозу я их в женское общежитие, и для них там спешно сооружают бассейн и думают, куда же такой наплыв пристроить на работу, и вскоре решают: определить их секретарями-машинистками, ибо руки у них есть, и довольно-таки ловкие. Мне жаль их, и я плачу, а они сидят в бочках с водой, и их учат печатать на машинках слепым методом...

— А-а-а-а!!! — раздается в ночи душераздирающий женский вопль.

Все вскакивают.

Вскочил и я. Ничего не могу понять — женщины орут так, словно на них напала какая-то банда и бандиты начинают их резать ножами. Вскакивает и владелец «Волги». Он в ночном белье. Вскакивают Гриша и Федька, наскоро матерятся и бегут к женщинам. Бежим и я и владелец «Волги». Один возчик сидит под телегой и старательно крестится.

Мы торопимся толпой на помощь, но женщины уже бегут к нам всполошенные, орут... Вскоре все становится ясно.

Из тумана на их бивак крупными беззвучными скачками надвигалась огромная белая лошадь. Утренний предрассветный туман как бы еще и увеличил ее очертания, и казалась она сказочным чудовищем, выплывшим неизвестно откуда.

Первым очухался Гриша:

— Да что вы орете! Лошадь же это, лошадь!

— Бай-а-а! И правда лошадь! — очнулись женщины.

— Старый паразит! Ты куда лошадь загустил?! — накинулись они на возчика. Потом принялись хихикать над владельцем «Волги» — в подштанниках баб спасать явился! Потом успокаивались, глядя, как розовеет восток. Ночи летом короткие.

— Очумели,— осуждающе бормотал возчик.— Лошади испугались! О дуры-то где!

— Мудрец какой!

Все вновь принялись укладываться, обсуждая происшествие. Я тоже полежал на траве и даже подремал немного. Часов в пять, в шестом встал и направился к кустам наедаться ежевикой. Есть хотелось невмоготу как. Вскоре руки покрылись багрово-черными пятнами, но зато желудок постепенно заполнялся. Ежевики росло много. В стороне напал на дикую клубнику. Лег на траву и принялся есть лежа. То и дело поднимал голову и смотрел на другой берег — буксир еще не вернулся к своей барже.

У переправы просыпались люди. Гриша и Федька выясняли, почему они вчера выпили обе бутылки и не оставили хоть по глотку на утро. Возчик осуждающе посматривал на них. Владелец «Волги», вскипятив воды на примусе, развернул на складном столике складное зеркало и, намылив щеки, аккуратно брился складной бритвой. Женщины вновь варили в ведре картошку. Время близилось к парому, но баржа стояла на той стороне у берега. Все на этой стороне принялись есть. Я — облизываться. Шкипер вышел на палубу, приложил ладонь козырьком и стал всматриваться: нет ли каких шевелений в Папаше?

— Смотри-кась! Восемь скоро, а они и не чешутся! Вот окаянные! Разрази их, паразитов! Так что ж тут, жить теперь таким табором, да?

— Шевелятся.— сказал я.— Вон люди вошли на баржу.

— Наверно, машин ждут — смотри, нет ни одной, а они порожняком не хотят идти на этот берег.

Маленькие фигурки людей принялись вести себя на паромной барже безобразно. Короче, дебоширить. Они накинулись на будочку, быстро ее сломали и покидали доски за борт... Потом подобрался к носу буксир, но не вчерашний, а тот, что стоял на приколе. На дебаркадере отдали концы, и буксир потащил баржу, выводя ее к середине реки.

— Ну слава богу! — воскликнул шкипер.— Идите, ребята! Я вас разом обилечу!

Первым направился владелец «Волги». За ним пристроился в очередь возчик. Он уже запряг лошадь, позавтракал, попил воды из Вятки и причесался. За возчиком встала женщина, за ней я. За мной Гриша. Все наше внимание было сосредоточено на обилечивании, и все мы повально обилетились бы, если б Гриша не сказал:

— А ведь паром-то не сюда пошел... Старый хрыч! Может, где в другом месте переправу открыли, а ты нас тут мусолишь, а?

— Да ведь как же без меня-то?..— растерянно пробормотал шкипер, глядя в тревоге, как буксир прет баржу со сломанной надпалубной постройкой вниз по Вятке, намереваясь увезти ее как можно дальше от нас. Глаза наши невольно провожали баржу. Каждый думал: а что же теперь делать? возвращаться? Я уж прикидывал, что надо ехать обратно в Тарловку, а оттуда в Чистополь и переправляться через Каму возле Сорочьих гор.

— А что это на мосту-то краснеет? — спросил Федька.

— Черт их знает,— сказал шкипер.— Опять, наверно, обязательство обновили!

— Да не похоже,— вымолвил владелец «Волги».

И я вспомнил, что ночью видел по горизонту, будто бы там проплывали огоньки по новой дороге. Я подумал, что мне чудится. Ведь мост этот так давно строили, что уж и позабыли про него.

— Да, по-моему, ездят через мост-то! — воскликнул я.— Приглядитесь-ка!

— И точно!

— А мы-то дураки!

— Шкипер, гад...

«Волга» стала выкруливаться в сторону моста. Завел мотор и шофер автомашины с женщинами. По проселочной дороге я быстро обогнал «Волгу». Мост приближался. Теперь можно было видеть, как большие грузовики уверенно шли через него на полной скорости.

На транспаранте было написано, что мост открыт со вчерашнего числа. Выкарабкавшись по насыпи на новую, гладкую дорогу, я остановился и посмотрел вниз, на воду.

Буксир уже освобождался от паромной баржи. Он заталкивал ее в кладбищенский коллектив таких же старинных барж, что дожидались своей участи.

По восточному берегу Вятки, по извилистой пыльной дороге, огибая глубокие ухабы, катила голубая «Волга». За ней тарахтел трактор с прицепом. За трактором — автомашина, переделанная в автобус. За автомашиной неторопливо ехал ворчливый возчик, понукая большую белую лошадь. За телегой плелся шкипер, неся в руке какую-то сумку, вероятно с паромными билетами и выручкой. Было видно, как он умолял возчика посадить его. Но возчик назидательно жестикулировал. За его выразительными жестами виделись такие слова: «Так тебе и надо! Продержал нас тут всю ночь — теперь тащись пешкодралом, а я тебя ни за что не посажу! Пускай тебе урок будет! Пройдись-ка ножками, пройдись!» На середине пути, видимо сжалившись, остановил лошадь, и шкипер радостно вскарабкался на телегу.

ТЕОДОР ВУЛЬФОВИЧ

★

ТАМ, НА ВОЙНЕ

Повесть

Это повесть-документ — несколько эпизодов прошлой войны, крохотных по масштабам, но великих по пережитым моментам борьбы, жизни и смерти, из которых и состояла война фронтовиков — солдат и офицеров переднего края.

Главная ценность записей в их достоверности, подлинности боевых ситуаций и душевных состояний действующих лиц, в центре как и полагается для такого рода произведений, сам автор, в данном случае молодой лейтенант, командир разведвзвода. Все происходящее увиденно его глазами, пропущено через его душу, облагорожено его человеческим страданием, как оказывается, не ставшим легче и малозначительнее оттого, что минуло более сорока лет после окончания войны. Впрочем, это естественно и правомерно: не единожды провозглашалось в печати говорилось устами литераторов и фронтовиков, что все пережитое в то героическое время должно стать духовным достоянием ныне живущих. Само по себе это было важно всегда — для истории и для справедливости, — но втрое важнее сегодня. Память о кровавых испытаниях в прошлой войне есть лучший гарант мира и сосуществования разных народов на нашей земле.

Кроме хорошей зрительной и эмоциональной памяти, автор, как мне кажется, обладает несомненным литературным даром, позволившим ему все излагать точно и зримо. Уверен, что читателям будет интересно познакомиться с людьми тех огненных лет, разделить их беды и радости, отблеск которых так или иначе лежит и на нашей мирной сегодняшней жизни

Василь БЫКОВ.

1. БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ КАРТЫ

На больших картах больших штабов рисуют большие стрелы прорывов, охватов, окружений и массированных рейдов по тылам противника, выводя номера армейских соединений, дивизий, корпусов — там все продумано, все предусмотрено, все ясно, это сама гармония, сама математика. На средних картах средних штабов, уже доступных нашему пониманию, отмечаются районы сосредоточений, рубежи планируемых захватов с точными указаниями дат, часов и минут их прохождения, словно это не боевые карты, а расписание движения пассажирских поездов мирного времени. Эти карты раскрашиваются цветными карандашами, заштриховываются, исправляются, на них в ходе боев наносится ежечасно изменяющаяся обстановка, контрмеры противника, наши планируемые и внезапные победы, непредвиденные поражения, неожиданно возникающие глубокие прорывы и зеленые круги неопределенностей. Иногда эти карты даже перечеркивались жирными черными линиями как несостоявшиеся...

А на маленьких картах командиров разведывательных рот и взводов строго-настрого запрещалось отмечать что бы то ни было! Что бы уж там ни стряслось, эти карты оставались чистыми — без пометок, словно там царил мир, ничего не происходило, словно эти края всегда были девственными и навсегда такими останутся. Но это до тех пор, пока чья-нибудь память не ляжет на все эти мосты, населенные пункты, фольварки, хутора, дороги, водокачки, силосные

башни и не заставит их ожить, заговорить, сразиться с врагом, умереть еще раз одних и уйти дальше, за пределы этого листа карты, других. Раненых увезут направо, боевые части уйдут налево, и только лист карты разведчика останется чистым и немым. И лучше уж было бы не вспоминать, во что обошлась эта чистота и сколько человеческих душ унесла эта немота... Но совсем не вспоминать — это все равно что предать.

II. РОЖЬ

1

Душная июльская ночь. Мотор мотоцикла настороженно цокает, переднее колесо нащупывает дорогу. Всматриваемся в темноту, но это то же самое, что ехать с закрытыми глазами. Направление проверяем по фосфоресцирующей стрелке компаса. Ржаные поля Брянщины изуродованы сотнями пробитых наугад дорог, и всякую минуту на любом из поворотов можно сбиться и пойти чуть вправо или чуть влево. Тогда ищи-свищи свою дорогу до самого рассвета. Вот, спасибо, вешки с пучками соломы на концах. Но их не разглядишь, пока не подъедешь вплотную. Тьма непроглядная.

Перед заходом солнца радиосвязь с разведкой оборвалась. Весь батальон стоял на ржаном поле. Машины были замаскированы сетками и пучками выдеранных с корнем стеблей ржи. Сумерки накрывали поле.

Майор, бывший адъютант какого-то командующего, недавно назначенный к нам комбатом, угрожающе тарачил глаза.

— Поезжайте в деревню Сатино. Найдете там разведку старшего лейтенанта Галанина и установите постоянную связь с ним. По радио... Дубль мотоциклами... — Он уже почти кричал. — Сведения о противнике мне нужны!.. Регулярно!.. Передайте Галанину, что я найду на него управу, со всеми его правительственными наградами!.. — Неожиданно его взгляд ушел в сторону, там возле командирской «эмки» стояла Лелька, она держалась за ручку дверцы.

И вот мы едем в Сатино. Гришин, совсем молодой водитель мотоцикла, сидит за рулем прямо, как аршин проглотил, и я — в коляске — его командир взвода.

Не знаю, где и как мы будем искать разведку Галанина.

2

Посреди деревни горит школа — никто не тушит, никто не бегает. На улице ни души. Из уцелевших строений слышатся стоны. Это раненые. Их уже перевязали, уложили на солому и ждут транспорт на эвакуацию, а транспорта нет... Мы обходим сараи, риги, избы и спрашиваем, не видел ли кто разведчиков-танкистов — они на мотоциклах с одной бронемашинной. Все видели, но никто не знает, где они сейчас.

Опираюсь на палку. Боль в правой ноге поднимается от ступни к колену. Все думают, что я тоже ранен, а у меня «привычное растяжение связок голеностопного сустава» — попросту говоря, опять на ровном месте нога подвернулась.

Битый час мы ищем группу Галанина, и весь этот час в промежутках между редкими разрывами вражеских мин до деревни доносится одинокий надрывный крик: «По-мо-ги-те-е!.. Това-а-а-ри-щи-и-и!..»

Гришин все время поворачивает голову в сторону черного провала ржаного поля и прислушивается. Крик то затихает, то возникает вновь.

Спрашиваю командира минометного взвода Долматова:

— Почему не пошлешь туда санитаров?

— Санитаров нету, — отвечает он, — бойцов по пальцам сосчитаешь. Раненые сутки не вывезены.

— Ну кого-нибудь послать-то можно?

— Можно, — вяло отвечает лейтенант. — Только вчера ночью фрицы таким макарон языка взяли.

— Каким таким макарон? — спрашивает Гришин.

— Кто-то вот так орал: «Помогите, товарищи!» — послали троих, а там засада. Заманили их поглубже, одного наповал, другой еле ноги унес, а третьего сграбастали.

Гришин все поглядывает в сторону ржаного поля.

Покидаем деревню. Мы не нашли группу Галанина и оставили без помощи раненого. Мы не смотрим друг на друга и не разговариваем. Гришин ведет мотоцикл назад к батальону. Зарево над Сатином идет на убыль то ли оттого, что пожар стихает, то ли оттого, что мы удаляемся от него. Исчезают наши слабые, дрожащие тени. Ржаные поля и грунт под колесами снова погружаются во мрак.

3

...Наш мотоцикл тянет вправо, мы оба кричим в голос и чуть не валимся в кювет. Прямо в лоб медленно надвигается громада «студебекера» — его тяжелый буфер останавливается на уровне моих глаз, совсем рядом. Дверца кабины распаивается, и на землю осторожно спускается водитель. Он делает шаг и чуть не падает на нас. По всем правилам надо крепко выругаться, а то и автоматом пригрозить. Но мы почему-то молчим.

— Хлопцы, — тихо просит водитель, — дайте закурить.

Он трогает рукой капот своей машины и добирается до переднего буфера, садится на него, трогает руль и колесо нашего мотоцикла. Тут он сообщает, что «ни хрена нэ бачит».

— Куриная слепота! — смущенно сообщает водитель и заверяет, что куриная слепота у него настоящая, стопроцентная.

— Так какого же хрена ты в ночь поехал? Тут и зрячему-то ничего не видно.

— Вот и выходит, что зрячему, что слепому... — отвечает водитель, посмеиваясь.

Он рассказывает, что его одолела эта странная болезнь: на закате какая-то муть встает перед глазами. Многие жаловались на такую напасть, но он не верил, называл симулянтами. А тут вдруг у самого, да еще после получения приказа ехать в Сатино. Эта дорога, известно, считается самым опасным участком. Вот выезжал — еще кое-что видел, а стало смеркаться — черным-черно...

Гришин вытягивает из тонкой медной трубки конец крученого шнура. Прикладывает к нему кремьень, обрезком напильника высекает искры на фитиль самодельной зажигалки. Его «катюша» работает исправно. Я спрашиваю у водителя грузовика:

— Искры-то видишь?

— Открытый огонь вижу, — отвечает он.

— А звезды?

— Ни-ни. Муть одна.

Фитиль «катюши» распалывается, и Гришин дует на него и машет им в воздухе. Раскуривает козью ножку для водителя и дает прикурить мне. Курим. Шофер сообщает, что по фамилии он Штанько, а зовут его Федором.

В свете махорочной затяжки я вижу его виноватую улыбку. Штанько сообщает, что везет мины лейтенанту Долматову. Но не знает, довезет ли

— А ты пережди до рассвета, — советует Гришин.

Федор хмыкает:

— Немцы тоже не дураки. Как рассветет — ни одна машина в Сатино не проскочит. — Он незряче похлопывает капот машины. — Нет, не доеду!

Гришин дергает меня за рукав, и я говорю:

— Да.

— Стой здесь, — говорит Гришин, — и ни с места! Мы здесь поблизости. Сейчас управимся со своими делами и чего-ничего придумаем. Стой и жди.

Откатываем свой драндулет в сторону, а Штанько лезет в кабину. Мы оставляем его на дороге возле вешки.

4

Добираемся до своих. Батальон спит, обложенный со всех сторон охранением.

Неподалеку от командирской «эмки» нас останавливает окрик часового:

— Стой! Кто идет?

Надо будить майора.

Он просыпается, словно его ударяет током. Садится, включает карманный фонарь, прижимает его к откинутому одеялу. Докладываю, но мне кажется, что в тяжелом сне он забыл и про меня, и про Галанина, и про все на свете.

Наконец он приходит в себя.

— Придется вам еще раз ехать в Сатино,— говорит он,— и не возвращайтесь, пока не будет связи с группой.

Я пытаюсь объяснить, что ночью Галанина все равно не найти: на этом участке мы с Гришиным прочесали всю передовую. Их видели, они там, но устроили, наверное, ночевку. Я говорю и смотрю мимо майора на Лельку. Майор, поднимаясь, стянул с нее одеяло. Она спит в солдатской нательной рубашке с завязками, высоко и напряженно задрав голову. Вдруг она раскрывает глаза, будто и не спала вовсе, видит меня, хватается край одеяла и дергает его на себя, обнажив ноги майора. Он тушит фонарь и в полной темноте сдавленно произносит, будто хочет сдвинуть меня с места одной интонацией:

— Я научу вас воевать как полагается. Найду вам такой батальон, такой батальон! Если мой вам не подходит...

— С вами, майор, я готов в любом. Даже в штрафном! — Слово «товарищ» застрекает у меня в глотке — я просто не могу его сейчас выговорить.

Он что-то зло хрипит в ответ, но я не слышу. Тихий неприятный холодок пробегает по спине, в такие мгновения я чувствую, что могу сотворить нечто вовсе не укладывающееся в уставные рамки. Тут вмешивается Лелька:

— Разгуделись, эгоисты проклятые! — Она резко поворачивается спиной к нам.

Майор приказывает:

— Валяйте в Сатино! Утром разберемся!

5

И снова та же дорога. Мерещится, будто мы целую вечность только-то и ездим по широкой, накатанной во ржи полосе. Туда и обратно, туда и обратно. И не будет конца этой маете.

Немцы через день или через час, перед рассветом, отступят и оставят нам нашу землю, превращенную в «зону пустыни».

По дороге у вешки мы прихватываем с собой Федора Штанько вместе с его минами. Мотоцикл везу я, Гришин — «студебекер». Так мы возвращаемся в Сатино.

Здесь особых перемен нет, только мины свистят чаще прежнего, только школа, догорая, чадит на всю улицу, и изредка вырываются из головешек усталые красные языки. Раненых заметно прибавилось. Кто в голос стонет, кто матерится.

Чудом натыкаемся на группу Галанина. Они забрались в погреб и спят, укрыв свои машины в поле. Я сажусь за рацию и связываюсь с батальоном. Обремененный опытом первых лет войны и двумя тяжелыми ранениями, Галанин не хотел включать передатчик, чтобы не навлечь на себя огонь противника.

Минометчики Долматова разгружают «студебекер» и развозят мины по огневым позициям. Штанько препирается с каким-то старшиной, или, вернее, старшина препирается с ним. Водитель не хочет брать с собой раненых в обратный путь, не объясняя причин. Со стороны ржаного поля все еще доносится: «По-мо-ги-те-е!... Това-а-а-ри-щи-и!» Гришин замирает и тянет туда шею...

Крик стал слабее, хриплый голос осел. Гришин не выдерживает, говорит Долматову:

— Черт с ними, что языка вчера взяли, не бросать же теперь всех раненых.

Долматов пожимает плечами.

— Что я тебя, за ноги держу?

— Так я схожу? — говорит Гришин.

Долматов советует пробираться не со стороны пожара, а из темноты, где торчат каменные столбы разбитого коровника. Он добавляет:

— По голосу, метров двести будет.

Я сижу в коляске мотоцикла. Гришин одним легким движением ноги заводит мотор, медленно опускается в седло. Он смотрит на меня.

— Ну, чего тянешь?!

Обороты, сцепление, рывок — и мы мчимся в сторону догорающей школы.

Мотоцикл устремляется к черному провалу. Гришин, словно он тут знает каждую канаву, обгибает столбы коровника и накатом врывается в тропу, проложенную во ржи.

6

Деревня позади, наши позади, впереди может быть только передовое охранение, и то вряд ли. Да еще тот — «помогите, товарищи!». Или засада. Останавливаемся. Гришин хватается свой автомат, пропадает во ржи, возвращается.

— Здесь!.. — И тянет меня, тянет в рожь и пригибает, пригибает к земле.

У фрицев какая-то кутерьма. В небе непрерывно висят осветительные ракеты, эти сторожевые псы переднего края. Противник то ли нас услышал, то ли собирается отходить. Ракеты мешают, но зато светло. Мы ползем вперед на все более редкие и все более слабые крики.

Засады во ржи нет. Как только подползаем, последнее «помогите, това...» обрывается: вот они, товарищи.

Он кажется нам гигантом. О том, чтобы взвалить его на себя, и речи нет — он раздавит нас обоих. Кое-как приспособиваясь, выбивая каблуком в сухой земле лунки для упора и тихо вышептывая: «Ра-аз... И-и!» — мы тянем обмякшее тело по нашей тропе.

Моя нога бастует и не хочет разгибаться. Икру начинает сводить судорога. Я стучу кулаком по голенищу и под коленкой. Гришин прерывисто дышит.

— Где это тебя откормили, такого бугая?!

Раненый лежит без движения, и мне кажется, что уже не дышит. Припадаю к нему, ощупываю, спрашиваю:

— Живой?

Ответа нет.

— Жить будем?.. Мы мертвяков не таскаем.

— Таскаем, пожалуйста, таскаем... — с пугающим хрипом отвечает раненый. — Пудем жить, пудем...

— Смотри! Держись.

Он азербайджанец, из артиллерийской разведки. В нем больше сотни килограммов живого веса, ну а в неподвижности, нам кажется, не меньше как полтонны.

Мы волоком продвигаем его к нашему мотоциклу. Во время передышек Гришин разговаривает с азербайджанцем:

— Как же ты кричал на таком чистом русском языке?

— Акцент нельзя... — хрипит раненый. — Да-а? Акцент, скажут... Хитрый фашист, скажут... Да-а? — и отдыхает от длинной речи.

Мы снова волочим его к мотоциклу, потом снова останавливаемся, и Гришин продолжает разговор, главным образом для того, чтобы он держался, не сдал:

— Жрешь ты, брат азербайджан. не в меру. Где только харчи добываешь? Азербайджанец дышит редко и в промежутках произносит:

— Пудем здоров морду напьем! Мать... не хотим ругаться.

Ташим дальше. Он ни разу не охнул. не вскрикнул. Руки и ноги у него не двигаются. Кажется, у этой горы поврежден позвоночник. Но гора жива, и мы причастны к ее жизни. Он наш, дышит, да еще собирается кому-то набить морду.

Уложить или затолкать его в коляску мотоцикла нет возможности. Мы кладем его поверх коляски, ноги привязываем ремнем к трубке пулеметной турели. Я еле удерживаю его могучий торс. Особое водительское искусство Гришина пригодились свыше всякой меры — мы его не уронили!

В деревне сразу находим помощников, стелим сено и втаскиваем нашего азербайджанца в машину. Минометчики и пехотинцы видят, что грузят раненого, и разбегаются. Не спрашивая, не уговаривая, кузов набивают ранеными до отказа. Штанько стоит на борту своего «студебекера» и обращается с речью к искалеченному воинству:

— Хана мне теперь, славяне. Вместо минометной тары привезу я начальнику боепитания вас, хануриков.

— Двигай, болтливый кобель! Передохнем тут!

Мерещится в темноте, что мы вывозим всю силу из этой деревни и оставляем в Сатине маленькую сиротскую команду.

От Галанина приносят на руках раненого с развороченной скулой — свеженький, он оказался приятелем Гришина, — но класть его уже некуда. Гришин подшучивает и предлагает «стелить их вторым этажом». Потом подгоняет свой мотоцикл. Последнего раненого мягким кулем усаживаем в коляску.

Я никогда не водил «студебекер», но приходится сесть за руль. Штанько рядом. Он заводит мотор. Мы трогаемся, и он уже на ходу обучает меня, подсказывает.

Ночь подходит к концу. Чуть размыло рассветную ленту на горизонте. Но Федор все еще ничего не видит. Я неумело веду гяжелую машину. Она то рвется вперед, то норовит остановиться, когда переключаю скорость. Из кузова сыплются на мою голову заковыристые проклятия:

— У-у-у! Блябля косорукая.. Чтoб тебе на том свете так!.. Фашист проклятый!.. Ой! Ма-ма-а!

Только один Штанько меня не ругает.

— Смотри, как разгулялась братва. Это не водитель плохой, это они плохо ранены. Держись! Если у кого из них есть здоровая рука и пистоль, они нас прикончат.

Ничего больше не остается, и я прибавляю скорость, рискуя каждый миг свалиться в воронку или пропустить вешку. Вся надежда теперь на Гришина. Он ведет свой мотоцикл близко, не давая мне сбиться с пути. В кузове то ли устали ругаться, то ли встречный ветер относит их голоса.

— Ох и дадут мне сегодня прикурить! — кричит Штанько. — Я должен был две ездки сделать...

Небо ясно зорюет. Машина и мотоцикл мчатся по извилистой полевой колее во ржи. Я спрашиваю Штанько:

— Может, перекочуеть к нам? Радийную машину водить некому.

— Так с куриной слепотой и возьмете?

— Это пройдет. Возьмешь направление в госпиталь, а Гришин за тобой приедет.

— Уж вроде и повоевали вместе, — шутит Штанько. — Договоримся. Не в тыл же бегу, правда?..

Гаснет последняя утренняя звезда, и скоро в небе появятся первые вражеские самолеты. Теперь не зевай! На дороге у поворота в батальон мы наспех прощаемся с ранеными. Наш азербайджанец уже не может произнести ни слова. Он смотрит, смотрит, хочет что-то сказать и еле слышно мычит. Молодец! Раз что-то мычит, значит, молодец. Надо торопиться.

Дальше Штанько поведет машину сам.

III. ХУЖЕ НЕ БУДЕТ

Связь с группой старшего лейтенанта Пигалева оборвалась, когда они только достигли окраины города Львова и ввязались в бой с противником. А перед рассветом начальник разведотдела подполковник Копылов распорядился передать Пигалеву, что, по имеющимся данным, противник заминировал городскую водонапорную башню. Об остальном уже догадаться нетрудно: удастся взорвать — город надолго останется без воды. Приказ состоял в том, чтобы разминировать башню. Требовалось передать этот приказ немедленно. Но связи не было.

Ночной эфир переполняли сотни таинственных звуков. Только его завывания и пiski совсем не походили на позывные старшего лейтенанта Пигалева. Мы несколько раз наугад передали им распоряжение, но кто мог гарантировать, что наше сообщение принято?

Оставалось одно: проскочить на мотоциклах к Львову — двадцать шесть километров туда, двадцать шесть обратно, всего пятьдесят два, раз плюнуть. Командир батальона майор Беклемишев, назначенный вместо отставного адъютанта, который у нас долго не продержался, гладил лысину, молчал, потом посмотрел на меня откровенно тоскливо и наконец согласился:

— Впереди и сзади будут двигаться еще по одному мотоциклу. Охрана, — пояснил он, наверное, чтобы я не подумал, что это почетный эскорт. — В случае чего прикроют... — добавил он уже совсем неопределенно.

Перед рассветом наша кавалькада не спеша выехала на шоссе, продвинулась до вершины небольшого холма и остановилась возле передового дозора. Договорились о сигналах и о том, как будем разворачиваться к бою, если нас обстреляют спереди, с флангов или с тыла; о том, что будем делать, если в лесу есть заграждение или засада; как третий мотоцикл — с пулеметом — прикроет нас, если начнется преследование или придется отходить.

Когда начало светать, на шоссе у леса обозначился силуэт подбитого немецкого танка. Ствол его орудия был уныло опущен. На всякий случай я спросил, не переместился ли подбитый танк за ночь, но наблюдатели чуть убежденнее, чем следует на войне, заверили:

— Полный мертвяк! Как дали ему вчера, так он и скис. Навек.

Пора было трогаться, но ощущение какой-то тревоги, отдельной от всех других тревог, мешало. Чего-то не хватало. Или что-то было лишнее... Да, лишнее. Поверх гимнастерки был поясной офицерский ремень с португеей — это нормально, но вот еще одна португея — это ремень от полевой сумки. Лишней была полевая сумка. «Какого черта я не оставил ее в штабе? Ведь в сумке документы. За танковый корпус...» Но и это сомнение было лишним из-за несвоевременности. Возвращаться было поздно, да и не полагалось. Подумаешь, двадцать шесть километров!

Кобуру с пистолетом передвинул вперед под правую руку, натянул шинель на плечи. Привычно ощупал голенища сапог: там три запасных рога для автомата, отчего ноги кажутся свинцовыми. В брезентовой сумке на поясе три гранаты, на шее ремень автомата... Почему-то против обыкновения достал из-под сиденья еще две гранаты и зацепил их дужками за пояс. Подождал немного и махнул флажком.

Тихо тронулся первый мотоцикл. Наш двинулся за ним. Последний поотстал, пулеметчик возился с зарядным диском. Пшеничное поле справа, пшеничное поле слева, навстречу летел асфальт, аккуратно вычищенные кюветы да придорожные полосы.

Мне показалось, что передняя машина идет недостаточно быстро, просигналил флажком приказ увеличить скорость! Моторы взревели, мотоцикл с пулеметом догонял нас, встречный ветер превратился в упругую подушку. Пришло в голову: если так лететь, минут через пятнадцать будем во Львове. Однако фронтной опыт приучает бояться таких заглядов на будущее. На всякий случай я сбросил с плеч шинель, взвел затвор автомата.

Когда головной мотоцикл был уже метрах в семидесяти от подбитого танка, «полный мертвяк» ожил. Из его склоненного ствола рванулось пламя. Огненный след прошел над головами первого экипажа, светящаяся трасса прочертила линию раздела между мной и Гришиным, и в тот же миг сзади раздался взрыв.

Наша машина на полной скорости летела над кюветом, я метнулся вправо, вывалился из коляски, а Гришин с мотоциклом врезался в пшеницу, как в омут нырнул. Первый мотоцикл словно встал на дыбы, почти на месте развернулся и промчался назад, пегляя по синему асфальту, а позади, метрах в пятидесяти, дымилась перевернутая машина пулеметного расчета. Все трое ее седоков распластались на асфальте в позах, которые не обманывают.

Немецкие автоматы били со всех сторон. Справа и слева от танка в пшенице задвигались темные макушки. Засада! Рот сам раскрылся, больше всего

на свете хотелось заорать на всю округу, позвать кого-нибудь на помощь. Но мы народ обученный. Пшеница высокая, знаем — в ней кто первый встанет, тот и хозяин. Если кто-нибудь из них уже встал, мне не подняться. Я бросил через шоссе одну за другой две гранаты и вслед за разрывами вскочил на ноги. Немцы стреляли наугад. Они лежали. Пшеница выдавала их движения, и я стрелял через шоссе по тем, кто находился совсем близко. Они начали отползать... Если засада настоящая, мы в кольце. Мы — это Гришин, я и трое убитых на асфальте... Еще граната. Только не дать им подняться. Стоять! Обязательно стоять! Три раза менял патронные кассеты в автомате — последняя. Два немца выскочили из пшеницы и залегли на шоссе недалеко от перевернутого мотоцикла. Один пополз было назад, но перевернулся на бок, прилип к асфальту. Патроны кончились. Это всегда бесит: таскаешь, таскаешь, а когда нужда позарез, вечно не хватает патронов. Выдернул из кобуры пистолет «ТТ» — восемь патронов в обойме, девятый в канале ствола. Колосья на той стороне шоссе зашевелились, и я стрелял по шевелящимся колосьям: три, четыре, пять, шесть... Стоп! Осталось только три: два в обойме, третий в канале ствола. Пистолет против автоматов не оружие. Вообще мы его носим на боку больше для уверенности в себе. В таком бою человек с пистолетом обречен.

Наступила звенящая тишина. Торчать столбом теперь не имело смысла, и я опустил на дно кобета.

«Ты влип. А если влип — значит, виноват. А сейчас ты сделал все что мог, остальное спишут», — сказала мысль, та, что жила отдельно от меня. Есть заповедь: последний патрон для себя. У меня три последних патрона.

А почему танк выстрелил только один раз? а почему они уехали? а почему Гришин не стреляет? — все эти лихорадочные «почему» возникли разом. Я еще дома сказал: «В плену не буду».

Рука с пистолетом поднялась к виску. «Тебя учили так, ты так учил других. Давай...» Захотелось к чему-нибудь прислониться так. Слегка привалился на левый бок и обмер. То был не страх, что сейчас все перестанет для меня существовать, а другое — оно оказалось страшнее всех других страхов. Твоя дивизия! На том и на этом свете! Слева под боком — полевая сумка с документами радиосети всего танкового корпуса! Секретными! Расстрелять. Расстрелять меня перед полным строем! Перед всеми... (Странная затея: в такой момент мне вздумалось выстроить весь личный состав танкового корпуса только для того, чтобы они все увидели, как меня... Или, может быть, я захотел увидеть их всех еще раз?) Сейчас кирзовая сумка оказалась дороже всего на свете, в тысячу раз дороже головы.

Зарыть! Сначала зарыть. Скорее... Руками царапаю землю, плотный грунт не поддается. Сухая, жесткая земля не уступает и ножу. Останавливаюсь на миг, и вдруг прошибает током до костей: исчез пистолет. Его нет в кобуре, нет на дне кобета. Я же с места не сдвинулся. Что же он, сам? Я мигом обшарил землю вокруг себя — пистолета нет. Секунды разбухают и вытягиваются. Нет бога! Нет черта! Есть чертовщина. Исчез пистолет.

С того момента как я перестал стрелять, перестали стрелять все. Или я не слышал их выстрелов?

Уперся рукой в край кобета и махнул через открытую полосу в пшеничную густоту, туда, где Гришин, мотоцикл... и фашисты. Мы столько раз устраивали им засады, а теперь угодили сами. Ползу по промятому следу. Далеко же проскочил мотоцикл! Наконец-то! Вот он! Тихо зову Гришина. Он лежит рядом с машиной, пытается улыбнуться.

— Где автомат?

Гришин держится за голову, показывает, что башкой врезался в землю. Медленно, не отрываясь от земли, подползает к коляске и достает автомат. Мы лежим рядом, и какое-то мгновение кажется, что нет убитых на шоссе, нет фрицев, нет засады. Тишина. сухая земля и пшеница

— Пошли со мной? — не то приказываю, не то спрашиваю Гришина. Он может выбирать.

— Я... здесь обожду. Мотоцикл исправен — бросать нельзя.

Он выбрал.

— Тогда если что — прикрывай. А если меня коннут, возьми сумку. В ней «два нуля». Соображаешь?

Гришин кивает. У него в автомате диск, у меня кассеты. Перезаряжать нельзя — на несколько минут оба останемся безоружными.

— Там есть? — спрашиваю я про немцев.

Кивает.

— А там?

Кивает снова. Мы в кольце.

— Может, вернетесь еще? — как-то неуверенно спрашивает он.

— Попробую. Будь.

Ползу назад к своим вдоль шоссе, забирая в глубь поля.

Метров через пятнадцать передвигаюсь уже так, будто меня вовсе нет. Рассчитываю каждое движение и хочу, хочу первым увидеть своего врага и преследователя. В такой густой пшенице можно встретиться только с одним, даже если они лежат близко друг к другу. У меня автомат без единого патрона и нож. Ползу. Слева сквозь плотную решетку тонких стеблей вижу сапог. Он! Забираю вправо — подальше от сапога. Ползу так, чтобы колоски не двигались, не шуршали. Дышу через широко раскрытый рот, чтобы не услышали дыхания... Справа лежит немец — не в каске, в пилотке, в руках не автомат, винтовка, какой-то выхваченный из обоза, какой-то не вполне боевой немец. Мне кажется, что он смотрит на меня своими запыленными глазами и не моргает... Замираю. Он смотрит и не смотрит. Вытягиваю руку, держусь за землю и медленно подтягиваюсь еще на тридцать — сорок сантиметров. Он не двигается. Это их цепь, и я лежу в их цепи. Слева — фриц, справа — фриц, лежим вальтом... Не отрывая глаз от правого, пробую ползти вперед. Он не стреляет. До сих пор не знаю, почему он не стрелял. Я видел и помню его глаза. Он что, окостенел от страха? А может быть, он только притворился живым — не успел закрыть глаза? А может быть, он подумал, что я от страха ничего не вижу, проползу мимо и все на этот раз обойдется? А может быть, он расстрелял всю обойму и боялся перезаряжать у меня на глазах? Придумайте сами что хотите, я не знаю, почему он не стрелял. Знаю одно: в таком деле кроме всего прочего нужно, чтоб еще дьявольски повезло. Ползу вперед, набирая скорость, и уже не вижу ни левого, ни правого. Вытянута рука, подтянута под самые ребра нога, пальцами — за землю, нога уперлась, движение всем корпусом, и только поднятые колосья предательски шуршат. Вытянута левая, поджата правая, левая — правая, безостановочно, как одно единое движение, голова тараном прокладывает траверз среди колосьев, и подбородок у самой земли, только что не падает, рукой за землю, ногой за землю, корпусом вперед и снова рука — нога — корпус... И вот тут словно кто-то молотком по чугунной набатной трубе. Звон! Звон! — это сердце почуяло, зазвенело, и я услышал его оглушающие удары. Буйное предчувствие заколотилось в груди, в голове, в ладонях: спасен! жив! Стал приподниматься и двигаться на коленях. Потом короткой перебежкой. Упал, отполз и снова перебежка. Каждый раз, вскакивая, ждал выстрелов в спину, но не оглядывался. Потом перестал падать. Бежал пригибаясь, а там уж и пригибаться не было сил — просто бросал свое тело вперед, а ноги как-то поспевали сами. Потом перешел на шаг и первый раз оглянулся. Было уже совсем светло. Выходило солнце. Танк все так же стоял на шоссе — железный подлец с опущенным хоботом. С того момента он больше ни разу не выстрелил.

Я прополз около трехсот метров и пробежал километра полтора. Показалось, что все-все позади. Вся жизнь. А со мной пустота, гул в ушах и легкий утренний ветерок. Стрижи со свистом пикируют по моему следу, промятому в пшеничном поле. Наверное, собирают урожай моей пахоты...

На той высоте, откуда мы начали бросок, появилось несколько фигур, они меня заметили — но это уже были наши.

И как только слово «наши» возникло, тут же все снова пошло кувырком. Я жив. Сумка больше не оправдание. На шоссе лежат трое — они тоже не аш и, в пшенице возле мотоцикла Гришин, и если ему придется вести бой, то будет ему худо — он тоже не аш. И вообще все оборачивалось вяжущим чувством

какой-то большой вины. Конечно, есть такой грозный приказ, карающий водителя за брошенную на поле боя технику, если она исправна. Но не приказ, одна мысль билась оправданием: «Я сейчас, вот только добегу, отдам сумку и вернусь в засаду. Вернусь в засаду — только бы он продержался! Ведь я уже был сегодня на краю и заглянул туда, а раз я живу, то и отвечать мне за все. Хуже уже не будет. И самое главное — нам надо во Львов, к Пигалеву».

На шоссе стояли трое, экипаж первого мотоцикла, и рядом с ними были те два наблюдателя, что проводили нас, уверив, будто танк мертв.

Когда я подошел к ним, то увидел на их лицах ту же приговоренность, что тащилась вместе со мной через все пшеничное поле. Я не сказал им ни слова. Командир машины был легко ранен в шею, и наспех накрученная повязка то ли взывала к прощению, то ли наводила на мысль о суровом возмездии. Командир понуро смотрел на меня, готовый ко всему. Его водитель нарочито усердно заводил мотоцикл, а маленький автоматчик, недавно прибывший с пополнением, стоял навтыжку, желая произнести что-то торжественное, но так ни звука из себя и не выдал.

Мне пришлось зарядить автоматные кассеты и снова взять гранаты. Полевую сумку отдал старшему дозора и приказал немедленно доставить в штаб батальона. Я тоже делал все как-то скованно, словно в густой патоке, а в сущности, пытался скрыть неистребимое чувство вины. Затаенное, ранящее, оно обволакивало и лишало возможности прямо смотреть людям в глаза, лишало всего того, что было непреложным, самым главным, за что, в общем-то, можно было и умереть.

— Т-товарищ, а т-товарищ лейтенант, — еле выговорил маленький автоматчик из экипажа первого мотоцикла, — я, п-пожалуйста, с-с-с вами, п-пожалуйста, а-а-а?

Я сразу определил — татарин, да еще заикается от волнения. Худенький, стройный, с большими черными глазами и униженной просящей гримасой. Я испугался, что у меня в этот миг могло быть такое же лицо, как у него. Отделаться от постыдного чувства можно было только одним способом: все бросить и туда, в самую гущу. Там Гришин и убитые. Надо было взять кого-то другого, а не этого маленького автоматчика, но я не мог отказать ему. В сущности, он просил одного — права на искупление вины. Пока о ней никто не сказал вслух. До этого момента он хозяин своего поступка, вправе его исправлять, и эта вина — пока его собственная вина. В заклад он отдавал все, и отказывать не полагалось.

— Валяй. Только живо.

Не успел произнести этих слов, как он уже что-то передавал своим, что-то брал, рассовывал за голенища сапог и в карманы.

По шоссе, поднимая пыль, мчалась автомобильная установка гвардейского миномета «катюша». Командир лихо выскочил из кабины, подбежал к нам. Всем своим видом он показывал, что это место — его огневая позиция, он здесь хозяин и должен немедленно дать смертоносный залп по опушке леса, где в полевым бездорожье, пересекая шоссе, движется немецко-фашистская колонна.

Я быстро договорился с лейтенантом, он даст маленький залп по опушке, когда мы войдем в кольцо засады, и если наша операция будет удачной, то мы зеленой ракетой вызовем оставшийся мотоцикл, и тогда лейтенант даст второй — большой залп. А дальше видно будет.

Была у меня к гвардейскому лейтенанту еще одна сугубо личная просьба — я очень просил его не промахнуться. Потому как небольшой недолет — и реактивные снаряды накроют вражью засаду, а там в самой середине наш Гришин, да и мы с маленьким автоматчиком можем оказаться в этой середине — тоже не чужие.

— За кого меня принимаешь? — Лейтенант неожиданно обиделся и надул губы. — Здесь высшая математика. Логарифмы!

Меня восхитила его убежденность, и стало завидно, потому что в моем деле логарифмы не помогали. На том и расстались.

Когда мы уже порядком отошли от своих, я спросил маленького напарника:

— Тебя как звать-то?

— Раян, — сразу ответил он, и глаза его заблестели. — Раян Гильметдинов. Это означало, что у нас есть контакт, или, попросту говоря, мы благодарны друг другу.

Мы двое ползли, чтобы нас стало трое, пусть даже окруженных кольцом. Рассчитывать на то, что везение повторится, нельзя. Это просто глупо — верить в то, что невероятное везение может повториться... От укрытия к укрытию короткими перебежками, а потом двести — триста метров на брюхе.

Путь к месту нашего недавнего поражения на этот раз оказался чуть легче, чем путь оттуда. Подползали к немцам со стороны их ног. Они все еще не сняли засаду, но, видимо, вынося убитых и раненых, ополовинили состав и разомкнули кольцо.

Гришин встретил нас без всякого удивления, не выказал радости (ну хоть бы для приличия что-то изобразил на морде). Будто мы пришли к нему не в засаду, а... Ладно, плюнули. Приготовились к бою, ждем залпа.

Как только «катюша» загремела, я сразу понял, что гвардейский лейтенант в средней школе чего-то недобрал. Математика подвела. Ракеты шли слишком низко над землей, и четыре снаряда накрывали одним махом и немецкую засаду и нашу троицу. Типичный недолет! Мы знали, что «катюша» грозное оружие, но не догадывались, какой это крошечный ад, когда лежишь там, где рвутся ее чушки. Нашего мата не было слышно. Только гигантские вертикальные огненные столбы свист тысячи осколков, нестерпимая, мигом наступившая жара, черные клубы дыма на месте разрывов и маленькие аккуратные воронки, обгорелая зажаренная пшеница, истошные крики немцев — вот что такое «катюша». За достоверность этого впечатления ручаюсь не полностью — сам потрясен был выше всякой меры.

За первым прицельным выстрелом обычно идет основной залп. Это немцы тоже знали. Они свои знания привыкли обращать в действие и поэтому бросились бежать. А мы поднялись. Все трое. Разом. Не сговариваясь. Черные, обгорелые, но поднялись. Теперь стреляли только наши три автомата. Засада разбежалась врассыпную. Глаз хватал сразу пять-шесть черных спин. Некоторые из бежавших ныряли в тлеющую пшеницу и оттуда уже не поднимались.

— Ракету! Зеленую! — вспомнил я.

Раян запустил в небо зеленую ракету.

К нам по шоссе мчалось мотоциклетное подкрепление — водитель и, в коляске, раненный в шею сержант, — а над их головами с напорным трубным воем вырывался из установки в ясное небо основной могучий залп «катюши». Не доверяя больше логарифмам, мы снова плюхнулись наземь. На этот раз зря. Лейтенант наконец дал своим ракетам высшую математику, и они полетели одна за другой с воинственным курлыканием над нашими головами. Мы бросились к мотоциклу Гришина и на руках стали подкатывать его к шоссе.

Залп накрыл опушку, и там столбы огня и черного дыма играли на фрицевых шкурах. Лейтенант расчищал нам путь, а мы на плечах перетаскивали мотоцикл через кювет...

Вот тут надо бы сосредоточиться, чтобы понять научную основу загадочного явления: на видном месте на дне этого самого кювета лежал... (не буду употреблять никаких эпитетов) пистолет «ТТ» номер ВМ-3118, два патрона в обойме, третий в канале ствола. Мой! Тот, что самовольно исчез час назад, теперь самовольно явился. Ну погоди до батальона! Найду этого тихоню — начальника боепитания — и тут же поменяю пистолет. Он мне больше не нравится, этот 3118, хоть я ему кое-чем и обязан. И вообще нельзя воевать с тем самым пистолетом, которым хотел застрелиться.

А через несколько минут мы уже мчались к Львову. Все тяжелое, унизительное, включая груз собственной вины сорвалось с наших плеч и осталось у побитого немецкого ганка. По крайней мере тогда мы были в этом уверены. Ведь в нашей пятерке не было ни одного старше двадцати двух лет. А самый молодой, Раян, сидел на заднем сиденье за спиной Гришина и перекрикивал встречный ветер:

— Ай да «катюша!» Хуже, чем бомбежка!

— Цыц! Фрицы кругом! — обернулся к нему Гришин.

Второй мотоцикл ехал за нами. Мы проскочили опушку с горящими немецкими грузовиками.

И снова все осталось позади...

Вот только трое наших из пулеметного расчета лежат сейчас где-нибудь на траве возле штабного автобуса, писарь штаба оформляет документы, ребята роют одну большую могилу, замполит произносит краткую речь... А мы мчимся в направлении Львова. Хуже уже не будет! Может быть только лучше, даже если впереди нас ждет еще одна засада.

IV. ОЛАДЬИ СО СМЕТАНОЙ

Полная тишина и кажущийся покой рождает на фронте только беды. Тяжелый артиллерийский снаряд без предупредительного свиста врезался в самую гущу людей. Трое было убито: двадцатилетний лейтенант Миша Наденин, парторг второй мотоциклетной роты пожилой доброволец Михаил Иванович Халдин и повар Котляров. Пятнадцать раненых. Вот так все это и началось, если можно считать чью-нибудь кончину каким-нибудь началом.

Убитых уложили рядом и прикрыли одной плащ-палаткой, а раненых снесли в часовню. Часовня была полна искалеченных тел. Справа от входа горела свеча, одна на всю часовню.

Тяжело раненный командир взвода Белявский в голос звал кого-то.

— Ну чего?.. Чего?.. Не шуми. Здесь я.

— Я ничего не вижу. Почему я ничего не вижу?!

Кто станет объяснять другу, что он ослеп.

Между ранеными, лежащими на полу, размеренно двигалась Нюрка. Она помогала санитарам — перевязывала, переворачивала, укладывала, легко управляясь со здоровенными мужиками, как с куклами, и произносила им одним нужные, им одним понятные слова вроде: «Мальчонок... Терпи, терпи, малышка... Чудачок ты мой... Гвардия моя неумная...» Она иногда подменяла буквы «л» и «р» какими-то другими звуками, и у нее это получалось мягко и успокаивающе.

Раненых увезли, трюх убитых похоронили. Уже давно все разобрались по щелям и окопчикам, сидели там тихие и злые. Еще бы! Артиллерийские снаряды время от времени с непонятными интервалами рвались на макушках деревьев и сыпали осколками. Пришлось в узких щелях отрывать еще норы, чтобы упрягать туда тело или, на худой конец, заткнуть туда голову и плечи, а остальное уж — черт с ним...

Окопчик капитана Никифорова был вырыт поблизости от крытого автофургона ремонтной легучки. Капитан вместе со своим ординарцем приткнулся на дне малонадежного тесного укрытия, и трудно было понять, как они оба там помещались. Песчаный грунт вздрагивал от каждого разрыва, песок сыпался на лицо, за шиворот. Унижение общее еще усугублялось тем, что обстрел был безответным. Все сидели по своим щелям, а Нюрка лежала на лавке в автофургоне головой к распахнутым настежь дверцам. От разрывов не вздрагивала, а когда осколок где-нибудь поблизости тупо врезался в землю или в соседний ствол ободранной сосны, глядела туда и, словно живому, приговаривала:

— Да ну?.. Ишь ты... Ну чего тебе?..

Какое звание было у Нюрки, никто толком не знал.

— То младшим сержантом числилась, — безразлично говорила она, — то ефрейтором. У вас тут не разберешь.

Ее глаза изредка тихо посмеивались, а лицо всегда оставалось серьезным и безразличным

Была она большая, ладно сложенная, двигалась размеренно, и сила затаенная дремала в ее крепком теле. Ребята говорили: «Такая даст в ухо — копыта в сторону». Больше всего беспокойства батальону доставлял ее бюст, непонятным образом умещавшийся под солдатской гимнастеркой.

Свои солдаты, да и солдаты соседних частей, завидев ее еще издали, кричали. «Во-о-здух!» (по этой команде обычно без раздумий все плюхались на землю) — и она поначалу падала, но потом сообразила и даже при настоящих налетах на землю не ложилась.

Нюрка лежала-лежала в фургоне и вдруг надумала.

— Кость, а Кость,— громко нараспев протянула она, обращаясь к капитану Никифорову,— я хочу о-о-вадьи со смета-а-ной...— В ее голосе было то ли безразличие, то ли усталость, а скорее всего и то и другое.

Капитан высунулся из окопчика и с удивлением посмотрел на Нюрку.

— Ты что, с луны свалилась? — выговорил он, но тут еще один снаряд разорвался на макушке дерева, и Никифоров нырнул в глубину своего укрытия. Улеглись осколки. Нюрка потянулась и еще громче пропела:

— Кость, а Кость... Я хочу о-о-вадьи со сметаной.

Никифоров снова высунулся из окопчика.

— Ты что, издеваешься надо мной?! — Голос его сорвался на фальцет — Совесть у тебя есть?!

В соседних укрытиях заинтересовались, повысовывались.

— Тебе что, уши заложило? — уже строго и требовательно проговорила Нюрка.— Я хочу о-вадьи со сметаной!

— Оглянись вокруг, — с неожиданным пафосом начал капитан,— кровь на родная рекой льется! (Поблизости раздался смешок.) В такое время... когда... Неужто ты... — пытался Никифоров распропагандировать свою Нюрку.

Она смотрела по сторонам, словно искала речку из крови, но не нашла ее. На макушке дерева с треском разорвался снаряд. Все повалились на донца своих окопчиков, и не успели дофырчать последние осколки, как кто-то протяжно ахнул, кто-то бросился на помощь, а в лесу уже в который раз раздавалось:

— Ко-о-остя! Я хочу о-вадьи со смета-а-ной.

Перемешивая неумелую ругань (даже на войне не научился) с воплями негодования, Никифоров отправил своего ординарца в деревню за сметаной, а сам вылез из окопчика, выковырял из песка четыре камня, уложил между ними хвост и на виду у всего батальона стал разжигать костер. Люди перестали посмеиваться, каждый занялся своим делом. Что там ни говори, а Никифоров совершал пусть глупый, но все же подвиг: под методичным артиллерийским обстрелом он разжигал костер и готовился жарить оладьи для своей возлюбленной.

Капитан Никифоров влип! Ему перевалило за сорок, дома была семья, а он вторгнулся без памяти! Может быть, первый раз в жизни. Влюбился, как черт в лувизицу, — плачет, да ест!

Никто из видавших виды разведчиков не знал, способен ли он сам на такое. Всем было немного стыдно, но нельзя было понять почему.

Пока костер разгорался, капитан вытащил неведомо откуда большую черную сковородку. Очаг он смастерил на краю своего окопчика, и когда вновь разорвался снаряд, Никифоров мигом свалился в укрытие, а как отряхнулся, снова стал кухарничать. Нюрка между тем все лежала на лавке в кузове машины и ждала. Ждала оладьев со сметаной. Но так и не дождалась. Батальон подняли и небольшими группами начали выводить на исходные позиции. Значит, в бой.

— Тронулись!.. Наконец-то!

Вскоре капитана Никифорова «за кухонный подвиг», да и вообще за «любовь напоказ», с понижением перевели в другую часть, а Нюрку, как говорится, поставили в строй. А это значит — вернули в мой взвод. Радистка она была никудышная, воинской дисциплиной не овладела, или, может быть, дисциплина не овладела ею, и стала Нюрка «сходить с рельс» (уж не знаю, почему это так называется). По молодости лет я был комвзвода несколько более строгим, чем следовало бы,— вразумлял ее как мог, злился, наказывал, даже угрожал, но она только смотрела сквозь меня. Я говорил Нюрке:

— Вы разве не знаете приказ за номером... — Произносил длинный номер приказа.

Этим приказом четко было установлено, что заниматься этим нельзя, потому что от этого бывают дети, а боец — пусть и женского пола — все равно боец! И его выход из строя равносителен причинению дополнительных потерь нашей армии, сражающейся с мировым фашизмом. И наказывать надо за это без снисхождения и пощадки как женщин, так и мужчин!

Но она ничего и знать не хотела.

— Да в гробу я увидаю эти номера, — вдруг нараспев начинала тихо говорить она, и я умолкал. — Да не могу я вам объяснить... Да мне это все до вампочки...

Его, может быть, сегодня-завтра шархнет, и крышка. Я, конечно, не к тому, что оправдание или что, а просто... Я постараюсь. Вы меня в дежурства, в наряд, что ли... Как вам надо Исправлюсь, может?

И действительно, Нюрка незаметно стала входить в норму и постепенно дозрела до выхода на самостоятельную работу, но в серьезную разведку ее не брали, командиры опасались: «Шальная! У нее механизм подчинения с неисправностью». У меня же были свои постоянные напарники, и я не собирался их менять.

А вот старший сержант Бабаев сам как-то попросил:

— Вы мне ее в пару дайте, а моего помощника выпускайте на самостоятельную работу. Пора ему.

Саша Бабаев был обладателем редкостной массы покоя. Он экономно и скрытно пользовал это свое достояние всегда кому-нибудь на пользу и никогда — во вред.

В составе небольшой разведгруппы Бабаев и Нюра двое суток пробыли на задании. По зачетной системе день за три — это шесть дней, а на самом деле целая жизнь, для некоторых вся без остатка. Разведка прошла успешно, ее результаты были высоко оценены командованием, данные стоили дорогого, и связь работала безотказно. Штаб распорядился обоим представить к наградам. Я поблагодарил Нюру. Она широко улыбнулась, двумя руками поправила распадающиеся волосы и проговорила:

— Я бы за эти слова могла вас и поцеловать, но вы меня можете понять по-другому... так что... — Она мягко махнула рукой: мол, ладно, потом.

А через соргк минут, наскоро перехватив горячего, она вместе с Бабаевым вновь отправилась на задание — шла напряженная разведка заново объявившегося противника, все были в разгоне, разведгруппы несли потери. И когда я вдруг извинился перед ней за то, что не могу дать им положенный отдых, она искренне удивилась:

— Да вы что?.. Товарищ лейтенант! Девочка-то на три копейки. Мне и там непехо.

Солдатские шуточки в адрес Нюры в батальоне затихли — теперь Саша оберегал ее. Ребята быстро поняли, что связываться с Бабаевым не так чтобы опасно, а просто не надо, у них что-то складывалось всерьез, а такое замечали сразу.

На двенадцатые сутки со дня первого выхода Бабаев и Нюра сами вызвались на рискованное задание в тыл противника. Шансы благополучно пройти туда и вернуться были невелики. На такую работу собирают медленно, обстоятельно, заботливо даже, если хотите, нежно. Люди перестают разговаривать, чтобы не сболтнуть лишнего. Затихают шутки, улетучивается смех, появляется упорная сосредоточенность, и все работают, работают, стараясь предусмотреть всякую малость, все, что может им встретиться на тяжком пути туда, все, что может приключиться с ними за линией фронта, все, что произойдет (дай только бог дожить до возвращения) на обратном пути. По приказу они должны были находиться в тылу врага трое суток.

Трое суток — семьдесят два часа.

На наблюдательных пунктах переднего края перестают спать, неотрывно следят за малейшим движением противника, готовятся ударные отряды для отвлечения внимания.

Вместо запланированных трех они пробыли за линией фронта четверо с половиной суток, блестяще выполнили задание, умудрились передать добытые сведения по радице, но были обнаружены и, отрываясь от преследователей, уходили в глубь леса. В этот момент связь с ними оборвалась. В батальоне водворилось сумрачное ожидание. Два боевых отряда выведены были на передний край, готовые прийти на помощь разведгруппе в четырех назначенных местах, но их группа вышла в самом неожиданном — пятом — месте. Перешли линию фронта не на рассвете, не ночью, а днем, при ярком солнце, в разгар немецкого обеденного часа.

Саша Бабаев был легко ранен, и Нюра, кроме своего автомата, тащила на себе всю радиостанцию, а это две упаковки — шестнадцать килограммов. Немцы их обнаружили уже в ничейной полосе, открыли огонь, но наобум — в высокой

траве передвижение разведчиков почти не угадывалось. Нюра привязала упаковки радиостанции к ноге и волокла их за собой, подбадривала выбившихся из сил ребят и неотступно следила за каждым движением своего старшего сержанта. Бабаев не раскисал, время от времени просил Нюру отвязать хотя бы упаковку питания с батареями и бросить ее — она его и слушать не хотела.

Все они благополучно пропахали эту ничейную полосу, и тут противник открыл минометный огонь, но мины рвались где-то в стороне, и группа добралась до старого, заросшего и обвалившегося окопа.

Перевели дух. Саша передал наконец по радиации сигнал возвращения и местонахождение разведгруппы. Нюра быстро свернула радиостанцию, как школьный ранец, приторочила ее за спину.

Заныла очередная мина, в окопе все пригнулись, а Нюра по привычке выпрямилась и даже чуть потянулась, чтобы ослабить ремни. Сухим треском обозначился разрыв, и осколок прошил радиостанцию. Бабаев вскочил, хотел пригнать Нюру к земле...

— Ой, Сашенька!.. — вскрикнула она и стала опускаться на дно окопчика лицом вниз.

Бабаев мигом расстегнул ремни, отбросил пробитую радиацию, хотел подхватить Нюру, но не удержал... И когда он ее уже убитую (а это видно, когда человек еще жив, но уже убит) переворачивал на спину, она только и твердила:

— Саша... Сашенька... — И в последний раз: — Са-шень-ка... Род-нень-кий...

V. ЗАКУРИМ, ЧТО ЛИ?

Я сидел на наблюдательном пункте в надежном укрытии и... скучал. С самого рассвета и по сей миг противник всю эту высотку и полевою дорогу держал под плотным огнем и не жалел ни мин, ни снарядов, ни патронов. А осветительных ракет у них, гадов, было навалом. Не успевала погаснуть одна, как в небо врезалась другая. И вся наша высотка вместе с полевой дорогой была как на ладони.

Фашисты, видимо, чуяли, что к рассвету снова придется отходить на «заранее подготовленный рубеж». Настал их черед, и теперь уже они заманивали нас в глубь своей территории. Казалось, они хотели опрокинуть на наши головы весь запас металла, чтоб отходить налегке.

Слева, метрах в трехстах от меня, находился НП № 2. Справа, на таком же расстоянии, — НП № 3. Там ребята из моего взвода, но никого не видно. Выполнив приказ, они углубили укрытия и лежали в своих норах, а вели наблюдение по одному, чтобы потеря было меньше. А еще лучше, чтоб их совсем не было! Итак, слева трое, справа трое, а я один. Перед наступлением сумерек отправил ординарца в штаб батальона с донесением и схемой огневых точек противника. Эта схема была сейчас там очень нужна.

Честно говоря, довольно противно сидеть под огнем одному, когда впереди только враги, сзади полно своих, но все они слишком далеко, а рядом никого. Правда, профессиональная гордость заставляет частенько произносить вслух, что в нашем деле одному даже лучше, но это не так. Точно одному в этих бесконечно растянувшихся сумерках...

Неожиданно в мое укрытие ввалился ефрейтор Гильметдинов. Он тяжело дышал и сразу присел на корточки. Не спеша отряхнул землю с пилотки, с плеч и улыбнулся.

— Что там у вас? — спросил я.

— Ничего, — ответил он и продолжал улыбаться.

— Что-нибудь стряслось?

— Нет! Не стряслось.

Помолчали.

— А чего ты притащился?

— Так. — ответил он, — старший сержант разрешил.

— Ну а зачем?

— Покурить, — ответил Гильметдинов.

Я достал из кармана пачку немецких сигарет и протянул ему, но он сигарет не взял, а вытащил из-за пазухи здоровенный кассет с махоркой и стал крутить

«забаву» — очень длинную козью ножку, которую курили только тогда, когда табаку было с избытком и делать было совсем уж нечего.

Он смастерил одну и протянул ее мне. Стал мастерить другую.

— Под таким огнем знаешь, что может получиться?

— Знаю, — ответил Райн, — блин может получиться. Только я аккуратн... Ползу... лежу... бегу... опять ползу... опять лежу... бегу... — И улыбнулся, понимая нескладность своих объяснений.

Канонада и стрельба не умолкали. Ракеты то и дело взмывали в небо, рассыпались и гасли над нами.

...Он прополз триста метров. Впереди у него было триста метров обратного пути, а с этими метрами не шутят... Я не мог сказать ему ни одного слова в упрёк, он сделал мне удивительный подарок.

Мы курили, и не было скучно.

VI. ЗАЙДАЛЬ И РЫЖАЯ

Готовился новый рывок вперед, навстречу Германии — очередное мощное наступление. Об этом еще не объявлялось в приказах, но предчувствие висело в сыром воздухе, назревало и вот-вот должно было прорваться огненными хвостами реактивных снарядов «катюш», заупокойным воем тяжелых «иванов», неистовой дрожью артподготовки, ревом авиации, разрывающими нутро контузиями, невероятными увечьями, открытыми, глухими, полостными, черепными, пустяковыми и смертельными ранениями... — подобраться, вгрызться, зацепиться, перемолоть, добить, закрепить. И так пять-шесть раз, пять-шесть эшелонов, пять-шесть вражеских оборонительных линий, и не одними и теми же ротами, батальонами, а новыми, новыми, залатанными, подпертыми, усиленными, вздрюченными хриплыми окриками и громовыми приказами, — и так до тех пор, пока не будет пробита дыра! На всю глубину оборонительных линий противника. Таков удел полков и дивизий прорыва — проложить путь, пробить лаз родному дяде, а самому... получить благодарность в приказе, присест в только что захваченной у врага траншее, закурить и посчитать оставшихся в живых — а чего тут считать, вот они все сидят.

А погом четкий сигнал. Танковая армия! Вся! Корпуса, бригады, полки, наш отдельный батальон, мой маленький взвод — все ползут в этот проран, в дыру, чтобы добраться до противника, крушить его и гибнуть самим. Двигаться вперед до тех пор, пока целы еще хоть два-три танка и пока они последние не известят опустошенные окрестности черным дымом о своей кончине: «Я был тут!». Вот он я весь...» — или белесой шапкой взрыва, когда башня летит, размахивая всеми тормашками, и падает на землю, проламывает ее с тупым хрюкающим звуком.

Только ведь даже победные эпохальные битвы чреватые маленькими, незаметными кровоизлияниями. Они, маленькие, тонут в великом торжественном шествии — ну какое дело миллиардной вселенной до какой-то там крохотной погашшей песчинки?! О тех, кого не стало, тоскуют два-три близких друга, похоронная команда, состоящая из музыкантов (ведь еще копать, насыпать да ставить деревянную табличку). И потом уже, потом — мать, отец, жена, дети навсегда и безутешно: получите-распишитесь — «погиб смертью храбрых в боях за честь и независимость...».

Обо всем этом не думаешь, но однажды оно накатывает само, и становится человеку худо. Или совсем невозможу.

Мать, потерявшая сына, никогда не заговорит языком победителя. Убивает и калечит на войне всех и всякого, и кто воюет, и кто не воюет. — Не об этом речь. А воевать — это непрерывно и сознательно подвергать свою жизнь смертельной (обязательно смертельной!) опасности. Не одновременно не в порыве, не спасая в последний момент свою жизнь или воюя под взглядом высокого начальства... а непрерывно и долго, повседневно воевать, а также непрерывно и долго угрожать врагу и наносить ему смертельный урон, непрерывно. Иначе это сделает он, твой враг. И еще: обязательно все двадцать четыре часа

в сутки нести ответственность за жизнь своего товарища, за жизнь своего подчиненного, который тебе, тебе лично это бесценное достояние доверил.

Вот что такое воевать, а не присутствовать в прифронтовой полосе.

На третий день после того мрачного посещения, о котором слово впереди, в полуденный час пришел адъютант старший¹ Василий Курнешов и на пороге сказал:

— Сходи-ка в офицерскую землянку бронероты, там Зайдадь...

— Не пойду.

— Сходи, там Зайдадь сошел с катушек.

Я подумал, что он там с кем-то схлестнулся, и спросил:

— С кем это он?

— Сам с собой, — ответил Василий. — И со своей рыжей.

Когда я вошел в землянку, Зайдадь плакал и ругался. Сидел на нарах, шинель внакидку, подобрал полы под себя и кутал ноги. Все постели были свернуты и лежали в изголовьях, светились чистые доски. Военфельдшер Валька облокотился на подпорку, и вдоль стены в узком проходе теснились пять-шесть смущенных офицеров. Холод был погребный — землянку выстудили, а печка не топилась.

— ...Друзья называется. — Зайдадь вытянул тонкий длинный палец и почти упер его в грудь командира броневзвода Савченко. — Вот хрен тебе кочерыжку! Не дам полуось! Кати на передних колесах. У-у-уберните вы эту рыжую тварь!.. Тварь!

Кое-кто пытался убедить Зайдаля, что все это ему только кажется, что никакой рыжей здесь нет и в помине, но он нелепо шарил руками по воздуху там, где она могла стоять, а здоровенный и простодушный комроты Пащенко даже присел на корточки и старался доказать своему помпотеху:

— Смотри, нема туточки ниякой бабы! Не дури, Зайдадька! Откуда ей взяться?

Военфельдшер Валентин пронзительно, как гипнотизер, смотрел на Зайдаля и не участвовал в разговорах. Потом он решительно подошел ко мне и проговорил:

— Буйное помешательство на почве... — Он еще больше понизил голос. — Ему мерещится, что жена все время стоит тут. Он гонит ее, а она не уходит и даже лепит ему что-то тухлое. Типичный...

— Наконец-то пришел! — вскрикнул Зайдадь, как только заметил меня. — Скажи им!.. Слепые!.. Вот она, рыжая сволочь! Ну чего ты уставилась?.. Издается! — Он снова заплакал. — Ради всего... у-убери!.. У-бе-ри ее!..

Надо было тут же что-то делать.

— А ну давай все отсюда. Уматывай! — скомандовал я своим товарищам (в других обстоятельствах они бы понесли меня так, что землянка рухнула бы, а тут покорно двинулись к выходу). — Ты чего застыл, ждешь особого приглашения? — сказал я фельдшеру, и он тоже вышел, низко пригнув голову.

Мы остались вроде бы один на один, если не считать рыжей, которая была для Зайдаля реальнее, чем я.

— Ну вот! — проговорил он, вытирая ладонями слезы. — Видишь, она тебя тоже не слушается. — Он вытянул руки в сторону пустого угла.

— Ты зачем пришла? — закричал я и кинулся в этот угол. — Сука!.. В лужу, стволы и расщелины... — Я затеял борьбу с женщиной, которой не было, применял самые жесткие приемы и держал не менее увесистые ответные.

Внезапно я отлетел к самой двери и больно ударился о земляной выступ, словно меня действительно кинуло туда. На меня накатила раж, и я снова ринулся врукопашную: старался скрутить ее, перепоясал руками, оторвал от земли, ощутил ее пружинистую силу, стараясь опрокинуть ее, потерял равновесие, или она подсекла, в падении рассадил скулу о стойку, прижал ее к столику, котелки с грохотом повалились на пол. Я угрожал, клялся придушить, уничтожить... (но я не собирался ее убивать!).

Зайдадь всем корпусом подался вперед и следил за поединком.

Мы чуть не опрокинули железную печку — труба развалилась, и сажа летала в воздухе. Мои силы были на исходе (но и она стала сдавать), я изловчился, приподнял ее, дотащил до двери, заломил руку к затылку, схватил за рыжую

¹ Помощник начальника штаба батальона (ПНШ).

копну волос, ногой распахнул дверь, вышвырнул ее в ступенчатую траншею и кинулся следом.

Наверху стояли офицеры и фельдшер — на их лицах была догадка: он спятил вслед за Зайдалем. Посмотрел на руки — черные, но почему-то в крови. Какое же тогда лицо? Метнулся обратно в землянку, захлопнул за собой дверь и подпер ее спиной. Пот заливал глаза и солонил губы. Зайдаль сидел худой, всклокоченный, глаза светились боевыми огнями, словно сражался с ней он.

— Но ведь она опять ломится в дверь, — проговорил он.

Дверь действительно ходила ходуном, я уперся ногой в боковую стойку и сдерживал натиск.

— Как только ты уйдешь, она войдет и будет меня мучить, мучить! — Приподнятое плечо, закинутая голова и чернота в обводах глаз, домиком ушли на высокий лоб брови — для него это было истинной пыткой.

— Не дам! — сказал я решительнее, чем следовало, в правой ладони обнажил рукоятку вальтера, большой палец снял пистолет с предохранителя, левая рука передернула планку затвора.

Зайдаль смотрел уже с удивлением, его губы чуть скривились — он не верил, что у меня хватит духу все это кончить одним махом. Дуло пистолета глядело в потолок, палец лежал на спусковом крючке, я вышел из землянки. Видавшие виды офицеры! шарахнулись, словно я мог пристрелить каждого из них. Не раздумывая дважды выстрелил себе под ноги, в корневище старой сосны, и в промежутке между двумя выстрелами успел глянуть на ребят: мол, вот так, а что тут поделаешь.

— Бегом по постам, — скомандовал Пащенко, — предупредить караул — выстрелы случайные! — И сам побежал к штабу.

На какое-то мгновение показалось, что я и вправду убил ее: словно между корневищами лежала женщина, голова уперлась в ствол, а волосы рассыпались по вытопанному снегу.

— Ты почему не пускал меня? — тихо спросил военфельдшер.

— Заткнись! — Я вернулся в землянку.

— Ты ухлопал ее, — проговорил Зайдаль без тени сомнения.

— Поволокли к оврагу, — ответил я.

Его взгляд ушел в бесконечность.

— Ты настоящий друг, — пусто проговорил он вполне нормальным голосом. — Но ты же видел, ты же знаешь... Она... Она такая женщина!.. Такая...

Тут я произнес уже черт знает что:

— Зайдаль, если она опять придет, позови меня. Я ее... Да так, что и на том свете будет покойницей.

— Ты настоящий... убийца... — спокойно проговорил Зайдаль. — Я недооценивал... — Он вроде бы совсем сник, обессилел, допустил фельдшера и дал сделать себе первый укол.

Офицеров бронероты расселили по другим землянкам, а там, где лежал Зайдаль, устроили тайный лазарет. Все знают и все молчат — вот что такое секретность у разведчиков. Пащенко соорудил график для своих офицеров и доверенных сержантов — поочередно дежурили возле Зайдаля круглые сутки. Он много пил — только воду, есть не хотел. В редкие минуты просветлений Зайдаль просил не отправлять его в госпиталь, обещал скоро выздороветь, благодарил, извинялся за доставленные хлопоты, покорно подставлялся под шприц с иглой и засыпал.

Страшное дело, сколько вот так может свалиться на одни плечи, на одну голову! Вся его семья была уничтожена фашистскими выродками в Минске, вся под корень, со стариками и малыми детьми — одиннадцать человек. Оставалась только жена.

2

Еще совсем недавно...

Двое шли по лесной заснеженной тропе прямо к моей землянке. Чуть впереди Василий Курнешов, следом Зайдаль. В походе Курнешова чувствовалась строгая официальность (его хлебом не корми, только подай официальный момент), а Зайдаль разглядывал верхушки сосен. Через застекленное окно землянки (осо

бое фронтовое пижонство, обычно окошко в землянке затягивали промасленной бумагой) я видел их, но выходить навстречу не стал.

Зайдаль вот уже два месяца жил со мной в этой землянке, но в последнее время между нами все чаще и чаще стали пробегать какие-то несуразности.

Два голых топчана, большой круглый стол и тесаные, из-под топора, стены светились чистой белизной древесины с редкими смоляными потеками. В этой просторной землянке собирались по двенадцать—четырнадцать человек, и каждому находилось место если не на топчане, то на аккуратно распиленных чурках, а печь и хозяйственный отсек были отделены полуперегородкой. Для плацдарма на Висле это была хоромина. Разведчики, большинство уральцы, были мастера, сооружая командирское жилье, они словно говорили: «Хочешь — завидуй, хочешь — плачь. А у нас вот так!»

И вот под двойным накатом этой землянки зрел нарыв особого рода: мы не ругались, делить нам вроде было нечего, по службе не сталкивались, друг в друге нуждались, привязаны были друг к другу, а между тем говорили между собой все резче и резче. Я ругал себя за нетерпимость, но снова срывался и не мог понять, в чем причина. Отношения становились тягостными.

Раздался стук в дверь — Курнешов стучал, как дятел. Вошли и уселись на топчан против меня. Курнешов прямо под шапкой пригладил сивый пробор. Зайдаль сразу откинулся спиной на стенку. Он ушел из землянки вчера вечером, ничего не сказал и вот появился с понятием. Ему недавно исполнилось тридцать, он был на девять лет старше меня, да и во всей нашей компании он был старшим. Курнешов тоже был года на три-четыре моложе Зайдаля.

— Больше жить здесь с тобой не буду, — заявил Зайдаль.

— А где?

— В общей офицерской бронероты.

— Там и без тебя теснота и духота.

— Здесь не лучше.

Это уже был вызов, у нас была чистая, просторная землянка.

Наступила томительная пауза.

— Давай выкладывай, — сказал я.

— Давно пора бы, — проговорил Зайдаль. — Что с тобой происходит? Я не понимаю, как тебя терпят твои подчиненные?

— А что им остается? — Это уже сказал Курнешов.

— Ты разучился с людьми говорить по-человечески — все время рычишь на них. Кто ты такой? Что произошло?

— Война. Больше ничего. Все понемногу охреневаем. Я не исключение.

— Не все. Неправда... Кое-кто из них тебе в отцы годится. Руководить — ведь это не гнать в шею, а вести за руку. Ты слышишь? Руко-во-дит! Взводный. Взводить. Слышишь слово? Вести вверх за собой, в гору, взводить на высоту — в в ы с ь!

И чем больше раздражался я, тем спокойнее становился Зайдаль. Я по всем линиям был не прав, но сдаваться не хотелось.

— Ну кое-что понять можно, — продолжал Зайдаль. — Ты с восемнадцати лет командуешь людьми. А это само по себе скверно.

— Я не хотел быть офицером.

— Сам сказал — война. Тут ничего не поделаешь. Я просто на прощание просил бы тебя сразу после войны несколько лет не командовать людьми. С о в с е м!

— Не буду, — огрызнулся я. — Только еще дожить надо.

— Доживешь... — пообещал Зайдаль. — Ну дай слово, что после войны не будешь командовать людьми хотя бы два-три года. Вот при свидетеле дай слово

— Даю.

— И то неплохо.

Т а к б ы л о.

А еще раньше в одну из тихих ночей Зайдаль говорил мне:

— После войны я заберу тебя в Минск. Я покажу тебе, что такое жизнь. Мы будем создавать новый автомобиль, не какую-то там легковушку — мощную чудомашину! Вездеход! Она уже вот тут. — Зайдаль показывал на свою лохматую го-

лову. — Вы все какие-то зашоренные. У меня такое впечатление, что живет в вас разве что одна тысячная того человека, над созданием которого так долго, так тщательно и великолепно трудилась природа. Ведь вам все до балды.

И он улыбался, улыбался так, будто он и есть природа. У него были то грустные, то, казалось, совсем темные, то вдруг просветленные, почти светящиеся глаза. Он откидывался на тесовую стену и подолгу смотрел на собеседника или мимо него.

— Чтобы создать человека, природе понадобилась вселенная (слово-то какое!) со всеми системами, галактиками, мирами, бесконечностями и еще более непостижимыми конечностями, а некоторые товарищи офицеры убеждены, что для того, чтобы создать человека, нужен топчан и баба. Мне жаль вас, гвардейцы!.. Как говорил профессор Роleder, стремитесь к познанию женщины. Притом, прошу поверить, это познание должно быть не разовым — вы же не гении! — это должен быть высокий альтруистический порыв. Самцы-затейники не в счет, они никогда не знали и не узнают тайного смысла настоящей любви. А я хочу, чтобы ты знал!.. Значит, я говорю: это процесс высокого бескорыстия. Поверим великим поэтам. Но тут у объекта, у женщины, разумеется, должна существовать познавательная субстанция, материал для познания. А то ведь бывает, что и познавать нечего, — так, пустота. Значит, как надо разбираться в женщинах, чтобы научиться выбирать! Это даже не наука, это искусство! Как говорил профессор Роleder (всегдашняя присказка Зайдаля), так вот, как говорил профессор Роleder, один из величайших знатоков любви и пола, в этом мире не существует ничего прекраснее, нет, не женщины — любви к ней!.. И когда-нибудь в жизни ты поймешь это, и тебе станет страшно.

— Страшно мне уже никогда не станет, — сказал я.

— А жаль, — посочувствовал Зайдаль. — И все-таки ты поймешь, что самое главное в жизни ты пропустил и это невозполнимо.

По-моему, цитаты из профессора Роledера для пущей убедительности он придумывал сам.

— Увы! Я не воин, — говорил Зайдаль. — Я на фронте потому, что мне стыдно было отираться в тылу. Я создатель автомобиля будущего, облаченный в погоны старшего техника-лейтенанта, и заодно могу возвращать к жизни машины, которые вы так великолепно умеете гробить.

Он подолгу молчал, но потом на него снова находил стих, и он говорил.

Т а к б ы л о.

Мы продолжали сидеть и мрачно смотреть друг на друга. Курнешов сохранял нейтралитет или видимость его. Но Зайдаль решил объясниться.

— В разведке с тобой тягаться трудно — спору нет. Можно даже подумать, что ты рожден специально для этого. А вышли на отдых — и ты маешься в лесу, ищешь, какое бы безобразие сотворить на удивление себе самому и на потеху товарищам. Тебе и в голову не приходит, что к другой жизни — настоящей — должно готовить себя. Иначе нет смысла в войне и победе, а есть только сама война и сама победа.

— Выпить хотите? — предложил я от безысходности (как-никак от меня уходил друг).

— Выпить, конечно, можно. Можно? — спросил он у Василия, и тот кивнул. — Но жить с тобой в одной землянке все равно не стану.

Я полез под лежанку и достал литровую бутылку. Самогон был самый что ни на есть отвратительный. Они пили, морщились, ругали это пойло, обменивались репликами, словно меня здесь и не было. Мне надоело пустое и враждебное сидение, эта паршивая самогонка. Зайдаль это почувствовал и поднял палец.

— Теперь я должен сказать тебе самое главное, может быть, то, из-за чего все-таки пришел сюда.

— Давай.

— Война огнем прокаливает и очищает одних, но она же коптит и превращает в привидения других. Война не только убийством отвратительна — она плодит привидения и на фронте, и тем более в тылу. Я не хочу, чтобы ты попал в эту компанию. Убежден: таких, как ты сейчас, после победы перемелет первыми. Ты не только необуздан — это куда ни шло, — но начинаешь мнить себя чуть ли не

центром вселенной. Если ты здесь не поймешь, что надо быть готовым ко всему — здесь, сейчас, а не потом! — литым, подкованным на все четыре копыта, с огромным запасом прочности, там после победы тебе покажут такую кузькину мать, что никакие ордена тебя не прикроют и не спасут.

— А тебя что же, все это не коснется?

— Не знаю. — Он задумался. — Коснется, обязательно коснется. Но, мне кажется, в меньшей степени. И не сломит... Кроме всего прочего и высокопарного, война рождает и подлецов и беззащитных — я постараюсь выйти из нее ни тем, ни другим. И мне бы не хотелось, чтобы ты вышел из нее беззащитным или — упаси и помилуй! — подлецом

По-моему, он сказал почти все, что хотел. Терять друга ой как не хотелось. Хотелось верить, что как-нибудь все образуется. Но... пусть будет как будет. Пусть время станет судьей и советчиком. Мне захотелось поскорее остаться одному и через застекленное окно под потолком землянки смотреть на верхушки скрипучих сосен.

Они ушли. В лесу стояли густые сумерки.

3

Еще теплой осенью, когда первые бои на Вислинском плацдарме стали угасать и подвижные части были оттянуты в леса, подальше от переднего края, внезапно объявили противохимическую готовность. Противогазы давно порастеряли, повыбрасывали или приспособили для чего-нибудь. Ругались, путали своих с чужими, выменивали, писали акты и докладные. Начхим батальона впервые за всю войну почувствовал себя при деле: инструктировал, проверял, потел, бегал по лесу и даже разъезжал в коляске мотоцикла, который раньше ему никто не давал.

В штаб вызвали трех офицеров. Никаких разговоров, никаких распоряжений. Усадили в кузов «доджа» и повезли в сопровождении кряжистого особиста Бориса Борисыча по кличке Бобо. Ехали в тыл по направлению к Висле. Бобо все время поглядывал на часы и елозил на переднем сиденье, а мы отбивали зады и спины в открытом кузове. Впервые на какое-то странное задание нас вывозил уполномоченный. Уже решили, что везут в глубокий тыл за Вислу, но машина круто свернула по лесной дороге влево. Дважды останавливали какие-то таинственные патрули, но проверяли документы только у особиста. Перед выездом на опушку автоматчик с флажком указал съезд, машина остановилась. Пovyпрыгивали из кузова и разминались. Дальше метров триста нас вели по открытому полю. Небольшая группа людей виднелась возле ложбины и создавала окружение фигуре высокого ранга. Позднее увидели, что в самой ложбине на земле сидят около сорока офицеров. Бобо проурчал что-то командное, и, косолапя, припустил бегом к стоящей в отдалении группе старших офицеров. Отказырлял так, что жилы чуть не полопались, что-то доложил и побежал к нам. Вернулся мокрый, лицо в пунцовых пятнах, еле дышит.

— Разрешите спросить? — униженно промямлил один из офицеров.

— Ну-у...

— Вы там от натуги чего лишнего не сказали? А то нам отсюда послышалось...

Бобо только отмахнулся.

— Ты язык-то попридержи, — еле справляясь с одышкой, выговорил он. — Тихо подойти! Не здороваясь сесть на землю!

— А дышать можно? — осведомился другой.

— Курить нельзя! — вспомнил Бобо.

Мы спустились в ложбинку и присели, подобрав ноги. Офицеры действительно не курили, и почти никто не разговаривал. Разведчики отыскивали среди сидящих знакомых и подмигивали, кивали друг другу. Небольшая группа старших офицеров подошла и присела у края полукружья. В отдалении остались только двое — костистый, прямой, в безукоризненно ладном и, главное, не в полевом, а в повседневном маршальском облачении командующий фронтом Конев, он двинулся к сбору в сопровождении худого, как жердь, высокого старшего лейтенанта, который отличался от всех присутствующих тем, что на его гимнастерке справа был

только гвардейский значок и больше никаких наград. Несмотря на сутуловатость, строен, хорош собой, небольшие усики. Маршал остановился и долго рассматривал не сидящих на траве, а линию горизонта, козырек его фуражки был плотно надвинут на глаза. Потом коротко кивнул: мол, здрасте.

— Товарищи офицеры! — сухо проговорил маршал. — Здесь собран костяк разведки Первого Украинского фронта. Так что... — Помолчал. — Враг сделал все что мог, чтобы не дать нам выйти на Вислинский плацдарм. Мы его расширили и сделали Сандомирским. Немецкое командование дало клятву своему фюреру и народу нас за Вислу не пускать. Мы находимся за Вислой и отбили все контратаки. Теперь они стягивают сюда свои химические части и хотят залить нас газом. (Вот тут всем стало неуютно.) Как ответить им — это уж наша забота! Есть сведения, что сюда прибыл Адольф Гитлер. Он приказал своему командованию вышвырнуть нас с плацдарма, опрокинуть в Вислу или умереть самим. Я думаю, пусть лучше умрут... — Маршал чуть отступил в сторону и прошелся, глядя поверх голов. — А теперь с вами будет говорить старший лейтенант.

Гвардеец с усиками сразу удивил нас: он снял пилотку, поправил хорошо подстриженные волосы, улыбнулся, непринужденно кивнул маршалу и заложил длинные худые руки за спину. Стоял, чуть покачиваясь на каблуках, и рассматривал сидящих на траве офицеров, словно запоминал.

— Вы профессионалы, — сказал он тихо, — и поймете меня сразу. Газ, которым располагает противник, особый. Его пропускают наши противогазы. (Ни хрена себе сообщенице!) По достоверным данным, к наступлению они еще не готовы, и в нашем распоряжении пять-шесть суток. Предварительные распоряжения разведотделы и ваши штабы уже получили. Дело за малым: вы все должны этой ночью не позднее четырех ноль-ноль выйти в поиск. Форма поиска — по вашему личному усмотрению. Цель одна — принести новый немецкий противогаз. Тому, кто принесет новый противогаз, — орден Ленина вне зависимости от сложности операции (Маршал Конев кивком подтвердил). Рекомендую в побочные дела не ввязываться. И в случае если противогаз будет у вас в руках, ничего не жалеть. — Он начал прогуливаться. — Еще один совет, извините, приказ: секретность особая! Не только там, но, главное, тут, у нас в частях. Ну вот. Желаю вам всем успеха, стопроцентной трезвости (тут по рядам сидящих прошел легкий шорох понимания) и каждому по ордену. Всё. Вопросы есть?

Вопросов не было. Маршал был невозмутим. Полковник, сидевший справа, скомандовал:

— Группы разводить в порядке расписания. Первая группа, встать! Шагом марш!

Выводить на передний край мою поисковую группу было поручено Василию Курнешову, и Зайдаль стал упрашивать командира батальона разрешить ему выехать вместе с группой и придумывал причины технического порядка. Просьба была малооправданна — комбат был удивлен, пожал плечами и разрешил.

Мы вышли на опушку бурого подлеска. Лес сзади только условно можно было назвать лесом после осенних боев за плацдарм в нем не осталось ни одного живого дерева. Торчали голые, ободранные, черные, заостренные к небу стволы. И ни одной ветки, ни единого листика — как после пожарища. Казалось, никогда не зазеленеют эти опаленные хлысты. Туман полосами висел в воздухе. Луна была необходима, но ее не было. Где-то рядом притаились дозоры охранения. Тишина, мрак. Даже осветительных ракет не было. Внутри тумана лежала измученная дивизиями и корпусами, изуродованная ничейная полоса (ее по ошибке называют нейтральной).

— В рост не стоять! Разговорчики! — тихо распоряжался Курнешов.

И все-таки Зайдаль оттащил меня в сторону, прилег на бок, подпер рукой голову и сказал:

— Ты там давай шуруй, дело есть дело, но только прошу, без фейерверков. Помни, я тебя здесь жду. Вот так жду!..

Я ответил:

— Вас понял. Сиди не высовывайся. Пиши письма своей рыжей. От меня привет.

Мы ушли — четверо в маскхалатах, начиненные оружием и жестким «надо!». Туман принял нас, ничейная полоса тоже.

Это важно, когда тебя ждут. Славно, когда после запредельной маеты в условном месте тебя ждет не уполномоченный со своими тухлыми вопросами, а друг и приятель. «Э-э-э! Да чего там...» — тискают, щупают, хлопают по плечу, кормят. Без этого ожидания война была бы одним убийством и слякотью.

А Зайдадь даже не хлопал, не тискал, сидел на корточках, упершись спиной в земляной скос траншеи, смотрел вверх, тер ладонями небритое лицо.

— Ну так! Ушли. Пришли. Да еще эту ценную жестянку приволокли. Жи зны!.. — Он был счастлив. — А ну быстро отсюда — чтоб духу нашего здесь не было!

Активная разведка велась днем и ночью по всему переднему краю и в глубину. К исходу четвертых суток разведгруппы разными способами раздобыли четырнадцать немецких противогозов! Но все противогозы ничем не отличались от тех, что были у противника раньше. А вот орден Ленина получил худой высокий старший лейтенант с усиками и гвардейским значком. Тот самый, что нас инструктировал. Позднее, на разборе операции, он был при орденских планках, с погонами полковника, так же улыбался, но только не раскачивался на каблуках. Он похвалил разведчиков, шутил, посмеивался. Рассказал, что нового противогоза тоже не достал, зато кое о чем дознался: никакого нового противогоза у фашистов не существует, а вот новый газ есть.

Там, за тридцать пять километров от линии фронта, ему удалось проникнуть в химическое управление группы войск противника и раздобыть пачку дополнительных тампонов к обычному немецкому противогозу. Эти тампоны химические спецслужбы вермахта могли развезти по частям и раздать в последние полтора-два часа перед газовой атакой. Вот был бы номер!.. Но и наши не зевали: когда мы вернулись в расположение батальона со своим дурацким противогозом, то не узнали леса, откуда ушли. Полки химзащиты вторглись в промежутки между частями и стояли впритык. Артиллерия была снабжена какими-то новыми снарядами. Все, даже старшие офицеры, ходили с противогозами на боку. Поговаривали, что немцы довели до нашего сведения: дескать, если наши «катюши» не перестанут свирепствовать на плацдарме, они применят газ. Наши как-то умудрились сообщить противнику: если примените газ, мы применим газы из всех «катюш», — а союзники довели до сведения немецкого командования, что без всяких «если» всю зальют Германию газами под завязку. Враг дрогнул и начал демонстративно оттаскивать свои химические части от линии фронта, а вскоре и наши полки химзащиты ушли за Вислу в тыл. Вот такая история произошла на Вислинском плацдарме.

А потом сидели в землянке и отмечали благополучное возвращение. Пили мрачно. И когда стало ясно, что дальше будет только хуже и собраться с мыслями скоро ни одному уже не удастся. Зайдадь встал и сказал:

— Праведная рать и забулдыги, скоро вы опять пойдете в бой, — в его голосе была горечь и неотвратимость, — и снова наше содружество поредеет...

— Типун тебе на язык! — крикнул кто-то и ударил кулаком по столу.

— Невежливо... — заметил Курнешов.

— Из двенадцати основоположников нашего содружества осталось четверо, — буднично заметил Зайдадь.

— Ладно, — сказал я, — не будем препираться, чья следующая очередь. Здесь одна у всех привилегия — каждый может туда без очереди. И чтобы за следующим столом сошлись все до одного и чтобы там Зайдадь прочел нам свою новую проповедь!

— Согласен, — кивнул Зайдадь. — Объявляю тезисы: победитель не получает ничего! Потому что нет награды выше, чем сама победа. Любая другая награда хоть малость, хоть чуть-чуть умаляет подлинную ценность победы. Вы поколение, хлебнувшее побед. Вы дети победы! Прошу вас, просто заклинаю: потрудитесь, подумайте, постарайтесь, чтобы ни одного из вас не раздавил ни военный угар, ни послевоенная опохмель. Прошу вас — не сгибайте! Это

говорю вам я, гвардии старший техник-лейтенант, создатель невиданного автомобиля будущего, ваш доброжелатель...

Мы любили его.

Т а к б ы л о.

4

После ссоры, или уж не знаю, как назвать наш разлад. Зайдаль и я не встречались несколько дней. Видели друг друга издали. Но оба старались делать так, чтоб не встречаться.

В канун того дня, когда Зайдаль сошел с катушек, он неожиданно появился на пороге моей землянки. В лесу стояла послеобеденная тишина, неподалеку рубили дрова. Пришел, сел и говорит:

— Вот и жены у меня нет...— Глаза пустые, как ничейная полоса.

— Как это нет?..

Судя по фотографии, она была женщина решительная, даже атакующая. с крупными чертами лица — пышная копна волос и некий общий вызов. «Не просто рыжая,— говорил Зайдаль.— Ты понимаешь — пламенная женщина! Жаль, что не принято фотографироваться в рост. У нее стать — литая фигура!.. Как она ходит!»

На фотографии она не казалась мне красивой, ну разве что волосы — действительно копна, да если еще представить их огненно-рыжими.. Если верить Зайдалю — а в таких делах надо верить,— это была неповторимая, невиданная женщина! (А где они, повторимые? И отсюда, из фронтовой землянки, все женщины невиданные.) Я верил. Он говорил о ней всегда по-новому, никогда не повторялся. Он говорил о ней, как говорят о женщинах чужих, далеких материков, как говорят о женщинах неведомых, загадочных островов, как, наверное, когда-то говорили о богинях. Богиня работала в Москве, в латвийском постпредстве...

Зайдаль сидел на топчане и держал в руке несколько листов, исписанных размашистым, но ровным почерком. Он никогда не читал нам писем жены, а только иногда пересказывал. Не стал читать и на этот раз. По условному семейному коду, который у них был тщательно разработан, жена сообщала ему, что это письмо последнее: ее забрасывают в Ригу (ее родной город).

Судя по времени написания письма и его содержанию, Рига в это время все еще была у немцев, а она почему-то вроде бы прощалась с Зайдалем. Что-то здесь было не так. Может быть, письмо сильно задержалось? Ведь теперь Рига освобождена — еще 13 октября! С тех пор прошло больше двух месяцев. А может быть, письмо задержалось на полевых почтах или в военной цензуре? Все это мгновенно прокручивалось в моей голове и не связывалось. А что, если она оставила это письмо кому-то на крайний случай и, когда уже все произошло, тот другой отправил его по адресу?.. Тогда это уже не письмо, а похоронка...

Но Зайдаль говорил сейчас совсем о другом. Или, вернее, у него произошел какой-то сдвиг в ощущении времени.

— Как они смеют? — спрашивал пустоту Зайдаль.— Зачем они ее туда посылают?.. Она такая заметная! У нее волосы светятся даже в темноте и видны за километр. Ее же так много людей знает в этом городе. Там ее убьют. Сразу.

Он говорил так, словно все это еще не произошло, а только могло произойти, словно сам не был офицером разведывательного батальона. Ведь для нас хождение в тыл врага было делом не простым, но нормальным. Мы всегда волновались за тех, кто уходил туда, но всегда ждали и надеялись, и часто надежды наши оправдывались. Зайдаль сам лазил в ничейную полосу, возился с моторами под самым носом у противника и по ночам вытаскивал оттуда подбитые машины. Возразить ему мне было не под силу и успокоить нечем. Я только предложил:

— Может быть, переберешься обратно?

— Нет-нет,— поспешно ответил он, тяжело поднялся, вышел и не закрыл за собой дверь (землянка выстуживается мгновенно). Он ушел не по вытоптанной тропе, а напрямик, петляя между деревьями.

Зайдаль мерил жизнь двумя измерениями — любовью и смертью. Война для него находилась где-то посередине и была промежутком. А для нас она была всей жизнью — мы еще не верили в собственную смерть и не знали, что такое любовь.

Зайдаль лежал в землянке одиннадцать дней. Вышел — его ветер качает. Осунулся, небрит, шинель не застегивается, хлястик висит на одной пуговице. Ему словно хребет перешибло. Я ждал, когда он заговорит со мной: хотел узнать, помнит ли он хотя бы, как я стрелял в его рыжую женщину. Но он молчал.

— Зайдаль, ведь мы со дня на день двинемся вперед. У тебя с машинами все в порядке? — спросил я.

— Почти... Знаешь, как только мы двинемся вперед, меня убьют, — сказал он спокойно.

— Не свисти. Впереди пол-Польша и целая Германия!

— Ты муфту сцепления где-нибудь достать не мог бы?

— Какую муфту?

— У твоего друга из Шестьдесят третьей бригады стоит разбитый бронетранспортер, у Зорьки Нерославского. Сам видел. Наверняка муфта осталась. Выменяй на что-нибудь. Мне муфта сцепления нужна. Кстати, куда это он запропастился? Не знаешь?

В окно землянки сквозь деревья пробился пылающий закат. А там, выше самых высоких деревьев, гулял поднебесный ветер, рвал и растягивал в тонкие нити облака.

Уже на пороге Зайдаль оглянулся.

— Как только мы двинем вперед, мне — крышка, — сказал он.

Т а к б ы л о.

Если считать — а я непрерывно считал — от дня освобождения города Риги, от 13 октября, прошло без малого три месяца. За эти без малого три месяца Зайдаль не получил ни строчки, ни весточки, а мы все это время стояли на одном месте, и почта работала исправно. Всему этому можно было найти только одно объяснение — е е б о л ь ш е н е т.

5

Что это он так неожиданно вспомнил о Зорьке Нерославском?

Муфту сцепления для неисправного бронетранспортера мы ему и так достали. А вот о своей любимой рыжей женщине он не заговорил ни разу.

Предновогодняя кутерьма скорачивала дни. В самый неподходящий рабочий час примчался на своем трофейном мотоцикле Нерославский, мой однокашник по военному училищу, вид у него такой, словно ему только что удалось вырваться из душегубки: глаза, как бильярдные шары в атаке, небритый, чего раньше не бывало, без головного убора, густые волосы торчат во все стороны, одежды нараспашку, даже комбинезон не застегнут от самой ширинки... И не поздоровался...

Еще в августе сорок первого на призывном пункте перед самой отправкой на погрузочную площадку ко мне подошла женщина лет за сорок, уже чуть седоватая, еще из тех, которых почти не осталось, грациозная, с особым чувством покоя и достоинства. Она назвалась Надеждой Николаевной и спросила: «А тебя как зовут?» Провела ладонью по моей щеке, и получилось это у нее очень нежно. А потом она сразу попросила познакомиться с ее сыном и позвала его: «Зорька, подойди к нам». С чуть толстоватым мягким носом, губастый, как сытый крупный кутенок хорошей породы, он поздоровался со мной, словно не руку, а лапу дал. «Вы постарайтесь не терять друг друга из виду. Мне кажется, что вы сойдетесь...» Надежда Николаевна держала нас обоих за руки. «А мы уже сошлись», — сразу сказал он вполне доброжелательно и засмеялся.

И вот мы вместе отправились на войну и собирались воевать там с лютым врагом, но пока сами еще не знали, как это делается. С того часа мы действительно надолго с ним не расставались. Нас разводило и сводило снова.

И в военном училище очутились вместе, и в танковый корпус ~~хоть~~ и порознь, а попали вместе (но это уже по стовору). Он был начальником связи батальона в танковой бригаде, и наши теперь уже боевые пути-дороги непрерывно пересекались, а как только мы выходили из боя или откатывались на отдых, на пополнение, мы тут же искали друг друга и находили. Мы никогда не задумывались, кем мы приходимся друг другу, но окружающие считали нас закадычными друзьями.

Нерославский сидел в седле тяжелого трофейного мотоцикла как-то боком и нетерпеливо ерзал.

— Ты как там будешь? — крикнул он издали.— Долго?.. Очень нужно!

Зорька привез письмо от своей жены. Мы всегда звали его так, как еще тогда, давным-давно, в Москве на сборном пункте называла его мама,— Зорька.

...Он и Соня поженились в конце сорок третьего года, когда Нерославский ездил в московскую командировку. А влюбились они друг в друга еще в школе. В холодной военной Москве она стала его женой. Правда, за три дня до этого события он чуть не женился на ее подруге. «Но это было какое-то тыловое недоразумение,— рассказывал он и сконфуженно улыбался.— Эта подруга сказала, что Соня укатила в эвакуацию, а она-де только и делает в Москве что ждет меня на предмет осуществления несбыточной мечты...» Но Сонечка почувствовала что-то неладное, или кто-то сообщил ей, она прибежала от своей двоюродной тетки, ничего не стала выяснять, взяла его за руку и увела к себе (ее родители действительно были в эвакуации).

Соня и Зорька были созданы друг для друга, как принято говорить в мечтательной молодости, и не они решали, кому за кого выходить, все это, казалось, было решено давным-давно за них и без них, а им оставалось только упасть друг другу в объятия и постараться как можно дольше не отпускать свою любовь. По крайней мере до тех пор, пока не отнимут. Они так и сделали. Они не отпускали один другого ни на минуту... Правда, по причине обоюдной невинности и совершенной неопытности первые сутки супружества Зорька и Сонечка не могли толком разобраться и определить, что же такое муж и жена в первую брачную ночь... Было много недоразумений, излишние порывы темперамента, и каждый винил только себя. А когда разобрались, то трое суток не могли оторваться друг от друга, забыли о завтраках, обедах, ужинах и, попросту говоря, не вылезали из постели (спасибо майору, помпотеху бригады, за глубинну сочувствия и проникновение в суть обстоятельств — ведь в командировке он был его прямым и единственным начальником). А вот по истечении четырех или пяти суток (тут постоянно присутствовал какой-то арифметический сбой) обнаружилось, что с мужем случилось что-то страшное... Испугались до полусмерти... Казалось, произошло непоправимое!.. Еще через сутки он очутился в кабинете знаменитого врача, приятеля его отца. Профессор быстро разобрался в симптомах внезапной болезни и назначил сокрушительное лечение: пять суток спать молодоженам порознь, и не меньше, а то на всю жизнь!.. Да-да... И обязательно принимать пищу три раза в день, желательно побольше и калорийную. «Беда-горе!.. Увы нам, увы! Мне осталось всего пять суток!..» — прошелестел муж-фронтовик. Профессор пошел на уступку и переназначил: четверо суток, но стопроцентный карантин. А когда эти проклятые четверо суток прошли точно по часам, то осталась всего одна ночь, которую они опять провели вместе до одури, до затмения, до... Вот и все, вот и вся супружеская жизнь. По часам.

Сонечка писала Зорьке: «Москва дает сразу по два, а то и по три салюта в один вечер. Так что мы уже не на все ходим». Вот тебе и раз! Знали бы они, во что обходится каждый этот московский салют!

Она ему писала, что собирается встретить новый, 1945 год в какой-то замечательной компании архитекторов на даче под Москвой.

— Запах победы! — Зорька орет и размахивает длинными руками.— Все! Все! Знаю я эти дачи с молодыми архитекторами!— Даже не орет, а беснуется, это вообще не он, это кто-то совсем другой. Это война через него прошла и изгиляется предельной пошлостью и возмутительной ревностью.

— Хватит! Перестань! — Это уже я ему. — Ну чего тут особенного? Ну встретит весело Новый год? Какого черта? Окунись головой в снег и очухайся. Тебе же потом самому стыдно будет. Опомнись, ты же из Тургеневых! Ты же потомок!

— Да, — сразу согласился он и добавил — По материнской линии. Но знаешь, что-то у меня внутри сегодня и все последнее время что-то не так... Ералаш...

Ведь это о нем говорил Зайдаль: «Воинство, вы посмотрите на Зорьку Нерославского — он среди вас отмечен избранностью. Он может быть, один среди вашего сообщества знает, что такое настоящая, вовремя выкованная любовь! Завидуйте ему черной завистью! Смотрите ему в глаза: там сверкают звезды мира. И неспроста он всегда сияет, как будто каждый день в его душе праздник. Завидуйте ему и учитесь, архаровцы».

Я поехал проводить его до развилки дороги. Он сел за руль и на первом же крутом повороте перевернул мотоцикл, да так, что меня накрыло коляской, чуть шею не свернуло, — вот оба и врезались головами в сугроб. Лежали и не смеялись, как бывало прежде. Накатывал, накатил и накрыл нас сумрак тяжелых предчувствий. В канун Нового года на плацдарме валил жесткий рассыпчатый снег.

Я бы, наверное, всего этого не рассказывал, если бы в моем представлении все это не имело прямого отношения к истории Зайдаля и его жены. С каждым новым победным днем что-то совсем новое и доселе неизвестное надвигалось на нас. Каждый день ощутимо приближал победу, и мерили мы ее километрами пройденного с боями пути. Было это невиданной радостью, несбыточным счастьем само по себе. Но это ощущение мчащегося навстречу последнего дня войны не было исчерпывающим: каждый час боя приближал не только победу, но и тот день, когда придется встретиться лицом к лицу с реальной, обыкновенной, нормальной жизнью — без войны, с мирной жизнью. А мы к ней не были готовы. Мы даже толком не знали, что это такое. Если хотите, то «бесстрашное воинство» боялось мирной жизни. Вот почему постепенно мы начинали догадываться, о какой угрозе говорил нам Зайдаль, какую мину замедленного действия он нам предрекал. Он один заставлял нас думать о будущей мирной жизни как об очередном испытании.

В новогоднюю ночь Зайдаль крепко спал. Я постоял возле его постели. Что-то неспроста в последнее время он все чаще и чаще вспоминает Нерославского. Постоял-постоял и пошел восвояси.

6

— Заменить можно все — нельзя заменить человека, — говорил он — Исчезновение близкого человека — это пропасть, проран в мироздании, его ничем не заполнить.

Напротив меня опять сидел Зайдаль.

Я насторожился и готов был слушать его.

Он заговорил, но снова не о ней.

— Мы так упорно настаиваем на счастливом будущем. Да еще каких-то там потомков называем благодарными. — Он помолчал. — Я не верю в благодарных потомков. Не знаю, какими они будут. Скорее всего совсем не такими, какими мы их себе можем представить. Нельзя жить для счастья будущих поколений! Думать о них — другое дело, проявлять заботу в том смысле, чтобы не слишком насолить им. Этого хватит! — Я молчал, а Зайдаль, казалось, и не нуждался в моих репликах — Да чем это будущее заслужило привилегии перед настоящим? Химеры какие-то. Самое толковое общество — это то, которое живет настоящим. Этим оно и служит будущему. Представь себе: живем без войны, живем совестью и правдой, совершенствуем общественное и государственное устройство, работаем с толком, отдыхаем вовремя, любим — любим! — так, как никто на свете! Ну о чем еще может мечтать человек?

Для нас дни уже летели. Набивали продовольственные землянки Лихорачно добирали упущенное — доучивались наспех Фронтовые госпитали, готовые развернуться на полную мощность, вплотную подпирали боевые части.

Через Василия Курнешова уговорили командира батальона: когда двинемся вперед, Зайдадь останется здесь с ремонтной мастерской, а догонит свою роту по з д н е е. Он подчинился безропотно.

Заветный час наступил. Горизонт на западе пылал непрерывным огнем, земля тряслась в ознобе, гудела, словно готова была вот-вот закипеть. В сумерках наш старый лес начал пустеть небольшими группами боевые машины уходили на исходные позиции. Никто не прощался, ничего друг другу не напоминали, не наказывали. Последними покидали лес штаб батальона и мой взвод. На дороге перед выходом из леса стоял Зайдадь в распахнутой шинели, его руки были чуть растопырены. Когда моя машина проходила мимо него, я вытянул руку в его сторону, и он мазнул ладонью о мою ладонь, вот и все. Зажег карманный фонарь — ладонь была в машинном масле. Высунулся из кабины, оглянулся, но сумерки размыли его очертания и там еле виднелось темное пятно.

Перед рассветом наши ударные подразделения входили в прорыв. Сжатые с двух сторон близостью врага и его огнем, рвались и рвались вперед. А в первых проблесках мы уже крушили прямо на марше немецкую саперную бригаду. Трофейными машинами, транспортерами пополняли боевые потери этой ночи. Немецкая техника была новехонькая, надежная, приспособленная и оснащенная на долгое фронтовое действие.

На следующий день после полудня нас догнал Зайдадь.

— Зачем прикатил? — официально спросил его Курнешов. — В приказе сформулировано: вам во втором эшелоне до особого распоряжения!

— Мне там нечего делать. Здесь много трофейной техники и кое-что надо наладить, — хмуро ответил Зайдадь и перешел на свой обычный мирный тон: — Я хочу в свою роту, Василий. Не надо меня затыкать в эшелоны, я все понимаю, не надо.

Он сел в новый трофейный бронетранспортер, чтобы догнать свою роту.

— Крепкая машина, — сказал он водителю Талову — мотор зверь, «Майбах». Только следи: здесь все на водяном охлаждении, перегревы — его слабость.

На марше в раздрызганной лощине между двумя холмами, где было столько дорог, сколько машин прошло, навстречу нам из-за бугра ошалело вырвался танк без башни (это все равно что бегущий пехотинец без головы!), на броне сидели несколько раненых, один, чумазый, в белой нательной рубахе, обе кисти были перевязаны, махал мне и что-то кричал. Его машина промчалась мимо, остановилась в облаке черного перегара. Остановились и мы. Побежали друг другу навстречу.

— Твоего кореша только что — наповал! — крикнул он еще издали.

— Кого?!

— Зорьку-москвича! Нерославского!

Я схватился за голову и держал ее: показалось, что падает. Посреди дороги, на виду у всех — тут, где за голову от любых вестей не хватаются.

Чумазый кинулся к своему тягачу, но сразу остановился и крикнул:

— Болванка! У разбитой церкви! Он целил в танк, промахнулся, а Зорька рядом стоял, прямое попадание в грудь — навывлет! — И он показал белыми замотанными руками на себе, что такое болванка в грудь навывлет. — Скорее, старшой! Его сейчас хоронят! У церкви! Еще успеешь...

В бронетранспортере Зайдадь спросил:

— Кого?

Я махнул водителю вперед, вперед! Машина с ревом дернулась, в падении держали друг за друга, матерились, герли ушибленные места «Все, Зорька. Нет Зорьки Нерославского. Навывлет».

Смерть Георгия Нерославского (здесь я назову его полным именем, потому что его имя — это гоже он) была не только смертью друга, но и моей собственной. По крайней мере тогда я так ее ощутил. Здесь все не так просто. В горо-

де Самаре цыганка-гадалка сказала (мне было тогда шесть лет): «Жить будешь, соколеночек, до... тридцати семи!» Это было очень много, и я ей поверил. Ей нельзя было не поверить — такая это была цыганка, и так глубоко, так нежно она на меня смотрела. И лицо у нее было удивительно узкое, удивительно длинное, а глаза переполнены непонятной тоской — словно у нее совсем недавно мальчик умер, ну, такой, как я. Сколько лиц уже стерлось в памяти и забылось, а ее лицо и весь ее облик остались и по сей день.

Раз до тридцати семи — а я это хорошо усвоил, — то уж знал точно, что на этой войне убить меня им не удастся. Кто эти «они», я не представлял себе вполне ясно, но помню, что это были не только враги по ту сторону фронта. Ведь пока ты молод, почему-то так много людей, которые обязательно хотят если не убить тебя, то хотя бы прибить до полусмерти, и все тебе же на пользу, тебе же во благо. Так вот, Зорька и я еще во время Орловско-Курской битвы вошли в сговор: я ему честно уступил ровно половину своей оставшейся неуязвимости, мне как раз исполнилось двадцать лет, остальные семнадцать лет мы поделили пополам — вышло по восемь с половиной заколдованных лет. А дальше мы не загадывали. А он за это уступил мне половину чего-то такого сугубо семейного, личного, о чем и говорить не полагалось, но надо было верить, что это самое-самое главное в его жизни. И в жизни его семьи. А значит, будет главным и в моей. Это была и игра и не игра. Это была вера в нашу общую жизненную несокрушимость. И вот восемь с половиной лет жизни взорвано и уничтожено. «Болванка... в грудь... навyleт». Но должна же быть основательная причина, если наступает конец такого значительного явления... Может быть, это он сам взорвал ее ничем не оправданной ревностью, этим чувством бессмысленного и оскорбительного присвоения, чувством, на мой взгляд, ничего общего с любовью не имеющим. В одно мгновение он уступил себя всего без остатка. Ее. И меня немножко. Зорька промахнулся. А на той войне смерть вообще не спала и не прощала нам ошибки. Вся эта система «люди — жизнь» такая хрупкая сама по себе, а мы еще ее взрывать вздумали. И все взрываем, взрываем! И еще удивляемся, что она взрывается! Я не знаю, каким образом, но Зайдаль тоже ощущал связь своей жизни с жизнью Георгия Нерославского. Если не напрямую, то, может быть, через меня.

7

Наступление разворачивалось широко, и уже в воздухе висело: на этот раз мы пройдем так далеко, как никогда раньше, и Германия будет вот тут, под ногами! Мы вырвались из вражеских тисков и начали свое долгожданное наступление. Как вздох после удушья, оперативная глубина — наша песня и погребальный звон.

Поздним вечером на фольварке Зайдаль сидел на бревенчатом свале возле сарая. Я плюхнулся рядом.

— Живой? — спросил он, не глядя в мою сторону.

— Еле-еле, — ответил я.

Он долго молчал. Потом сказал в пространство:

— С ее уходом мир кончается.

Наконец он заговорил о ней — его глаза светились, и во всей фигуре, в том, как он сидел, облокотясь на старые бревна, снова была прежняя уверенность и глубина сознания, ему присущая.

Только через много лет я понял, что он был первый и единственный в моей жизни человек, который попытался объяснить предчувствие собственной смерти. Все другие только упоминали об этом как-то туманно, как о чем-то таинственном или уже свершившемся и необъяснимом.

— Я стал рабом своих чувств к ней. Это перекокс, нарушение какого-то главного закона бытия. Даже разрушение. — И тут он обратился прямо ко мне: — Поостерегись. Ты тоже можешь стать пристрастным. Вот поэтому я и ушел от тебя. Уж лучше умереть от любви к женщине, чем от привязанности к войне. — Он немного помолчал. — Ну почему ты не сказал, что Зорьку убили? Неужели выдержка так уж важна, даже в смерти близкого друга? Я видел,

как ты схватился за голову,— думал, упадешь... Это спасительно, что ты еще можешь схватиться за голову...

А что я мог ему сказать? Что ему можно было сказать на этой развороченной дороге про Зорьку? Что болванка — в грудь — навылет? Вот я и гаркнул: «Вперед!»

Мрак наползал сырой, кромешный. Далеко впереди что-то полыхнуло на полнеба и осветило низкие облака.

— Я не зову тебя к безразличию.— Зайдадь говорил снова.— Пойми, нельзя любить войну! Жить, работать да и воевать без пристрастия — значит, работать, воевать и жить, не ожидая никакой награды вообще, не бояться никакого наказания. Это не каждому под силу. Прежде всего это значит очиститься от эгоизма. И жить. Жить...— Он уже говорил с кем-то или сам с собой или вспоминал кем-то сказанное, но вслух произносил только отдельные фразы.— Надо верить и надо надеяться, а у меня и то и другое кончилось... Служение рождается из сочувствия. Или из сострадания. Но это уже плохо, когда из сочувствия... Мы поколение прозревающих только перед смертью...

Слова, которые он произносил в темноте — так мне показалось,— складывались в объемы, фигуры и уплывали туда, где перед рассветом будет бой, туда, где в ознобе лежала притаившаяся Германия. Я сказал:

— Но нельзя же так, ведь мы живы, и сражаемся, и говорим друг с другом.

— Нет,— сразу сказал он.— Нас развеет ветер. Меня раньше... Я знаю...

На следующий день, под вечер нашу колонну атаковали с воздуха шесть «мессершмиттов». Последний раз я видел Зайдаля, когда все бежали к речушке, чтобы укрыться за ее береговым откосом, а он шел в распахнутой шинели, без фуражки и смотрел в небо — руки чуть развел по сторонам, словно повторял маневр вражеского истребителя. Смотрел в небо на падающие бомбы и, кажется, определял их склонение. Зайдадь не успел убежать ни вправо, ни влево, он даже не успел лечь на землю. Он был убит. Маленьким осколком. В спину, под левую лопатку, прямо в сердце.

Тогда, в лесу на Вислинском плацдарме, я выстрелил в нее два раза. «Где вы, с копной волос, разбросанной в закатном небе?.. Я не имел права стрелять даже в угоду спятившему другу... Вы тогда освобождали этот прибалтийский город... Хоть один из вас остался в живых?..»

Зорька пошел туда на сутки раньше, чем Зайдадь... Может быть, он прокладывает ему траверз, неведомый путь в неведомое,— ведь не зря, наверное, говорят, что совсем молодые идут в бой и умирают легче, чем обремененные семьей и более долгой жизнью. Любая гибель товарища у меня всегда вызывала чувство острой вины — словно это я его не уберег, чего-то не предусмотрел. И это осталось со мной навсегда. Но тут я не уступал Зорьку даже Зайдалю. Я не отправлял его в запредельный поиск по этому напичканному неизвестностью маршруту... Это не я... Они сами ринулись туда один за другим. Не знаю, не знаю, кому и как легче умирать... Наверное, легче тому, кто уже пробовал... Одна надежда, что они сейчас летят недалеко друг от друга, надеюсь, в одном направлении, и, может быть, там им не будет скучно... Их нет. И здесь не будет, по крайней мере для меня... Никогда... Сколько их сейчас летит туда... Там уже теснее тесного... Там уже куда теснее, чем здесь... Из двенадцати основоположников нашего содружества осталось двое.

Так было. Он говорил:

— А ведь если есть высший смысл у жизни, то он и есть сама жизнь — вселенная, осознающая и чувствующая самое себя. А если есть смысл жизни — каждого человека, ну, вроде тебя и меня,— то он в реализации каждого на своем месте, в его нужности, необходимости. Без возможности реализоваться предельно жизнь теряет смысл — она становится пустозвучной, слепой... Только с войной мы почувствовали осязаемо, что понадобились по-настоящему, и не только все вместе, но и каждый в отдельности. Вот почему вы все так

держитесь за свой батальон, роту, взвод — «нужен! я нужен! нужен всем и каждому! я нужен!..». Не верь мне, когда я маню тебя в будущее своими новыми чудо-автомобилями,— все это не то и не так. Автомобили и без нас сде-лают. Любые. Мы нужны для того, чтобы люди не забывали цену жизни и це-ну смерти.

VII. ЗАКОЛДОВАННЫЙ ВЗВОД

1

Все началось с выстрела. Вернее, не с выстрела, а с короткой автоматной очереди. Я стоял на подножке крытого трофейного «опеля» — это мощная гру-зовая машина с передними и задними ведущими колесами, да еще с кузовом-фургоном, в котором мы установили новую радиостанцию. Досталась машина нам чудом, в бою, новенькая и целехонькая. А не отобрали ее у нас потому, что мы умудрились сначала хорошо упрятать ее, потом очень быстро оборудо-вать (втайне от всех!) и только потом уже показали командиру батальона и зампотеху.

Катил по дороге наш взвод — небольшая, да ладная колонна, и все маши-ны под кличками. Гусенично-колесный бронетранспортер — конечно, тоже не-мецкий! — был оснащен пулеметами на все четыре стороны (истинный вездеход — по мокрой пашне шел как посуху), «бах» назывался в честь мотора фью-мы «Майбах», а не в честь великого композитора. Следом двигались четыре мо-тоцикла с колясками (остальные были в разгоне). Замыкал колонну наш родной колченогий бронеевтомобиль «БА-64» под всем известной кличкой «бобик» (с танковым пулеметом в башне).

Обычно во главе колонны должен был идти «бах» с пулеметами, символ немецкой изобретательности и нашей несокрушимости,— пусть хоть он нас ох-раняет, если больше некому. Но в тот момент охрана была не нужна, потому что какая-то чужая механизированная колонна маячила впереди. Наверное, наш правый сосед перепутал дорогу и никак не мог понять, отчего это он оказался впереди всех. Словом, во главе нашего взвода катил «опель». Я стоял на пра-вой подножке с желтым флагом в руке. Желтый квадратный лоскут на короткой палочке означал «уступи дорогу! разведка!» Нам предстояло обогнать эту длин-ную чужую колонну, а обгон на фронтовых дорогах всегда дело хлопотное и небезопасное.

Нам необходимо было как можно быстрее уйти вперед. У нас задание на разведку маршрута в оперативной глубине — в тылу хоть и сильно сотрясенного и потрепанного, но противника. А замыкающая машина соседей с маленьким красным флажочком на хвосте, крытая полуторка, никак не желала подчинять-ся нашему сигналу.

Второй и третий раз я отмахивал полуторке — не уступает. Да еще из крытого фанеры кузова довольно подозрительный тип в шапке-ушанке, сдви-нутой на левый глаз, грозит автоматом, и морда такая, что ее и оглоблей не исправишь,— ну кого еще поставят охранять хвост колонны от обгонов? Самых ответных!

Опять отмахиваю флагом... Опять грозит мне, будто не понимает.

Кричу. Или не слышит, или прикидывается. Гонор на гонор, коса на ка-мень напоролась.

Наша машина рывком пошла на обгон, солдат в крытом кузове передернул затвор автомата, что-то крикнул, оскалил зубы и всадил короткую очередь в каменистую разбитую дорогу — дорога ответила пылью и искрами. Рикошет пришелся мне в лицо, осколок угодил в правую щеку. Я прижал свой флажок к лицу — желтый лоскут окрасился кровью. Мои ребята сразу ошетинились, автоматчика взяли на мушку, два мотоцикла промчались вперед, из колясок проорали что-то угрожающее. Наш «опель» с ревом рванулся, сразу обогнал по-луторку, прижал ее к обочине, чуть не загнал в кювет и заставил остановиться. Я еще толком не сообразил, что будем делать дальше, а мои уже медленно сжимали кольцо вокруг кузова злополучной полуторки. Медленно, потому что охранитель хвоста колонны в любой момент мог снова выстрелить, даже себе во вред, а другому и подавно — у него внешность была такая, осатанелая.

В кузове был еще один солдат, но он в конфликт не ввязывался, давал понять, что держит нейтралитет. Когда автоматчик обнаружил, что разведчики, почти не передвигая ногами, подобрались к нему совсем близко, он выкатил глаза и завопил, как загнанный зверь:

— Я-а-а не в него-о-о! Я-а в него-о-о не-е-е стрыля-ял!.. Я-а-а в зе-е-е-млю стрыля-ял! — Шапка съехала на затылок, лицо оказалось не такое уж грозное, а скорее растерянное (а кому это хочется вот так, за здорово живешь, чтобы тебе морду начистили, да еще неизвестно по какому разряду).

— А земля-то каменная,— наставительно бормотал сержант Маркин и по борту машины подбирался к автоматчику.

— Каменная,— попытался согласиться с ним автоматчик.

— Зачем же стрелять в нее?

— А за обгон колонны по приказу знаешь что полагается?!

— Знаю. Но не расстрел же. Приказ не для машин под желтым флагом.— Маркин продолжал приближаться к нему по бортовому выступу.

Остальные тоже сантиметр за сантиметром уворовывали у пространства, отделяющего их от перепуганного охранника. А он явно скисал.

— Ведь ты мог его убить... Ведь ты мог его убить...— твердил Маркин и неотвратно приближался к автоматчику.

— Буду стрелять! Не подходи-и-и!! — завопил тот.

— Ты будешь, ты обязательно будешь.. Потому что ты.. дурак! — В прыжке он ребром ладони вышиб из автомата диск (отработанный прием, в нем заняты обе руки), а головой угодил в подбородок усердному солдату.

Тот улетел в темноту кузова. Маркин нырнул за ним — в его руке блеснул трофейный парабеллум. Я только успел крикнуть:

— Маркин!

Через несколько секунд сержант появился в фанерном проеме.

— А чего Маркин?.. — Он легко спрыгнул на дорогу.— Поехали.— И крикнул в кузов: — Вон тут лужа хорошая, умойся, тюря! Диск не забудь! — Он поднял с земли диск автомата, обтер его и положил подальше от полуторки на обочину дороги.

Сколько я ни старался, у меня не получалось, чтобы одной рукой отжать защелку и в это же мгновение ребром ладони вышибить диск, плечом ствол отвести вверх (одна-то пуля в канале ствола может оказаться), а головой — в подбородок, да так еще, чтобы себе голову не разбить. Мало у кого получалось.

А ссадину на щеке никак не затягивало, желтый флаг был уже не желтый, и носовой платок тоже весь в крови. Перевязывать всю голову из-за пустякового ранения в щеку не хотелось — только людей пугать,— легче было пождать.

Сержант Маркин воевал легко и, казалось, бездумно — вроде бы легко для себя и к противнику люто.

— Вы меня, товарищ старший лейтенант,— просил он,— к этому ордену не представляйте, его мне не надо.

— Ордена не выбирают.

— А я не выбираю. Я что говорю? Только Славу всех трех степеней. Если до Славы не добрал — как считаете? — то лучше бы подождать, чтоб не разминивать. А?..

Когда я однажды упрекнул его в излишней жестокости к пленным, Маркин сразу ответил:

— Они для меня не пленные. Я убиваю тех, кто в меня стреляет. Я так считаю: ты меня убить хотел, старался, целился, да промахнулся — полезай сам туда!

— Но ведь он тебе уже сдается. Руки поднимает.

— А пусть не поднимает. Я его не просил. Поздно!.. А если бы не промахнулся? Я бы уже чик-брык — и тама? Не-ет! Вот ваш мясник, например: да, отправил я его на тот свет. Но смешно! Он же, рожа, три раза по вас врезал прицельно, если бы вы не петляли, не ныряли, он бы обязательно снял вас. Точно! А в последний момент руки задирает — какой он пленный? Руки поднял, а сзади за поясом штык заткнут — я же сбоку вижу! Вы его станете ощу-

пывать — он вас этим штыком в шею! Так что вы на меня зря — это мой лозунг: кто кого!

Орден и медалей у него хватало, и ко всему Слава третьей степени уже была, а ко второй степени он уже был представлен.

Обогнали колонну, мчимся дальше. Соседи, наверное, обнаружили ошибку, свернули по полевой дороге направо и стали скрываться за перелеском. Вот и знакомая полуторка с флажочком укатила туда же.

Впереди — никого, сзади в обозримом пространстве — тоже никого. «Бах» стал выдвигаться вперед, я пересел туда. Мотоциклисты обогнали радииную машину, как бы прикрыли ее, замыкал колонну «бобик» с пулеметом — все сбавили ход и взяли боевые дистанции.

Нет, все же, наверное, не с этого выстрела, не с этой автоматной очереди все началось. Раньше началось.

...Перед выходом на разведку маршрута прибежал из штаба Василий Курнешов весь в мыле, злой:

— Возьми Верочку в крытую машину!

— Перекрестись, Вася! Убитых в разведку не берут. Вот оттуда — совсем другое...

— Ну не в грузовой же ее везти с бочками и ящиками! Раздавит!

— В свою штабную возьми.

— Там только стоя поместится.

— А в хозяйственную?

— Врач орет, не разрешает вместе с продуктами.

— У-у-у, чтоб вам всем!.. А санитарная где?

— Да ты посмотри на эту колымагу. Я не знаю, как ее с места сдвинуть — у нее весь передок выворочен!

Верочку убило часа за три до нашего выхода — она обед почти приготовила. Вражеский снаряд разорвался, и ее осколком в затылок. Доваривали уже без нее... Такая маленькая, пухленькая Верочка... Ее не хоронили, все ждали, что Колька Оноприенко из мотоциклетной разведки вернется. Дождались! Приказ — вперед! И теперь мечутся, не знают, как везти убитую.

— Но не в передовом же дозоре!

— А где? Скажи, где?

Вот и приторочили Верочку ремнями к широкой лежанке (а в общем-то, к крышке багажного ящика), чтобы не перекатывалась, не упала. Дожили — убитая еще в полдень девочка катит впереди передовых боевых частей и ждет, когда ее хоронить будут. А ее возлюбленный болтается в мотоциклетной разведке где-то у соседа слева и ничего пока не знает — радиостанцию включить ленится или боится, что засекут.

Может быть, вот с этого все и началось?

2

Нет, пожалуй, не с этого, а еще раньше.

Бывает же! Вот не везет, не везет человеку на войне и вдруг начинает везти так, что дух захватывает. Даже страшно становится. Постепенно ком случайностей растет, из него уже складываются какие-то неблицы и даже легенды. При напряженной работе не было потерь в моем взводе. И все. Не то чтобы совсем не было, а давно не было. И о том стали поговаривать вслух, что уж и вовсе никуда не годится. Думать можно что угодно, но говорить вслух — не надо. Каждый знает — нельзя.

Как-то на лесной тропинке меня подкараулил солдат с перевязанной шеей.

— Это не ранение, это фурункулы. Уже проходят, — проговорил он смущенно и попросил разрешения обратиться с просьбой. Неожиданно прижал руки к груди и сказал: — Возьмите в свой взвод! Очень прошу. Обещаю не щадить себя, буду ходить на задания хоть всякую ночь, лишь бы быть в вашем взводе.

Я растерялся:

— Ведь командир вашей роты мой товарищ. Как же я буду...

Солдат не просил, а упрасивал:

— Будьте добры!.. Будьте милосердны!

— У вас что, неприятности какие-нибудь? Отношения?

— Нет-нет, тут все в порядке. Я уговорю капитана, сам уговорю. Вы только не отказывайте. — Солдат тяжело двигал перевязанной шеей.

Я знал, что солдат этот на хорошем счету: он имел боевые награды, благодарности — и вдруг это «будьте милосердны!».

— Чего вам дался мой взвод?

— Он, известное дело, заколдованный... — Неловкая улыбка повела его лицо, он вроде бы извинялся. — Т р о е. Трое у меня детишек. Там.

Значит, семейный. Их у нас называли женатиками.

Слово «заколдованный» было сказано, и ничего хорошего это не предвещало.

Может быть, вот так все это и началось? Может быть. Но разговоры разговорами, а сейчас мы были на задании, катили по ровной мягкой дороге и вертели головами во все стороны, чтобы не проморгать противника.

В просвеченном вечерним солнцем подлеске мы напоролись на небольшую группу противника. Остановить нас они не пытались — перебежали дорогу, должно быть, уходили из-под удара нашего правого соседа, а может быть, просто спешили укрыться в лесу. Но мы их заметили вовремя, ни одна машина даже не притормозила и не прибавила скорости. Летели сучья, ветки, вскидывались земляные фонтанчики, падал подкошенный березнячок и прикрывал убитых. Не меньше четырех пулеметов работало одновременно как один — страх и смерть летели над землей, и невозможно от них было укрыться. Ни один из них не смог даже гранату кинуть, разве что только успевал замахнуться, кидали наши. Это было какое-то боевое чудо, словно идеально сыгранная огневая команда, упоенная боем и везением! Вот так научил нас воевать враг, и мы оказались неплохими учениками. Было такое впечатление, что не ушел ни один из них — все, кто попал в поле зрения, были сметены и лежали в самых безнадёжных позах. Расчихвостили их меньше чем за минуту. И рассказать никому нельзя — скажут, бахвалится.

А у нас только одна пробойна в кузове машины да пара зазубрин на броне транспортера. Тут, наверное, «бах» их подвел, они подумали — свой, немецкий. Оказался немецкий, да не свой.

— Все целы? Царапин нет?

— Целы-то целы, да командир весь в кровях!

И еще смеются, черти. Правда, ссадина у меня на щеке так и не запеклась, все еще сочилась.

— Как там женатик?

Ответил мотоциклист Пушкарев:

— В полном порядке. Стреляет и не дрейфит. Попадает.

Наш женатик сидел в башне бронемшины. Он вел огонь из пулемета, отсек противника от дороги и пришелся им почти что с фланга, а потом развернул башню на сто восемьдесят градусов и зачистил хвосты нашей колонны (мы же не могли стрелять через его голову). Короче говоря, для своего первого боя во взводе он показал себя.

Чем хорош настоящий бой, так это только тем, что человек раскрывается в нем за считанные секунды. Весь тут как на ладони. Мало кому удавалось притвориться в бою храбрым, трусом притвориться куда легче.

Мы передали радиogramму о стычке и предупредили, что возможны встречи с отдельными группами отступающего противника.

Э-э нет, что бы там ни говорили про нас, это все ерунда. Взвод умеет воевать. Научились. Оттого и вся наша заколдованность.

Машины снова уверенно двигались по грунтовой дороге.

«Будьте добры! Будьте милосердны!» — на войне стесняются таких слов. На войне так не говорят. Но тогда, в лесу, женатик произнес их, и они не пролетели мимо моих ушей — они плотно засели в памяти и накрепко связались с его обликом.

3

На карте была обозначена развилка — дорога раздваивалась наподобие рогатки, обе лесные дороги там где-то, перед самым въездом в селение, сходились опять. Проехать можно было бы и по той и по другой В штабе, когда прокладывали маршрут, как-то не обратили на это внимания — уточнения не было, и я мог принять решение сам Наш транспортер взял чуть правее, перекатил через деревянный мостик... Общий вопль раздался в бронированном кузове Водитель ударил по тормозам, все вскрикнули еще раз, а я чуть не раскрыл башку о рукоятку переднего щитка. Впереди метрах в десяти через дорогу спокойно шла черная-пречерная кошка. Дойдя до середины дороги, она повернула маленькую голову в нашу сторону и посмотрела долгим мерцающим взглядом, даже шага не прибавила. Я обернулся и не узнал лиц своих лихих и бестрашных гвардейцев Это были знакомые, но сильно оплывшие и смущенные лица, а в их глазах почти у всех метался ни с чем не сравнимый мутный суеверный страх. Я догадался, что у меня сейчас выражение лица мало чем отличается от общего, а потому, наверное, не вполне уверенно поднял руку с зажатым в кулаке платком, чтобы махнуть: вперед, мол! В кузове загудели, загворили полусушутливо, а в общем-то, всерьез:

— Ну зачем?.. Зачем испытывать?.. — И все это через несколько минут после такой лихой схватки.

Действительно, кошка на фронтовой дороге — это большая редкость. кошки заранее уходили с мест боев. а кошка в десяти—пятнадцати километрах от населенного пункта — это невидаль, да еще так странно поглядела на всех нас Да еще такая черная. Чуть назад, чуть левее шла в ту же сторону. в то же селение такая же лесная, такая же извилистая дорога — ну какая разница?

— Вот я, например, хоть три раза сейчас туда и обратно! — не то шутил, не то хорохорился сержант Маркин.

— Помолчал бы! — осадил его старший сержант Бабаев

— Правильно. Лучше не испытывать. Правда? А? — хитрил, балагурил и уговаривал меня Маркин.

А я поддавался: «В конце концов, ну какая разница — по правой или по левой дороге? Ведь даже нет нарушения приказа».

Почти весь взвод, одни с суеливой готовностью. другие с показным безразличием, оттащил все три машины назад за развилку. Только мотоциклисты сами легко развернулись почти на месте и ждали нас уже на левой дороге Я сказал «почти весь взвод» потому, что радиомастер Лапин в этой суете не участвовал. Он остался сидеть в башне «бобика», и его худая сутулая фигура чуть виднелась рядом с пулеметом за срезом броневого щитка. А его сосед и напарник — женатик, он-то и был назначен командиром бронемшины, а значит, и пулеметчиком — распорядился на дороге и уже помогал «опелю» сдать назад. Я поглядывал по сторонам, а сам пытался определить, куда же это скрылось домашнее животное черного цвета По радиции передали, что продолжаем движение по левой дороге. но квитанцию (ответ) не получили. По-видимому, они уже были в движении На всякий случай мы поставили на дороге указку, что тут мы свернули, и поехали по этой левой дороге.

Наверное, все-таки все началось не с этого дурацкого выстрела на дороге, и не с Верочки, и не с просьбы женатика перейти в наш взвод, и не с заколдованности, в конце концов! Все началось (во всяком случае, все нелады) с черной кошки.

4

На левой, наверное предназначенной специально для везучих, дороге взвод снова напоролся на противника. В какое-то мгновение показалось, что это были те же самые фрицы, которых мы совсем недавно расчихвостили возле подлеска. Только теперь противник наш был тот, да не тот. Да и взвод был почему-то не тот — не такой готовый, не такой уж ладный. Да и командир взвода, понял я потом, оказался не таким уж сообразительным и быстрым.

Вражеский заслон открытого боя не принимал, а все время отходил и отстреливался. Они явно хотели нас подзадержать, чтобы дать возможность своим как-то управиться с ситуацией или с наименьшими потерями отступить.

Все в этой схватке было вроде бы как надо и вместе с тем как-то не так: и противника по-настоящему-то упустили, и притормозили, и заерзали вправо-влево; ладно «опель» сдал назад — но, глядя на него, и «бобик» не в ту сторону наступать начал, попросту говоря, попятился, да и мотоциклисты были не на высоте. Вскоре, правда, подсобрались, очухались, из пулеметов как следует прострочили обе стороны дороги. Тут старший сержант Бабаев сам вызвался возглавить первую группу и проверить поглубже левую сторону леса (более опасную, потому что туда откатывался противник), а меня просил держаться правой стороны дороги (разумеется, менее опасной), в это время «бах» будет контролировать саму дорогу. Я не разрешил ему углубляться в лес более чем на двести пятьдесят—триста метров. После гибели Нюры он без малейшего намека на показуху начал сам лезть в горячие места (что раньше ему не было свойственно). Удерживать в таком случае вроде не полагалось, но я отметил эту новость в его поведении и стал понемногу осаживать его. Это очень важно, чтобы в момент, когда осмотрительность покидает тебя, нашелся бы рядом кто-нибудь и попрдержал: «Не очень-то лезь!»

Стали передавать радиogramму, а ее там, в батальоне, никто не принимал. Может быть, и с ними уже что-нибудь стряслось?..

Перестрелка затихала, удалялась. Я дал сигнал: медленно продвигаться вперед, неослабное внимание по сторонам! Лес он и есть лес. И когда показались, что и эта заваруха кончилась, ко мне подошел радиомастер Лапин (он случайно попал в разведку, ему следовало двигаться в штабном автобусе, но и ему там не хватило места) Лапин не спеша сообщил:

— Товарищ старший лейтенант, женатика, кажется, убили.

— Как это — кажется?! — Размазанное «кажется» словно издевалось над жестким и определенным «убили».

— Сами посмотрели бы,— вяло предложил радиомастер.

Подбежали старший сержант Бабаев, Маркин, мотоциклисты, в руке у Маркина был его новенький парабеллум.

— Фашист на дереве сидел. Это он выстрелил. Сверху.— Маркин показал дулом пистолета на черное, старое, разлапистое дерево с обломанной макушкой.

— А вы задрать голову вверх пораньше не могли?

— Вот он задрал.— Маркин указал на Бабаева.

— Где тот, что сидел на дереве?

— Старший сержант снайпера кокнул.— ответил мотоциклист Пушкарев, в левой руке он держал немецкую винтовку с оптическим прицелом

Бабаев полез в карман и протянул мне документы убитого немца. Мы выставили охранение, а сами пошли к бронемашине. «Бобик» довольно сильно отстал от нас или успел откатиться. Там в башне сидел убитый женатик. Ведь упасть в башне некуда.

— А ты где в это время был? — спросил я радиомастера неизвестно зачем.

— Где был? Рядом сидел...

Я снова посмотрел на могучее черное, разбитое молнией дерево — оттуда фашист мог пристрелить каждого из нас (ну кроме водителей-механиков, которые и сверху были укрыты броней) Почему он выбрал его? Последнего, из хвостовой машины. Вероятнее всего принял за командира.

— Отнесите его в машину к Верочке. И привяжите покрепче.

— Ремней больше нет,— сказал Бабаев и тихо пробурчал:— Не надо было его к нам брать. Придется веревками? — спросил он.

Я кивнул.

Бронетранспортер и два мотоцикла ушли вперед. Убитого на плащ-палатке перенесли в крытую машину, уложили там на второй ящик и привязали. Старший сержант Бабаев и Маркин остались в кузове этой машины. Вперед пошли два мотоцикла, сзади бронемашина с радиомастером и новым пулеметчиком Пушкаревым, назначенным из мотоциклистов. Мы снова двигались по лесной кривизной дороге, а меня разбирала какая-то маета.

Как бы ни старался человек, смерть все равно его догонит, если она это задумала. Я обвиняю себя в том, что поддался на твои уговоры и взял в свой взвод. В том, что добровольно взвалил на себя ответственность за твою жизнь. В том, что позволил тебе поверить в эту заколдованность и, хоть на миг, поверил в нее сам. И еще одного я не могу себе простить — это веры в то, что со смертью можно как-то сговориться или хотя бы заключить с ней временное соглашение.

И задание-то было самое обычное: марш от фольварка (по отношению хорошей дороге, через лесной массив, километров восемнадцать — двадцать) к промежуточному пункту сосредоточения. Но все было не так гладко, как могло бы показаться сначала. Еще перед выездом на задание люди курили, жевали, слонялись. Старший сержант Бабаев умывался. Ему поливал из котелка сержант Маркин — они обычно были поблизости друг от друга: учились вместе в радишколе на Урале, вместе пришли воевать, Саша Бабаев был только немного постарше.

Все мылись по вечерам (во всяком случае, после обеда). Странное суеверие прочно внедрилось в рассудок: умоешься утром — убьют. А на ночь глядя можно. Никто не умывался по утрам. Вот Верочка умылась сегодня утром, а перед обедом ее напавал.

Надо поскорее забрать живых оттуда, из кузова, и пересадить. Куда?.. Маркина в мотоцикл — место есть, а Саша Бабаев пересядет вместе со мной в транспорт. Тогда радистка Раиса Васильевна съедет сюда, в кабину водителя. Саше Бабаеву вообще сейчас там находиться не следует. Зачем он остался там?.. Вот странное дело: в последнее время (да, после гибели Нюры) Бабаев стал носить ордена на внутренней стороне гимнастерки, винтами наружу. Когда его спросили: «Что за маскарад?» — тихо ответил: «Впиваются». И при выходе на задание, когда разведчики вместе с документами сдавали ордена, он сдавал их вместе с гимнастеркой, укутывал в сверток, а сам надевал другую. Адъютант штаба ворчал: «У меня сейф, а не вещевого склад», — но от Бабаева принимал.

5

Сзади раздался сухой пистолетный выстрел.

— Стоп!

Я выскочил на дорогу с убеждением — произошло что-то непоправимое. Остановились мотоциклы. Остановилась бронемашина. Показалось, сами собой заглохли моторы.

— Кто стрелял? — спросил я, но получилось очень громко.

На лицах мотоциклистов и высунувшихся из башни Пушкарева и Лапина было что-то от того выражения, которое было на их лицах там, у мостика, когда кошка переходила дорогу. Автоматчик стоял в коляске мотоцикла словно памятник и показывал рукой на дверь машины. Я обернулся и заглянул в фургон. Маркин с пистолетом в руке торчал в проходе и смотрел себе под ноги, а радистка раскачивалась и мычала, будто ее ударили по голове. На спине головой к двери лежал Саша Бабаев — да-да-да, убит! Никаких «кажется»!.. Маркин протягивал мне парабеллум как сдавался. Пуля вошла Саше в лоб меж глаз навывлет.

Словно что-то застряло в глотке:

— К-кххх-то его?..

Маркин встряхивал руками.

— Кхх-то его?.. — спросил радистку, но она тоже ничего произнести не могла.

Кое-как с трудом разобрались, но от этого легче не стало. Как только тронулись после гибели женатика, старший сержант приказал Маркину разрядить парабеллум или, по крайней мере, поставить его на предохранитель. Маркин не послушался и ответил ему какой-то дерзостью. Саша схватил пистолет, рука соскользнула на дуло, тут он, видимо, дернул пистолет на себя, или машину сильно качнуло, а палец Маркина лежал на спусковом крючке... Саша был убит. Безумие нельзя объяснить, покаянно просить прощения не у кого.

Сашу Бабаева заворачивали в плащ-палатку. Маркин шепотом просил разрешения пересест в другую машину или в мотоцикл — он потерял голос.

— Ехать здесь. Его держать надо!

Веревоч больше не было, ремней тоже.

Мне всегда казалось, что живые как-то сами управятся, а мертвым очень больно. Мне казалось, что им обязательно надо помогать... Сашу Бабаева, завернутого и укрытого, оставили лежать на полу головой к двери. С мертвыми в машине остались радистка и Маркин. Я снова пересел в бронетранспортер, и мы тронулись вперед уже в темноте.

Разгулялась смертица — не остановить. Это она нам приваривает за заколдованность, за женатика, за черную кошку. Отступает, когда ей выгодно, когда выгодно — наступает. Это ее тактика.

Только смерть — она не одна. Их две, и они разные. Мы видим, как беснуется и бесчинствует та, что наживается на войне, наливается жиром, упивается, радуется человеческим страданиям. Но есть и другая — нормальная и достойная. Не надо их путать. Она появляется редко и посещает только тех, кто думал о ней, радел и заботился о жизни. Она, другая, идет вместе с жизнью и являет собой ее продолжение. В ней есть великий покой и безмерное благородство. Они разные — они даже не сестры, их даже одними и теми же буквами обозначать не следовало бы. Были моменты, когда я звал ее — вторую и главную. И если она не шла, значит, так надо было кому-то. А я хотел только одного, и больше всего на свете: пока идет война и пока я жив, ни единого, ни пол-единого, ни хорошего, ни плохого не отдать смертям без отчаянной борьбы.

А вот тут всех нас прорезало. Насквозь...

Дорога в лесу становилась все хуже и хуже, заюлила, запетляла. Слева открывался крутой залесенный обрыв. Опасное место. Я пошел вперед щупать дорогу ногами. Водитель «баха» уже еле различал впереди идущую фигуру, и еле заметным лучом фонаря я мигал ему: дескать, вперед, можно... Остальные машины застряли где-то позади. Пришлось возвращаться.

Мы вернулись назад и увидели, что большая радиийная машина с тремя убитыми и тремя живыми сорвалась колесами с дороги и свалилась бы в обрыв, если бы не могучая кривая береза, за которую зацепился фургон. Водитель каким-то чудом выбрался из кабины и выпрыгнул на дорогу, остальные висели там, внутри кузова. Обрыв в темноте казался бездонным, «опель» покачивался, упираясь в березу, как игрушечный.

Крикнул, чтобы они там лежали и не двигались. Подогнали транспортер, размотали тросы, рубили ваги, упирали, подкладывали, закрепляли. И все это, как привидения, как автоматы:

— За ногу... Дай руку... Не с этой, с той стороны... Держи... Тащи, а то упаду... Вяжи... Ставь клин... Есть!.. Крепи... Готово... Куда ты ее толкаешь, рожка?.. Куда?.. Не видишь?.. Не вижу...

Все кончается на этом свете — простейшие чувства тоже. Силы тоже кончаются. Приходится поверх возможностей. Вот так закрепили, подперли «опель», и он уже не качался.

Потом со всеми предосторожностями извлекли из кузова сначала радистку. Потом Маркина. Оба были изрядно побиты. А там уж по всем правилам трелевки стали подтягивать на тросах машину. По сантиметру, по два. И каждый раз снова крепежка. Работали все до одного — и те, кто только что был извлечен из кузова, тоже. На всякое «не могу» один ответ: «Отдыхают знаешь где? Тащи». По сантиметру, по два... Не приведи господь, если колеса еще раз скользнут! Два раза подряд невиданного везения не бывает, ухнет машина в бездну... Без малого через час поставили этот катафалк на дорогу. Люди уже ничего не могли делать сами. Они ждали.

— По местам.

Радистку подсаживали в кузов двое. Маркин вслед за ней стал забираться в фургон. А я забыл, что хотел их оттуда пересадить. Не то что скомандовать, я просто попросить никого ни о чем уже не мог. Сел в бронетранспортер и что-то пробурчал водителю. Тот догадался и рванул вперед.

И снова дорога. Казалось, встань сейчас на нашем пути хоть самый плевый противник — он возьмет нас голыми руками: не то что на пустынную защиту,

на отступление, казалось, мы не были способны. Немедленно надо было что-то сделать. Но сил не было. Внутри была черная пропасть, как там, под кривой березой. Нельзя так! Нам же еще воевать!

Забрезжил рассвет. Мелкий дождь забарабанил по брезентам, загудел по броне. И сразу юзы, заносы вправо-влево — лесная склизота. Завыли моторы на пробуксовках, на корневницах и колдобинах машины кидало из стороны в сторону, ругались водители, ругали водителей — всем казалось, что убитым больно. Мама-а, что за проклятье такое! Мы же не пересекли путь той черной кошке! Куда она так уверенно и спокойно шла? Откуда? Зачем? Зачем нам такая заколдованность?

Моторы выли на пробуксовках, как будто их били батогами.

6

В селении в рассветном тумане (или это уже наступило пасмурное утро?) выползали из машин, разминали затекшие ноги, разламывали одеревеневшие спины. В мозгу плавало чувство неистребимой вины за все, что произошло вечером, прошлой ночью и еще раньше... У каждой гибели есть своя предыстория и первопричина, сваливать только на нелепости и случайности войны нечестно.

Спросил у квартирьера: «Где комбат?» — тот указал на кирпичный дом со старинным, литым из чугуна крыльцом и железным навесом.

Часовой у штаба не узнал меня:

— Стой! Пароль-пропуск! — И взял автомат наизготовку.

— Ты что, Сивцов? В своем? — я еле выговорил.

Он вроде бы извинился, но так неуверенно, что трудно было понять, что он сделает в следующую секунду. Я стал подниматься по ступенькам. Поскользнулся и чуть не упал — спасибо чугунные перила оказались надежными.

В просторной, почти пустой комнате сидели командир батальона гвардии майор Беклемишев и начальник штаба капитан Старостин.

— Где это вы запропались, старший лейтенант? — вяло и буднично спросил комбат.

Я рассказал все как было — не пропустил ничего, не искал даже самых малых оправданий. Мне казалось, что за такой вечер, за такую ночь, за черную кошку мне любое наказание будет нормой. А Маркину на всю катушку «за преступную халатность в обращении с боевым оружием».

Комбат прислонился к оконному наличнику и сверлил меня своим страдающим взглядом. Его большая круглая бритая голова была четко видна в сером проеме окна.

— Ты знаешь, что все машины по правой дороге прошли сюда свободно? Ни одного выстрела, ни одного шороха, — проговорил Старостин. — Мы думали, ты вперед проскочил.

— Я тоже думал, проскочил... Не проскочил, — ответил я.

Начштаба хмыкнул и переглянулся с комбатом. Майор долго смотрел на меня и потом спросил:

— В зеркало заглядывали?

— В какое зеркало? — Я ничего не понял.

— Ну вот в такое. — Он рукой указал направление. — Взгляните.

На стене в старой раме висело зеркало — как картина, с большим наклоном. Ну раз майор приказал, я подошел. Заглянул. Замызганный меховой жилет, стянутаый ремнями, на голове мокрая большая шапка-ушанка. Из глубины зеркала на меня уставился распухший тип с темно-серым оплывшим лицом и бурым шрамом на правой... на левой... нет, на правой щеке. Тип годился мне в отцы. Комната, майор и Старостин куда-то медленно уплывали.

— Выпей! — услышал я за спиной надтреснутый голос капитана Старостина.

Обернулся. На столе стоял граненый стакан. Взял стакан и выпил, потом спросил:

— А теперь что?

Майор приблизился почти вплотную и проговорил четко и громко, видимо, не вполне надеясь, что я его пойму:

— А теперь идите спать. Немедленно спать! — приказал он. — Через полтора... нет, через два часа придете сюда. Есть дело. Хоронить будете потом. Вы меня поняли? — Он говорил со мной как с глухим.

— Да.

— Повторите приказание.

Я повторил.

— Могилу приготовят без вас. Идите.

Повернулся и направился к выходу. Переступил порог и плотно прикрыл за собой дверь.

Стараясь как можно тверже ставить ноги на скользкую, словно намыленную землю, я вроде бы шел по улице. В башке стояла болезненная пустота, как бывает от страшного голода. Но есть не хотелось. Надо успеть, обязательно успеть здесь похоронить Сашу Бабаева, Верочку и женатика. Пустота. Но в этой пустоте постепенно начали пульсировать какие-то слова. Как будто пустота начала говорить и я услышал ее: «Эй ты! Слушай меня. (Пустота обращалась ко мне.) Через два часа ты проснешься — тридцать минут на похороны, с почестями, с салютом! Памятник будут делать другие, потом. И ты должен — слышишь? — снова стать командиром заколдованного взвода. Для тех, что пойдут за тобой, ты опять должен стать неуязвимым! Потому что твоя неуязвимость им очень нужна. Это их неуязвимость. Это их жизнь. И они должны в это верить. Ведь все это катится к концу. К победе. И сделать каждый новый шаг будет все труднее и труднее». А куда делся Маркин?.. Найти. Немедленно. Вот прямо сейчас найти и заставить его лечь спать. На полтора... нет, на два часа! Он пойдет со мной... Майор сказал: «Есть дело...»



ПУБЛИЦИСТИКА

МИХАИЛ ЦЕРБАЧЕНКО



ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Плохую книгу можно захлопнуть. От плохой картины — отвернуться. С плохого концерта — уйти. Но есть искусство, которое воздействует на людей постоянно и независимо от их желания. Это архитектура.

Каноническая формула гласит: «Архитектура — организация пространства» (а не проектирование домов или прокладка улиц, добавим от себя). Но что такое организация пространства как не организация жизни людей в его границах?

Если понять профессию зодчего так, а именно так и нужно понимать, сразу становится ясно, что три измерения, которыми пользуется архитектор, — длина, ширина, высота — обесмысливаются, если опускается еще одно, четвертое, измерение — человек.

Архитекторы располагают немалым профессиональным инструментарием для того, чтобы создать именно те пространственные условия, которые нам потребны. Однако... На Седьмом съезде писателей СССР Юрий Бондарев произнес с трибуны: «Если архитектура, к примеру, должна выражать основной дух эпохи, то почему мы без устали строим и строим бездушные прямоугольные города с огромными, продуваемыми ветрами проспектами... Современный город из «коробок», даже засаженный тополями, стал символом борьбы человека с природой — с солнцем, с воздухом и, если хотите, с самой радостью жизни... Мы не хотим сознавать, что типовые дома и типовые города рождают людей с типовым мышлением».

Это уже не простой упрек — обвинение. Архитектуре предъявлен иск не привычного эстетического порядка, в безликости и однообразии, а социального. Можно было бы назвать точку зрения писателя крайностью, но в последние годы солидарные голоса раздаются все чаще. Иногда они даже доносятся из профессиональных архитектурных сфер. Все полнее осознается тот факт, что архитектурная среда не пассивный фон, а действенное средство формирования личности. И стало быть, зодчий — это человек, наделенный немалой социальной ответственностью.

1

Удивительную картину наблюдал я в Тбилиси: в центре старого города прохожие разговаривали с архитекторами. Обе стороны знали друг друга по именам. Прохожих было много, одни сменяли других, зодчих же — двое: Шота Кавлашвили, главный архитектор Тбилиси, и Георгий Батиашвили, руководитель мастерской института Тбилгорпроект.

Чтобы яснее понять ситуацию, коснемся ее предыстории. 250 гектаров центра Тбилиси — это государственная охранная зона. По существу, заповедник. Значит, тут нужен покой, всякое урбанистическое давление необходимо ослабить до минимума.

Перевернем посылку. 250 гектаров государственной охранной зоны — это центр Тбилиси. Ядро более чем миллионного города. Значит, сильные эксплуатационные нагрузки не только неизбежны, но даже желательны. Что прикажете делать, где выход?

Поведем отсчет с 1977 года. Идет расширение спускающейся к Куре улицы Баташвили. Строители начинают снос ветхих, слипшихся, будто леденцы, построек, и, когда удаляются вглубь метров на тридцать, сквозь горы трухи проступают остатки древней крепостной стены. Сверху на укрепления выросли жилые домики, оборонительные башни опоясаны изящными балконами. Война и мир, соединившись, образовали невиданного архитектурного кентавра.

А у Шота Кавлашвили уже готов проект — на этом самом месте надлежит появиться современной застройке. Однако архитектор меняет решение, проект летит в корзину, а на улице Бараташвили начинается реконструкция: обновляют дома, восстанавливают башню, стену, прокладывают коммуникации. Часть зданий остается жильем, в другие вселяются детская картинная галерея, магазин, ресторан, театр марионеток...

Резонанс превосходит все ожидания. Работа обретает размах. Судьбу улицы Бараташвили разделяют другие улицы: Красильная, Шавтели, Сионская, Шардена, подъезмы Кибальчича и Винный, Железный и Ватный ряды... Проходит еще немного времени, и вот уже разные министерства и ведомства наперебой просят у горисполкома пай. Общественное мнение расценивает участие в реконструкции центра как проявление истинного патриотизма, и тут уж каждый хочет быть на высоте положения.

В профессиональных архитектурных кругах, однако, эта работа вызывает не одно только одобрение. Кавлашвили и Батиашвили выслушивают разное. Например, им говорят: вы «выветриваете» дух старого города, остается только театральная декорация — яркие пряничные домики. Тогда они ссылаются на авторитетные мнения историков грузинского зодчества, уверяющих, что цвета Тбилиси и раньше были очень звонкими. Их упрекают в том, что смешивать век нынешний и век минувший не очень-то честно. Тогда они в ответ показывают восстановленную крепостную башню на улице Бараташвили, которую достроили каменными квадрами, обрамленными плоским кирпичом (тем же способом, каким ее возводили пращурь), однако старую и новую плоскости демонстративно разделили жирной каменной чертой. Вот, мол, смотрите, мы никого не обманываем, хотя могли бы все смешать, как белок с желтком.

Но оставим сугубо архитектурную полемику и попробуем осмыслить происходящее с позиций рядового горожанина.

В конце 60-х — начале 70-х годов миром завладела идея регенерации — возрождения старых городов. Не то чтобы раньше ее вовсе не существовало, однако именно в этот период оказалась она наиболее актуальной и плодоносящей. Тут сработал и кризис главенствующего архитектурного направления — функционализма, или «современного движения», и другие были причины, но не о них разговор. Важно то, что людей потянуло в старые кварталы. Здесь, в архитектурном прошлом, человек находил то, чего не давало ему архитектурное настоящее, — сомасштабность себе, информативную насыщенность, особую духовность.

Наверняка в памяти каждого из нас хранятся факты последних лет: за особые заслуги в деле сохранения и восстановления архитектурного наследия городу Таллину присуждена Золотая медаль Европы — специальная международная награда. В Москве реконструирован Арбат, разработаны аналогичные проекты для Кузнецкого моста, Столешникова переулка. Хорошо известны успехи градостроителей и реставраторов Львова, Вильнюса, Владимира, Суздаля. И значение понятий «консервация», «охранная зона», «архитектурный заповедник» объяснять не надо — мы к ним привыкли. Сегодня речь идет уже не о том, чтобы сохранить лишь те памятники истории и культуры, что занесены в соответствующие реестры, а о необходимости сберечь саму среду старых городов.

Именно поэтому в Тбилиси решили так: считать памятниками не отдельные постройки, а градостроительную структуру, состоящую из архитектурно ценных и фоновых сооружений. Конкретная ситуация диктует и вид работ — от тончайшей реставрации до грубого сноса.

Итак, как же поступили грузинские зодчие с 250 гектарами тбилисского центра? Очистив от «накипи» и обновив старые кварталы они выступили заботливыми хранителями истории. Но при этом показали себя деликатными и дальновидными градостроителями, стимулировав в охранный зоне интенсивную общественную жизнь, без которой центр не центр. Подлинными мастера, они совместили две задачи, прежде казавшиеся взаимоисключающими.

Причем для Кавлашвили и Батиашвили очень важно было сохранить уклад здешней жизни, их волновал не только архитектурный стиль, но и стиль бытия, не только образ дома, но и образ жизни. Где раньше были лавочки, теперь разместились симпатичные магазины. Где прежде изготавливали всяческие поделки, там ныне появилась фирма «Солани», профиль которой — изделия народных умельцев. Остались привычные места встреч, более того — они получили архитектурную поддержку. И пожалуй, что самое важное — сохранилась возможность для знаменитых соседских контактов, кото-

рые превращают номинально разрозненных жителей грузинских кварталов в особую общину Форма, изменившись, не задела содержания.

Архитекторы решительно пошли навстречу горожанам, и очень скоро возникло встречное движение. К месту, где идет перестройка, сходится множество тбилисцев. Они хотят работать. Даром И не скрывают радости, когда им дают носилки для строительного мусора... Переехать из современного многоэтажного здания, расположенного в центре Тбилиси, в реконструированное жилище считается выгодным обменом. А в одном из домов на улице Бараташвили живет человек, в квартире которого торчит кусок древней крепостной стены. Много раз предлагали ему переселиться — не хочет. Понятно, что не газ, телефон и прочие коммунальные удобства, которые появились в ходе регенерации, удерживают его здесь.

А самое удивительное я увидел в перестроенной гостинице «Горный хрусталь», что на подъеме Кибальчица В фойе, на том самом месте, где портые обычно вешают красочный плакат-календарь с Бубой Кикабидзе, висела большая фотография Шота Кавлашвили. Никогда не поверю, что главный архитектор города сам заложил в проект эту деталь оформления.

А вот жители новых районов Кавлашвили в лицо не знают, хотя по его проектам там возведено много хороших современных зданий.

И я задумался: а так ли уж важен прямой контакт архитектора с людьми? Зодчему ведь приходится проектировать крупные массивы, даже целые города, — до знакомств ли тут? К тому же мы с вами закодированы в нормативах и стандартах, проектировщики точно знают, сколько нам нужно солнца, воздуха и зелени, квадратных метров жилой площади и подсобных помещений, сколько магазинов, химчисток и кинотеатров должно нас окружать. Если же зодчий захочет представить, как мы будем чувствовать себя в данной архитектурной среде, он возьмет и нарисует на проектных листах фигурки людей... Но что он о нас узнает?..

Вообразите себе многокрасочный проект усадебного сельского дома, соединенную с гостиной остекленную веранду, а на ней в плетеных полукреслах сидят одетые в белые костюмы прямо-таки персонажи «Вишневого сада». Такой проект, выполненный московскими архитекторами, видел я в рекламном каталоге несколько лет назад. А позднее, оказавшись в деревне где-то между Костромой и Вологдой, попал в точно такой дом. На веранде покоились вязанки дров и мешки с картошкой, а вместо чеховских героев разгуливали куры. Хозяева того дома рассказали, что дрова и картошку им хранить больше негде, потому как вместо просторных сеней проектировщики делают тесный коридорчик. С подсобками тоже дело плохо. Так что веранда — самое подходящее место. Осенью ее все равно запирают надо до весны, иначе оттуда в гостиную холодом веет. Может, где-нибудь в Крыму можно на ней чаи распивать, но в российской средней полосе климат не курортный...

— Ну уж извини, — сказал мне один московский архитектор, когда выслушал эту историю. — Автор проекта предложил крестьянину оптимальный вариант устройства жизни. А если кто-нибудь захочет в ванне помидоры солить, а в спальне слесарить, тоже архитектор будет виноват?

Он был убежден, что у людей все должно быть точно так же, как у фигурок на проектах. Однако у нас, грешных, на сей счет свое мнение Мы зловерные.

По газетным страницам кочует фотокадр: над белым макетом склонился архитектор. Отсюда, с высоты «птичьего полета», он читает градостроительный замысел, уверяет композицию новой застройки, оценивает, удобны ли транспортные развязки... Зодчий мыслит крупно, масштабно, не замечая покрывающих бумажные тротуары пылинки — нас с вами. Но наступит час, пылинки придут в движение и зададут автору проекта изрядные головоломки.

В новом микрорайоне Ленинграда творилось нечто необъяснимое. Выходящие на прогулку молодые мамы с колясками покидали его, бесстрашно пересекали напряженный проспект и скрывались в арках домов, построенных в первые послевоенные годы. Хотя на их собственной территории имелись и деревья, и скамейки, и даже несколько грибков. Проектировщики совсем извелись, но так ничего и не поняли. Хотели списать все на массовый женский каприз, но на всякий случай сначала обратились в научный отдел института ЛенНИИП градостроительства.

Григорий Каганов — один из тех, кто разгадывал загадку, — потом мне рассказывал, что старые дворы, расчерченные гравиевыми дорожками, кажутся примитивными, но они удивительно комфортны. Не в смысле благоустройства — в смысле габаритов.

Архитекторы нашли оптимальные размеры: 80×80 или 90×90 метров. В таком пространстве прекрасно чувствуют себя представители любой группы населения, люди разного возраста, с разными запросами. Здесь каждый со всеми и одновременно сам по себе, сохранена возможность общения, но нет его принудительности. Вот так объясняется поведение женщин. Обследования старых дворов помогли выработать модель, которая сейчас используется в проектной практике.

Каганов — архитектор, занимающийся социологическими исследованиями в области градостроительства. Вот и слово сказано: социология. Архитектура обслуживает общество. Социология — наука об обществе. Вывод: архитектуре нужна социология. И зодчие подтверждают: действительно, очень нужна! Но это в теории. А на практике? Если требуется научное объяснение, почему такой замечательный получился проект, социолог действительно гость званый и желанный. А в других случаях? Как-то я специально обошел социологические отделы и секторы ведущих институтов Госгражданстроя — ЦНИИЭП жилища, ЦНИИП градостроительства, ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений — и выяснил, что подавляющее большинство архитекторов-практиков социологией совершенно не интересуются. Не потому ли вынуждены они ломать голову в абсолютно ясных для социологов ситуациях?

Стоит ли, к примеру, новый микрорайон насыщать разнообразными торговыми точками? Здравый смысл подсказывает: разумеется. Это же очень удобно — вышел из дома, заглянул в магазин, купил, вернулся назад. Или приехал с работы, зашел в магазин — и домой. В обоих случаях чем ближе магазин к дому, тем лучше. Логично? Так и проектировали.

Однако исследования показали, что посещаемость и рентабельность предприятий обслуживания микрорайонного значения гораздо ниже запланированных, а общегородского значения, напротив, выше. По мнению московского социолога, кандидата философских наук Вадима Розина, это вполне естественно, если принять во внимание социологическое положение о все возрастающей мобильности горожанина. Человек стремится совместить потребление и получение товаров и услуг с другими занятиями, он вовсе не замыкается в рамках своей жилой зоны.

А сколько ошибок сделано в тех случаях, когда перед архитектором лежал чистый лист — свободная территория. Почему бы, размышляя зодчий, не испробовать здесь всевозможные новейшие приемы планировки и застройки? И появлялись в молодых сибирских городах продуваемые ветрами проспекты, о которых говорил Ю. Бондарев; они были идеально прямыми, широченными и вызвали острую тоску по всяким кривоколенным переулкам. И раскинулась внешне эффектная центральная площадь Ташкента, для пересечения которой при летней сорокаградусной жаре требуется изрядная физическая подготовка. И забыв о том, что градостроительное искусство зиждется на преемственности, отодвинули новый Тольятти на несколько километров от старого. А в социальном плане первый долгое время пребывал на дотации у второго с его обжитой средой. Как ни разрасталась новая часть, а в обменных бюллетенях — вот, между прочим, неплохой барометр спроса — предпочтение отдавалось сложившейся.

Много их, досадных типовых ошибок, которые архитектурный социолог мог бы предотвратить. Не предотвратил — не спросили. Объяснить это тем, что зодчие ленивы и нелюбопытны, будет слишком уж просто и вряд ли справедливо. Причины иные. Но прежде чем говорить о них, необходимо разобраться в существовании архитектурной профессии, «пощупать» узлы проектно-строительного дела. Предъявляя зодчему претензии, мы должны представлять себе его проблемы.

2

Поставим вопрос: что нужно для того, чтобы на свет появилось не просто обычное здание, так сказать функциональная сумма стройматериалов, а подлинное произведение искусства архитектуры? Размышляя на эту тему, мы сможем наиболее четко представить себе проблемные ситуации и парадоксы архитектурного бытия. Итак, что же нужно? Немедленный ответ: первым делом требуется талантливый зодчий. Правда, сначала его надо обнаружить. Организация дела — архитектурного в нашем случае — должна с максимальной вероятностью выделить одаренного человека из общего ряда.

Тут к месту один сюжет. Хотя лежащий в его основе конфликт, долгий и тяжкий, в силу обстоятельств погас, смысл этой истории для нас очень важен. Дело было в ленинградском филиале института Гипротеатр. По одну сторону барьера стояли сот-

рудники мастерской № 3 под руководством архитекторов Бориса Устинова и Людмилы Травинной, по другую — администрация во главе с директором.

По мнению начальства, Устинов и Травина работники так себе. Больше десяти лет трудятся вместе — и лишь одна постройка. Немало было случаев, когда сделают предпроектное предложение, подготовят обоснование, а заказчику не нравится, он шлет отказ. И уплывают деньги, которые институт мог бы получить за технический проект, за рабочие чертежи, за авторский надзор и прочее.

А вот как оценило тех же специалистов руководство ленинградской организации Союза архитекторов РСФСР: очень одаренные люди, с нетрафаретным мышлением, могли бы составить славу своего института. Несколько раз проводились общественные обсуждения их проектов, и всегда это было событием.

Итак, архитекторы, которые делают талантливые проекты, оказываются неважными работниками. В конце концов Устинов и Травина, не выдержав прессинга, ушли из института. Администрация выиграла. А архитектура?

Современный зодчий, как и прежде, — деятель искусства, поборник гармонии и красоты. При этом ежедневно ходит на службу, где от него требуют выполнения плана, соблюдения сроков и режима экономии и где он занят множеством дел, отнюдь не требующих вдохновения (об этом речь впереди). Он слуга двух господ — Творчества и Производства. Отношения между ними небезоблачны. Но поскольку архитектурное творчество де-юре происходит на производстве — то бишь в проектно-институте, поскольку зодчие в массе своей живут зарплатой, а не сторонними гонорарами, то каждому ясно, кто подлинный властелин.

Нынешняя организация проектирования как бы сама подсказывает архитектору: не мучайся, делай попроще, и это будет самый верный вариант, уж он-то сразу всех устроит — заказчика не испугает новизной, покой начальства не нарушит. А всякие творческие поиски вполне могут увенчаться служебным взысканием. И многие, очень многие способные люди берут эту подсказку на веру. Пусть не сразу, пусть скрепя сердце, но берут. Потому что главный критерий их продукции — объем выпущенной документации, а вовсе не архитектурные качества проекта. Зодчие привыкают и к такому положению, когда вопреки вековым традициям и даже инструкциям Госстроя СССР проектированием руководят инженеры. Хотя именно архитектор — тот специалист, который по самой сути своей профессии интегрирует все разделы проекта (в том числе инженерные) и должен отвечать за него в целом.

Сейчас сложилось такое положение, когда архитектор мало заинтересован в творческих результатах своего труда, поделился в беседе со мной первый секретарь правления Союза архитекторов СССР народный архитектор СССР Анатолий Трофимович Полянский, и главная причина в недостаточной личной ответственности за порученное дело. А откуда ей взяться? Проектирование стало коллективным трудом, но когда собирается слишком большой авторский коллектив — а так обычно и бывает, — иной раз просто трудно понять, кто чем занят. И тускнеет роль лидера.

Что же предпринять? Настало время говорить, и не только говорить, но и добиться внедрения бригадного метода проектирования, всем известного подряда. По мнению Полянского, дело следовало бы организовать так. Поступает заказ в институт, руководитель организации поручает объект кому-то из авторитетных зодчих, сообщает, сколько он стоит, и предлагает будущему автору сформировать бригаду. Тот собирает такое количество работников — причем уже не всяких-разных, а надежных людей, единомышленников, — которое ему необходимо. Фонд заработной платы распределяется среди членов набранной группы. При такой постановке дела, считает Анатолий Трофимович, вообще отпадет вопрос о сроках и прочих пусть важных, но все же не главных вещах. Центральным станет вопрос архитектурного уровня проекта. Вот тогда-то заработают не только материальные стимулы, но возрастет роль личного вклада и, значит, появится личная заинтересованность. Подрядный метод по самой своей сути противостоит нынешней нивелировке людей разных способностей.

Еще один способ получения высококачественного проекта — конкурс. Зайдите в Музей архитектуры имени А. В. Щусева, взгляните на интереснейшие проекты, созданные в первые послереволюционные годы, и вы заметите одно любопытное обстоятельство. Работы Ивана Леонидова, братьев Весниных, Константина Мельникова и других замечательных наших зодчих, работы, которые оказали очевидное влияние на развитие не одной советской, но и всей мировой архитектуры, были в подавляющем большинстве конкурсными проектами. В любой сфере деятельности наилучших

результатов люди добиваются в борьбе с сильным соперником. Конкурс выгоден всем: для архитектора это творческий допинг, для архитектуры — способ аккумуляции идей, для общества — возможность получить максимум.

Еще совсем недавно состязания зодчих давали множество поводов для зубоскальства в архитектурных кругах. Авторитет конкурсов на протяжении долгих лет был крайне низок. Да и как иначе, если победитель нередко оставался без права на дальнейшую разработку и реализацию проекта? Жюри довольно охотно не присуждало первую премию, а это значит, что практических результатов соревнование не дало. Стоит ли после этого удивляться, что на иных конкурсах участников было меньше, чем призов? Союз архитекторов повел решительную борьбу с подобной практикой: утверждено положение, исключающее неувязки вроде описанных, к архитектурным конкурсам пусть медленно и трудно, но все же возвращается интерес. Однако это лишь начало большой работы.

Но как бы то ни было, архитектура живет и развивается, имена одаренных зодчих становятся известными, уважаемыми. Согласитесь, уж этих-то людей необходимо использовать во всю меру отпущенного дарования. До дна. Нужно обеспечить им — уже обнаруженным! — полноценную творческую судьбу. Тут, однако, новая проблема.

..Две жизни смешались в этом кабинете. Макет на низком столике, рулон ватмана и гигантский ластик — ж знь архитектора. Тяжелый двухтумбовый стол с телефонами, золотое перо и дырокол — жизнь администратора. Мы с хозяином кабинета разговариваем о том, что архитектура требует всего человека целиком, а не получает даже половины. Вот история, рассказанная моим собеседником — хорошим, известным зодчим, руководителем крупной проектной мастерской.

«Я никогда не считал себя гениальным, на это ума хватало, но зато с малолетства привык ценить свое время и уважать свой труд. А зря. Без этого жилось бы гораздо легче.

После защиты диплома меня взяли в солидную проектную фирму. Поработал месяц-два и чувствую, что ничего не понимаю. Например, с какой стати я, архитектор, должен печатать на машинке длиннющие пояснительные записки к проектам? Тем более что моя скорость — полтора тыка в смену. Отвечают: в штатном расписании нет должности машинистки. Ладно. А должности техников, чертежников в штате есть? Почему мне приходится по десять раз перерисовывать планы и разрезы для капризной множительной техники? Почему, привязывая типовой проект, я должен пропускать через себя тонны документации и вычеркивать ненужные варианты стен, перекрытий и полов? Да на это все рабочее время уходит! Мне говорят: не волнуйтесь, в штатном расписании техники есть. Нет их в действительности — выпускают недостаточно, не идут люди в техники. Так что если не вы, то кто же? И я сидел, вычерчивал всевозможные ракурсы какого-нибудь подоконника, хотя по всей стране выпускались абсолютно одинаковые подоконники, а о том, что приставляют их не к потолку и не к двери, строители, надо полагать, догадывались сами.

Год спустя терпение лопнуло, и я стал менять места работы. Думал, убегу от всей этой бестолковщины. Куда там! Всюду было то же самое. Стих, смирился. Прошло несколько лет, и меня сделали главным архитектором проекта — ГАПом. Говорят, у ГАПа больше всего возможностей для творчества. Чуть, не верьте. От одних согласований с ума сойдешь. Санэпидстанция, отдел подземных сооружений, управление лесопаркового хозяйства, управление пожарной охраны — и несть им числа. Каждого посети, каждому поклонись, а он тебе разика три завернет проект на доработку или будет тянуть резину до второго пришествия, а потом подпишет не глядя. А ведь если вникнуть, что такое все эти согласования? Знак недоверия архитектору. Есть же утвержденные нормы, и мы обязаны их придерживаться, зачем расплывать ответственность? В Болгарии и в некоторых других странах архитектор имеет личное клеймо. Поставил его — значит, полностью отвечаешь за свою работу

А уж когда я стал руководителем мастерской, суета сует и вовсе захлестнула. Мастерскую нужно «кормить» заказами. Они идут сложнейшими лабиринтами, пробираются через вышестоящие инстанции, всяческие планирующие и координирующие органы. Нужно все время следить за тем, чтобы оказались фонды и лимиты, чтобы объект остался в титулах проектных и строительных работ, чтобы заказ попал именно в твой институт и именно в твою мастерскую, чтобы имелась справка о наличии подрядной организации и о наличии у нее кирпича. В общем, пока заказ превратится в плановые рубли, уходят иногда не то что месяцы — годы. Можно, конечно, и побы-

стрее, если к бумаге «приделать ноги». Чьи? Руководителя мастерской, конечно. Ногам приходится туго. Правда, они отдыхают на разных конференциях, заседаниях и советах, которые я обязан посещать. И знаете, о чем там чаще всего говорят? Не поверите. О высокой творческой отдаче!»

Такую вот историю поведал мне архитектор, имени которого не назову. Он об этом просил, считая, что речь идет не о частном случае, а о явлении массовом, типичном. В сущности, так оно и есть — похожие истории рассказывали мне многие зодчие из разных городов страны. С одной стороны, продвижение архитектора по службе означает признание его именно как архитектора, а не администратора. По логике вещей от него надо добиваться наибольшей отдачи. Творческой отдачи — выделим это. Но ведь дело будто специально поставлено так, чтобы все меньше и меньше времени и сил на творчество оставалось.

С неразумным использованием мастеров архитектуры смыкается другая тема. Чтобы лидеру быть лидером в истинном значении этого слова, нужны как минимум догоняющие. Я спросил нескольких известных зодчих: «Чувствуете ли вы дыхание в спину? Наступают ли вам на пятки?» — ответы были отрицательными. И это не может не беспокоить.

Страну, город, даже улицу одними шедеврами не застроишь. Невозможно это. Но ведь хочется пусть не шедевров, пусть просто хорошей, добротной архитектуры побольше. Вот и выходит, что без тиражирования не обойтись. Так уж заведено, что рядом со Щусевым, Нимейером и Аалто всегда были «под Щусева», «под Нимейера», «под Аалто». Словом, люди на подхвате идей. Не плагиаторы, нет. Плагиат и разработка, варианты уже реализованной идеи совсем не одно и то же.

Тут самое время сказать о школе. У нас есть школа математиков Колмогорова, шахматная школа Ботвинника, другие школы. Архитектурные гранды работают тоже не в одиночку, вот только вместо учеников у них подчиненные, сослуживцы вместо сподвижников. В Ашхабаде один из лучших советских зодчих народный архитектор СССР Абулла Ахмедов познакомил меня с молодым коллегой, который специально приехал из Ленинграда, чтобы с ним поработать. Случай редчайший! А ведь прежде мастера сами выискивали способных людей, учили их, потом они трудились вместе по многу лет, и даже если воспитанник не достигал высот учителя, это все же был крепкий специалист с вполне определенными творческими принципами. Вот что давала архитектурная школа и чего не дает архитектурный вуз, в котором зодчие-практики почти не преподают.

В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова слово «мастерство» имеет два значения: ремесло, ремесленное занятие; высокое искусство в какой-нибудь области. Не всем дано соединить первое со вторым. Но если ремесло еще обойдется без искусства, то уж искусству без ремесла не обойтись.

Возвратимся к ответу на вопрос, поставленный в начале главы. Игак, для появления талантливой архитектуры перво-наперво требуется талантливый архитектор. Как просто! Но не кажется ли вам, что на деле все выглядит так, будто зодчество не нуждается в одаренных авторах? Более того — иной раз они попросту мешают!

Ну ладно. Допустим, пройдя препоны, мы все же получили отличный проект. Значит ли это, что по нему построят столь же отличное здание? Давайте разбираться.

Несколько лет назад реставратор бухарского минарета обнаружил едва заметную надпись арабской вязью: «Усто Бако». За такой автограф в XII веке полагалась смертная казнь. Как же надо было гордиться своим творением, чтобы так рисковать!

В отличие от Бако, не убоявшегося смерти и обозначившего свое авторство, Красноярский архитектор Виталий Орехов пошел на риск. От авторства отказавшись, — не захотел поставить подпись в акте о сдаче в эксплуатацию аворца спорта «Енисей». Голову смельчаку, правда, не отсекали, но нервы помотали. «Ишь какой несгибаемый! Проект ему, видите ли, запороли. Будто ему первому...» Не первому. И, наверное, не последнему.

Решения Мосгорисполкома, принятые в 1966 и 1972 годах, предусматривают установку на вновь сооружаемых зданиях памятных досок с фамилиями авторов проектов и основных строителей. И тем не менее досок таких почти не встретишь. Неужто зодчие лишены честолюбия? «Пусть пишут меня на доске, я не против, — сказал один из них. — Но только в какой редакции? Проектировал архитектор имярек, испортили проект строители под руководством прораба такого-то!»

Если вы неосторожно скажете архитектору, что согласованный и утвержденный

на всех уровнях проект является для строителей законом и требует неукоснительно точного исполнения, вас поднимут на смех. Потому что на самом деле строители могут все. Самовольная переделка конструктивного решения, перекройка планировки, замена одних материалов другими, отсечение того, что сочтено архитектурными излишествами. — все это факты реальной практики.

У знакомого архитектора есть замечательная коллекция: фотографии проектов и построенных по ним зданий Разложишь их попарно — разные разности! Все это было бы смешно, но представьте, как отзываются в сердце зодчего такие самовольные переделки Боль, драма, трагедия. Но почему: в конце концов зодчий и строитель, объединенные, казалось бы, общей целью, почти коллеги, из сотворцов превратились в противников? Что произошло?

Во все века архитектура зависела от техники. Многие гениальные здания не сошли с бумаги лишь потому, что опередили строительные возможности. Но ощущения обреченности у архитектора не возникало. Напротив: дерзостью своих идей он будировал, торопил инженерную мысль. И формула «техника — служанка зодчества» воспринималась всеми как абсолютно естественная. Архитектура была целью, техника — средством.

Приходится писать «была», хотя на первый взгляд ничего вроде бы не изменилось: как зависела архитектура от техники, так и зависит. И тем не менее возник перевороты. В середине 50-х годов — это были первые годы индустриализации строительства — техника жестко подчинила себе зодчество, она, по существу, сделала диктатором. Минули десятилетия, однако до сих пор есть не так уж мало городов, где домостроительные предприятия, освоив в давние годы серию жилых домов, гонят ее и гонят, отворачиваясь от требований времени, и, возможно, их руководители мнят себя подлинными экономами, поборниками государственных интересов. Попробуй архитектор упросить их перейти на выпуск новых — не домов, нет, — хотя бы балконных ограждений. Что вы — миллион терзаний!

Зодчий, которого по роду службы волнуют не только экономичность и скорость, но и красота, пытается бороться. Однако положение у него трудное. В былые времена известный академик архитектуры (живет такая легенда) являлся на стройку с массивной тростью и ее бронзовым набалдашником сбивал непонравившийся карниз. Теперь такой метод, как вы понимаете, чреват. Приходится выискивать иные.

Почти десять лет строили на Тверском бульваре столицы новое здание МХАТа, и все это время у его автора, архитектора Владимира Кубасова, было забот невпроворот. Хотя, прошу учесть, проект был уже закончен, все нарисовано, вычерчено и согласовано. И тем не менее... Взять хотя бы тривиальные замены. Нет, например, зеленого узбекского мрамора для декоративного стола в вестибюле — вот вам зеленое сукно. Зеленое же, чего злитесь?.. Резной штукатурки нет — а чем гладкая хуже? Не завезли цветного камня — зато белый вот он, не стоять же стройке! Кубасов стал снабженцем. В Ташкенте добыл мрамор, в Армении — туф... Строители не справились с резной штукатуркой — архитектор изготовил ее собственными руками. Ни единую деталь, вплоть до латунных гардеробных крючков, он не обошел. Работал денно и нощно. Являлся на стройку первым и уходил после всех.

Но главврач ведь не обязан делать уколы, режиссер — суфлировать, шеф-повар — потрошить курицу. Почему же зодчий, который испокон веку был руководителем строительного процесса (архитектор и переводится с греческого как главный строитель), стал исполнителем чужих обязанностей? Что двигало тем же Кубасовым, какое чувство? А самое простое: страх. Правда, не тот, который предвещает нагоняй по службе, а тот, который испытывает лишь настоящий профессионал, мастер своего дела, — страх, что его работа окажется хуже, чем могла бы быть.

В архитектурных кругах долго обсуждали поступки Сапура Калашяна из Армении супругов Аушры и Ромаса Шилинских из Литвы, Юрия Пархова из Таджикистана. Когда началась реализация их проектов, зодчие побросали службу в институтах и пошли работать на стройку. «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих»? Такой метод говорит не столько о доблести подвижников, сколько об отсутствии порядка в строительном деле.

А ведь номинально существует достаточно рычагов, чтобы защитить архитектурный проект от строительных вольностей. Гражданский кодекс РСФСР запрещает вносить в произведение какие-либо изменения без согласия автора; за соблюдением верности проекту, за качеством работ следят десятки ответственных глаз — действуют

внутренний контроль на стройке, контроль Стройбанка, авторский надзор, Государственный архитектурно-строительный контроль. Но, как говорится, у семи нянек...

Мало этого. Существует авторское право архитектора. Он может обратиться в судебные органы, которые стоят на страже его гражданских прав, частью которых являются права авторские. Можно призвать на помощь Всесоюзное агентство по авторским правам, но это делается крайне редко. По данным агентства, число обращений зодчих составляет менее одного процента от общего количества обращений авторов произведений литературы и искусства. Руководство Союза архитекторов, в свою очередь, объясняет эту ситуацию тем, что авторские права зодчих недостаточно конкретны и требуют серьезных уточнений (над чем, кстати, сейчас идет работа).

Наконец, есть еще одно звено. Кто как не заказчик должен быть заинтересован в конечном результате? Известна история, когда в конце 20-х годов подрядчики отказались строить в Москве клуб имени Русакова (ныне широкоизвестный) — проект Константина Мельникова показался им слишком сложным. Но профсоюз коммунальников, который был заказчиком, сумел настоять. Строители хорошо подумали, нашли выход, и дело кончилось ко всеобщему удовольствию. Вообще, мы коснулись особой темы. Выдающийся зодчий академик И. В. Жолтовский утверждал: «Важен талант архитектора, но еще важнее талант заказчика». Во все времена работа зодчего была выполнением чьего-то задания — то ли частного лица с его субъективными запросами и индивидуальными вкусами, то ли общества, представленного какой-либо организацией (министерством, скажем, или исполкомом), которая, в свою очередь, представлена людьми. Знание же архитектурных законов, способность квалифицированно оценить проект или, в конце концов, умение довериться профессиональному исполнителю — эти качества большинству заказчиков не свойственны. К тому же их часто пугает новое, ни на что не похожее, нигде не апробированное, а хороший архитектор боится как раз повтора. Установки, как видим, противоположные.

Как-то в Моспроекте я познакомился с одним архитектором. Это был третий калач! Проектировал он, в общем, средне, зато вполне мог вписаться в компанию лучших палехских мастеров. Как он раскрашивал свои проекты! Небо — нежнейшая лазурь, плывут виньетки-облака, на деревьях виден каждый листик, на газонах — каждая травинка; рядом со зданием прогуливаются изящные женщины и мужчины с галстуками — не поверите — в мелкую клеточку!

«Объясните, кому все это нужно? — попросил я. — Ведь дело архитектора — спроектировать здание. Объем, конструкцию. Профессионалы, они все поймут без ваших художеств». «Прежде я тоже так думал. А вот после того как несколько раз заказчик проект возвратил, стал умнее. Вы что же думаете, я ради собственного удовольствия трачу уйму времени на лютики-цветочки? Наивный человек. Ради заказчика. В нашем деле он не смыслит, но раму красивую любит. Вот я и убажваю, даю колер... Он как увидит такой пейзаж, принимает мгновенно. А мне от него только того и надо, чтобы не мешал».

У сегодняшнего архитектора своеобразное положение. При наличии живого и здравствующего заказчика он тоже как бы является заказчиком, поскольку они вместе определяют исходные требования, составляют задание на проектирование — таков порядок. Так что архитектор некоторым образом заказывает проект самому себе. Причем во многих случаях он-то как раз и выполняет функции настоящего заказчика. Право же, эта парадоксальная ситуация заслуживает внимания.

Вот показательный случай. Произошел он в Белоруссии. Республиканское министерство дорожного строительства решило возвести для детей пионерский лагерь. Тогда архитектор Владлен Сухорослов вместе с заказчиком летал на вертолете, высматривал площадку. Нашел невдалеке от поселка Раков, на реке Исloch. Хорошее, красивое место. И большое. «Слишком жирно для одного лагеря, — подумал Сухорослов. — Сделать бы тут крупный детский комплекс».

О выгодах, которые сулит ведомственная кооперация, архитектор знал. Как знал и то, что говорят о ней обычно в сослагательном наклонении. — дальше первых переговоров о содружестве дело обычно не заходило. И все же Сухорослов решился, начал «вербовать» пайщиков. Подбирал тщательно, думая не только об их финансовых возможностях, но и о том, чем сможет помочь тот или иной кандидат в заказчики при строительстве и эксплуатации комплекса. Управление грузового автотранспорта, известное дело, — перевозки. Главснаб — материалы, оборудование. Объединение молоч-

ной промышленности — питание. Объединение Дорстройматериалы, мебельное объединение — тоже все ясно.

В конце концов пятеро заказчиков ударили по рукам. Минскгражданпроект спроектировал круглогодичный комплекс пионерских лагерей — баз отдыха на 2,5 тысячи мест. Какими же доводами воздействовал Сухорослов на пайщиков? Он обещал ~~снижение затрат и повышение качества.~~

Пять лагерей разместятся по соседству, и «отцам» каждого из них, естественно, нет нужды тянуть в свою вотчину персональные дороги и энергосети; делать автономные водозаборы, очистные и прочие сооружения. Следующий источник экономии — кооперация объектов культурно-массового, спортивного, медицинского и хозяйственного назначения. Скажем, в лагере на 100 человек нужен кинозал на 100 мест, а в комплексе на 2,5 тысячи человек? На 800, ответили проектировщики. Дети могут смотреть картины посменно, и это, без сомнения, логично: киноинтересы девяти- и тринадцатилеток не совпадают. Если же говорить о деньгах, то зал на 800 мест, понятное дело, дешевле зала на 2,5 тысячи и при скользящем расписании он выгоднее в эксплуатации. Аналогичные вещи происходят со спортивными, медицинскими и хозяйственными объектами. Еще одна смежная статья экономии — кадры. Вместо пяти киномехаников понадобится один или два, сократится число поваров, тренеров, массовиков. Добавим также, что дети будут отдыхать здесь только летом и на зимних каникулах, в остальное же время предусмотрено использование лагерей в качестве баз отдыха — опять-таки эксплуатационные преимущества.

Итог: стоимость одного места (куда входят питание, спортивное и культурное обслуживание и прочее) в автономных круглогодичных пионерских лагерях составляет 6—6,5 тысячи рублей. У Сухорослова и его коллег вышло около 5,5. А в целом проектировщики сэкономили около двух с половиной миллионов рублей.

Мы имеем дело с редким случаем. А почему, собственно, он редкий? Разве скрывали от человечества плюсы кооперации? Однако тратить деньги разумно, расчетливо мешает непроходимая ведомственность. Сколько же можно слышать: ведомственные барьеры, ведомственная разобщенность!.. Право же, начинает казаться, что нет никакой разобщенности. Напротив, многие руководители разобщенных ведомств являются членами какой-то известной только им организации, и страстное желание объединяет их — желание не объединяться.

И все же, если серьезно, неужто в этих самых ведомствах транжиры сидят? И о том только думают, как бы разорить собственное государство? Что-то не верится. Попробуем и этих людей понять. Как рассуждает заказчик, вступающий в долю? «Ладно, я-то сделаю, что мне предписано, а вот как другие? Не особенно я им доверяю. Пусть только кто-нибудь попытается нарушить обязательство, я мигом откажусь от участия. А там пусть даже денег больше потрачу, зато своим, кровным, неприкосновенным обзаведусь». Так и поступают. Стоит одному пайщику подвести, остальные разлетаются подобно вспугнутым птицам. В белорусской истории «молочникам» однажды не выделили причитающихся на строительство средств, и «дорожники» тут же направились к выходу. Возникла реальная угроза раскола. Сухорослов метался между партнерами, тушил ссору, молил о помощи облисполком... И так было не раз.

Но разве архитектор обязан все это делать? Разве лично ему эта миллионная экономия даст хотя бы лишний рубль? Ничуть не бывало. А он бьется! В Госгражданстрое, где я обсуждал со специалистами эту ситуацию, были единодушны: да, нужны какие-то меры, чтобы поберечь государственные деньги. Но пока опыт показывает, что пайщики удерживаются в связке (если вообще в нее попадают) исключительно благодаря чьей-то личной инициативе. Чаще всего инициативе архитектора. А его гонят в шею, посылают вон всеильные заказчики, и он бегаёт, просит, требует — для них же!

Вот тут-то самое время сказать об уважении к труду зодчего. Замечательную историю поведал мне известный армянский архитектор Джим Горосян. Вскоре после революции проводился конкурс на лучший проект обелиска Свободы в Москве. Крупному партийному и советскому руководителю принесли работы зодчих и попросили сделать выбор. А он, имея для этого все официальные полномочия, сказал, что не считает себя специалистом в архитектуре, и попросил создать компетентную комиссию. После того как комиссия выбрала одну работу, этот человек признался, что все время переживал: а вдруг пройдет не понравившийся ему проект.

Вот что такое уважение к профессии. Но есть важный момент: чтобы профессию уважали, она должна быть уважаемой. Это не игра слов; тут нам вновь нужно вернуться на тридцать лет назад. Первый типовой пятиэтажный дом проектировали инженеры самых разных профилей. Архитектора не пригласили. Начиналась индустриализация строительства, появились домостроительные комбинаты. Они освоили выпуск самого простого и дешевого дома. «Все должно делать, принимая во внимание прочность, пользу и красоту» — эта классическая формула, принадлежащая отцу архитектуры древнему римлянину Витрувию, в период индустриализации была пересмотрена; третья составляющая — красота — отпала. Страна остро нуждалась в жилье, об эстетике думать не приходилось — важны были квадратные метры.

Шло время, понемногу утолялся жилищный голод. И тогда зазвучали слова «монотонность», «безликость», «однообразие», закончившиеся призывом: «Дайте же архитектуру! Где вы, зодчие?»

Вернемся в день сегодняшний. По сравнению с 60-ми годами число дипломированных архитекторов, включая техников-архитекторов, увеличилось почти в 4 раза. Специалистов готовит более 50 вузов. По количеству зодчих на число жителей мы приблизились к уровню наиболее развитых в этом отношении стран. Вновь осознается идеологическое и эстетическое значение зодчества, роль архитектора в проектном процессе неуклонно растет. Но общественный его престиж за этим ростом не поспевает. Что ни говори, сдули с профессии пудру таинства. То ли дело прежде: сидит метр, рисует тушу капители и каннелюры — тонкая, доложу вам, штука! А «чемоданы» сложить и расставить кто не сумеет? Вот и находятся люди, указующие зодчему перстом, как и что делать надлежит.

Допускаю, что описание того котла, в котором «варится» архитектор, получилось излишне мрачным. Однако все эти вещи: установка на ординарность, использование зодчего не по назначению, бесконечные его схватки со строителями, непонимание и неуважение со стороны заказчика и прочее, о чем шла речь, — не надуманы. Это тугие узлы реальной практики. Как их развязать? На сей счет существует немало мнений и предложений, но только это уже в стороне от нашей темы. А возвращаясь к взаимоотношениям человека и архитектуры, невольно задумаешься: в самом деле, до социологии ли тут зодчему? Не многого ли мы от него хотим? Пожалуй, нет. Потому что современному архитектору абсолютно необходимы социологические и иные сопутствующие знания, без них он как специалист неполноценен. И смею утверждать, что не берет он эти знания, не пользуется ими не только потому, что чрезмерно занят другим. Зачастую он и не хочет их брать, не считает нужным. Причины такого поведения достойны внимания. К ним и обратимся.

3

«Человеку свойственно стремление к порядку, все его действия и мысли направляются прямой линией и прямым углом, он выбирает прямую инстинктивно, и в его сознании она рисуется ему как возвышенная цель», — писал выдающийся зодчий-новатор Корбюзье. По мнению его современника, известного немецкого архитектора Вальтера Гролиуса, у большинства людей «потребности одинаковы. Поэтому вполне логично... попытаться удовлетворить такие одинаковые потребности одинаковыми средствами». Теоретики и практики функционализма упорно вырабатывали и утверждали модель некоего среднестатистического человека. Они искренне верили, что, удовлетворив потребности этого бесполого, лишнего каких-либо конкретных социальных, национальных, культурных и прочих характеристик существа, решат все проблемы бытия. Жизнь разрушила идейный постамент функционализма, и все же архитекторы в своей работе доныне ориентируются на «человека вообще» с четко запрограммированными предпочтениями и поведением.

Проектировать для «человека вообще» легче, удобнее, он вроде бы вполне конкретен, считает архитектор, кандидат философских наук Вячеслав Глазычев. А социология такого термина не знает, для нее существуют конкретные группы людей, находящиеся в различных ситуациях. Их вкусы, интересы, пристрастия, навыки существенно различаются. Социология хочет и может дать зодчему новое знание. С одной стороны, знание, безусловно, сила, но с другой — оно связывает и обязывает с ним считаться. Архитектор привык к отсутствию социологического контроля, вве-

дения такого контроля он побаивается и потому продолжает обороняться старым лозунгом: «Мне отлично известны потребности человека».

У каждой профессии своя бухгалтерия успеха или неуспеха. Завод выполнил план и не получил рекламаций — порядок. Зрители уходят после первого акта — провал. Ясность А у архитектора? Дома не падают, люди живут... Раз нет скандала, значит, все приемлемо. Нормально. Хорошо. Как гут поколебать уверенность зодчего в своей правоте? Ведь быстрых рецидивов архитектурные ошибки, как правило, не дают.

И все же пусть через годы тайное становится явным, ошибки обнаруживаются. Демографические, социальные, экологические, психологические — допущенные архитектором. Вот на что прошу обратить внимание. Может быть, они, ошибки эти, попали в типовой проект и разошлись миллионным тиражом; может быть, проникли в нормативы или вузовские учебники — поди вылови теперь, исправь!

Жизнь многократно подтверждает тот факт, что между сферами проектирования и потребления существует разрыв. Если же возникают контакты, то они, как правило, искрящие. Однажды я попал на встречу архитекторов с жителями нового района. Полтора часовой разговор можно свести к такой схеме. «Коридоры тесные», — жаловались новоселы. «А мы при чем? У нас нормы», — отвечали проектировщики. Взаимное непонимание росло, раздражая обе стороны. С тем и разошлись.

Но как же соединить разорванные звенья? Связка есть — все те же социологи и другие смежные специалисты, которые в состоянии оценить ту или иную конкретную ситуацию и выработать нужные архитектору исходные данные, помочь ему избежать ошибок. Более того, социолог вправе поставить задачу перед зодчим, и для последнего нет в этом ничего зазорного. Подобная практика, хоть она и редка, вполне себя оправдала.

Вот пример. Слово «среда», ныне ставшее привычным в архитектурном лексиконе, пришло из социологии, где влияние среды на человека уже давно было предметом научных наблюдений. Всего несколько лет назад принцип так называемого среднего подхода вызывал в кругах зодчих активное неприятие и даже протест. Профессионалы, привыкшие мыслить категориями крупных архитектурных объемов, масштабных градостроительных композиций, не желали снисходить до второстепенных, по их мнению, деталей. А социологи и психологи твердили: существуют объективные законы человеческого восприятия; людям важны не только (а иногда и не столько) облик и высота окружающих их корпусов, длина и ширина улиц и площадей, но и то, что называют первым этажом, партером города.

Жалуясь на архитектурное однообразие, человек, иногда сам того не осознавая, жаждет не разнообразия в застройке, но разнообразия в среде. Ему нужны зрительная насыщенность (кстати, это и врачи подтверждают), архитектурная интрига. То есть речь идет о том, чтобы создавать не просто здания, а целостный мир по замыслу зодчего. Так вот, потребовалось немало времени, чтобы глас социолога был услышан, понят и принят. Однако теоретическое согласие, увы, не синоним практического воплощения.

Забудем временно о том, что большое видится на расстоянии, и посмотрим на малое вблизи. Поговорим о скамейках, фонарях и песочницах. О рекламных тумбах, автобусных стоянках и телефонах-автоматах. О киосках, клумбах и, простите, урнах. О тех самых мелочах, которые в немалой мере формируют городскую среду.

В последнее время вокруг нас появляется все больше хорошо спроектированных и качественно сделанных предметов. Взять, к примеру, новые московские телефоны-автоматы, киоски «Союзпечать», «Театральные билеты», «Справки», посты ГАИ и прочее. И все же, обеспечив человека положенным числом малых архитектурных форм (таково официальное название этих предметов), мы проблему не решим. Почему? Тут к месту будет одна история.

Несколько лет назад в Тбилиси состоялся международный семинар «Иртер-дизайн». Специалистам из многих стран был предложен сделанный грузинскими архитекторами проект нового жилого района — оформляйте! Но типовой район с обычной многоэтажной застройкой не понравился участникам семинара, они решили разработать контрпроект. В дело одновременно включились планировщики, объемщики и дизайнеры. В этом и был витамин эксперимента.

Результат очень обрадовал. Проект оказался по-настоящему человеческим. Гармонично соединились малоэтажное жилище, удобные пешеходные и транспортные

связи, система озеленения, благоустройства и малых форм. Район стал зрительно комфортным, информативно богатым. В проекте ясно читались традиции грузинского зодчества. К тому же все было рассчитано на индустриальное исполнение.

Эксперимент удался. Было решено, положив в основу полученный проект, тем же методом кооперации спроектировать новый тбилисский район под названием Дигоми-7. В авторскую группу вошли работники Тбилгорпроекта и грузинского филиала Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ).

Оказавшись в Тбилиси три года спустя, я решил узнать, как сложились отношения архитекторов и дизайнеров, удалось ли им добиться взаимопонимания, наладить профессиональные связи. Директор Тбилгорпроекта Т. Тевзадзе ответил отрицательно. В работе над проектом, по его мнению, нужна определенная последовательность. Когда есть планировочная канва, когда найдена архитектурная тема, только тогда может подключаться дизайнер. Директор не верит, что все могут делать всё. Хотя и убежден, что разделение обязанностей не исключает успешной совместной работы. Нужно относиться к делу разумно, а не устраивать парад профессиональных амбиций.

А вот точка зрения другой стороны. В филиале ВНИИТЭ А. Джапаридзе, руководивший тогда сектором дизайна городской среды, участник того семинара «Интердизайн», привел свои аргументы. Архитекторы привыкли работать по стереотипу, и переубедить их оказалось слишком сложно. Они считают: роль дизайна сводится к тому, где поставить лавку. То есть как бы украсить уже готовую архитектуру. А дизайнеры идут не от общего к частному, как градостроители, а наоборот. Думали, что соединение двух подходов даст интересный результат, а вышло иначе. Исходя из законов человеческого восприятия места и архитектуры, сотрудники ВНИИТЭ разработали теоретическую концепцию Дигоми. Но пришли из горпроекта планировщики с объемщиками и сразу — в позу: «А нам что же, под вашу дудку плясать?» И пошло...

Я сперва было подумал, что в Джапаридзе говорит профессиональное дизайнерское самолюбие, но от этой мысли вскоре пришлось отказаться. Выяснилось, что Александр Михайлович по образованию как раз градостроитель, градостроительству посвящена и его диссертация. Когда-то смотревшему на мир с высоты птичьего полета, а ныне отстаивающему подход «от человека», ему можно верить.

По мнению одного из руководителей работы по Дигоми-7, председателя Госстроя Грузии Г. Мирианашвили, назрела необходимость организации комплексных проектных мастерских. Проект не должен блуждать по разным отделам, согласовываясь и утрясаясь. Пусть мастерская выдает готовую, по всем статьям законченную работу. А для этого в одном звене нужно «прописать» планировщиков, объемщиков, сантехников, механиков, сметчиков, других специалистов. Туда же войдут, разумеется, ландшафтники, благоустроители, дизайнеры.

Но не слишком ли раздробили профессию архитектора? Вспомним: «Узкий специалист подобен флюсу — полнота его однобока». Однажды знакомый журналист из профессионального архитектурного издания решил организовать дискуссию. Устроил «круглый стол», участники которого были единодушны: рука об руку с зодчим должен работать специалист по городскому дизайну. Материал напечатали, а на другой день журналисту позвонил очень авторитетный архитектор и сообщил, что никакого городского дизайна нет, а есть архитектура, которой занимаются архитекторы. Все прочее от лукавого.

Может, так оно и есть? Известные мастера прошлого все решали сами, вплоть до формы дверной ручки. Более того, известен случай, когда эта самая ручка подсказала архитектору образ целого дома. Значит, можно? Как сказать... Жизнь у архитекторов напряженная, объем работы большой, сроки сжатые — всем не овладеть. А система проектирования такова. Сначала одни делают генеральный план района, следом другие — проект детальной планировки, после привязывают жилые и общественные здания, размечают дороги и инженерные сети. Причем каждый последующий специалист не может изменить того, что сделал предшественник. А уж благоустроители и ландшафтники, которые приступают к делу в самом конце, вообще связаны накрепко. Вертикальная планировка запроектирована — значит, рельефом уже не «поиграешь». Нарисуй кружочки-деревца где-нибудь в стороне от подземных инженерных сетей (они, конечно, тоже расчерчены) — и хватит. Всунь между домами подалее от проезда детскую площадку — порядок. Да не забудь согласовать свою

работу со всеми без исключения авторами проекта, которые с тобой ничего не согласовывали.

Стсит ли удивляться, что стоимость проектирования благоустройства и озеленения много ниже, чем стоимость работ по другим разделам. И что людей, которые этим занимаются, планировщики и объемщики всерьез не принимают. Фамилий тех же ландшафтных архитекторов вполне может не оказаться в списке авторского коллектива или они пройдут под грифом «при участии» — вот вам профессиональный статус. В течение последних лет не опубликовано ни одного серьезного научного труда, не защищено ни одной диссертации, посвященной малым архитектурным формам, хотя занимаются ими в 14 проектных институтах страны. И с подготовкой специалистов этого профиля дело обстоит неважно, их остро не хватает.

Проблема, однако, замыкается не на одном проектировании. Как не бывает проекта нового района без раздела по благоустройству, так и принимать у строителей этот район без этого самого благоустройства нельзя, поскольку он не является комплексным и в эксплуатацию не годится. На то есть соответствующие правила.

Чтобы все было так, как они, эти правила, предписывают, государство выделяет деньги. Средняя стоимость работ по благоустройству и озеленению составляет примерно около трех процентов от общей стоимости комплексной застройки района. Сумма в пересчете на рубли очень даже немалая, заложена она в смете, для ее освоения имеются подрядчики.

Словом, есть все необходимое. Только самого благоустройства не хватает. Правда, времена меняются, теперь совсем уж голый пустырь после себя не оставишь, надо хоть какие-нибудь дорожки проложить да десяток саженцев в землю воткнуть. Деньги же, предназначенные для благоустройства, нередко расходуются на другие цели — у строителей дыр предостаточно. Это запрещено, однако практикуется. И пока работу строителей оценивают главным образом по количеству введенных квадратных метров, пока не налажен должный контроль за соответствием реального благоустройства проектному, решить проблему вряд ли удастся.

Есть негласный закон экономики: если спрос опережает предложение, возникает почва для разного рода кустарных инициатив. Вам и вашим детям не нравятся кособокая песочница и жутковатые железные качели? А не хотите ли сказочный городок с деревянными теремками и чудо-богатырями? Тогда готовы к услугам веселые и находчивые стройотряды студентов-архитекторов, художники, а то и просто умельцы-одиночки с топором и аппаратом для обжига. Продукция их вам, конечно же, известна — не осталось, наверное, ни одного города, где бы они не наследили. Причем стабят свои теремки где попало, до согласования с градостроительными советами не снисходят, и бывало, что главный архитектор города узнавал об этих новостройках в числе последних.

Между прочим, цены на эти городки соответствующие — сказочные. Строительством одного из них в Москве, в Плетешковском переулке, обошлось в 300 тысяч рублей — Кощей Бессмертной руки бы на себя наложил, растратив такую сумму. Хотя совсем близко, в Подольске Московской области, лесхоз выпускает вполне приличный деревянный игровой комплекс с достаточным набором разных персонажей, стоимость которого в 20 раз ниже.

Но хватит о кустарях. В конце концов их солидные заработки свидетельствуют о том, как недостает нам и детских и взрослых городских мелочей. Значит, время говорить об индустриальном изготовлении малых архитектурных форм.

Однажды мне в руки попал набор типовых проектов благоустройства, разработанных белорусскими архитекторами для своей столицы. Несколько модульных элементов, складываясь, образовывали великое множество комбинаций. Изящная простота, с какой была решена проблема, вызвала восхищение. Захотелось поехать в Минск. И вот хожу по кварталам Востока и Зеленого Луга (так называются новые жилые районы Минска), знакоюсь с новостройками на улицах Серова и Сурганова. Что ж, не напрасно столица Белоруссии уже не первое десятилетие считается одним из лидеров в области массовой жилой застройки. Все хорошо спланировано, ухожено, удачно обыгран рельеф. Вот только где же ожидаемое изобилие разнообразных малых форм? Нет его. То тут, то там замечаешь врытую в землю небольшую арку «магнит». Сама по себе она вполне симпатична, но, многократно повторенная, начинает даже раздражать.

Выяснилось дело обыкновенное: из всего многообразия, обещанного набором типовых проектов, строители освоили лишь самую малость. Ее-то и гонят. Сработала-таки инерция поточного производства. Впрочем, не будем спешить с упреками в адрес домостроительных предприятий, которые изготавливают малые формы. Их можно понять. Программу выпуска сборных железобетонных изделий им планируют в тысячах кубометров, так что наиболее выгодным является производство крупногабаритных и бетономеханических изделий, а отнюдь не малых — в прямом смысле — форм. «Гонишь, гонишь эту арку, глядь — а там всего-то один кубик набежал!» — сердито сказал мне рабочий на Минском заводе крупнопанельного домостроения.

Похожая ситуация не только в Минске. Пока элементы благоустройства являются принудительным ассортиментом, ни разнообразия, ни качества мы не получим. Выход простой: планировать выпуск малых архитектурных форм не в кубометрах, а в штуках. Кроме того, считают специалисты, рациональным и экономически оправданным было бы создание при домостроительных комбинатах и заводах железобетонных изделий межрайонных или межобластных цехов для производства элементов благоустройства. Нужны металлические и деревянные изделия? Можно включить в дело ремонтно-механические и деревообрабатывающие комбинаты. Но неперемное условие: выпуск этой продукции должен быть им экономически выгоден, иначе толку не жди.

Поточное производство, само собой, предполагает достаточно крупный тираж — иначе зачем ставить дело на индустриальные рельсы? Но тут может возникнуть опасность: В том же Минске, в Главном архитектурно-планировочном управлении, мне рассказали такую историю... Как-то раз специально для центра города решили сделать особую уличную мебель. Спроектировали отличный гарнитур, наладили поток, и пошло-поехало. Центр обставили — выпуск не прекращается. Мебель шагнула на окраины Минска, потом и вовсе по республике разбежалась. Вы скажете: ну и что же — изделия-то хороши! Да, но как же тогда быть с искомой неповторимостью? Ведь ради нее все и затевалось.

Уникальность — качество труднодостижимое, и поэтому удвоенного внимания заслуживают городские фрагменты, где архитекторы сумели создать то, что древние римляне именовали гением места. Присмотримся к одному такому фрагменту — Лайсвес аллее в Каунасе.

Вспомним репризу Жванецкого: «Разве на Дерибасовской надо спешить? По Дерибасовской гуляют постепенно». Может, в идеале так оно и есть, но я видел бегущих людей и на Дерибасовской, и на Невском, и на Крещатике, и на проспекте Калинина. Они есть всюду, где рядом автомобиль. Он задает темп движению, и пешеходы невольно включают высокие скорости. Не просто быстро ходят — они быстро думают, быстро говорят, быстро покупают... Быстро живут.

Проектированию Лайсвес аллеи, одной из первых в Литве пешеходных улиц, предшествовал опрос жителей. Архитекторы ждали жарких дебатов насчет того, стоит ли полностью закрыть здесь автомобильное движение или все же сохранить магистраль. Споров, однако, не было: абсолютное большинство каунасцев поставили мапинам запрещающий «кирпич». И это, отметим, в городе, где процент автовладельцев самый высокий в республике. Видно, вспомнили они, что сами иногда становятся пешеходами.

По двум сторонам Лайсвес аллеи стоят эклектичные дома XIX — начала XX столетия. Посредине — неширокая полоса бульвара. Деревья, клумбы, скамьи в бетонных углублениях, честно современные, не стилизованные под старину фонари, рекламные тумбы, фонтан, столики кафе... Здесь «гуляют постепенно», этот ритм задан всей обстановкой улицы. Вы сразу оказываетесь втянутыми в здешний уклад, он проникает в ваши поры, и не принять его законов невозможно.

На Лайсвес аллее всегда аншлаг, но нет толчеи. Здесь не чувствуешь себя под перекрестьем взглядов. И люди ходят гордо, степенно: прямо-таки царство пешехода, не омраченное звуками клаксона и миганьем светофора. Аллея умна, удобна и красива. Но для ее авторов А. Паулаускаса, В. Палецкене, Э. Черекаса, А. Сприндиса и Ю. Антанавичюса это, в общем-то, лишь средство — средство создания среды, где неперемные атрибуты — взаимное внимание и уважение, где люди собираются для того, чтобы испытать самую великую роскошь — роскошь человеческого общения.

Впрочем, Лайсвес аллея и функционально нагружена. Здесь выставки, гостиницы и госучреждения, театры, кинотеатры, предприятия бытового обслуживания, а кроме того — 15 кафе и 62 магазина. Не перебор ли? Зачем на улице чуть длиннее кило-

метра нужны, например, два десятка галантерейных магазинов, в сущности, с одним и тем же ассортиментом? Или все эти кафе с неизменно повторяемым меню: кофе, молочный коктейль, пирожные — зачем?

Есть грубоватый, но подходящий к случаю анекдот. Солдату-новобранцу дают кашу, он морщится и спрашивает: «А что, выбора у вас нет?» «Почему же, — отвечает старшина, — выбор есть. Либо съешь то, что дали, либо останешься голодным». Но ведь и мы с вами, сами не замечая, тоже нередко оказываемся в таком же положении. Единственный на всю округу клуб, единственный скверик, единственная столовая — все рассчитано на душу населения. А душе этой нужен выбор, пусть он даже невелик или вовсе иллюзорен. Вот почему на Лайсвес аллее люди, обойдя десяток галантерей, с удовольствием берут то, что не находит спроса в каком-нибудь одиноком микрорайонном магазине промтоваров. Вот почему подолгу сидят в кафе — облюбованных, а не навязанных за неимением иных. Потребность человека в выборе четко зафиксировали психологи и социологи.

Авторы Лайсвес аллеи, напомним, начинали не на пустом месте, здесь уже существовал определенный историко-культурный контекст, имелась градостроительная фабула, которую требовалось осмыслить и интерпретировать. Что и было сделано в высшей степени профессионально.

Однако в несоизмеримо более трудном положении находится проектировщик, создающий, к примеру, новый жилой район на пустом месте. Какие там еще социология с психологией, когда он скован небогатými ресурсами стройиндустрии, сдавлен проектными стандартами и нормативами, которые введены буквально на все, начиная с метража кухни и кончая строго ограниченным набором учреждений обслуживания. Реально ли при таких жестких рамках говорить о нашем четвертом измерении? Опыт мастеров убеждает: вполне.

4

Можно ли соединить Большой театр с панельным жилым домом? Архитектор от этой мысли поморщится, а вот десятилетняя девочка приделала к типовой девятиэтажке («Она мне нравится, потому что я в ней живу») роскошный подъезд, являющийся собой портик и фронтон Большого. Много раз бывал я в детской архитектурной студии, которую молодые московские зодчие основали в старом доме возле Белорусского вокзала, и, разглядывая проекты детей, думал: вот Эльдorado личностей! Раскованное мышление, полное отсутствие трафарета — да обучить этих ребят ремеслу, и мы получим отличнейших архитекторов.

Но ведь нынешние взрослые тоже когда-то были детьми и недостатка фантазии, верно, не испытывали. Куда все девалось? Однажды я решил выяснить, что думают ведущие советские режиссеры о современной театральной архитектуре. Отношение оказалось весьма критичным, причем все без исключения опрошенные — Георгий Товстоногов, Борис Покровский, Андрей Гончаров, Марк Захаров и другие — единодушно заявили, что каждое театральное здание должно быть уникальным и строиться обязательно по индивидуальному проекту. Никаких типовых! Но фокус-то в том, что типовых проектов театров просто-напросто не существует. Значит, архитекторы сами по доброй воле проектируют почти одинаковые здания? И не трансформаторные подстанции — театры! Как выразился один сатирик, «из застывшей музыки архитектура превращается в окаменевшую мысль».

Но не все так просто. Попробуй-ка воспарить, когда размеры фойе, зрительного зала, сцены подчинены все тому же непреклонному стандарту, высота сценической коробки — тоже, набор и расположение необходимых помещений — и на них есть нормы. Знакомый архитектор, проектирующий зрелищные здания, рассекретил кое-какие хитрости: «Чтобы уйти от нормативов, я стараюсь строить такие театры, на которые эти нормативы не распространяются, то есть театры менее чем на 800 зрителей. Как только заказчик соглашается с такой вместимостью — все, я свободен, не спеленат по рукам и ногам. Впрочем, подобные хитрости есть не только у меня. К примеру, хороший театр в Паневежисе был построен под маркой клуба».

А вот позиция начальника управления по строительству общественных зданий и сооружений Госгражданстроя Ю. Шаронова: «Отрицать нормы, стандарты, на мой взгляд, принципиально неверно. Они существовали всегда, начиная с древнейших времен. Всегда были ограничения — финансовые, технические и прочие. А подлинные

произведения зодчества тем не менее появлялись. Так что считать нормы тормозом творчества — чистейшее заблуждение. Сами по себе они не могут служить причиной и оправданием однообразия. Я даже уверен, что именно ограничения изощрают мысль, заставляют искать нешаблонные решения. Хотя прошу понять правильно: я вовсе не имею в виду, что успех приходит лишь при условии жесточайших рамок. Нормы, конечно, должны меняться, становиться более гибкими. Это неперемнное следствие социальных, экономических, культурных изменений. Но и без норм обойтись нельзя, во всяком случае в обозримом будущем. Просто к работе надо относиться творчески».

Соглашаясь с Ю. Шароновым, хочу подкрепить его мысль конкретным примером из практики отнюдь даже не театрального проектирования, а формирования нового жилого массива. В том же Каунасе, в нескольких автобусных остановках от Лайсвес аллеи, есть район Кальнечяй, авторы которого были удостоены премии Совета Министров СССР. Пяти-девятиэтажные дома ходовой серии «120». Облицованные мраморной крошкой фасады, бледно-зеленые и бежевые ограждения лоджий. Все привычно и обычно. Все, да не все.

Кому не знакомо: посмотрев в окно, вы взглядом упираетесь в стену соседнего дома. Приятного, конечно, мало, но привыкаем помаленьку, да и что поделаешь при нынешней высокой плотности застройки. Несколько лет жил с таким же чувством и архитектор Альвидас Степонавичюс. Жил и не мог понять, почему, находясь дома, временами испытывает беспричинное, казалось бы, раздражение. Но как-то раз вычитал: если периодически не фокусировать зрачок на дальние точки, отстоящие на расстоянии минимум полтора километра, то это весьма болезненно сказывается на человеческой психике.

Гораздо позднее, проектируя Кальнечяй, Степонавичюс решил добиться того, чтобы из одного или даже нескольких окон каждой квартиры открывался вид на сосновый бор Клябонишкес. Перепробовал множество вариантов постановки зданий и все-таки нашел оптимальный. Получилось. А многие проектировщики, надо сказать, даже задачу такую перед собой не ставят.

Опять-таки каждый знает, как трудно в новых жилых массивах отыскать нужный дом. Здания схожие, номера крохотные, пока не подойдешь вплотную, не разберешь. Так и ходишь от дома к дому, доколе не сыщешь поводыря. Степонавичюс решил проблему элементарно просто: повесил на торцах зданий яркие информационные панели с гигантскими, метра два высотой, цифрами-номерами. Видно их издали, ориентируешься быстро, вид они не портят, даже наоборот — привлекают оригинальностью.

А посидите в Кальнечяе перед домом на скамейке, и вы непременно почувствуете то, что зовется психологическим комфортом. Тогда заметите: здания сгруппированы так, что образуют замкнутые пространства — дворы. Помните песню: «А у нас во дворе?» «У нас» — вот суть. Привыкли мы в последние годы к бесформенным междоумовым полям, которые не столько общие, сколько ничьи. А двор всегда принадлежит кому-то, каким-то конкретным людям, он, если хотите, — форма общегития, место коллективного творчества. Человеку нужно как-то реализовать себя, так уж он устроен, а большинство новых типовых районов, где все предопределено и зарегулировано, не дают такой возможности. Возникает стена отчуждения. В немалой мере именно поэтому, считают некоторые социологи, взвилась новая волна увлечений дачами, где вы оказываетесь полновластным хозяином и можете, что называется, руки приложить.

Дворы Кальнечяя, архитектурно организованные, обставленные бетонной мебелью и типовыми элементами дизайна (что само по себе немало), тем не менее рукотворны. Они чисты, ухожены, выращенные жильцами цветники поддерживаются в отменном состоянии. И еще интересная вещь: несколько камней, верхушки которых раскрашены под красно-белые шляпки мухоморов. Кто этим занимается? Думал, дети. Оказалось, взрослые тоже. И хотя Альвидас Степонавичюс понимает, что в художественном отношении придумка эта, мягко говоря, малоубедительна, тем не менее она ему очень по душе. Эти мухоморы — знак того, что люди признали район своим, что он им совсем не безразличен, что для них это не только спальня. Социологи называют такое явление идентификацией человека с местом жительства.

Впрочем, не переоцениваем ли мы значение архитектуры? Оправдана ли уверенность в том, что помянутая идентификация — заслуга именно зодчего? Может быть,

дело просто-напросто в известной прибалтийской аккуратности, в традиционной любви литовцев к месту обитания? Соображения такого рода могут показаться резонными, и потому ненадолго уведу ваше внимание в мало кому известный город. Находится он в Западной Сибири, в Тюменской области. Называется Когалым.

Буквально с первого взгляда город что-то напоминал: бродя по нему, я мучился и не мог вспомнить. А потом увидел проект и все понял — Кальнечяй! Абсолютно тот же композиционный принцип, те же дворы. Мало того, заглянул в титульный лист — вот так штука: проект разработан в том же каунасском филиале республиканского института проектирования городского строительства. Но и это не все — сами дома тоже литовские, их везут в Сибирь за тысячи километров, и здесь работники Каунасского домостроительного комбината ведут монтаж, осуществляя шефство над Когалымом. Вот такое неожиданное было совпадение.

Литовский стиль работы узнаваем — высокое качество строительства, отличное благоустройство. Тротуары вымощены бетонными плитками, есть малые архитектурные формы, все делается строго по проекту, даже то, что, на мой взгляд, вообще не надо было бы делать. Стоит, например, в одном дворе маленькая бетонная горка со спуском; как выяснилось, она предназначена для катания на велосипеде. Никому, уверяю, без пояснений это в голову не придет, бесполезная получилась штука. Однако раз проектом предназначено — значит, сделано. Дело, впрочем, не только в пунктуальности строителей. Они, конечно, задают тон, но главное все же в том, что жители с готовностью его принимают. Здесь нет раскрашенных камней, но есть иные верные приметы заботливого отношения людей к земле обетованной. Ну, например, такая: чтобы в микрорайонах зеленела трава, грунт взят с болота.

В Когалым я приезжал весной, и надо было видеть, с каким удовольствием «оттаивающие» после лютой зимы люди гуляли в своих дворах, как степенно они прохаживались, как валяжно сидели на скамейках, наконец, как опрятно и даже элегантно были одеты. Тут не чувствуешь желания продемонстрировать соседу кожаное пальто или дубленку: в Когалыме этим не удивишь, но было нечто иное и гораздо большее — уважение к месту обитания.

А теперь главное: если в Кальнечяе живут в основном коренные каунасцы, люди с весьма высоким уровнем городского сознания, любящие свою землю и умеющие обустроить свой быт, то в Когалыме, как выясился один знакомый, «местные только мороз и болота, все остальные — приезжие». Приезжие, добавим, из самых разных концов страны, народ разной культуры и разного отношения к жизни. Есть и такие, кому вообще наплевать на Когалым как таковой, они в нем не живут, а ночуют, заработают денег — поминай как звали. И тем не менее ни в Сургуте, ни в Нижневартовске, ни в других подобных местах не привелось видеть того порядка и ощущать того уюта, что в этом городе. Вернемся, однако, в Литву.

Юргис Ванагас — заведующий кафедрой урбанистики Вильнюсского инженерно-строительного института. Пятнадцать лет назад занялся социологией. Сначала вместе с добровольными помощниками — студентами обследовал исторические зоны Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, затем взялся за новостройки. Работы получили хороший резонанс. Теперь после пяти — семи лет эксплуатации жилого района социологам заказывают обследование, в результате которого получается достаточно ясный и полный рентгеновский снимок района, налицо его плюсы и минусы, а проектировщику — прямая подсказка на будущее.

Недавно группа Ванагаса закончила социологическое обследование Кальнечяя. В анкетах были самые различные вопросы: как пользуетесь кухней? где устраиваете домашний склад? каких соседей предпочитаете? Всего 61 вопрос. Проанализировав ответы, пришли к такому выводу: главное преимущество, за которое жители ценят свой район, — спокойствие. Что это значит? Удаленность от городского центра, близость природы, словом, вещи, не зависящие от проектировщика? Нет, отнюдь не только. И виды из окон на дальние точки, и дворы, и отсутствие внутри кварталов автомобильных стоянок, и пространственное отделение школ, и другие сугубо архитектурные приемы — вот главные слагаемые этого спокойствия. Это и есть профессионализм — умение при минимуме средств добиться предельно возможного.

«Архитектурная среда, — говорит Юргис Ванагас, — это, конечно же, средство формирования личности. Взять, к примеру, наш литовский поселок Юкнайчяй. Он красив, отлично организован в архитектурном смысле, в последние годы приобрел

всесоюзную известность. Так вот, оттока жителей практически нет, молодежь туда едет очень охотно, а производительность труда на местных предприятиях заметно превышает средний уровень по республике. Разумеется, архитектура сама по себе не могла обеспечить успешное развитие поселка и его сельскохозяйственного производства, однако наши исследования со всей полнотой подтвердили, что среда оказывает активное и вполне конкретное влияние на жителей Юкнайчяя. Я даже склонен считать среду чем-то вроде экономической категории. Могу привести еще пример. Когда мы изучали вильнюсский район Лаздинай, известный своими незаурядными архитектурными достоинствами, в нем проживало тридцать тысяч человек, а обслуживал их всего один — один! — участковый милиционер. Да и тот томился без дела».

Сколь ни мистичен процесс «облучения» архитектурой, он зачастую приводит к вполне конкретным результатам. На велотреке в Крылатском уже при первом апробировании во время Олимпиады-80 был установлен каскад мировых достижений — вся архитектура работала на рекорды. Однако не будем слишком уж прагматичны, вряд ли правильно оценивать силу впечатления, произведенного работой зодчего, лишь, так сказать, по измеримым параметрам.

В центре Ашхабада стоит библиотека имени К. Маркса. Честно говоря, понятия не имею, насколько лучше, чем в прочих библиотеках, усваивается здесь прочитанный материал. Мне интересны причины того, почему постройка вызывает широкий интерес и признание. Ее автору, Абдулле Ахмедову, библиотека принесла Государственную премию СССР.

Мне очень нравится язык Ахмедова. Об удачно вылепленной постройке он скажет: «Она материальна». Облицовку назовет кожей. Я спросил, почему фасады библиотеки выполнены в лицевом бетоне, в ответ: «Хочу, чтобы здание хорошо старело». Все у него просто и понятно, и дверь есть дверь, а не «коммуникационный элемент с переменным значением», как у иных теоретиков. А вот слов «образ» «творчество», которые в чести у многих, особенно молодых, зодчих, от Ахмедова не услышать. Очень рационалистичный словарь.

И архитектор он, если вникнуть, рационалистичный. Ничего лишнего, ни одной случайной детали, каждая — звено продуманной и ясной системы. В библиотеке и сам объем здания и все его части вплоть до водосливов, воздухозаборных шахт и цветников, укрытых бетонными манжетами, — буквально все выросло из одного стилового корня. Верный признак авторской грамотности, когда в композиции нет жаргонных элементов (Ахмедов говорит: подкидышей). «Архитектура есть язык, подчиненный дисциплине грамматики», как написано в книге выдающегося зодчего Миса ван дер Роэ, всегда лежащей на рабочем столе Абдуллы Рамазановича.

Вполне отдаю себе отчет в том, что описывать архитектуру дело крайне неблагоприятное. Как ни описывай, останется она плоской одномерной, при очной же встрече талантливая постройка вызывает целый спектр эмоций и ассоциаций. Ашхабадская библиотека — это настоящий пространственный спектакль, увлекательный и остроумный, полный уловок и трюков, постигаемый только в движении, когда в каждой новой точке, за каждым поворотом тебя ожидает смена впечатлений. Даже фотография тут бессильна.

Каждая архитектурная работа может оцениваться по-разному. Случается, что мнения профессионалов и общественности не совпадают. К примеру, новый МХАТ, прошедший у зодчих со знаком плюс, в целом москвичами был принят весьма прохладно. А вот здание Совета Министров РСФСР на Краснопресненской набережной, вызывающее одобрение широкой публики, резко отрицают архитекторы. Речь не о том, кто прав; наверное, каждый прав по-своему. Иногда поначалу непривычное сооружение должно простоять немало лет, чтобы, приучив людей к своей «особе» впоследствии вызывать их похвалу. Эйфелеву башню, между прочим, сначала дружно охаяли, а ныне это символ и гордость Франции.

Вот, пожалуй, нужное слово — гордость. Среди множества функций архитектуры эта — вызывать гордость — представляется очень важной для нашей темы. Ашхабадская библиотека стала признанной достопримечательностью столицы Туркмении, она, как магнит, притягивает и местных и приезжих. Пожилой туркмен, коренной ашхабадец, сказал: «Иногда мне кажется, что библиотека стояла здесь всегда. Ничего другого на ее месте я не представляю». Вряд ли можно сделать больший комплимент автору.

проекта. Умение точно вписаться в конкретную ситуацию всегда считалось высшим мастерством архитектуры.

Что же такое эти «обстоятельства места» и что подсказывают они зодчему? Представьте, скажем, границу Армении и Грузии. Одна природа, один климат, одни строительные материалы. И при этом всего в нескольких километрах друг от друга стоят абсолютно несхожие здания. Почему? А потому, что они созданы разными народами. Мы подошли к вопросу о национальных особенностях зодчества. Как не бывает человека вообще, так и архитектуры вообще не бывает. Или, точнее, не должно быть.

Национальные традиции, хранимые и почитаемые, используют по-разному. Зодчие Ташкента, к примеру, увлекаются резным камнем и куполами, стрельчатыми арками и орнаментальной росписью. Вероятно, прямое цитирование исторических форм имеет право на существование, но все же его не причислишь к серьезным методам освоения национального архитектурного наследия. Вот мнение знаменитого японского зодчего Кендзо Танге: «Традиция сама по себе не может быть созидательной силой. Это как бы химическая реакция: чтобы возникло нечто новое, традиция должна послужить катализатором, но не должна открыто проявляться в конечном продукте».

Эти слова сразу приходят на память, когда видишь туристический комплекс в Суздале, этнографический музей в Сардарапате, ту же ашхабадскую библиотеку, — постройки, лишенные бьющих в глаза национальных опознавательных знаков и являющиеся глубоко национальными по существу. Профессор Олег Швидковский рассказал о своем отношении к работе Ахмедова: «Помню, когда мы с коллегами-архитекторами впервые увидели библиотеку, кто-то сказал: «Все-таки здесь очень мало национального». Я внутренне не согласился, но привести контрдоводы не мог. Лишь позже, попав на ашхабадский базар, вспомнил о красных коврах с волнистой кромкой, стелющихся в интерьерах библиотеки. Базар был полон людей в ярко-алых одеждах. Женщины сидели в извилистых торговых рядах прямо на серебристой земле — по цвету точь-в-точь бетон библиотеки. И я понял, что в этом ощущении цвета, впрочем, как и во многом другом — в тенистых двориках, в шуме падающей воды и прочем, — безусловно проявилось точное восприятие Ахмедовым национальной художественной культуры».

Советская архитектура переживает сложный период развития. Медленно, но неуклонно она набирает обороты, и появляются на свет днепрпетровский жилой район «Победа», санаторный комплекс на Иссык-Куле, аэропорт Звартноц в Ереване, таллинский Дворец культуры и спорта имени В. И. Ленина, Театр на Гаганке в Москве, морской вокзал в Ленинграде — идет реализация накопленных сил. Свидетельств тому много, но не меньше пока проявлений и бессилия, плохой организации архитектурно-строительного дела.

Иногда по торжественным случаям архитекторов называют современниками будущего, имея в виду то, что результаты их труда остаются следующим поколениям. Тяжкое бремя, если вдуматься, — знать, что созданное тобой переживет тебя. И не просто сохранится как некий необязательный предмет — твоими домами, улицами и городами будут ежедневно пользоваться. Они будут пробуждать радость или навевать тоску. Приносить успокоение или раздражать. Вызывать гордость или стыд. Заставлять думать или порождать безмыслие. Архитектура будет помогать воспитанию всесторонне развитой личности или растить тех самых людей с гиповым мышлением, о которых говорил Ю. Бондарев. Сегодняшний зодчий несет социальную ответственность не только перед нами, но и перед детьми, перед внуками нашими.

Время все ставит на свои места. Метр Корбюзье, считавший, что зодчие могут и должны переделать мир, имел мужество сказать: «Жизнь всегда права, а архитектор не прав».

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

П. А. КАПИЦА

★

ПИСЬМА К МАТЕРИ*

1921 — 1926

Кембридж, 22 октября 1922 г.

Дорогая Мама!

Вчера я в первый раз докладывал перед довольно большой аудиторией в одном ученом клубе. по-английски Докладывал я об одной своей теоретической работе, которую думаю в ближайшее время опубликовать. Все сошло благополучно. Было человек 30... Все уже ученые. Частью математики, частью физики.

Моя работа идет благополучно. Решающие опыты дали благополучный результат. Но все же мною была сделана маленькая ошибка в технической детали постройки аппарата. Когда я о ней сказал Крокодилу, он мне сказал: «Я очень рад, что вы хоть раз ошиблись». Видишь, он мастер говорить комплименты, так как на самом деле я очень часто ошибаюсь (ведь не ошибается тот, как известно, кто ничего не делает). Теперь в ближайшие две недели будут дальнейшие испытания моих приборов.

Но я довольно сильно устал и решил два-три дня отдохнуть. Получил твое письмо с описанием вашей жизни. Очень тебе благодарен за такие пунктуальные ответы на мои вопросы.

Резерфорд прямо исключительно добр ко мне. Как-то раз он был не в духе и говорил мне, что надо экономить. Я ему доказывал, что делаю все очень дешево. Он, конечно, не мог это опровергнуть и сказал: «Да-да, это все правда, но это входит в круг моих обязанностей — говорить вам все это. Имейте в виду, что я трачу на ваши опыты больше, чем на опыты всей лаборатории, взятой вместе». И ты знаешь, это правда, ибо наша установка ему вскочила в копейку.

Пока что все идет благополучно, но в опытах в новых областях всегда очень легко сорваться и надо быть очень осторожным, а я, дорогая моя, еще очень молод и неопытен. Ну, крепко тебя целую.

Кембридж, 3 ноября 1922 г.

Дорогая моя Мама!

Ты изредка меня упрекаешь в своих письмах, что я мало тебе пишу о себе, о своей работе. Но, дорогая моя, мне бесконечно трудно писать о себе. Дело в том, что хотя у меня снаружи и очень самоуверенный вид подчас, но внутри такая масса сомнений и недоумений, что мне всегда очень трудно дать тебе искреннее описание того, что я хочу делать или что я думаю у меня выйдет из дела. Но я все же попробую тебе описать, как я обещал в последнем письме, состояние моих дел научных.

Я не раз тебе писал, что мое положение в Кембридже очень трудное и сложное. Я, по существу, нахожусь в стороне от университетской жизни. Но необходимость научного контакта, более тесной связи с учеными кругами очень

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 5 с. г.
Публикация и примечания П. Е. РУБИНИНА.

важна для меня. Мешают два обстоятельства — политическое и, главное [недостаточно] знание языка. В этом направлении сближения я уже достиг кое-чего. Организовал научный кружок, читаю лекции по магнетизму. Это берет много времени, но пока что дело хотя и имеет много пробелов, но все же идет удовлетворительно.

Теперь Крокодил. У меня с ним в данную минуту отношения хорошие, даже очень. Он не только оказывает всякое содействие и проявляет большой интерес к работе, но часто беседует на научные темы.

И забавнее всего, что он, как и Абрам Федорович, после доклада или лекции подзывает меня (конечно, когда никого нет) и спрашивает: «Ну как, что вы думаете об этом?» Он очень любит, чтобы его похвалили, и правда всегда он блестящ, но я стараюсь дать критику тоже, хотя в такой форме, чтобы она не задела его. Ведь, мамочка, он самый крупный физик в мире! Вчера мы проговорили с ним часа 1½ — 2 по поводу одной идеи, высказанной им на последней лекции. Благо она касалась вопроса, который я хорошо знаю. Ты знаешь, моя дорогая, я не особенно ясен, когда говорю. Мысль у меня делает большие логические скачки, и мало людей, которые быстро меня понимают. Абрам Федорович был одним из них, Колька тоже. Но Крокодил, принимая во внимание мое плохое знание английского, безусловно побил рекорд.

Несколько раз он звал меня советоваться по поводу опытных установок. Рассказывал мне о своих столкновениях с различными крупными учеными, как, например, с лордом Кельвином. Давал характеристику работающим [в лаборатории] и ученым. Но все же, несмотря на это, у меня нет уверенности в прочности его ко мне доброго отношения. Это человек колоссального темперамента, который может [как] уйти далеко в одну сторону, так и размахнуться обратно. Я теперь довольно хорошо знаю его характер. Так как его комната напротив моей, то я слышу, как он закрывает дверь. И по его манере закрывать дверь я почти безошибочно могу судить о том, в каком он расположении духа.

Теперь третий вопрос. Это моя работа. Сейчас я работаю над получением магнитных полей очень большой мощности. Это нужно для того, чтобы наблюдать некоторые явления в области радиоактивности. Я начал эту работу, как я тебе уже писал, с одним молодым английским физиком, Блэкеттом. Я полагал получить эти поля тремя методами. Первый из них отпадал теоретически, остались 2. Мы начали работу по второму методу и с места в карьер налетели на почти непреодолимые технические трудности. Пока мой товарищ по работе продолжал эти исследования, я попробовал 3-й метод и сразу получил положительный результат. 1½ месяца я вместе с Э. Я. [Лаурманом] и Блэкеттом продолжал исследования 3-го метода, и нам удалось окончательно установить его пригодность. Надо было только от масштаба маленького перейти к масштабу уже солидному. Так как эти поля открывают новую область и так как Крокодил верит в удачный исход нашей работы, то он решил сделать затраты на производство опытов в большом масштабе. И вот у меня большое помещение, почти в этаж, правда на чердаке. Истрачено более 1000 зол. руб. на закупку приборов, и работа уже в полном ходу. Что выйдет, трудно сказать. Установка почти готова, и на будущей неделе будем пробовать. От удачи зависит многое...

Итак, вот тебе картина того, что я делаю и что у меня тут происходит. Целую тебя крепко, дорогая моя. Пожелай успеха мне. Поцелуй всех остальных.

Кембридж, 29 ноября 1922 г.

Дорогая Мама!

Для меня сегодняшний день до известной степени исторический. Сегодня я получил то явление, которое ожидал. Вот лежит фотография, на ней только три искривленных линии. Но эти три искривленных линии — полет α -частиц в магнитном поле страшной силы. Эти три линии стоили проф. Резерфорду 150 ф. ст., а мне и Э. Я. [Лаурману] — трех с ½ месяцев усиленной работы. Но вот они тут, и в университете о них все знают и говорят. Странно. Всего три искривленных линии. Крокодил очень доволен этими тремя искривленными линиями. Правда, это только начало работы, но уже из этого первого снимка можно вывести целый ряд заключений, о которых прежде или совсем не знали, или же догадывались по косвенным фактам. Ко мне в комнату в лаборатории

приходило много народу смотреть эти искривленные линии, люди восхищались ими. Теперь надо идти дальше. Много еще работы. Крокодил позвал меня сегодня в кабинет и обсуждал дальнейшие планы. Итак, на этот раз я не сорвался. Это хорошо.

Второе: на днях сдаю в печать еще одну работу, теоретическую, под названием «К теории δ -радиации». Работа из средних, но все же с некоторыми положительными результатами.

Итак, ты видишь, дорогая моя, я работаю вовсю и не без успеха.

Но как мне недостает вас всех! Я очень устал, но через 2—3 недели каникулы, и я думаю отдохнуть. Пора...

Кембридж, 4 декабря 1922 г.

Дорогая моя Мама!

От вас почему-то долго нету писем, и это меня, как всегда, беспокоит.

Мои дела идут хорошо, даже в данный момент больше чем хорошо. Я тебе писал уже в прошлом письме об удачных опытах моих. Я еще получил результаты, еще лучшие. Я эти дни был что-то вроде именинника. 2-го, в субботу, был прием у проф. Дж. Дж. Томсона по случаю приезда голландского физика Зеемана¹. Я был, как и все работающие в лаборатории, приглашен. Народу было человек 70. Конечно, надо было напялить смокинг.

Когдаходишь в гостиную, то о тебе докладывают, ты подаешь руку хозяину, а потом я прошмыгнул в уголок гостиной. Но ко мне сразу подошел Дж. Дж. Томсон, взял под руку и сказал: «Я хочу вас представить Зееману, он очень заинтересован вашими опытами», и т. д. Я говорил с З., и меня примерно представляли таким образом: что это, дескать, такой физик, который решает такие проблемы, которые считаются невозможными. И эти генералы меня трепали около 20 минут, пока я опять [не] ушмыгнул в угол. Но скоро Дж. Дж. Томсон меня опять нашел, пригласил к себе в кабинет с несколькими молодыми физиками. Там, в кабинете, он около часа забавлял нас рассказами о различных эпизодах с изобретениями, которые ему пришлось иметь во время войны.

Сегодня Зеeman и лорд Рэлей (сын) были у меня в лаборатории и смотрели мою работу. Также у Томсона подошел ко мне Ньюэлл², астроном (тетя Саша знает это имя), и сказал, что он столько слышал о моих работах, что непременно хочет посмотреть их. Это, конечно, мне очень приятно, так как делает мое положение прочным.

Я получил приглашение из Голландии от Эренфеста приехать в Лейден и прочесть доклад на его семинаре. Я еду в конце этой недели. Это очень приятное приглашение, так как я так переутомлен, что очень рад прервать работу и отдохнуть с месяц всецело. Из Голландии думаю проехать в Берлин, где устрою свою поездку в Питер на пасху.

Мой успех меня радует главным образом потому, что ставит меня более прочно на ноги.

Я знаю, что ты будешь рада за меня, дорогая моя, больше всех на свете, и потому мне хочется тебе все это написать. На этот раз мне повезло больше, чем я мог ожидать. Но я устал страшно, как никогда прежде. Я решил эту неделю ничего не делать. К тому же немного простудился...

¹ Зеeman Питер (1865—1943) — нидерландский физик, лауреат Нобелевской премии (1902).

² Ньюэлл Хью Фрэнк — английский астроном и астрофизик.

Лейден, Голландия, 13 декабря 1922 г.

Дорогая Мама!

Пишу тебе из Лейдена. Я здесь пробыл уже три дня и пробуду еще два. Я остановился у проф. П. С. Эренфеста. Завтра читаю доклад в университете. Сегодня был в Амстердаме у проф. Зеемана. Он меня приглашал к себе, и я в его знаменитой лаборатории провел все утро и завтракал с ним. После пошел в музей и смотрел Рембрандта и вспоминал тебя. «Ночной дозор», «Судьи» и «Операция»¹ — лучшие экземпляры, которые тут есть, и это почти все, что стоит смотреть. Франс Гальс очень хорош, конечно, но его мало тут. Говорят,

надо ехать в Харлем его смотреть. Но я навряд ли соберусь туда. Но «Ночной дозор» очень хорош и произвел на меня большое впечатление. Вообще, перечисленные три картины Рембрандта — одни из его лучших произведений, на мой взгляд.

Я начинаю немного отдыхать от усталости. Перемена всего хорошо сказывается на мне. Отсюда еду в Берлин, там пробуду 2 недели и ко 2—3 января думаю вернуться в Кембридж и сесть за работу.

П. С. Эренфест очень яркий человек, своеобразный очень. Это умный, быстро схватывающий человек, но немного скользящий и не сосредоточивающийся долго на вопросе и не умеющий вникать и продалбливать вопрос. Он специально создан для дискуссии, и разговаривать с ним очень интересно.

Голландия очень забавная страна. Все каналы и каналы. Голландцы очень любезный народ, но очень любящий порядок.

Я немного отдохнул и думаю уже о работе. Тут холодно, и это всегда меня раздражает...

¹ Речь идет о картинах «Групповой портрет старшин гильдии суконщиков» и «Урок анатомии доктора Тюлпа».

Кембридж, 27 января 1923 г.

Дорогая Мама!

Давно нет от вас писем, и это меня всегда волнует. Последнее письмо было с коллективным, вложенным в твое. Это коллективное письмо меня искренне тронуло и было приятно. Я так себе и вообразил вас всех за столом, как хотелось бы быть с вами!

Я работаю усиленно. Прочел две лекции. Крокодил просил меня сделать доклад в Физическом обществе, но я просил дать мне отсрочку до конца семестра. Работа идет хорошо, хоть мне кажется, [что] и несколько медленно. Но я думаю, что через месяц удастся получить числовые результаты.

Между прочим, я решил примкнуть к колледжу и сделаться членом университета. В среду я был избран в университет. В пятницу был принят в колледж. Для меня были сделаны льготы, и, кажется, месяцев через 5 я смогу получить степень доктора философии. Это, мне кажется, не мешает. Диссертация — плевое дело, экзамены — еще проще. Но самое забавное, что меня приняли (все устроил, конечно, Крокодил, доброте которого по отношению ко мне прямо нет предела) на бакалавра наук, и эти 5—6 месяцев мне придется быть под надзором тьютора¹ и носить форму. Форма очень забавная, она сохранилась с древних времен. Это четырехугольная черная шапка с кисточкой и ряса черного цвета...

¹ Руководитель английского студента.

Кембридж, 1 февраля 1923 г.

Дорогая Мама!

Посылаю тебе фотографию в моих новых одеяниях, а также кое-какие другие фотографии, по которым ты можешь составить себе представление о моем житье-бытье.

Я в понедельник матрикулировался¹. Это совсем не опасно. Тебя ведут в дом сената, и там в толстой книге ты расписываешься полным именем. После этого ты считаешься членом университета на всю жизнь...

Меня несколько беспокоит, как удастся приехать на пасху. На континенте сейчас заваривается каша². Так и кажется, произойдет взрыв. Сейчас Лондон прямым сообщением отрезан от Берлина (через Остенде и Дувр). Очень пахнет революцией и войной.. Дела мои идут понемногу. Отправил одну маленькую теоретическую работу в печать. Даю теорию δ -радиации...

Через месяц сюда придет Эренфест по моему приглашению, он прочтет в нашем кружке (там же, где и я читаю) 3 лекции...

¹ Зачислен в высшее учебное заведение (от английского *matriculate*).

² 11 января 1923 года в ответ на невыполнение Германией ее репарационных обязательств французские и бельгийские войска начали оккупацию Рурского бассейна. Германское правительство призвало население Рура к «пассивному сопротивлению» и саботажу.

Кембридж, 18 февраля 1923 г.

Дорогая Мама!

...Когда ты получишь это письмо... то, наверное, будет ровно два года как я покинул вас. Боже ты мой, два года разлуки! Но вот отчет за это время. Я думаю, что эти годы были, может быть, самые трудные и испытующие в моей жизни. Я был брошен в воздух и летел на своих собственных крыльях. Полет был смел, пожалуй, но, мне кажется, сейчас можно определенно сказать, что я не свалился и не разбился. А это было нетрудно. Приехал я сюда и работал 1½ года. Началось с подозрительного отношения, полного недоверия. А сейчас я играю одну из первых скрипок. О моих работах говорят. Специально приезжают в лабораторию из Лондона, чтобы посмотреть мои установки. У меня есть предложения работать в других университетах. Крокодил заботлив почти как отец. Со мной считаются и ходят советоваться.

Как все переменялось! Как странно оглядываться назад. Было несколько шагов сделано мною, которые можно было назвать почти сумасшедшими. Как, например, приезд Э. Я. [Лаурмана] Его Крокодил тоже оценил теперь, и ему увеличивают жалованье. Его считают моим частным ассистентом.

Мне жутко подчас, ибо то положение, которое теперь создано, лучше всего того, о чем я только мог мечтать.

Итак, дорогая моя, эти два года пока что дали результаты. Что будет дальше? Бог его знает. После солнечных дней бывает дождь, но потом опять тучи рассеиваются. Но как мне подчас хочется домой!

Мне бесконечно тяжело, что я не умею тебе все описать о себе. Какие мои проекты и что я предполагаю. Трудно об этом писать, так как они часто смелы, а еще чаще я действую по интуиции, не зная, куда меня приведет этот шаг.

Один из главных вопросов для меня: где считать свою точку опоры? Тут или в Политехническом? Если сравнить патронов, то такой заботливости, какую я вижу теперь от Крокодила, я еще ни от одного патрона не видел. Вопрос материальный и вообще возможность работать тут тоже гораздо правильнее поставлены. Но что поставить во главу решения — возможность работать научно спокойно и с успехом либо поставить точку на научной работе и вернуться к прежнему?

Здесь, конечно, взамен будут близкие люди, друзья, родной язык. Как решить этот вопрос? И я, как страус, его не решаю и отодвигаю на будущее. Если бы не тяжелые воспоминания пережитого, может быть, я давно уже вернулся. Но тут, в угаре работы, я увлекаюсь так, что забываю все. Ну, моя дорогая, целую тебя крепко-крепко. Я сделаю все, чтобы нам скорее увидеться. Целую всех наших.

Кембридж, 9 марта 1923 г.

Дорогая Мама!

Не писал тебе давно, был очень занят. С утра до поздней ночи. Приехал сюда проф. Эренфест на неделю из Лейдена, остановился у меня, и мне пришлось с ним быть все время. Потом был мой доклад в Кембриджском философском обществе (повестку при сем прилагаю). Никогда я так не беспокоился, как перед этим докладом, так как пришлось выступать с довольно смелой и малообоснованной гипотезой. Этот доклад прелиминарный¹. Я им остался не очень доволен. Не было выпуклости, которую я так хотел. Он будет печататься. Дел у меня уйма, и приезд Эренфеста вышиб меня из колеи.

Меня очень и очень огорчает, что поездку в Питер надо отложить до осени. При всем моем бесконечном желании я не могу сейчас отлучиться из Кембриджа более чем дней на 10 или две недели. А за это время в Питер не обернуться. Осенью будет целый месяц, даже более, каникул, и тогда можно будет съездить в Питер к вам. Дела, моя дорогая, обстоят так, что ты сама поймешь, что ехать нельзя. Эренфест того же мнения. Все дружной толпой меня отговаривают ехать, и я сам [это] понимаю. Только что я добился результатов в моих опытах, и ближайšie 2—3 месяца должны подтвердить то, что я получил уже, и, может быть, продвинуть дальше. Опыты мои сейчас приняты крупный масштаб, затрагивают большие суммы денег (5—6 тыс. зол. руб.), и прерывать их очень трудно, так как я чувствую моральную ответственность перед

Крокодилом. Во-вторых, вопрос [относительно того], что мне дадут доктора, в июне окончательно выяснится в положительном смысле, но только в том случае, если я не отлучусь из Кембриджа более чем на 2 недели, как тут говорят, выдержу терм². В-третьих, ожидается улучшение моего материального положения. Это будет сделано в конце марта, и тоже отлучаться неудобно. И наконец, мой текущий счет такой, что я не смогу истратить на каникулы более 12—15 ф. ст.

Я знаю, как тебе будет грустно, что я не исполняю свое обещание, но этой поездкой я могу одним махом разрушить то, что создавал в продолжение 2 лет. Осень гораздо более благоприятна, и я думаю, что тогда 90 шансов против 10, что я пробуду с вами недели две-три. Итак, моя дорогая, не печалься, и я уверен, что ты поймешь, что нельзя ставить на карту все это. Ну, крепко-прекрепко тебя целую, моя дорогая... Помни, что сейчас решается участь твоего сына...

Мне так трудно было написать это письмо, ибо я знаю, что оно тебя огорчит.

¹ Предварительный.

² Семестр.

Кембридж, 18 марта 1923 г.

Дорогая Мама!

...Меня огорчает твое последнее письмо, в котором ты пишешь, что боишься, что я отойду от вас. Этого не может быть и не может быть потому, что здесь я не имею никакой духовной жизни и всецело ушел в работу. Я боюсь, что у тебя превратное мнение обо мне и о моем положении тут. Дело в том, что мне вовсе не сладко живется на белом свете. Волнений, борьбы и работы не оберешься. Сейчас сдаю еще работу в печать ..

Я ушел в дела и работу по уши. И сейчас один из самых критических моментов. Я устал очень и мечтаю о моменте, когда смогу отдохнуть. Наверное, уеду на неделю из Кембриджа.

И вот вы, дорогие мои, я боюсь, не видите того, что если я теперь не создам себе в жизни почву под ногами, то второго случая в жизни у меня не будет. Что я, для чего живу? У меня одно самое ценное — это моя работа. И как только я от нее отрываюсь, для меня жизнь темнее тучи.

Но ты знаешь мое мнение: в науке стоит только играть первую скрипку. Я тебе не раз писал, что не знаю, куда стремлюсь, но одно, что мне ясно, что это не покой семейного очага... Тот комфорт, которым я себя окружил, он очень скромный, но все же он необходим. Я имею за обедом только одно блюдо, живу в самой демократической части города, и комнатуха у меня очень малая. Весь избыток денег идет на работу: книги, инструменты, Лаурман и на одну роскошь, которую я себе позволяю.— отдых во время каникул. Я еду на континент, в Париж, и среди новых людей я могу не работать и не думать.

Дорогая моя, мне бесконечно хочется поехать к вам, но это так трудно, что я прямо скажу, что невозможно, не разрушивши все, что я сделал за [эти] два года. Осенью это будет куда легче. Ты знаешь, я не боюсь трудностей в жизни, и если я говорю, что это трудно, то это, значит, действительно так. А вот ты, я боюсь, совсем не ориентируешься в том, что действительно сделано мной. Тебе совсем трудно даже представить себе это. Я не писал тебе, но у меня было четыре обморока на почве переутомления.

А твои упреки, что я отхожу от вас, для меня больны, бесконечно больны. Нет, все-все, что родное и близкое есть у меня на свете, все это с вами...

Кембридж, 1 мая 1923 г.

Сегодня получил твое письмо от 19 апреля. Бесконечно рад за Леньку, что он кончил с экзаменами¹. Поздравляю, кричу «ура» и пр., и пр., и пр. Молодец, одно слово. Можно сказать, на старости лет сумел засесть за книгу, да еще в условиях, которые в десять тысяч раз хуже, чем тогда, когда он начинал университет. Молодчина, ей-богу. Наташа тоже молодец, но она человек положительный во всех отношениях. Я им обоим на днях напишу.

Мне не писалось все это время, чересчур ушел в работу. И когда я сажусь за письмо, то не знаю, о чем писать. В голову лезут разные вопросы опыта...

Мне чрезвычайно важно, чтобы Колька прислал те приглашения, о которых я ему писал. Эти приглашения заключаются в том, что меня приглашают прочесть серию лекций в Политехническом институте или где-либо еще. Он вообще по-свински ведет себя. Я ему нужен, и он совершенно не думает обо мне самом. Между прочим, узнай, пожалуйста, не собирается ли Абрам Федорович за границу. И если собирается, то когда и куда.

¹ После длительного перерыва в занятиях брат Петра Леонидовича Л. Л. Капица окончил географический факультет Петроградского университета.

Кембридж, 15 мая 1923 г.

Дорогая Мама!

Был все это время очень занят. Не писал тебе довольно долго, почти две недели. Сегодня кончил диссертацию. Завтра ее мне прокорректируют, послезавтра [нужно] снести к переписчице и в субботу уже подать. Вышла она короткая, но, я думаю, сойдет. Экзамены будут в июне. Должно быть, это последний экзамен в моей жизни. Хотя сама жизнь — это лучший экзамен, который только можно выдумать.

Лаурман у меня несколько волнуется, его жена и дочь завтра должны приехать сюда. Крокодил устроил возможность им сюда приехать. У него золотое сердце.

На политическом горизонте тут туча¹... Я не понимаю, что творится...

¹ 8 мая 1923 года английский министр иностранных дел лорд Керзон направил Советскому правительству меморандум, который носил характер ультиматума и угрожал разрывом советско-английского торгового соглашения.

Кембридж, 15 июня 1923 г.

Дорогая моя Мама!

Вчера я был посвящен в доктора философии. Все было честь честью, в доме сената. Канцлер университета, в красной мантии с горностаевым воротником, сидел в кресле вроде трона, на возвышении. Около него стояли разные чины университета — проктор, [общественный] оратор и пр. Я посылаю тебе лист посвящаемых, там ты найдешь и мое имя.

Меня подвели к канцлеру за руку, я был в черной шапочке, в смокинге, с белым бантом и с красной шелковой накидкой. Весь обряд ведется по-латински. Меня представили канцлеру по-латински довольно длинной речью, из коей я понял только два слова, и те были Pierre Kapitza. Потом я встал на колени, на красную бархатную подушечку.. у ног канцлера, сложил руки вместе и протянул их вперед. Канцлер взял мои руки своими и что-то заговорил по-латински, вроде молитвы. После этого я встал и был доктором.

Весь обряд и костюмы, конечно, имеют строго средневековое происхождение и носят отпечаток того времени, когда кембриджские колледжи были монастырями. Всего только 75—100 лет тому назад членам колледжа разрешено было жениться.

Став доктором, я получил пожизненное право голоса в сенате, [право] участвовать во всех торжествах, носить [черную с] красным шелковую докторскую мантию и бархатную шапку вроде блина с золотыми кисточками. Кроме того, имею право пользоваться библиотекой и получать 4 бесплатных обеда в год в своем колледже. Но несмотря на это, мне так дорого стоил этот чин, что я почти без штанов. Благо Крокодил дал взаймы, и я смогу поехать отдохнуть. Поеду, должно быть, к Эренфесту, он зовет. Может быть, на пару дней заеду в Париж.

Тут у меня вышла следующая история. В этом году освободилась тут стипендия имени Максвелла. Она дается на три года лучшему из работающих в лаборатории, и получение ее считается большой честью. Кроме того, это довольно крупная сумма — 750 ф ст. за три года. Я не помышлял, конечно, о ней, но меня несколько раз спрашивали товарищи, собираюсь ли я подать на нее. Я отвечал отрицательно. В понедельник, последний день подачи прошений, меня позвал к себе Крокодил и спросил, почему я не подаю на стипендию. Я отвечал, что то, что я получаю, уже считаю вполне достаточным и считаю,

что как иностранец-гость я должен быть скромным и быть довольным тем, что имею. Он сказал мне, что мое иностранное происхождение несколько не мешает получению стипендии, и потом спросил строго конфиденциально, знаю ли я, что Блэкетт, один из самых способных молодых физиков тут, мой приятель, тоже подал на эту стипендию. Я отвечал, что думаю, что Блэкетт должен ее получить, и считаю, что она более нужна ему, чем мне, ибо он собирается жениться и навряд ли справится на те средства, которые имеет.

Конечно, как только я узнал, что Блэкетт подал на стипендию, я уже окончательно решил не подавать на нее, так как мне показалось, что не следует становиться на дороге приятеля. К тому же англичанину гораздо важнее получить эту стипендию, ибо это большая квалификация. [Для меня же], конечно, как [для] пролетной птицы это не играет никакой роли. Но, видно, Крокодил не мог понять моей психологии, и мы расстались довольно сухо.

Потом я заинтересовался больше этим делом. Мне удалось выяснить, что Крокодил считает меня правильным кандидатом, и когда другие собирались подавать, то он отговаривал их, говоря, что эту стипендию он предназначает мне. Но никто этого не говорил мне до разговора с ним. Конечно, он не думал, что я откажусь, и мой отказ его, конечно, несколько озадачил и обидел. Но несмотря на это, я чувствую, что поступил правильно. Но у меня на душе все же какое-то чувство, что я обидел Крокодила, который так бесконечно добр ко мне и так заботится обо мне. Я боюсь, что он не сможет понять психологической причины моего отказа.

Но, видно, все кончится благополучно. Перед его отъездом (он уехал на месяц отдохнуть) я встретил его в коридоре. Я как раз возвратился с посвящения в доктора. Я его прямо спросил: «Не находите ли вы, профессор Резерфорд, что я выгляжу умнее?» «Почему вы должны выглядеть умнее?» — заинтересовался он этим несколько необычным вопросом. «Я только что посвящен в доктора», — ответил я. Он сразу поздравил и сказал: «Да-да, вы выглядите значительно умнее. К тому же вы еще [и] постриглись». И он засмеялся.

Такие выходки с Крокодилом вообще очень рискованны, потому что в большинстве случаев он прямо посылает к черту, и кажется, я один во всей лаборатории рискую на них. Но когда они проходят, это указывает на то, что между нами все благополучно.

Вообще я, должно быть, не раз его ошарашивал такого рода выходками, и он сперва теряется, но потом сразу посылает к черту. Уж очень непривычно ему такое отношение со стороны младшего И я, кажется, раз 6 получал от него как комплименты «дурак», «осел» и т. п. Но теперь он несколько уже привык. Хотя большинство работающих в лаборатории недоумевают, как вообще такие штучки возможны. Но меня страшно забавит, как Крокодил бывает ошарашен, так что в первый момент и слова выговорить не может. Но вообще мы с ним ладим.

Ну, я тебе и написал длинное письмо... Я очень устал за это время. Не знаю почему, работал я не много, но это, должно быть, реакция за все последние 6 лет. Чувствую какой-то надлом, но даст бог, все пройдет. Если взглянуть назад, то сколько за эти 6 лет с начала моего супружества мне пришлось пережить, другому на всю жизнь хватит. И вот финальный аккорд: доктор философии Кембриджского университета, вдовец, скиталец и ученый...

Целую тебя крепко-крепко. Леню и Наташу тоже. Конечно, Ленчика, можешь дать ему щелчок в нос от дяди Пети из Англии. Не поймет, поросенок.

Париж, 7 июля 1923 г.

Дорогая моя Мама!

Получил твое письмо и, конечно, Ленино. Я телеграмму тоже получил и на нее сразу ответил. Напрасно вы разоряетесь, если что со мной случится, то телеграммой не поможешь. Я пишу аккуратно раз в неделю. Но, по-видимому, мои письма не всегда доходят. Сейчас я в Париже, пробуду здесь несколько дней, а потом поеду в Лейден и там пробуду еще несколько дней. Дней через 10 вернусь в Кембридж.

Ты меня упрекаешь, что я мало пишу о себе. Я сам мало знаю о себе, вот и все. Ты пишешь, что я отхожу от тебя. Я думаю, что ты просто ошибаешься...

Когда я работаю и чувствую свою силу, и у меня достаточно энергии, [и] я не имею возможности думать о прошлом, я, пожалуй, счастлив. Но во время каникул подчас у меня страшное ощущение. Я чувствую себя потерянным щенком, жалким и одиноким. Для людей я, конечно, ценен тут как работник. Я, Петя, сам по себе, без моих работ — никому не нужный кусок мяса. Вот почему я никогда не могу забыть тебя, дорогая моя, потому что я тебе дорог как Петя. Передо мной становится часто болезненный вопрос: правильно ли я поступаю, что совершенно отошел от стремления к личной жизни и превратился в некоторую машину, которая идет вперед, но сама не знает куда? Не знаю, право, но если взялся за что-нибудь, то доводи это до конца. Это правило, которому я стараюсь следовать.

На фоне моих каждодневных забот и хлопот горят ярко две звезды, и я не забываю их. Эти две звезды — как вам помочь и как повидаться с вами. Обе задачи нелегкие, и я не знаю, смогу ли я решить их удовлетворительно в этом году. Но будь уверена, моя дорогая, я каждый час думаю о них, и если я не выполняю их, то только потому, что я не могу...

Я на людях, я весел, но внутри часто плохо. Целую тебя. Поцелуй Леню. Наташа с Ленчиком, наверное, в деревне уже. Дай бог им отдохнуть получше. Всего хорошего.

Лейден, 18 июля 1923 г.

Дорогая Мама!

Гощу несколько дней у П. С. Эренфеста. Уеду отсюда в четверг, так что в пятницу рассчитываю быть в Кембридже и опять приняться за работу. Пишу тебе с маленькой просьбой. Дело в том, что супруга П. С. Татьяна Алексеевна Эренфест собирается на пару месяцев в Россию. Большую часть времени она проведет в Москве, но будет также в Питере. Она очень интересуется педагогическими вопросами и кончила Бестужевские курсы. Очень было бы хорошо, если [бы] вы могли приютить Т. А. у нас на Каменноостровском. Эренфесты, как я уже тебе писал, очень радушные ко мне, и я у них останавливаюсь в доме, когда бываю в Лейдене. Я думаю, Т. А. расскажет тебе и обо мне много, и ты сама извлечешь много удовольствия из знакомства с Т. А., ибо она очень симпатичный человек...

Прилагаю письмо от Т. А. Эренфест. Ответь на него, пожалуйста. Я пошлю вам с Т. А. некоторую монетность.

Кембридж, 23 июля 1923 г.

Дорогая Мама!

Я опять в Кембридже за работой...

По моем приезде сюда Крокодил опять предложил мне ту же стипендию, говоря, что он не считает, что кто-либо из других заслуживает ее. Я сдался и подал заявление. Я очень доволен, что все вышло так. Эта стипендия мне очень кстати. Теперь мое материальное положение значительно улучшится, а это значит, я смогу наконец опять подсоблять вам и, я думаю, Ленкина поездка за границу вполне обеспечена таким образом.

Сейчас я немного еще устал, поэтому прости за коротенькое письмо. На днях напишу длинное...

Кембридж, 30 августа 1923 г.

Дорогая Мамочка!

...Я завтра покидаю Кембридж на каникулы. Лаборатория уже неделю как закрыта. Я тут возился с заказами некоторых приборов для себя, довольно необычного типа. Пришлось делать чертежи, расчеты. Я затеваю еще новые опыты по весьма смелой схеме. Если и в этот раз меня счастливо пронесет, то будет очень хорошо. Вчера вечером я был у Крокодила, обсуждал часть вопросов, остался обедать, много беседовали на разные темы. Он очень был мил и очень заинтересовался этими опытами. Пробыл я у него часов 5. Он дал мне свой портрет. Я его пересниму и пошлю тебе. Ты долго об этом просила меня, теперь я смогу это сделать.

В твоих письмах часто звучат грустные ноты. Да, действительно скоро три года как мы не видимся. Никогда мы так надолго еще не расставались. Но я

думаю, что ты будешь довольна тем, что я сделал за эти три года. Если вспомнить, каким беспомощным и жалким я приехал сюда, [и сравнить] с тем, как теперь считаются со мной. Но так страшно, что неосторожным шагом можешь разбить все сделанное. А второй случай в жизни навряд ли представится. Но всякое начало трудно, говорят.

Тебе надо отдохнуть, моя дорогая, и хорошо ты делаешь, что едешь в деревню...

Париж, 11 сентября 1923 г.

Дорогая Мама!

Шлю привет из Парижа. Приехал сюда на несколько дней. Завтра напишу письмо. Пишу сегодня, так как боюсь, что вы волнуетесь из-за моей поездки на яхте.

Целую всех вас.

Аннеси, 15 сентября 1923 г.

Дорогая Мама!

Я попал сейчас в Савойю, в город, который называется Аннеси... Здесь я пробуду с недельку, подымусь на фуникулере на Монблан и вернусь в Кембридж. Жизнь во Франции настолько дешевле жизни в Англии, что каникулы и путешествия мне стоят столько же, сколько жизнь в Кембридже.

Здесь я нахожусь не один, со мной поехал молодой англичанин по фамилии Скиннер, и мы будем эти каникулы путешествовать вместе. Он работает в Кавендишской лаборатории, так же как и я, но гораздо моложе меня, ему только минуло 23 года. В этом году мы можем быть, будем делать вместе одну работу. Я останавливался пару раз у него в семье, это довольно состоятельные англичане. Они были очень милы ко мне. Последний раз они пригласили меня в театр, и я смотрел Павлову, которая сейчас тут гастролирует.

Сегодня идет страшный дождь, и навряд ли удастся выйти погулять. Мне эта поездка в Альпы напомнила наше путешествие в Швейцарию вместе с тобой много годов тому назад. Те же горы, тот же голубой цвет озер и то же количество туристов. Сейчас тут не сезон, и народу немного, и цены невысокие.

Я все собираюсь тебе описать мою прогулку на яхте с Тейлором. Мы проплавали 8 дней, были в буре, так что волны перекатывались через яхту. Плыли днем и ночью, покрыли расстояние около 600 верст. Большую часть времени провели в открытом море, так что не видно было берегов. Нас было трое. Плыли по компасу и лагу. Конечно, пользовались картой. Мы начали нашу прогулку от острова Уайт и дошли почти до Гулля. Потом оттуда пошли в Лондон обратно. Начало страшно сильно почти все время. Первый день я был болен морской болезнью, но потом привык. На яхте сами себе готовили пищу на примусах. Яхта большая, три каюты. Можно свободно поместить 7 человек с ночлегом. Трое человек еле-еле справлялись с парусами. Во время бури, которая длилась два дня, мы сильно промокли, и нельзя было переодеться, так как все равно промокнешь снова. Лил дождь, и хлестали волны. Ночью несколько жутко. Сидишь у руля, смотришь на компас и другой раз ищешь маяки, и когда завидишь огонек вдали, на душе радостно.

Я скоро возвращаюсь, чтобы опять приняться за работу...

Кембридж, 4 октября 1923 г.

Дорогая Мама!

Получил сегодня твое и Ленино письмо, в котором вы пишете о приезде Т. А. Эренфест. Большое спасибо тебе и всем вам за теплый прием Т. А.

...Я довольно долго тебе не писал, дорогая моя.— как-то не писалось. Я уже дней 8 как вернулся в Кембридж и работаю. Приехал в лабораторию одним из первых. Мне отвели большую комнату в лаборатории, которая специально перестраивалась для меня. Позавчера ремонт и переделка были закончены, и мы перебрались в эту комнату (вернее 3 комнаты). Помещение превосходное. Я еще не разошелся работать полным ходом, но надеюсь скоро [разойдусь]...

Посылаю тебе фотографию Крокодила. Это переснимок с карточки, которую он мне подарил.

Жду с нетерпением, когда ты пришлешь мне свою книгу. Радуюсь всегда, когда узнаю, что ты напечатаешь что-нибудь...

Кембридж, 21 октября 1923 г.

Дорогая Мама!

Сегодня я основательно занялся корреспонденцией и написал штук шесть деловых писем. Последнее письмо от вас я получил дня 3—4 тому назад, и мне было очень интересно услышать, что Семенов с Чернышевыми¹ едут за границу. Мне хотелось бы их всех повидать. Куда собираются Ядвига Ричардовна и Александр Алексеевич? Будут ли они в Англии? Когда выедут?

Я работаю изо дня в день, и ничего особого не произошло. Однообразно и регулярно течет моя жизнь. Записался в шахматный клуб для развлечения. Эмиль Янович очень увлекается шахматами и решает задачи в газетах. Тут устраиваются конкурсы по решению задач, и мы с ним выиграли по книжке. Мне надоело, а он все еще состязается.

Потом собрание кружка нашего, которого я инициатор, — тоже развлечение. Дело идет хорошо, у нас, по-видимому, очень свободная дискуссия. Теперь в Кавендишской лаборатории Крокодил тоже затекает коллоквиум, я выбран в комитет (5 членов), который должен выбирать материал и организовывать дело.

Тут два парня будут работать под моим руководством. Я довольно основательно вошел в работы, которые тут делаются, и меня много треплют. Но это время я мало работаю сам, отвлеченно², за книгой. Следовало бы читать факультативный курс, но это как-то не устраивается. Дел много, но я чего-то вял.

Жду твоей книги. Очень рад, что Т. А. Эренфест приехала вам по душе. Думаю, когда она приедет, то напишет мне...

Очень мне жалко, что Леня не может наладить со службой, мне не особенно нравится эта кинематография. Ничего из нее не выйдет. Наверное, дело дутое и временное. Но очень трудно придумать теперь, что было бы интересно и хорошо оплачивалось. Я думаю, что педагогика Леньке не по нутру.

Для меня то, что творится у вас, загадка, и мне совершенно непонятен дух времени, царящий у вас. Насчет твоего переезда к тете Саше мне трудно что-либо сказать, но я думаю, что тебе будет трудно там, и я думаю, лучше тебе не переезжать. Все же на Каменноостровском тебе будет спокойнее и сытнее. Тетя Саша — это очень трудный вопрос. Ведь их там 9 человек, и это здорово. Но поддержать такое количество весьма трудно...

¹ Чернышев Александр Алексеевич (1882—1940) — инженер-электротехник и радиотехник, заместитель директора Физико-технического института. Шмидт Ядвига Ричардовна — его жена. Физик, до первой мировой войны работала у М. Склодовской-Кюри в Париже и у Э. Резерфорда в Манчестере. Была участницей физического семинара А. Ф. Иоффе.

² То есть теоретически.

Кембридж, 3 ноября 1923 г.

Дорогая Мама!

Я давно не получал от вас писем, и это всегда меня огорчает. За это время у меня была острая тоска. Как мне тут недостает людей и общественной жизни! Чувствуешь себя одиноким. Англичане хороший народ, но я для них чужой, и они для меня чужие. Я перелетная птица, которая прилетела сюда на некоторое время, а потом улетит. И нет у меня гнезда.

И эта комната, в которой я живу, — маленькая, заваленная книгами и бумагами, так что негде походить, когда думаешь, как я привык. Мне она противна, противны обои на стене, такие, которыми мы обыкновенно оклеиваем стены в передней... Портрет Эдуарда VII с растопыренными ногами и королева Александра¹ с длинным шлейфом мне еще больше портят настроение. Я скучаю по нашей гостиной, по кардинам.

Вот я тут 2½ года. В научной жизни окреп и развился, но что я получил для души? Мне некуда пойти в семью, поболтать, поострить (семейная наша слабость). И языка я не знаю. Люди тут чопорные. Весь интерес в спорте и погоде. Разговор скучный, не откровенный и замкнутый. Все как будто боятся сказать что-либо непозволенное или глупое и потому предпочитают ничего не говорить. Надо бы заняться языком, да времени нету. Не чувствую я себя тут хорошо.

Я сыт, хорошо одет, но скучно, мама, очень скучно. Но что поделаешь! Я имею полную возможность тут работать. А в наши дни надо чем-нибудь стагь

и что-нибудь знать. И эта работа, которой я отдаюсь, меня увлекает и дает счастье. Но характер мой испортится, если я буду долго в таких условиях. Но если я приеду домой, то это будет равносильно концу моей работы или, вернее, почти концу, так как мне пришлось бы много преподавать, чтобы зарабатывать. И условия для работы такие, что при той же затрате времени и сил получаешь меньше результатов. Буду ли я себя чувствовать лучше? Пожалуй, нет. Ибо все же работа моя — это центр жизни, а все остальное — оно необходимо до известной степени, но все же еще пару лет можно потерпеть... Но, дорогая моя, пиши мне чаще! Почему Ольга Конрадовна не пишет? Давно я не получал от нее писем Ты не знаешь, как мне нужны ваши письма...

¹ Эдуард VII (1841—1910) — английский король с 1901 года. Александра — его жена.

Кембридж, 15 ноября 1923 г.

Дорогая Мама!

Я очень рад, что присланные фунты оказались вам кстати.

У меня за это время продвинулась работа довольно значительно вперед, и виден уже конец ее.

Ты недовольна моим коротким письмом, но, дорогая моя старуха, тебе трудно угодить. Ты мне пишешь, чтобы я писал хоть короткие письма, но чтобы писал регулярно. Я и постарался это исполнить, но теперь требования повышаются. Тут в Лондоне продают твою книгу «Живая вода»¹, и мне подарили один экземпляр. Я почитываю сказки на сон грядущий и тебя вспоминаю. И горжусь, что мать моя писательница...

Мне очень приятно, что вы сошлись с Т. А. Эренфест. Жду с нетерпением, когда она мне расскажет про ваше житье-бытье. В конце ноября собираюсь съездить в Манчестер, наполовину по делу...

Погода тут мерзкая. Зима, но не настоящая хорошая зима. а — осень. Дождь, ветер, туманы, пронизывающий холод. Ты опять, боюсь, не будешь довольна моим письмом, но, дорогая моя, что поделаешь! Вот не пишется, да и только Ну, крепко тебя целую, так крепко чтобы скомпенсировать сухое письмо...

¹ Капица О. И. Живая вода. Сборник материалов для рассказывания детям младшего возраста. М.—П. ГИЗ, 1923.

Кембридж, 25 ноября 1923 г.

Дорогая Мама!

Все это время страшно много работаю Во-первых, опыты здорово продвинулись вперед Во-вторых, у меня два доклада, один — 27 ноября, другой — 12 декабря Надо начать писать свои работы, это очень длинное и скучное дело. К тому же [еще] маленький георетический подсчет, который мы собираемся опубликовать с одним физиком здесь...

За работой я забываю о том, что творится на земном шаре. В перерыве между работой почитываю твои рассказы в «Живой воде», хотя они и написаны для несколько более молодых людей, чем я, но [они] меня забавят, так как подбор очень мил

Сегодня с неким господином Фейгальсоном, заведующим объединенным аккумуляторным заводом, который приезжал ко мне в Кембридж, послал тебе флакон «Пармской фиалки», который уже давно лежит у меня, будучи привезен для тебя из Парижа. Он обещал занести тебе его...

Кембридж, 18 декабря 1923 г.

Дорогая Мама!

Послезавтра покидаю Кембридж на каникулы Поеду сперва в Лондон и потом. может быть, на континент Хочу повидать Т. А. Эренфест и порасспросить ее о вашем житье-бытье.

Что-то давно нет от вас писем.

Странное у меня душевное состояние Какое-то чувство неопределенности. Часто я думаю над вопросом, куда я в самом деле стремлюсь и когда я пере-

стану быть скитальцем по белу свету. Жизнь в меблированных комнатах, частое питание в ресторанах, одиночество по вечерам в конце концов должны испортить мой характер.

Письмо Абрама Федоровича с вопросом, можно ли на меня рассчитывать при замещении кафедры [В. В.] Скобельцына¹, и какие-то намеки на Радиевый институт, похожие на предложение директорства. Сперва все это вывело меня из равновесия. Предложения весьма лестные, и в нормальное время трудно было бы желать чего-либо большего. Я несколько раз беседовал с Крокодилем по этому поводу.

Для меня, конечно, еще рано профессура, так как это отнимает чересчур много времени от научной работы. Кроме того, в нашей действительности вообще трудно работать научно. Что можно делать в лаборатории, где нет газа, например? Что можно делать, когда нет контакта с западноевропейскими учеными? Например, тут мы организовали маленький кружок для свободной дискуссии. У нас только 10 человек, но мы приглашаем самых лучших физиков для дискуссии. К нам придет Франк² из Германии, были Бор из Копенгагена, Эренфест, Льюис³ из Америки и др. Я езжу на континент, в Париж, 3 раза в год, бываю там в Сорбонне, в Радиевом институте у мадам Кюри. Самое живое общение, самый тесный контакт. В Петрограде надо 2—3 месяца хлопотать о паспорте. И когда его получишь и получишь все необходимые визы, то откуда взять средства? Моего содержания тут вполне хватает, чтобы и вам посылать, и себе на все, включая поездки... И переезд мой в Питер, конечно, будет равносителен научному самоубийству.

Но, с другой стороны, если остаться еще на два года тут, то возникают следующие затруднения. Мои опыты сейчас принимают такой размер и такие крупные суммы затрачиваются, что если я начну развивать их, то только через два года можно рассчитывать, что я покончу с организационной работой и начну получать результаты. Пока [у меня нет] уверенности, я работаю в малых масштабах и боюсь пускать в ход возможности более широкого развития. Но я чувствую, на что-нибудь надо решиться. Крокодил говорит, что мне еще надо поработать лет 5 здесь, а потом я могу диктовать сам условия, если захочу переезжать куда-либо в другое место. Это, конечно, здорово сказано, и я боюсь, что он пересаливает. Но помимо всего, на что-то решиться надо.

Конечно, возможности тут для работы такие, о которых мне никогда не снилось в Питере даже в мирное время. Но тяга домой подчас так сильна, что хочется плюнуть на все и ехать домой. Но решиться надо в ближайшие 6—7 месяцев. Я хочу попытаться приехать к вам этим летом. Может быть, скоро политические горизонты прояснятся. На это большие надежды, в особенности в связи с новым парламентом тут. Во всяком случае, я повидею Абрама Федоровича и Кольку на Сольвеевском конгрессе⁴ и тогда выясню многое. На конгрессе будет Крокодил, и он обещал быть моим адвокатом...

Я посылаю тебе фотографии, снятые в лаборатории... Я стою у своих аккумуляторов, которым я много обязан.

¹ Скобельцын Владимир Владимирович (1863—1947) — физик, профессор Петроградского политехнического института

² Франк Джеймс (1882—1964) — немецкий физик, с 1935 года жил в США. Лауреат Нобелевской премии (1925)

³ Льюис и Гилберт Ньютон (1875—1946) — американский физикохимик.

⁴ Сольвеевские конгрессы (по имени бельгийского химика-технолога и промышленника Эрнеста Гастона Сольве) проводились в Брюсселе и были посвящены узловым вопросам физики. Четвертый конгресс, о котором идет здесь речь, состоялся в апреле 1924 года.

Хайндхед, 26 декабря 1923 г.

Дорогая Мама!

На прошлой неделе в среду я покинул экстренно Кембридж, так как в Лондон приехал М. А. Шателен¹ и хотел меня видеть. Мы провели с ним вечер он был очень мил, и мы много о чем с ним поговорили. Он обещал тебе рассказать обо мне, когда увидит тебя

Со среды на четверг я переночевал в Лондоне. В четверг я получал визы для поездки на континент. Французы мне прислали годовую визу, это первый

случай для советского паспорта. Голландцы дали мне 1/2-годовую визу, это тоже уникам.

Вечером в четверг я покупал дорогие оптические приборы для моих опытов, потом я отправился к моему приятелю Скиннеру. У него в доме я провел четверг, пятницу, субботу, воскресенье и в понедельник приехал гостить к Блэкеттам сюда, на юг Англии. Между прочим, в четверг я был в Национальной физической лаборатории в Теддингтоне, которую очень подробно осмотрел. В субботу был в театре, в воскресенье — в концерте. Так что, ты видишь, моя дорогая, я начал свои каникулы и отдыхаю вовсю. Завтра еду во Францию, оттуда в Голландию, а потом домой в Кембридж. Сегодня вечер провожу опять у Скиннеров, у которых званый вечер. Англичане здорово жрут во время рождества. Плюм-пудинг², индюшка, ветчина и пр Я от них не отстаю...

Ленька на меня сердится, что я не пишу ему Следующее письмо из Парижа пошлю ему...

¹ Шателен Михаил Андреевич (1866—1957) — электротехник, профессор Петроградского политехнического института.

² Пудинг с изюмом.

Лейден, 9 января 1924 г.

Дорогая Мама!

Вчера я приехал из Парижа сюда к Эренфестам. Мне хотелось расспросить Татьяну Алексеевну о ее русских впечатлениях и о вас вообще.

Я был на юге Франции у моих знакомых Там я прогостил дня 4, потом провел два дня в Париже и теперь, послезавтра, еду обратно в Кембридж. Очень было забавно почти прямо с Ривьеры, с Лазурных берегов, где все зелено, небо голубое, солнце тепло светит, попасть в Голландию, где 5° мороза, снег, лед, торчат черные стволы деревьев, люди ходят в шубах. Послезавтра я возвращаюсь в Кембридж и сажусь за работу. В конце каникул я всегда с охотой думаю о лаборатории.

У Эренфестов мне хорошо, и я с удовольствием провожу те дни, которые могу оторвать для Голландии Детвора, семья — это все то, чего я лишен в Кембридже. Я прихожу к убеждению, что я — семейное животное..

У Эренфестов строгие правила дома можно курить только в двух комнатах. А я теперь большой курильщик. Ничего не попишешь. Под такими строгими правилами находится даже Эйнштейн, когда он живет тут.

Ну, пока! Всего хорошего, дорогая моя Напишу письмо подлиннее из Кембриджа...

Кембридж, 30 января 1924 г.

Дорогая Мама!

Давно не писал тебе Был занят очень Ни одного дня не сидел вечером дома. Да, работы уйма сейчас У меня лекции тоже начались. На первой было 3 человека, на второй было 10...

Меня очень беспокоит твое здоровье и твоя работа. Тетя Саша меня также огорчает. Если тебе почему-либо придется оставить службу, то всегда, конечно, ты можешь приехать и быть со мной Единственное препятствие, которое я вижу, это то, что тебе здесь будет скучно Во-первых я целый день в лаборатории Потом, тут не говорят на других языках кроме английского, и, в-третьих, я думаю, тебе трудно будет обойтись без твоей обычной работы Я-то буду очень рад. Что касается моего приезда, то он очень возможен но, конечно, трудно возлагать какие-либо определенные надежды Я делаю все возможное, чтобы его устроить Но это отнюдь не легко

Меня очень огорчает, что ты переутомляешься Этого нельзя делать Надо помнить, что никакую машину нельзя перегружать Что касается тех затруднений, которые возникают в области твоей педагогической деятельности, то я их понимаю, в особенности после разговора с Татьяной Алексеевной Эренфест... Хотя, конечно, издали мне все же трудно судить обо всем этом

Признание России, наверное, произойдет в ближайшее время. Это очень хорошо и, я думаю, облегчит многим многое.

У меня все еще как-то неясно на душе, по какому пути складывать свою дальнейшую карьеру. Я чего-то сегодня усталый, и мне все мерещится в темном свете. Столько работы, и как-то боишься с ней не справиться...

Кембридж, 9 марта 1924 г.

Дорогая Мама!

С нетерпением жду от тебя письма с ответом на мое последнее письмо, в коем я прошу тебя приехать ко мне.

За это время я закончил свою работу (часть первую) к печати. Она прошла через Крокодила и будет скоро напечатана. Накопилось очень много материалов для печати — еще для одной большой работы и двух маленьких. Все это хочется закончить до пасхи, а чувствуешь себя уже несколько усталым и переутомленным. Во вторник лекция последняя для студентов. В среду доклад в Физическом обществе, а на будущей неделе еще один доклад. Все это надо закончить тоже. Тогда можно отдохнуть.

За это время я сделал интересное знакомство с Кейнсом. Ты, может быть, знаешь это имя. Он был английским экспертом на мирной конференции и написал книгу¹. Он считается самым крупным экономистом в Англии. Ему всего навсего лет 45—48. Он очень бойкий, живой и разговорчивый. Очень остер на язык и совершенно не похож на англичанина. Я с ним встретился раза два. Первый раз завтракал с ним, а потом он пошел в лабораторию смотреть мои опыты. Второй раз — был торжественный обед в колледже, на коем я присутствовал. После обеда играли в карты, и я играл за одним столом с Кейнсом по его приглашению.

Он знает очень много людей, видел уйму на своем веку и умеет рассказывать...

Не знаешь ли, когда выезжает Абрам Федорович и едет ли Колька с ним? Напиши, пожалуйста, сразу, когда услышишь, что они выехали.

Мой здешний Крокодил в стадии любезности ко мне. Это после ругани, которую мы имели недавно. Это всегда у нас так. Но, в общем, мы большие друзья. Мне дарят маленького крокодиленка из бронзы, который я прикреплю на капот моего автомобиля...

¹ Кейнс Джон Мейнард (1883—1946) — английский экономист и социолог. С 1912 по 1946 год редактор «Economic Journal». Профессор Кембриджского университета. В 1919—1920 годах в качестве эксперта Кейнс участвовал в работе Парижской мирной конференции. Книга Дж. Кейнса «Экономические последствия Версальского мирного договора» (русский перевод — 1922) положительно оценена В. И. Лениным в докладе на II конгрессе Коммунистического Интернационала (1920).

Кембридж, 10 марта 1924 г.

Дорогая Мамочка!

Так хорошо, что есть надежда, что вы приедете все ко мне повидаться. На днях напишу длинное письмо тебе. Сегодня был очень занят. Испыгывали трансформатор, изготовленный по моему проекту. Испытания прошли блестяще.

Если приедете, не забудьте захватить фотографию Нимки и Нади, увеличенную Шабельским...

Кембридж, 9 апреля 1924 г.

Дорогая Мама!

Давно не писал вам... У меня грандиозные планы опять, и я был очень занят. Когда у тебя большие планы, как все дела заключаются в том, чтобы разговаривать с людьми. А это самое грудное и большое дело. Надо к тому же ковать железо, пока оно горячо.

Я был в Манчестере. Мне нужно было повидать профессора [М.] Уокера, знаменитого строителя динамо-машин. Я приехал к нему в субботу в Бакстон. Это в Дербишире, в горах, 350 верст от Кембриджа. Приехал на автомобиле. Я думал только проконсультироваться у этого инженера в продолжение 1—1,5 часов, но он так заинтересовался нашим проектом, что я пробыл у него 3 дня. Очень умный и симпатичный человек. Потом ко мне приезжали инженеры, потом я ездил в Лондон и т. д.

Вчера получил ваши письма и очень рад, что вопрос вашей поездки фиксирован. Тут, в Кембридже, уже знают, что вы приезжаете, и вы имеете уже несколько приглашений на чай и вечера.

Что касается твоих вопросов, то знакомых тут у меня в университете так много, что могу тебе устроить свидания, начиная от епископов до финансистов, с кем только пожелаешь

Насчет привоза белья и пр. напишу погодя, как только присмотрю домики и узнаю, есть ли там это...

Кембридж, 25 апреля 1924 г.

Дорогая Мама!

Я только позавчера вернулся из Парижа. Был также в Лейдене и видел Абрама Федоровича. Он меня уговаривал приехать в Питер. Но окончательно ничего не решили. Еще будем обсуждать этот вопрос, когда он приедет сюда, в Англию. Тогда, надеюсь, и ты будешь здесь, и решим все вместе. Жду с нетерпением, когда узнаю результаты ваших хлопот. На днях вышлю вам 12 ф. с. Наверное, сделаю это по телеграфу.

Татьяна Алексеевна Эренфест все уговаривает меня, чтобы вы подольше жили у нее в Лейдене. Но это можно будет обсудить потом. Мне бы хотелось, чтобы вы скорее приехали сюда, ко мне.

Начал уже работать. Крокодил сейчас в Брюсселе на конференции. Там же Иоффе. Они будут обсуждать мою дальнейшую судьбу...

Жду с нетерпением твоих писем и Лениной телеграммы.

Кембридж, 18 мая 1924 г.

Дорогая Мама!

С нетерпением жду, когда ты и Наташа приедете. Не задерживайтесь с выездом очень. Ленин план послать вещи прямо [сюда] вполне хорош. Но так как, может быть, в Лейдене вам захочется побыть подольше, то все-таки захватите что-нибудь. Очень было бы хорошо, если бы Леня послал мне с вещами «Курс физики» Хвольсона, у меня есть все тома (кажется, пять толстых книг), портрет Нимки и Нади, увеличенный Шабельским, англо-русский и русско-английский словари (толстые, у меня также они есть).

Если что еще понадобится, напишу. Ну, пока! Всего хорошего. Крепко целую.

Лондон, 4 июня 1924 г.

Дорогая Мама!

Пишу тебе это письмо из Лондона и отправляю я его тебе с Костенками, которые большие мои друзья. С Костенкой¹ мы разрабатываем одну динамомашину.

Я все же с нетерпением жду от вас известий с датой вашего отъезда. Сегодня я отправил по телеграфу на Ленино имя еще 12 червонцев, которых не хватало на дорогу.

Я завтра читаю доклад в Королевском обществе о моих опытах, поэтому я в Лондоне. К тому же хочу проводить Костенку. Поскорее хочется услышать, что ты и Наташа выезжаете. Работа идет моя помаленьку. Занят хотя по горло. Много организационной работы...

Все в Кембридже знают, что ты приезжаешь с Наташей, и вам придется походить по гостям²...

¹ Костенко Михаил Полиевктович (1889—1976) — электротехник, академик (1953)

² В июле 1924 года мать П. Л. Капицы Ольга Иеронимовна, жена его брата Наталья Константиновна с сыном Леной приехали в Кембридж. Они гостили у П. Л. Капицы до начала апреля 1925 года.

Париж, 12 апреля 1925 г.

Дорогая Мама!

Вчера вечером получил Ленину телеграмму и сегодня пишу тебе первое письмо. Я благополучно добрался до Парижа и здесь загуливаю свою грусть-тоску. Жду с нетерпением от вас описания дороги...

Ну, пока! Всего хорошего, крепко целую вас всех, мои дорогие.

Кембридж, 27 апреля 1925 г.

Дорогая Мама!

Не писал тебе так долго, потому что не устроился, не хотелось писать.

Париж я покинул в пятницу 17-го, мне надоели театры и ничегонеделание. Остановился в Лондоне у Крыловых. В субботу утром был на заводе. После завтрака у Крыловых, были гости, метеорологи, приехавшие на конгресс...

В понедельник я приехал в Кембридж, был в лаборатории, дел накопилось масса. В 5 часов Крокодил позвал пить чай.

Когда приехал к миссис Грей, то узнал, что она переезжает на другую квартиру и там мне может предложить только две комнаты. Это мне совсем не понравилось. К тому же она запросила за эти две комнаты очень высокую цену, объясняя это вздорожанием жизни. Я сказал, что подумаю, и поселился в 84, de Freville¹, в моей старой комнате.

Утром ходил пить кофе к Барону². Было, признаться, грустно и тоскливо там без вас. Только в среду стал искать себе обиталище, так как все время был занят. Мне повезло — совсем недалеко нашел три комнаты у одинокой старушки. Хозяйка очень мила и ухаживает усердно за мной. Если так будет продолжаться, то нечего лучше желать. Сперва она приняла меня за студента и возымела ко мне большое уважение, когда узнала, что я Dr. () цене сговорились, когда она была под впечатлением, что я студент, и потому цену назначила скромную — 31 шиллинг в неделю. Я переехал в субботу. Барон мне много помог. Вчера привел дом в порядок и завтра буду его сдавать. Дядя СкINNER³ тоже помогал двигать мебель. Перетаскивали столы, пианино и все прочее. Новая хозяйка ничего не имеет против постановки беспроволочного телефона.

Мои машины и все прочее идут хорошо, в среду, т. е. послезавтра, еду в Манчестер выработать условия приема и испытания. Испытание будет в середине мая, тогда придется провести в Манчестере с неделю. Да ст бог, все обойдется хорошо. Крокодил довольно любезен. Я завтракал у него в субботу... Жизнь идет своим чередом, а у меня на сердце грустно без вас, апатия. работаешь автоматически, как [бы] исполняя свой долг.

Я очень рад, что у тебя все благополучно со службой. Да ст бог, и у Лени все наладится. Пишите больше о себе, что делаете. Парсонс⁴ привез мне плед и коробку папирос. Большое спасибо за них...

Ну, крепко тебя целую. моя дорогая. Рад, что вы все хорошо добрались. Напишу подробно об испытании машины, хотя это еще не главное. Целую Наташу и Леонидов. Поклон друзьям.

Твой сын одинокий Петр

¹ В доме № 84 по улице Де Фревилль. В этом доме П. Л. Капица жил со своими близкими, гостившими у него в Кембридже.

² Так П. Л. Капица прозвал Э. Я. Лаурмана за его нелюбовь к немецким баронам в Эстонии.

³ Так звал Г. СкINNER племянник П. Л. Капицы.

⁴ Парсонс Т. Р. — физиолог, один из кембриджских знакомых П. Л. Капицы.

Кембридж, 5 мая 1925 г.

Дорогая Мама!

Получил твое письмо № 2. Ты закрутилась уже в работе, смотри не переработай.

Я был в Манчестере с моей машиной все обстоит благополучно. С Крокодилом тоже хорошо. Буду подавать на Fellow¹, это решено окончательно. СкINNER огорчен, так как это несколько понижает его шансы.

Финансы мои швах, но к концу июня должны поправиться...

На будущей неделе собираюсь в Лондон. 21 мая еду в Манчестер, там испытания машины. Да ст бог, чтобы все прошло хорошо.

Между прочим, числа 14—15-го в Питер приедет некто А. Монтегю². Это тот молодой человек, с которым меня познакомили Парсонсы. Помнишь голодный ленч? Он славный парень, совсем молодой. Физиолог, интересуется кин-

матографом и театром. Помогите ему ориентироваться в Питере и укажите место, где остановиться. Я ему дал твой адрес...

¹ Член колледжа. Речь идет о выборах в члены Тринити-колледжа.

² Монтегю Айвор (1904—1984) — английский публицист, киносценарист и режиссер, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1959).

Кембридж, 9 июня 1925 г.

Дорогая Мама!

Долго тебе не писал, грешен. Был очень занят. Испытывал динаму. 8 дней провел в Манчестере, потом приехал сюда в изнеможенном состоянии, поехал в Лондон и там был на заводах. Но, слава богу, с машиной все более чем благополучно. Она дала прекрасные результаты... Но я устал до крайности.

Это время у меня до зарезу занятое. Как только будет свободное время, напишу тебе длинное письмо с описанием испытания машины. Сейчас у меня дел куча. Завтра надо докладывать в кружке, пришел мой черед. Потом надо готовиться к докладу в Геттингене, куда я поеду в конце июня, и уйма дел по лаборатории.

Ты меня прости за короткое письмо, но у меня глаза слипаются, так хочется спать.

На заводе пришлось работать в очень тяжелых и утомительных условиях.

Я рад, что вы приютили Монтегю, он славный парень. Буду очень рад, если он привезет мне шкуру.

Я сегодня в Лондоне купил Эренбурга «[Жизнь и гибель] Николая Курбова», «Хулио Хуренито» и «Любовь Жанны Ней». Так что эти книги ты не покупай для меня.

Я познакомился с Войнич¹, она очаровательная старушка. Прекрасно говорит по-русски.

Тейлор тоже женится. Какая-то эпидемия свадеб...

¹ В о й н и ч Этель Лилиан (1864—1960) — английская писательница. В 1887—1889 годах жила в России. С 1920 года в США.

Кембридж, 17 июня 1925 г.

Дорогая Мама!

Все собираюсь тебе написать длинное письмо, есть много о чем писать, но, увы, это только откладывает мое писание. Ты знаешь ведь, моя родная, что когда я в рабочем состоянии, для меня весьма трудно что-либо делать помимо того, чем я занят. Машину я испробовал в Манчестере, как я тебе писал, вполне удачно. Это взяло 9—10 дней. Работа была очень утомительная. Днем мы испытывали. Ночью мастера работали и делали изменения и поправки. Условия для работы были тяжелые, страшный шум завода, к которому я не привык, сильно утомлял. Кругом тебя в испытательном отделении испытывали массу машин одновременно. Короткие замыкания, взрывы вполне часты. Это все не особенно опасно, но неожиданность звука неприятна. Шум такой, что самого себя не слышно. Распоряжения приходилось отдавать, крича в ухо. Страшная нервная напряженность повышалась тем, что я был ответствен за результаты испытаний, и если бы машину разнесло, то завод не отвечал. Поэтому я очень осторожно делал испытания. Постепенно повышал нагрузку и после каждого испытания — аккуратные промеры частей. Со стороны завода я встретил большую помощь и поддержку. После конца работы ежедневно я обычно ехал к Уокеру или Коузоу и обсуждал результаты. Так в день работал до 14 часов. После всего этого испытания я два дня ходил, как будто меня кто-то обухом по голове огрел. Слава богу, все сошло более чем благополучно, но я так устал, что даже не мог радоваться. Крокодил был очень доволен. Так, более грудное и ответственное прошло хорошо, но впереди много еще работы...

Еду я к Франку 1—2 июля. Пригласил он меня так. Я написал, что хотел бы приехать, а он мне — официальное приглашение и очень любезное письмо. По дороге заеду к Эренфестам.

Теперь довольно о себе. Меня очень смущаешь ты. Ты чересчур много ра-

богаешь; и весь отдых пойдет насмарку, если ты будешь так продолжать. Если ты не перестанешь это делать, я перестану совершенно писать..

Я к концу этого месяца расплачусь со всеми долгами и с 1 августа буду тебе высылать ежемесячно 4—5 ф. с. в месяц, с тем чтобы половина шла тете Саше. Если хочешь, я могу высылать непосредственно тете Саше. Но я это буду делать только в том случае, если ты обещаешь работать в меру и не переутомляться...

Кембридж, 26 июня 1925 г.

Дорогая Мама!

Наконец пришли каникулы и я недели на две могу уехать и отдохнуть. Планы таковы. Сперва я поеду в Лондон, там пробуду до 1-го, оттуда в Кембридж, получу жалованье и поеду в Голландию к Эренфестам. От них — в Геттинген, оттуда обратно в Кембридж.

Эти последние дни были очень занятые, так как моя машина пришла сюда, в Кембридж, и ее разгружали и ставили на фундамент. Она весит около 700 пудов, и ты можешь себе представить, что это была большая работа. Начали разгружать ее в прошлую субботу в 4 часа вечера и кончили только в 2 часа ночи. Были выписаны специальные рабочие из Лондона, и они работали с большим искусством. Всего всю эту работу делало 6 человек. Они привезли с собой из Лондона стальные катки, домкрат, брусья и пр. Было так интересно смотреть на их работу, что Крокодил присутствовал от начала работы до 11 часов вечера. Теперь машина стоит, болты зацементированы, и после того как я вернусь, она будет пробоваться. Даст бог, все и далее пойдет благополучно.

Сегодня я долго сидел у Крокодила, болтали на житейские и научные темы. Он очень мил ко мне, так как доволен результатами испытания...

Я получил от Монтегю письмо, и он пишет, что привез все в целости. На этой неделе заеду за всеми этими вещами. Я бесконечно рад шкуре медведя. Большое спасибо также и за все остальное.

Я себя чувствую хорошо, только очень устал, больше нервно. По-видимому, в связи с испытаниями машины. Было большое нервное напряжение, но теперь отдохну. Наверное, после поездки в Германию отдохну еще...

Был у меня Тейлор, очень мил, занят покупкой дома и устройством хозяйства. Его невеста одного возраста с ним, 39 лет, учительница очень хорошей школы. Я ее не видел. Эллис уже женился и уехал справлять медовый месяц. Чедвик влюблен по уши, и Крокодил ворчит, что он мало работает.

Жду от тебя писем, из которых узнаю, что ты не переутомляешься, иначе перестану писать...

Геттинген, 6 июля 1925 г.

Дорогая Мама!

Получил твое письмо здесь, в Геттингене. Это был для меня большой и очень приятный сюрприз. Я остановился тут у Франка, у него очень милая семья. Живут они хорошо, по-интеллигентному. Чисто, хорошая мебель и все пр. Жена его тоже очень милая особа. В пятницу я буду тут докладывать. Я передал Франку твой привет, и он просит тебе тоже кланяться. Сейчас сижу у него в кабинете, он лежит на кушетке и читает, я за письменным столом пишу, его жена сидит и чинит белье, обещает поиграть на фортепьяно.

Я был три дня в Лейдене у Эренфеста. Они были милы очень, и я немного отдохнул там.

В Геттингене я пробуду до пятницы, а потом еду обратно в Кембридж, за работу.

Да, вот еще какая новость у меня. Чедвик позвал меня быть своим шафером на свадьбе. Я вообще еще не был на свадьбе английской, а тут шафером, значит, визитка и цилиндр. Это обязательно. Зря деньги потратишь, а откажется неудобно.

Большое тебе спасибо за шкуру медведя, и крупу, и двух человечков¹. Я все получил совсем благополучно и бесконечно рад шкуре медведя.

¹ Фарфоровые статуэтки.

Лондон, 19 июля 1925 г.

Дорогая Мама!

Пишу тебе из Лондона. куда я приехал на week end¹. Был на заводе, осматривал мой прерыватель. Директор завода пригласил меня на виллу в окрестности города, где я и застрял. Сейчас лежу на траве и пишу это письмо. Я прочел свой доклад в Геттингене в последний день моего там пребывания, т. е. в пятницу. Так случилось, что в этот день приехал Абрам Федорович, так что он тоже присутствовал на докладе. Было много народу послушать, как я буду коверкать немецкий язык...

[Когда я] приехал в Кембридж, у меня была уйма дел, пробование машины в Кембридже, были крокодилы в лаборатории. Все сошло благополучно. Крокодил находится в полной любезности ко мне. За эту неделю я был два раза приглашен к нему...

Большое тебе спасибо за книгу «Ташкент — город хлебный». Я ее прочел с большим удовольствием и думаю, что [это] хорошая книга. В ней много действия, и борьба этого мальчика за жизнь очерчивает характер, которыми так бедна наша литература, — сильного человека, активного и борющегося...

¹ Время отдыха с субботы до понедельника.

Ливерпуль, 10 августа 1925 г.

Дорогая Мама!

Пишу тебе из Ливерпуля, куда я приехал, чтобы женить Чедвика. Свадьба завтра, и я тебе пришло свой портрет в цилиндре и визитке. Пока тут очень занятое время. Все приходится наряжаться — то в смокинг, то в визитку, — присутствовать на ленчах и обедах. В среду еду обратно в Кембридж.

Мне не повезло с этой свадьбой. Первое — расход денег, второе — расход времени. Оба весьма некстати. Я, как шафер, а тут только один [шафер], несу целый ряд ответственных обязанностей и представляю жениха после его отъезда. Дело в том, что на английской свадьбе жених и невеста уезжают сразу после церемонии, и я остаюсь забавлять гостей. Приглашенных тьма — 140 человек. Прием в саду и в палатках. Не знаю, как это все будет. Даст бог, позабавлюсь.

Сейчас пришлось остановиться в самой шикарной гостинице, это мне не особенно приятно для кармана. Но, слава богу, цилиндр покупать не пришлось. занял. Оказалось, у Фаулера голова моих размеров.

В последние дни на меня свалилось еще одно удовольствие. Приехал Сиروتин, он, кажется, заходил к тебе. Это тот профессор из Минска, который приехал работать в Кавендишскую лабораторию. Он вообще ничего, славный парень, но ни бельмеса по-английски. Это чрезвычайно неприятно — приходится разговаривать за него.

К тому же тут еще пиши тезисы (на феллоу) и веди научную работу. Господи боже мой!..

Кембридж, 25 августа 1925 г.

Дорогая Мама!

Наконец волна работы отхлынула. Я сдал вчера свою диссертацию на феллоу, и результаты будут известны после экзамена 2 или 3 октября и выборов 10—12-го. Я ставлю свои шансы не особенно высоко. Во всяком случае, увидим. Я не волнуюсь... Что касается твоего отношения к Монтегю, то я его понимаю, но думаю, что ты судишь его немного строго. Он избалованный мальчик с живым поверхностным умом, привыкший, чтобы с ним, несмотря на его коммунистические и пр. убеждения, все же обращались как с сыном лорда. Он не так уж плох. Ты спрашиваешь, что прислать с ним мне.. Может быть, пошлешь мне пыжиковую шапку, чтобы зимой ездить на машине. Ты знаешь, самоедские две шапки, которые мы как-то с Леней привезли с Севера и которые Надя так любила носить. Это, кажется, и все. Да, если отыщешь у меня, пришли Козьму Пруtkова и «Конька-Горбунка», страшно хочется их почитать...

Со свадьбы Чедвика я благополучно вернулся. Английская свадьба и моя роль на ней очень интересны. Я являюсь лучшим другом¹ жениха и все время его сопровождаю. В церкви перед церемонией я сижу с правой стороны впереди вместе с женихом, пока не приходит невеста.

Невеста входит в церковь. Под игру органа она проходит всю церковь по середине. Впереди нее идет хор, а сзади — подружки. Она идет к алтарю, где ждет священника. Жених становится рядом с невестой, а чуть-чуть позади, перед алтарем, стоит отец, со стороны невесты, и я, со стороны жениха.

При этом надо иметь очень серьезный вид. Я не выдерживал и, конечно, улыбался. Во время обряда, когда священник спрашивает, кто выдает эту девушку замуж, отец берет ее за руку и говорит, что, дескать, я. Потом священник спрашивает жениха, каким кольцом он будет венчать. Тогда я вынимаю кольцо из кармана и подаю его священнику. Потом он еще спрашивает разные вещи, поют, играет орган. Мои обязанности кончаются, и я сажусь.

Еще разные церемонии, наставления жене и мужу от священника, как будто они сами не знают, что значит жениться. Когда церемония кончена, все идут в притвор за алтарем, где расписываются в книгах, и я расписываюсь как свидетель.

Там же поздравляют жениха и невесту. Я на правах шафера имею право поцеловать невесту и шафериц. Первое я выполнил, последнее я не выполнил, ибо шаферицы сего не стоили, так как бог их уродил не совсем складно.

Потом все под музыку идут из церкви, я буксирую какую-то тетку. Впереди, конечно, жених и невеста. При выходе из церкви фотографии снимают. Потом вся компания садится в автомобиль и едет в дом к невесте. Здесь был большой прием. В саду палатка, человек 200, угощение, шампанское, свадебный пирог и все прочее. После всеобщего поздравления снимают группы. (Я пошлю тебе свою карточку в цилиндре, как только она придет от фотографа.)

После этого я провожаю жениха в комнату, где он переодевается. Также моя последняя обязанность — засвидетельствовать его завещание и взять его на свое попечение. Потом новобрачные уезжают, а гости веселятся и танцуют до поздней ночи...

Работа моя в лаборатории идет помаленьку, самые важные эксперименты будут в октябре, когда вернусь. Если тогда все сойдет благополучно, то можно сказать, что все будет хорошо...

Уезжаю я за границу 2-го. Маршрут мой: Лондон, Дувр, Булонь, Париж, Авиньон, Марсель, Ницца, потом не знаю...

¹ По-английски шафер — the best man.

Кембридж, 26 октября 1925 г.

Дорогая Мама!

Давно не писал тебе. Я послал тебе письмо, что 12 октября я был выбран Fellow Trinity-College, и ты, наверное, его получила уже. Я теперь тебе опишу процедуру посвящения. На следующий день, 13-го, я должен был явиться к мастеру¹ колледжа, сиречь Дж. Дж. Томсону. Для этого случая я должен был надеть свою мантию и еще прицепить к ней красный капюшон, белый галстук и две белые ленточки... Точь-в-точь такие, какие носят ксендзы. На грех. Я свою мантию потерял накануне, и все утро мне пришлось бегать и собирать эти атрибуты. Когда я и еще трое других выбранных явились к мастеру колледжа, он нас поздравил, передал нам уставы колледжа... Потом все пошли в церковь. Мастер впереди, а мы попарно сзади. [Когда] вошли в капеллу, нас оставили в притворе, а там, в церкви, ждала вся избирательная комиссия. Они что-то там читали и говорили, потом вызвали нас. По очереди каждый читал клятву в верности колледжу, что будет соблюдать его правила и способствовать его процветанию. После этого надо было расписаться в старинной книге, в кою заносятся подписи всех выбранных. Я уж не знаю, сколько ей лет. Книга солидная, пергаментная. Подумать только, что там же находится подпись самого Ньютона. Здорово! После того как расписался, подходили к мастеру. Он стоит в специальной клетке с пюпитром перед ним. Становишься на колени, складываешь руки таким же образом, как пловец, когда собирается нырнуть, протягиваешь их мастеру, а он берет их в свои и читает какую-то молитву по-латински. В которой я, конечно, ни черта не понял. Раз, два, три... дух святой на меня сошел, и я стал Fellow. Не только первый русский, это наверняка, но, кажется, третий иностранец.

Вечером был торжественный обед в колледже в честь вновь избранных феллоу. Пришлось, конечно, надевать всю амуницию — смокинг за неимением фрака (фрак сразу же пришлось заказать — 13 ф. с., безобразие!).

Приветственная речь мастера, т. е. проф. Дж. Дж. Томсона, когда он коснулся моего избрания, была следующая: «Теперь я должен приветствовать доктора Питера Капицу как вновь избранного феллоу. (Громкие аплодисменты.) Здесь мы устанавливаем новый рекорд в летописи нашего колледжа — это первый русский, которого мы избираем». (Два-три слабых хлопка с небес или с земли, не разберешь.) Потом он говорил, что в Оксфорде был избран раз русский в феллоу колледжа, это проф. Виноградов². Теперь оба университета сравнялись. Потом он припомнил русских, работавших в Кавендишской лаборатории, — Павлова³, Покровского⁴. Потом сказал, что, наверное, все присоединятся к пожеланию успеха в тех трудных и фундаментальных опытах, которые я теперь веду. (Жалкие аплодисменты.) После речи все встали, мы, четыре вновь избранных феллоу, остались сидеть, и все пили [за] наше здоровье.

Поздравлений я получил много, и некоторые были очень чистосердечные и милые...

Теперь я обедаю почти каждый день в колледже. Все очень мило ко мне, и я чувствую себя гораздо лучше. С будущего термина я перееду жить в колледж...

Трудно знать, что было на выборах, но кое-что все же проскальзывает. Я знаю, что сам мастер был против моего избрания. Знаю также, что те философские сочинения, которые я писал на экзаменах (о религии, о действительности нашего существования), были написаны так коротко и таким английским языком (с точки зрения орфографии и синтаксиса), что их никто не мог разобрать и прочитать. Должно быть, это было отнесено в разряд такой высокой философии, что все поверглись ниц.

Меня теперь часто спрашивают, останусь ли я в Кембридже. По-видимому, я их немножко напугал, сказав целому ряду лиц, что в случае моего неизбрания я сразу покину Кембридж. Кроме того, я говорил, что публика тут так консервативна и узка, что не посмеет выбрать меня, человека, который имеет советский паспорт. Конечно, самолюбивые англичане так горды своей свободой и независимостью, [что] реагировали в благожелательном для меня направлении. Но, конечно, это не главное, а главное [то], что те отзывы, которые были даны о моих работах экспертами, были, по-видимому, очень благоприятны.

Я еще не начал работать полным ходом. По-видимому, несмотря на полное внешнее спокойствие, эти выборы стоили мне хорошего запаса нервной энергии. Теперь у меня предстоит целый ряд расходов — это оборудование комнаты в колледже. Если ты пришьешь кое-какого скарба, я буду очень благодарен. К тому же я не хочу тратиться, так как собираюсь на пасху в Питер, и на это надо скопить кое-что. Я вкладываю в это письмо письмо для Кольки. Сама ты его прочти и передай ему. Я очень был бы рад, если этой зимой мне удалось бы с ним встретиться. Напиши, когда едет Абрам Федорович. Мне очень хотелось бы его видеть тоже...

Итак, дорогая моя, я тебе написал длинное письмо, и ты должна быть довольна своим блудным сыном...

¹ Глава колледжа в Кембридже и Оксфорде.

² Виноградов Павел Гаврилович (1854—1925) — историк. Основные труды по аграрной истории средневековой Англии. С 1911 года жил в Англии.

³ Павлов Владимир Иванович (1884—1954) — физик, сын Ивана Петровича Павлова. В 1912—1914 годах работал в Кавендишской лаборатории у профессора Дж. Дж. Томсона. Был профессором Ленинградского технологического института имени Ленсовета.

⁴ Кто имеется в виду, установить не удалось. Возможно, речь идет о Николае Дмитриевиче Папалекси (1880—1947), который в 1907 году работал в Кавендишской лаборатории.

Кембридж, Тринити-колледж, 14 ноября 1925 г.
Дорогая Мама!

Я опять сделал долгий перерыв в моих письмах. Сейчас я работаю очень усердно над моей машиной и так сосредоточен на работе, что пишется с большим трудом.

Ты меня упрекаешь в твоём последнем письме, что я тебя забываю, что совсем несправедливо. Ты знаешь, в каком состоянии я нахожусь, когда увлечен работой, и ты должна мне простить перерывы в письмах. Теперь что касается моего приезда на пасху, то я не пишу о нем, пока не буду совершенно уверен в нем, а то вы опять будете упрекать меня в том, что я не сдержал обещания. По всей вероятности, я приеду в будущем году, только время моего приезда зависит от приезда Крокодила и от состояния моей работы, когда ее будет удобнее всего прервать. Я надеюсь, что пасха будет подходящее время, но очень трудно предвидеть, как пойдет работа.

Я до середины декабря буду жить в своих комнатах в Честертоне и только числа 15-го перееду в колледж, где я получаю очень славную квартирку, состоящую из 3 комнат, уборной, прихожей и маленькой комнаты для мытья посуды. Обставить эту квартиру будет стоить довольно дорого. Если ты будешь так добра прислать мне немного тряпок (т. е. скатерти кустарного производства), то это оживит мое одиночество...

Тут стоит очень холодная погода. Совсем небывалое явление. Мороз почти целую неделю. Я сижу сейчас в читальне колледжа и пишу письмо.

Когда ты мне будешь писать после 8 декабря, адресуй прямо на колледж. Мое имя и имя колледжа, больше ничего не надо. Для телеграмм будет вполне достаточно: Тринити-колледж, мне.

Я виделся тут с Кейнсом (знаменитый экономист, который женат на Лопуховой¹). Он мне рассказывал о своем посещении России. Кроме того, он делал доклад о России.

Парсонс вчера уехал в Канаду, где он получил кафедру. Скиннер все еще унывает, но, по-видимому, успокаивается в работе. Тейлор, Эллис и Чедвик наслаждаются семейной жизнью, возятся с прислугой и все прочее.

Я получил недавно письмо от Крокодила. Он очень был забавлен моей фотографией вместе с Чедвиком, в цилиндре. Я послал вам эту фотографию в двух экземплярах (одну — тебе, одну — Лене и Наташе) с Аничковым², который был здесь. Я его познакомил с местными физиологами. Они нашли, что Аничков умный и способный парень. Он на них произвел самое большое впечатление из всех бывших здесь физиологов, даже включая Лазарева³, но не включая Павлова.

Сегодня я пробовал одну очень важную часть моего переключателя, и она оказалась удовлетворительной. Еще много трудностей впереди, но все же хорошо, что одной меньше.

На рождество проеду в Париж, надо же куда-нибудь деваться. Я давно не был в Лондоне, почти месяц. Теперь, когда я в колледже вижу много народу и много беседую, жизнь в Кембридже приобретает для меня больше интереса, чем прежде. Но я сейчас так сосредоточен на своей работе, [что] пока я [не] пушу машину в ход, я не смогу думать ни о чем другом...

¹ Лопухова Лидия Васильевна (р. 1891) — балерина, начала выступать в Мариинском театре в Петербурге в 1909 году, участвовала в Русских сезонах С. П. Дягилева за границей.

² Аничков Сергей Викторович (1892—1981) — фармаколог, академик АМН СССР с 1950 года.

³ Лазарев Петр Петрович (1878—1942) — физик, био- и геофизик, академик.

Кембридж, 16 декабря 1925 г.

Дорогая Мама!

Сегодня был решающий день по испытанию машины. Все сошло благополучно. И теперь я со спокойной совестью могу сказать, что основная идея, положенная в опыты, правильна и я вышел победителем. Напишу тебе подробно позже. Еще есть кое-какие трудности, но принцип доказан, а это главное. Сегодня установлен новый рекорд для магнитных полей. Пошел бы дальше, но катушку разнесло. Был внушительный взрыв. Но это тоже к лучшему, ибо это дает мне полное представление [о том], что происходит, когда лопается катушка. Выясняется целый ряд деталей. Все даже лучше, чем я предполагал. Теперь могу отдохнуть. Хотя как раз завтра и послезавтра приезжают важные посетители.

Я переехал в колледж с понедельника и сегодня третий день как ночью. Первый раз за эти 4½ года я имею удобные комнаты, их у меня три. Две большие, примерно с папин кабинет, и одна спальня вроде твоей, уборная и учреждение для мытья посуды. Слава богу, комнаты теплые и прислуга, кажется, хорошая. Мебель пока не покупал, нету денег, взял напрокат.

Ну, пока! Всего хорошего, крепко тебя целую, моя родная.

Кембридж, 26 декабря 1925 г.

Дорогая Мама!

Поздравляю вас всех с праздниками. Для меня эти дни всегда связаны с тяжелыми воспоминаниями. Вот уже 6 лет как я вдовец.

Я провожу праздники в Кембридже. После испытания машины и опытов мне хотелось несколько дней полного отдыха, и я только завтра уеду в Лондон. Там я проведу два-три дня и числа 29—30 поеду на недельку в Париж. Остановлюсь, как всегда, у Крыловых.

Большое тебе спасибо, дорогая моя, за посылку вторую с бельем. Она мне очень кстати...

Эти дни я акклиматизировался в колледже. Комнаты очень хорошие, главное, теплые и большие. Пришлось немного затратить на одеяла и подушки, кое-какую посуду. Теперь все налажено.

Последние дни в лаборатории были довольно занятые, приезжали важные посетители из Лондона. Но все остались очень довольны.

Теперь я понемногу успокаиваюсь, но все же чувствуется реакция от напряжения...

Кембридж, 20 января 1926 г.

Дорогая Мама!

Сегодня написал письмо Лене и отправил его простой почтой. Я вложил письмо для Кольки Семенова, и оно очень важное, ибо он должен мне прислать одну бумагу для моего приезда. Я пишу Лене, что приеду в конце марта — начале апреля.

Ну, пока! Всего хорошего, дорогая моя. Береги себя и не работай очень много. Целую крепко.

Кембридж, 12 февраля 1926 г.

Дорогая моя Мама!

Меня очень огорчает, что ты себя плохо чувствуешь и, главное, что ты так неумеренно работаешь. Право, тебе надо раз навсегда умерить свою работу. Тише едешь, дальше будешь. Леня пишет, что у вас туго с деньгой. Дайте мне знать сразу, если очень туго, — я вышлю. А то ведь через полтора месяца я буду у вас в Питере и привезу с собой, так что подсоблю вам.

Теперь насчет моих дел. У меня, как видите, сейчас деловая пора, будет открытие лаборатории в марте¹. Приедет Бальфур² и еще целая свора крокодилов. Мне, по-видимому, придется говорить речь, потом производить демонстрации, а ты знаешь, как это неприятно делать при таком сборище народа. Вечером обед и все прочее. Все это время меня осаждают посетители, и к тому же очень важные. Все это не дает сосредоточиться на работе. Масса приемов и обедов в Кембридже самом занимает уйму времени.

Я еще к тому же читаю много докладов (2 в этом семестре) и курс лекций.

Выеду я в Питер не позже 30 марта (это самое позднее, но, может быть, освобожусь и ранее). В Кембридже надо быть в первых числах мая, так как нельзя покидать лабораторию на более долгий срок.

Я тебе посылаю № «Temps»³, в котором напечатана о моих работах статья. Как ты увидишь, она очень лестная, но есть неточности. Кто ее писал, я не знаю.

Крокодил мой очень занят, он сейчас президент Королевского общества (в Англии — Академия наук), и у него масса дел в связи с этим...

¹ Речь идет о магнитной лаборатории П. Л. Капицы в Кавендишской лаборатории

² Бальфур Артур Джеймс (1848—1930) — английский государственный деятель в 1902—1905 годах был премьер-министром Великобритании.

³ Одна из наиболее известных французских газет, выходила в 1861—1942 годах

Кембридж, 22 февраля 1926 г.

Дорогая Мама!

Получил твое письмо и был так рад, что твое здоровье поправилось. Что касается моего приезда, то, если ничего непредвиденного не случится, я выезжаю отсюда между 20 и 25 марта, т. е. через месяц. К сожалению, у меня уйма дел сейчас и есть очень важные дела, они могут слегка задержать меня, но я сделаю все, чтобы выбраться без задержки.

На 9 марта назначено открытие лаборатории. Мне, по-видимому, надо будет говорить речь сразу после Бальфура, если этот господин приедет, как он это обещал. В следующем письме пошлю тебе программу события. Ты представляешь себе, как я занят это время: надо налаживать открытие, и целый ряд текущих дел. Надо быть к тому же готовым к лекциям, которые я читаю в этом семестре. Прямо не знаю, как справиться. Ко всему этому масса светских обязанностей.

«Temp» я полностью послал весь №, и, наверное, он уже у вас. Получил вчера необходимые бумаги для поездки в Питер. Скажи это Н. Н. [Семенову]...

Целую крепко всех вас, дорогие мои. До скорого свидания.

Кембридж, 11 марта 1926 г.

Дорогая Мама!

9-го было открытие моей лаборатории. Занятой и нервный день. Из шишек был лорд Бальфур. Он говорил речь. После него пришлось говорить мне. Не угодно ли на моем ломаном языке сразу после английского премьерера, одного из лучших ораторов! Вечером был большой обед в Тринити-колледже. Все сошло благополучно, было около 50—60 гостей. Подробности — когда приеду... О дне своего выезда дам телеграмму. Ты немедленно сообщи его Семенову. Я очень занят и не могу много писать, да все равно скоро увидимся. Завтра еду в Лондон устраивать визы.

Большое спасибо за телеграмму. Она меня тронула и порадовала...



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СТРОКА БЕЛИНСКОГО

В связи со 175-летием со дня рождения великого русского критика «Новый мир» обратился к ряду советских литераторов с просьбой рассказать о своем восприятии творческого наследия В. Г. Белинского, назвать наиболее актуальную для современной действительности строку, мысль «неистового Виссариона». Строку, которая в канун Восьмого всесоюзного съезда советских писателей могла бы стать своеобразным эпиграфом к нашим общим раздумьям о путях дальнейшего развития родной литературы, о насущных проблемах искусства и жизни.

ЛЕВ АННИНСКИЙ

«Что мне в том, что живет общее, когда страдает личность?» (В. Г. Белинский. Из письма В. П. Боткину от 8 сентября 1841 года)

Знаменитое письмо. Непростое. В шесть приемов когда-то публиковалось. Вошло в историю русской словесности как «первое свидетельство об усвоении Белинским идей утопического социализма». Все так, и однако я чувствую необходимость объяснить, почему беру у Белинского строку из письма, а не строку из статьи. Подобный вопрос вставал каждый раз, когда появлялись его письма, — их тянет цитировать больше, чем статьи.

Загадка гения: он естественно является самим собой в каждом своем слове, для печати ли, для себя ли, для друга ли. Если б я брал из статьи, искал бы то же самое: правду дыхания в данный момент. И нашел бы. Ибо это момент истины.

Фантастическая вроде бы противоречивость. Ведь в том же письме страницей дальше: «Люди так глупы, что их насильно надо вести к счастью». Каково? Шигалевщина какая-то! Маоизм в зародыше: «что кровь тысячей в сравнении с унижением и страданием миллионов». Оказывается, это можно сравнивать. Как же я беру откровение из его рук, когда он так сбивается? Да, собственно, и та его фраза, которая когда-то разом повернула меня на сто восемьдесят градусов, в контексте-то, послушайте, как сужается: «Социальность, социальность — или смерть! Вот девиз мой. Что мне в том, что живет общее, когда страдает личность? Что мне в том, что гений на земле живет в небе, когда толпа валяется в грязи?..»

Все смешалось. Духовность есть социальность, личность есть индивид. Кто ж спорит против социальности: толпа должна поднять себя из грязи — но как ей перестать быть толпой?

Нет, Белинский решительно не годится для разрозненного цитирования. Его несет, волочит, мотает по краям, он никогда не попадает в «центр идеи». Его надо читать потоком — как и писал он. Его надо воспринимать вспышками — как и горел он. Белинский Россию не научил — он ее поджег, вдохновил, заразил, запалил. Это не система — это лава.

Ему нельзя верить в литературных оценках — его заносит. Хотя и в оценках — какая попутная меткость! О Некрасове: «Что за талант у этого человека! И что за топор его талант!» Или вот это: «Кто любит все, тот ничего не любит, ибо все граничит с ничто. Так Гёте любил все...»

Какая способность видеть разом обе стороны объекта, и не просто видеть — переживать за обе стороны разом. Вам не приходит в голову спрашивать у Белинского, прав Некрасов или не прав, хорош Гёте или нехорош, — это уж вы сами для себя решите, но от Белинского вы знаете, что они такое — двойной болью.

Так и тут. Всю жизнь занимаясь современной советской литературой, то есть изначально, «генетически» исходя из общего (надо освободить всех, и тогда само собой в конце концов освободится каждый), почему я именно от Белинского беру в душу святое сомнение: «что мне в том...?»

Потому что это не отказ от общего «в пользу» личности. И не отказ от личности

«в пользу» общего. Это обе стороны разом: трагедия бытия, неустранимая и потому светлая.

И это именно то, как живет гений: разом на земле и в небе. Переживая и за

ту и за эту сторону. Понимая правого и понимая неправого. Страдая за ангела и за зверя в человеке. За всех вместе. И за каждого, стискиваемого всеми и спасаемого всеми.

АНАТОЛИЙ БОЧАРОВ

В книгах нам порой встречаются вроде бы совершенно ясные и в то же время загадочные фразы, которые, подобно строке из песни, западают в душу и не дают покоя, снова и снова тревожа нас. Так давным-давно завладела мною фраза Белинского из четвертой статьи о Пушкине: *«Чтоб поэтически воспроизводить действительность, мало одного природного таланта: нужно еще, чтоб под рукою поэта была поэтическая действительность»*.

Поначалу я ретиво прилагал ее к прозе 30-х годов: такой действительностью стала для нашей прозы поэзия социалистического строительства, давшая в годы первых пятилеток замечательные романы о труде. То было и впрямь своеобразное, неповторимое, как искусство Эллады, детство нашего производственного романа. И все мое построение звучало броско, убедительно.

Но вправде ли мы именовать поэтической суровую явь военных или первых послевоенных лет? Не имел ли в виду Белинский, задумавшись я позднее, такую действительность, которая свободно поддается художественному преобразованию, таит в себе благодатные для искусства конфликты, страсти, нравственные и духовные уроки. Ведь не все доступно музыке, балету, лирике — так отчего же не предположить, что не все подвластно и прозе? И, может быть, производственные коллизии, наоборот, не очень-то поэтический материал, коль скоро уже долгие годы не появляются, несмотря на все наши критические заключения, если не великие, то хотя бы крупные романы о трудовых свершениях?

Но эта логика ведет к произвольному и опасному размежеванию самой действительности на поэтическую и непоэтическую. Вряд ли допускал такое Белинский в 1843 году, уже после «Мертвых душ» и «Шинели».

Не идет ли тогда речь о том, что писатель не должен отрываться от действительности, взмывать в эмпирии от эмпирии? Ведь сказано в той же статье, что стихотворения Пушкина резко изменялись от одного года к другому и по содержанию и по форме и это свидетельствовало об органической жизненности его поэзии: «...почвою поэзии Пушкина была живая действи-

тельность и всегда плодотворная идея» Живая действительность и плодотворная идея — вот камень и огниво, высекающие искру подлинного искусства. Да и эпитет живая как-то понятнее, чем поэтическая...

Но вот какие слова предваряют закодированную фразу: «Правда, природа производит таланты, не спрашиваясь времени и не справляясь, нужны они или нет; но, ведь великие поэты творятся не одною природою: они творятся и обществом, т. е. историческим положением общества. Думать, что поэт составляет один талант — значит, грубо ошибаться. Разумеется, прежде всего поэт делает человека талант; но к этому так же необходимы еще и характер, и образование, и направление, которые зависят от общества, среди которого является поэт».

Стало быть, первостепенную важность обретает такое общественное состояние, которое благоприятствует данному направлению таланта. Так, не смог реализоваться полностью талант Державина, потому что не было еще готово русское общество, так, не смогли стать великими Жуковский и Батюшков. Только Пушкин явился «именно в то время» — после войны 1812 года, которая, по словам критика, пробудила дремавшие силы России. И оказывается, что поэтическая действительность — это не только, условно говоря, пространство, которое художественно осваивается талантом, но и время, в которое этот талант творит.

В таком случае далеко не случайно появились почти одновременно роман Ю. Трифонова «Время и место» о писателе Антипове и цикл автобиографических рассказов В. Распутина, в одном из которых есть странное на первый взгляд раздумье о «подменных» людях. Кто-то должен был родиться, но по какой-то причине этого не случилось, и тогда на его место был срочно вызван другой, «из соседнего порядка»; вот он и мучается теперь «своим несовпадением с тем местом в мире, которое отведено было для другого», оттого в нем теперь постоянно «что-нибудь хлябает и топорщится».

Итак, время и место, обусловленные духовным состоянием общества, — вот что

такое поэтическая действительность, которая вкупе с плодотворной идеей и сотворяет великие таланты.

НИКОЛАЙ ГЕЙ

«...Мы верим и знаем, что назначение России есть всесторонность и универсальность: она должна принять в себя все элементы жизни духовной, внутренней, гражданской, политической, общественной и, принявши, должна самобытно развить их из себя»...— слова сказаны В. Г. Белинским в 1839 году, и, что особенно примечательно, приведенное высказывание затеряно в небольшой проходной рецензии, которые критик писал в большом количестве к очередному номеру журнала, откликаясь на самую разнообразную печатную продукцию. В данном случае Белинский откликнулся на специальную публикацию, посвященную юридическим документам времен царя Алексея Михайловича.

Однако молодой критик нашел возможным в разговоре по столь определенному предмету выдвинуть, как мы видим, принципиальный тезис.

Это одна из первоначальных формулировок тезиса, который затем пройдет, так или иначе варьируясь, через все сложное, противоречивое творчество критика.

Но высказанное в определенной связи, в определенное время суждение Белинского продолжало жить и не утратило и по сей день своего принципиального значения и актуальности. Речь идет о решении одной из самых острых общественно-исторических и социально-культурных задач, а именно о взаимосвязях, взаимодействии и взаимообогащении национальных культур как ведущих закономерностях их развития, о вкладе каждого народа в культурное развитие человечества. В приведенных словах критика дана широкая и самая общая постановка вопроса, затрагивающего все сферы народной жизни. Но затем критик конкретизирует свою позицию прежде всего применительно к сфере искусства и литературы; он переходит прямо к творчеству величайшего русского поэта: «...Пушкин не мог... быть явлением случайным», его «смело можем противопоставить любому поэту всех народов и всех веков».

Таковы масштабы ищущей мысли критика, сделавшего чрезвычайно много как раз для формирования русской классики — феномена, равного которому не было в предшествующем развитии литературы. Однако потребовалось явление Пушкина, а затем Лермонтова и Гоголя, чтобы в работах Бе-

А может быть, завтра откроется еще какой-то потаенный смысл в этой никак не отпускающей фразе.

линского, в его одиннадцати статьях о Пушкине прежде всего полностью определилось понимание русской литературы как литературы мирового художественного уровня и гуманистического пафоса. Такое понимание определилось, и был назван писатель, вокруг творчества которого произошла кристаллизация русской литературной классики,— Пушкин.

Думается, что до сих пор далеко не исчерпана не только тема «Белинский и Пушкин», но и такая важная ее сторона, как роль и значение творчества Пушкина и критики Белинского в формировании русской классики.

Говоря о Пушкине как первом поэте на Руси, давшим образцы «высокого искусства», Белинский тут же указывает на неразрывное единство в подлинном искусстве художественности и гуманистического пафоса.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в своих размышлениях о судьбах литературы и особом значении русского реализма XIX века для формирования классической литературы критик был близок к идеям и соображениям Пушкина, хотя в свое время не знал многого из того, что стало известно позднее в связи с посмертными публикациями из наследия Пушкина.

Выдвигая известный тезис: «У нас нет литературы»,— молодой Белинский исходил из высоких критериев общественной и художественной значимости искусства. Он выступал против всего, что искусством не является, равно как и против так называемого чистого искусства. Недаром уже первые шаги молодого критика обратили на себя внимание великого русского поэта, автора не опубликованной им при жизни статьи «О ничтожестве литературы русской». По предположениям некоторых исследователей, эту статью Пушкин решил не печатать именно в силу близости ряда своих положений и высказываний Белинского в «Литературных мечтаниях». А в той пушкинской статье было, например, сказано, что «русская словесность представляет мало произведений, достойных наблюдения критики литературной».

Далее Пушкин пишет о необходимом этапе зрелости литературы.

Поэт и критик сходились в требователь-

ном отношении к отечественной литературе; каждый из них настаивал на соблюдении высоких критериев художественности.

И Пушкин и Белинский — при всем признании заслуг и личных достоинств — отказывали Ломоносову, Тредиаковскому, Сумарокову в праве на ту роль в литературе, которую отводили им их современники. Строго они оценивали и Державина.

Пушкин сетовал, как известно, что не Вольтер, а «грибы, выросшие у корней дубов», — Дорат, Флориан, Мармонтель, Гишар, мадам Жанлис — овладели русской литературой.

Как тут не вспомнить опять же известные слова критика об одном из созданий Пушкина: «Словно гигант между пигмеями, до сих пор высится между множеством quasi-русских трагедий пушкинский «Борис Годунов», в гордом и суровом уединении, в недоступном величии строгого художественного стиля, благородной классической простоты».

Это было сказано, когда многие, по словам самого Белинского, встретили трагедию Пушкина «непристойной бранью» и

АРСЕНИЙ ГУЛЫГА

«...Менее гётевской художественная, но более человечественная, гуманная поэзия Шиллера нашла себе больше отзвона в человечестве, чем поэзия Гёте».

Эти слова Белинского я намерен взять в качестве эпиграфа к главе своей будущей книги о принципах эстетики. Речь в главе идет о двух способах художественного обобщения — типизации и типологизации (типологии). Мне уже приходилось писать об этом, и, как всегда, я столкнулся с пониманием и поддержкой, так и с попытками меня опровергнуть. В одной недавно вышедшей книге вопреки фактам и логике автор выдает художественную типологию за апологию «авангардизма». Досадное незнание классической традиции! Дихотомия художественного творчества уже в XVIII веке стала объектом внимания литературной критики. Шиллер противопоставлял «наивной» (в смысле «естественной») поэзии «сентименталическую» (sentimentalisch), размышляющую. В первом случае писатель идет от правды жизни, во втором — от идеала. Оба способа обобщения равноправны и могут встречаться не только у одного и того же автора, но и в одном и том же произведении. Произведения Гёте, по Шиллеру, «наивны» (кроме «Фауста»), свое творчество он считал «сентименталиче-

ские». Вокруг шиллеровской дихотомии в свое время развернулась полемика, в которую были вовлечены Гёте, Гердер, Ф. Шлегель, Шеллинг, В. Гумбольдт. В конце концов Шиллер (в письме к В. Гумбольдту) признал, что «наивная» поэзия полнее выражает художественное начало, чем «сентименталическая», но последняя поднимает его на более высокий, более гуманный уровень. Думаю, что Белинский был знаком с этим письмом (оно было опубликовано). Его оценка поэзии Шиллера совпала с мыслью поэта.

Предвижу возражение и недоуменный вопрос: а не хотите ли вы с помощью ловко подобранной цитаты из Белинского и восторгов по поводу Шиллера бросить тень на художественность нашей литературы? Нет, не хочу. Высокая художественность подразумевается, это необходимое условие. И складывается она в литературе из трех моментов, прекрасно отраженных еще Белинским.

Прежде всего — язык. Под пером мастера слово превращается в чудо, заставляющее трепетать с первой прочитанной фразы. (Недавно мне попало частное, не правленное редактором письмо одного писателя, которого принято считать крупным. Бог мой, какая серость и безграмотность, любой словесник поставил бы двойку.)

Второе условие — правда жизни. Но главная забота сегодня — идеал. Отмеченное высокой наградой эпическое повествование содержит притчу о двух государствах, не пустивших домой космонавтов, которые прикоснулись к иной, более высокой, чем на Земле, цивилизации. Меня эта притча повергла в уныние: неужели автор не ве-

рит в человечность и человечество? Зачем он признается в этом? И только строки во всех отношениях безупречной прозы: «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана...» — вернули мне доброе настроение.

ВЛ. ГУСЕВ

Сколько я ни думал, мне не удалось определить такое отдельное высказывание Белинского, в котором был бы символизирован его образ. Это, конечно, мое сугубо личное мнение, но думаю, такого высказывания и нет. У Белинского много эффектных строк, его хорошо, «выгодно» цитировать, из него всегда можно выбрать эпиграф. Но при этом Белинский неуловим и протестичен, образ его текуч, он вечен в динамике. Это, кстати, вызвало много недоумений и недоразумений в истории нашей литературы. Сталкивая лбами различные цитаты из Белинского, критики заходили в тупик противоречия, несовместимости.

На самом деле никакого недиалектического противоречия тут нет, Белинский, во-первых, развивался, во-вторых, он неизменно стремился уловить истину в ее объеме, в ее динамике, а не просто затвердить какой-либо тезис. Белинский борется с ро-

мантизмом — и тут же утверждает, что он — извечная сторона природы и духа человеческого. Белинский выступает за близость литературы к действительности — и при этом отстаивает высокий пафос в литературе. Белинский ярый патриот — и при этом с величайшим вниманием смотрит в сторону передовой литературы и мысли тогдашней Европы. И так далее. Чем же мне ценен Белинский, если — одним словом?

Если одним словом, то можно процитировать — все же процитировать! — иную классика:

Он в песнях гордо сохранил
Всегда возвышенные чувства....

Белинский может противоречить себе и даже порой ошибаться в конкретных оценках, но он никогда не входил в противоречие со своей благородной и возвышенной целью...

АРТЕМ ДУБРОВИН

Трудный вопрос задал «Новый мир»: какое высказывание Белинского можно взять себе как бы эпиграфом и почему? Оттого трудный, что редко кто еще столь неподатлив для извлечения удобных цитат, как «неистовый Виссарий». Попробуй-ка расчлени этот бушующий, нетерпеливый пламень идеи-страсти на отдельные жгучие языки: вся сила такого огня в том именно, как свободно, неутолимо он перекидывается с предмета на предмет и мечется, не ища застывших форм. Мечется иногда из крайности в крайность, от заблуждений к прозрениям, но и сами прозрения критика — не столько итог, сколько неостановимое движение. Тут не максимы — тут максимум!

Нет, конечно же, у него есть и броско-четкие ключевые строки, выражающие кредо его; они годились бы, пожалуй, и в эпиграфы. Только как сохранить при цитировании тот внутренний жар, то биение в ~~вапор~~ мысли, темперамента, нравствен-

ного чувства, которые единственно и дают словам живое дыхание?

«Да! в настоящем времени зреют семена для будущего!» — чем вроде бы не эпиграф для всего, что мы делаем? Но он может показаться лишь трюизмом, если за звучанием фразы не расслышать клочкотания всей жизни и личности мыслителя-борца. Именно жизни и личности, а не только данного текста. Ведь непосредственное текстовое окружение приведенных тут слов из ранних «Литературных мечтаний» — это аргументы еще наивные, более того — еще ложные, однако же мотивы, которые двигали молодых критиков, были с самого начала мощными и чистыми, а потому вера в будущее родной культуры сохранилась и окрепла у него, наполнившись затем новым, зрело-реалистическим смыслом — революционизирующим и демократичным, враждебным к тираническому самовластью и любому рабству, духовному и физическому. Верность истине и свободе

народности и человечности приобретала для великого патриота реальные исторические очертания.

И это сделало его вещим. Это осветило дальнейший путь русского художества. Это осталось уроком прозорливости и для нас, столь нечасто и робко пробующих себя в искусствоведческом прогнозе.

О чем бы ни судил Белинский: о достоинстве личности или о страстно чаемых для России «успехах цивилизации, просвещения, гуманности», об отношении к крепостной неволе или к вопросам церкви и атеизма, о смирении и сопротивлении или о национальной самобытности и началах общечеловеческих (веское слово и в сегодняшних наших спорах!), о категориях ли эстетики — о правде искусства и о пафосе, об идеале и о романтике, о комическом или о драматическом, — его речами всегда правил этот взгляд в завтра. Не потому ли его и слушали так, как некогда слушали пророков: и камнями забрасывали, а заглушить не могли? Статьи его были не просто спутниками литературы: они сами становились широко читаемой литературой.

Пророки любых времен не были святыми, каждый был человеком и нес отпечаток своего века и своего круга. В угловатой манере Белинского очень сказывается, говоря нынешним жаргоном, комплекс разnochинца, смесь демократической гордости с ощущением: «...У меня есть любовь к истине и желание общего блага, но, может быть, нет основательных познаний». Отсюда и титаническая жадность к таким познаниям, активность духа, не желающего пребывать в темноте, униженной зависимости, ненавистном холопстве.

В оценке тех или иных книг он не всегда был вполне справедлив (хотя, как правило, все-таки был редкостно меток), монологи его были длинны, запальчивы, иног-

ДМИТРИЙ ЗАТОНСКИЙ

Белинский — фигура столь значительная, что нечего и думать о возможности выразить ее даже посредством сотни цитат, не то что одной. Но редакция ставит вопрос иначе, центр тяжести как бы переноса с великого критика на лицо, которое берется на вопрос отвечать. Поэтому и я могу зятьсяся.

«...Не искусство создало критику, и не критика создала искусство; но то и другое вышло из одного общего духа времени. То и другое — равно сознание эпохи...» —

да восклицаний-восторгов или гневных анафем в них содержалось более, нежели скрупулезно-доказательных разборов и доводов. Но вот уж чего не было там ни грана — так это сделок с совестью и убежденностью, малейших уступок нравам фарисейства.

Повторяю, трудно, на мой взгляд, вычленишь из его наследия какую-либо отдельную строку или фразу в качестве эффектного эпиграфа. А вот в качестве конструктивных посылов, отправных точек для нашей работы можно припомнить многие его высказывания. Назову хотя бы одно.

Мне доводилось уже опираться на глубокую философскую мысль Белинского, выраженную им в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года»: *«На свете нет ничего безусловно важного или неважного»*. Взятая в контексте, мысль эта зовет не к безбрежному релятивизму, а к конкретной историчности. Насколько такой подход к делу диалектичнее иных встречающихся поныне суждений о существенном в жизни и искусстве — слишком общих, однолинейных, куцых, не берущих в расчет, что некоторые стороны реальности, пренебрежительно игнорируемые художником или критиком как заведомо не важные, второстепенные, могут оказаться исключительно важными в каком-то другом отношении!

Для творческого метода нашего искусства вопрос этот имеет, убежден, первостепенное значение. Во-первых, речь идет о богатстве художественного освоения мира, о типизации по множеству оснований, об умении видеть важное в разных отношениях, связях, ракурсах. А во-вторых, отрицание схоластических абстракций, абсолютных, «безусловностей» в вопросе о важном и неважном нацеливает на особое выделение того, что наиболее существенно именно в наших условиях и в совершенно определенных отношениях, отвечающих высшим целям общества и человека.

вот мысль Белинского из «Речи о критике...», которая лично мне особенно интересна, особенно близка. И если бы довелось мне писать работу о месте критики в иерархии искусств то я, наверное, взял бы ее в качестве эпиграфа

Писатель оперирует сюжетами жизни, критик литературовед — сюжетами литературы: то есть по отношению к жизни объектами более или менее вторичными. В этом — отличие. На него указывал и Белинский: *«...критика есть сознание фило-*

софское, а искусство — сознание непосредственное. Содержание того и другого — одно и то же; разница только в форме». Но вряд ли следует рассматривать ее как нечто абсолютное. В том, скажем, смысле, что писатель творит образ, создает искусство, а критик, литературовед все это описывает, объясняет, оценивает. И эта сторона дела важна, но только ею дело не ограничивается. Если писатель, не поднимаясь над реалиями жизни, над ее описанием, — ремесленник, то, надо думать, в ремесленники следует зачислить и критика, не поднимающегося над реалиями литературы. Как и писателю, ему требуется не только собственное мироощущение, но и собственное

художественное восприятие мира. Как и для писателя, объекты, которыми он оперирует, для него в какой-то мере исходный материал, повод, чтобы выразить себя, свой неповторимый взгляд на вещи, а через себя, через этот взгляд выразить литературу, выразить жизнь как в литературе, так и вне ее присутствующую. Только так он способен литературу и жизнь не описать, а именно выразить. В некотором роде говоря их как писатель, иными словами, как личность не только идеологически, но и художественно партийная.

Такой личностью был Белинский. Оттого он был, если угодно, идеальным критиком. Мало кому дано до него подняться. Но следовать за ним могут все.

Киев.

ИГОРЬ ЗОЛУТССКИЙ

Если Белинского разобрать на цитаты, то афоризмов, умных мыслей и почти готовых пословиц составит целый том. Только цитаты эти будут вырваны из текста оторваны от времени, и, кроме того, между высказываниями великого критика обнаружатся противоречия. «...Поэзия не имеет цели вне себя», — писал он в 1834 году «Социальность, социальность — или смерть!» — вот его вера в 1841-м. Одно положение отрицает другое, Белинский отрицает Белинского.

Он, впрочем, не упорствовал в своих теоретических влюбленностях. Он умел отказываться от них, рвать с ними. Это не означает, однако, что у Белинского не было любимых идей и заветных истин. Одну из таких истин он высказал в 1836 году в статье «Ничто о ничем...». Рассуждая о задачах критики, которая призвана развлекать в читателе эстетическое чувство, Белинский говорит: «Это чувство есть условие человеческого достоинства: только при нем возможен ум, только с ним ученый возвышается до мировых идей... только с ним гражданин может нести в жертву отечеству и свои личные надежды и свои частные выгоды; только с ним человек может сделать из жизни подвиг и не сгибаться под его тяжестью. Без него, без этого чувства, нет гения, нет таланта, нет ума — остается один пошлый «здравый смысл», необходимый для домашнего обихода жизни, для мелких расчетов эгоизма. Эстетическое чувство есть основа добра, основа нравственности».

Не преувеличивает ли Белинский? Не слишком ли тяжкий груз возлагает он на эстетическое чувство? Но для него оно не только вкус к хорошему в литературе, но и

умение отличить хорошее от дурного в жизни, в природе, в человеческих отношениях, в теории и практической деятельности. Говоря другими словами, это чувство прекрасного, это вкус к идеальному, совершенному, сознание идеала, наконец.

Без этого сознания гражданин не гражданин, поэт не поэт, человек не человек.

На исходе двадцатого столетия мы готовы повторить слова сказанные Белинским полтора века назад. Слишком громко звучит в мире голос отрицания, слишком слаб голос идеала. Слишком сильно сомнение, слишком слаба надежда.

Мы думаем, что нас спасет техника. Машины, компьютеры и так далее. Но самая совершенная техника не знает, что прекрасно, а что плохо. Она не ведает различия между добром и злом. Их знает и ведает человек.

«Где нет владычества искусства, — продолжает Белинский, — там люди не добродетельны, а только благоразумны, не нравственны, а только осторожны; они не борются со злом, а избегают его, избегают его не по ненависти ко злу, а из расчета. Цивилизация тогда только имеет цену, когда помогает просвещению... Погодите, и у нас будут чугунные дороги а, пожалуй, воздушные почты, и у нас фабрики и мануфактуры дойдут до совершенства, народное богатство усилится; но будет ли у нас религиозное чувство, будет ли нравственность — вот вопрос! Будем плотниками, будем слесарями, будем фабрикантами; но будем ли людьми — вот вопрос!»

Чувство прекрасного — это, может быть, тот руль, не выправивши которого мы не выправим ход всего корабля.

ГЕОРГИЙ МАКОГОНЕНКО

«...Жизнь есть действие, а действие есть борьба»

Так четко сформулировал Белинский важную нравственную максиму уже в первой своей программной статье «Литературные мечтания».

Эта максима потом определила всю общественную и литературную позицию критика.

В афоризме аккумулировалась мысль о решающем условии самореализации личности, о выявлении дарованных природой духовных богатств человека. Она же вооружала энергией противостояния искушениям насущного бытия, которые неумолимо вели к извращению человека и посягательству на его достоинство.

Мысль Белинского, порожденная своим временем, выходила за его пределы прорывалась в будущее. И она оказывалась нужной сменявшим друг друга поколениям. Нужна она и современности — писателям и читателям, литературе и обществу.

Нравственная максима Белинского порождена самой жизнью. Точнее — она была выстрадана Россией задышавшейся в тисках неволи императорского николаевского режима.

Поколение Белинского чутко слушало свое время и самоотверженно искало идеал жизни в обществе, где господствовали угнетение и несвобода.

Социальное и политическое зло в обществе вызывало протест смелых и мужественных писателей, прежде всего мятежных романтиков. Властителем дум был великий Байрон. Его герои самоотверженно отстаивали поправленную свободу, бескомпромиссно осуждали средоточие зла и пороков. Казалось, что эти герои указывали выход из губительных для человека обстоятельств жизни. Но мудрые писатели Пушкин, Белинский, Герцен поняли слабую сторону романтического протеста как бегства из ненавистного общества. Беглец в реальности часто оказывался равнодушным зрителем творившегося на его глазах насилия над человеком, а романтический ореол придавал ему мнимую значительность. На деле подобная позиция превращалась в позу. Больше того — бегство из реального мира в мир собственной души, в замкнутый мир своего «я» вело к проповеди эгоизма, к его оправданию.

Задача преодоления подобного романтического идеала еще и в начале 1840-х годов оставалась актуальной. Герцен стремился объяснить, почему романтизм сеял опасные иллюзии, создавая условия для игры в

оппозицию к миру зла. Он утверждал, что только действие как борьба спасет человека от тлетворного влияния николаевского режима. Не достичь блаженства в замкнутом эгоистическом мире, откуда можно спокойно созерцать торжествующее в обществе зло! Герцен писал: «Человек не может примириться, пока все окружающее не приведено в согласие с ним». Он обязан быть общественно активной личностью, ибо только «одно действие может вполне удовлетворить человека. Действование — сама личность».

За три года до Белинского студент Московского университета Михаил Лермонтов написал стихотворение «1831-го июня 11 дня». В нем — тревожные мысли о том, как жить, зачем жить. Юный поэт находит антиромантический ответ на императивно поставленный жизнью вопрос — в чем призвание человека. «Так жизнь скучна, когда боренья нет... Мне нужно действовать...»

Нет нужды говорить о том, что Белинский не знал этого стихотворения. Лермонтов никогда не печатал своих ранних произведений.

Афоризм Белинского — Лермонтова может способствовать плодотворному размышлению о творчестве многих советских писателей. В частности, о творчестве Александра Фадеева.

...Небольшое воспоминание. Первое мая 1942 года в осажденном Ленинграде. Я работал тогда в Радиокomite. В шесть утра раздался телефонный звонок — звонил Николай Семенович Тихонов с военного аэродрома. Он только что вернулся из Москвы. Спрашивал, нужен ли он в Радиокomite в этот день? Я поспешил пригласить Николая Семеновича. После небольшой паузы он сказал: «Я не один, со мной Маргарита Алигер и Александр Фадеев.» Обработанный московским гостям, я пригласил их для выступления перед микрофоном.

Писатели появились в Доме радио около десяти часов утра. В течение всего дня и вечера прибывшие многократно выступали в разных передачах. Около полуночи я пригласил прибывших к себе. Работники Радиокomite жили тогда на казарменном положении. Всю страшную зиму я жил в общежитии — большом кабинете председателя комитета. Перед праздником я перебрался в пустую комнату на седьмом этаже. Друзья шуточно говорили о моем жилище: хорош блиндаж, да жаль, что седьмой этаж...

Застолье было шумным, веселым и неожиданно богатым — москвичи привезли гостинцы. Помимо прилетевших за столом были Ольга Берггольц, Александр Прокофьев и художественный руководитель Радиокomiteта Яков Бабушкин. Гости рассказывали о Москве и жадно расспрашивали о Ленинграде... Потом поэты читали стихи.

Читал стихи и Фадеев — его любимым поэтом был ранний Лермонтов. Читал, комментировал и просвещал: присутствующие лучше знали Лермонтова зрелого. С особым вдохновением он прочел и упомянутое стихотворение «1831-го июня 11 дня». Фадеев говорил, что гениальный юноша понял, зачем живет человек на земле, каково насто-

ящее призвание поэта. Лермонтов гордо соотносил себя с великим Байроном, но утверждал: «Нет, я не Байрон, я другой...» Действительно, он был другим, истинно русским поэтом, все творчество которого было воплощением выстраданного идеала. Оттого он ворвался в литературу со стихами на смерть Пушкина. Поэт действовал, а его действие было борьбой. Так были написаны «Дума», «Поэт», «Пророк»...

...Через несколько лет Фадеев написал роман «Молодая гвардия». Читая его, я все время вспоминал блокадную маевку 1942 года и слова Фадеева о русском идеале подлинно человеческой жизни — жизни как действовании, которое есть борьба...

Ленинград.

ПЕТР НИКОЛАЕВ

«Чисто художественная критика, не допускающая исторического взгляда, теперь никуда не годится, как односторонняя, пристрастная и неблагоприятная. Художественность и теперь великое качество литературных произведений; но если при ней нет качества, заключающегося в духе современности, она уже не может сильно увлекать нас». (В. Г. Белинский. «Тарантас. Путевые впечатления. Сочинение графа В. А. Соллогуба. Санкт-Петербург, 1845»)

Соблазнительно сказать: вот точная формула, необходимая и нынешней литературной критике. Потребность в «историческом взгляде» сейчас, можно сказать, всеобъемлюща, в частности потому, что взгляд этот не позволяет просто констатировать и оценивать художественное явление. Он требует объяснения этого явления, он, как любили когда-то говорить, казуален. Жаль, что в нашей литературной критике не очень популярен вопрос «почему?», являющийся обязательным для русской классической эстетики и центральный во всяком научном мышлении.

Тезис Белинского об историзме в данном контексте не претендует на универсальность и сам нуждается в историческом объяснении. Цитированный текст датируется 1845 годом, когда на знамени отечественной литературы писались слова «натуральная школа». Отсюда и соответствующие акценты при употреблении давних понятий «художественность» и «современность».

Белинский понимает: всякая переломная литературная ситуация, всякая программа нового художественного течения диктуют

свои оценочные критерии. Они, следовательно, историчны. Гоголевская школа в середине 40-х годов с ее специфической «натуральностью» воссоздания жизни не требовала соблюдения жанровых и иных «вечных» канонов искусства. И потому, по Белинскому, «Тарантас» — «художественное произведение в современном значении этого слова. Оттого в него вошли не только рассуждения между действующими лицами, но и целые диссертации. Оттого оно — не роман, не повесть, не очерк, не трактат, не исследование, но то и другое и третье вместе». Что это как не историчность самих критериев художественности?

Признавая, что в истории культуры есть абсолютные эстетические ценности, Белинский в то же время был убежден: источник абсолютного — в пристрастии писателя к текущему, каждодневному. Он потому и стал пионером в мировом критическом опыте: создал научную картину современного художественного процесса, ставя рождающееся творение в контекст европейского искусства.

Благодаря своему уникальному критическому методу Белинский мог угадать в журнальной публикации художественный феномен. И именно в современном пафосе романа или повести он видел то, что много десятилетий спустя, в будущем столетии, воспринималось как великое эстетическое открытие. Диалектика вечного и сиюминутного!

Подобная диалектика проникает и в существо критического анализа. Здесь, собственно говоря, главная функция и высшая цель критики. Как они осуществляются?

Только в единстве социального и эстетического подходов к искусству. Иной принцип односторонен и ложен, утверждает Белинский.

Критик предполагал возможный вопрос: как органически совместить в одном анализе два, казалось бы, различных воззрения — художественное и историческое? Допустимо ли требовать от поэта, чтобы он служил современности, не выходя из ее «заколдованного круга», и вместе с тем помнил о «вечном» предназначении творческого слова? Белинский считал вопрос легко разрешимым.

Художник, подобно всякому человеку, не должен убегать «вовнутрь себя». Белинский заявляет: это средство к спасению ложное и эгоистическое. Когда на улице пожар, надо бежать не от него, а к нему, вместе с другими трудиться для потушения его. Нельзя сочинять доктрины, догматы высокой мудрости, правило жизни

из эгоистического и малодушного чувства.

Отсутствие связи со временем, с «житейскими волнениями» и рождает творческую несвободу — вот что помог осознать русской художественной литературе и критике Белинский.

«Свобода творчества, — писал он в «Речи о критике...», — легко согласуется с служением современности: для этого не нужно принуждать себя писать на темы, насилловать фантазию; для этого нужно только быть гражданином, сыном своего общества и своей эпохи, усвоить себе его интересы, слить свои стремления с его стремлениями; для этого нужна симпатия, любовь, здоровое практическое чувство истины, которое не отделяет убеждения от дела, сочинения от жизни».

Эти слова написаны как будто сегодня — так они необходимы нашему времени. Они программы и для социалистической художественной культуры.

ВАСИЛИЙ НОВИКОВ

«Тут дело идет не о моей или Вашей личности, а о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и Вас: тут дело идет об истине, о русском обществе, о России». (В. Г. Белинский. Из письма Н. В. Гоголю от 15 июля н. с. 1847 г. Зальцбрунн)

Письмо Белинского Гоголю знаменует высший этап в развитии эстетических и политических идей «нейстового Виссариона». Оно произвело громадное впечатление на просвещенную Россию. Не было в ту пору ни одного учителя, студента, гимназиста старшего класса, который не знал бы этого письма наизусть. Чтение вслух письма Белинского Гоголю инкриминировалось петрашевцам, в том числе Достоевскому, как тяжкое государственное преступление.

И сейчас письмо Белинского Гоголю обжигает, как раскаленный металл, рождает восхищение, вызывает массу мыслей, поражает принципиальностью, беспредельной убежденностью в правоте идей, защищаемых критиком. В письме Белинского Гоголю решается вопрос эпохального значения: по какому пути пойдет Россия, какова судьба народа — главной силы истории, что ждет страну в будущем? Белинский отбрасывает все личное. Он говорит не от себя, а от имени России, в «которой кипят и рвутся наружу свежие силы». Он заявляет: «...мне кажется, что я немного знаю русскую публику». Эта публика (имеется в виду новое поколение) жаждала активного действия, гуманности, свободы. Позиция

Белинского и Гоголя периода «Выбранных мест из переписки с друзьями» оказалась полярной: «...Вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства»...

Белинский в письме Гоголю говорит как бы от имени самой истории, ставит самые насущные, самые жгучие вопросы, от решения которых зависит судьба России. — уничтожение крепостного права, отмена телесных наказаний, выполнение законов, которые есть, защита человеческого достоинства. Под человеческим достоинством Белинский понимал всю совокупность свободных общественных отношений, возвышающих личность. Речь шла о новом виде гуманизма, который защищали революционные демократы. Речь шла о новой личности, от высоты сознания которой зависело будущее России. Напомним, что главным достоинством поэзии Пушкина Белинский считал «ее способность развивать в людях чувство изящного и чувство гуманности, разумея под этим словом «бесконечное уважение к достоинству человека как человека».

И в письме Гоголю Белинский подчеркивает исключительно важное значение русской литературы в деле пробуждения общественного сознания: «Только в одной ли-

тературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почтенно...» Белинский дает высокую оценку «Мертвым душам», «Ревизору» и называет Гоголя «великим писателем, который своими дивно-художественными, глубоко истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России», но решительно выступает против ошибочных «Выбранных мест из переписки с друзьями» и просит Гоголя отказаться от них. Его симпатии на стороне свежего, здорового, что несет в себе прогресс, что обещает лучшее будущее.

Беспредельной верой в светлое будущее России, которая преодолет мрак царизма, верой в новые силы, которые кипят в стране, рвутся наружу, рождены пламенные слова Белинского в письмо Гоголю. Оно гневно, это письмо. Но иначе писать критик не мог. Он сам говорил о себе: «Я не умею говорить вполнину, не умею хитрить: это не в моей натуре». Афазия — воздержание от уверенного суждения — была органически чужда Белинскому. Он

ЛЕОНИД НОВИЧЕНКО

«Без всякого сомнения, искусство прежде всего должно быть искусством, а потом уже оно может быть выражением гуха и направления общества в известную эпоху. Какими бы прекрасными мыслями не было наполнено стихотворение, как бы ни сильно отзывалось оно современными вопросами, но если в нем нет поэзии, — в нем не может быть ни прекрасных мыслей и никаких вопросов, и все, что можно заметить в нем, — это разве прекрасное намерение, гурно выполненное.» (В. Г. Белинский «Взгляд на русскую литературу 1847 года»)

Диалектическая мысль Белинского, рассматривающая взаимоотношения между искусством и жизнью, художественностью и идейностью, разумеется, этим тезисом не могла исчерпаться. Непосредственно за ним, за его конкретизацией следуют известные слова, дающие необходимое завершение взгляду автора на затронутую проблему: «Но, вполне признавая, что искусство прежде всего должно быть искусством, мы тем не менее думаем, что мысль о каком-то чистом, отрешенном искусстве, живущем в своей собственной сфере, не имеющей ничего общего с другими сторонами жизни, есть мысль отвлеченная, мечтательная. Такого искусства никогда и нигде не бывало». Не откажу себе в удовольствии из множества высказываний критика на

резко выступал против лицемерия, которое вместо обличения пороков «тотчас земному богу подкурит больше, чем небесному».

Белинский выступает в письме Гоголю пророком новой России, продолжателем дела декабристов. Герцен считал декабристов фалангой героев, «выкормленных, как Ромул и Рем, молоком дикого зверя... Это какие-то богатыри, кованые из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение...». Если бы не ранняя смерть Белинского, его внем сомнений ждала Шлиссельбургская крепость и каторга. Но он не убоился такого удела и сказал в письме Гоголю все, что думал о царизме. Не случайно В. И. Ленин так высоко ценил Белинского как предшественника русской социал-демократии. По мнению Ленина, «знаменитое «Письмо к Гоголю», подводившее итог литературной деятельности Белинского, было одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати, сохранивших громадное, живое значение и по сию пору».

этот счет привести еще одно, пусть даже несколько избыточное в своей энергичности. «Талант вижу в них (повестях Кудрявцева. — Л. Н.) и теперь, но черта ли в одном таланте! Земля ценится по ее плодородности, урожаю; талант — та же земля, но которая вместо хлеба родит истину. Порождая одни мечты и фантазии, талант, даже большой, — песчаник или солончак, на котором не родится ни былинки».

Остановимся, однако, на том, с чего разговор начат. Из двух, фигурально говоря, ступеней «ракеты-носителя» первой является художественность — от нее зависит, быть ли искусству искусством или же его именем будут нарекаться поделки, недоноски, любые другие фикции. Только художественное, да простится сия тавтология, искусство может работать присущим ему способом, воздействуя на сознание людей. Элементарно? Конечно же. Проходили это в школе? Вроде бы. Почему же ныне так хочется напомнить именно об этой «предпосылочной» части многогранных суждений отца русской критики о сущности и назначении искусства? (Оговорюсь: мысли Белинского о направлении таланта, о таланте как земле, рождающей истину, всегда остаются живыми и действенными, но сегодня, мне кажется, мы чаще забываем не об этом, а о кое-чем другом.)

Ведь это факт, что наряду с подлинно талантливыми произведениями современной словесности у нас имеется — и обнаруживает упорную тенденцию к возрастанию — немалое количество всяческих имитаций, которые лишь портят художественный вкус читателей и могут в конечном счете привести к снижению авторитета и престижа литературы в целом. Не буду вдаваться в слишком прямые параллели, но, в самом деле, не действуют ли здесь подспудно психологически, в своем особом виде то же безразличие к качеству, та же тенденция «перекрывать» все валом, то же формальное отношение к сущностной стороне дела, которое столь навредило нам в других отраслях общественного производства?

У нас много поэтов «хороших и разных», их ценят и любит народ. Но вот больше ста стихотворных сборников выходит за год на Украине и около трех тысяч во всей стране. Не знаю, много это или мало на душу населения, но ведь значительная часть названных книг, по давнему слову П. Тычины, легла, как листочек на воду, не вызвав даже легких кругов на поверхности. Под видом поэзии читателю предлагается слишком много явно посредственных изделий, всяческой стихотворной шелухи. Поистине количество, переходящее... в некачество.

Экология культуры требует поставить достаточно строгие преграды этой агрессии посредственности, согласно которой в литературном творчестве все и всем доступно — было бы желание, некоторая усидчивость плюс заменяющие талант пробивные способности.

Думается о многом, способствующем опасному смещению и уравниванию искусства с неискусством в современной нашей словесности. О распространенном жанре

отчетных докладов-каталогов, в которых создания высокоталантливые или просто добротные, честно выполняющие свое назначение, смешиваются в одну кучу с произведениями удручающе плоскими, неумело поучающими или же не идущими дальше поверхностного отображения фактов, — и все это подводится под единый навес якобы сообща разработанной проблематики. Думается о критиках, все еще охочих закрывать глаза на художественную несостоятельность романа или поэмы, поскольку автор, дескать, обратился к актуальной (мнимо актуальной, потому что она фактически не состоялась) теме. О школе, в которой художественная литература нередко рассматривается в качестве простой иллюстрации к истории, к социальным процессам — при вольном или невольном невнимании ко всем тайнам ее эстетической прелести. Недавно, скажем, мне попались на глаза списки литературы для внеклассного чтения, которую педагоги начальных школ на Украине обязаны будут рекомендовать ученикам вторых и третьих классов. Боже мой! Девять или еще больше рубрик — памятные даты, обязательные тематические полочки, до того строгие, что даже о своих сверстниках школьники могут читать лишь те книжки, которые соответствуют ультрадидактическому девизу «О детях, о делах хороших». А самое главное — большинство этих рубрик «обеспечены» авторами, мягко говоря, отнюдь не из числа мастеров, а классиков вообще — раз, два и обчелся. Дух любви, понимания, уважения к литературе как искусству здесь начисто отсутствует.

Короче говоря, остается лишь повторить вслед за великим предшественником: искусство прежде всего должно быть искусством, и поэзия — поэзией. Поэзией, а не продукцией за отчетный период!

Киев.

АНДРЕЙ НУЙКИН

Нелегко отвечать на поставленный редакцией вопрос хотя бы потому, что у меня не одно, а множество «заветных» высказываний Белинского, таких, которые хочется цитировать и комментировать, за которые тревожно: а достаточно ли хорошо осознало беззаботное человечество их мудрость и важность? И ведь не на века отшлифовывал критик свои формулы, не потерявшие до наших дней первозданности и актуальности, не вымучивал их с прилежанием диссертанта, с моцартовской небрежностью щедро рассыпал по текстам обзор,

рецензий и частных писем. Однако за их легкостью и непринужденностью порой скрывается такая философская глубина, о которой, кажется, иной раз и сам автор не подозревал.

В одной из ранних статей — «Стихотворения Владимира Бенедиктова» — обронена Белинским фраза: «Что такое мысль в поэзии? Для удовлетворительного ответа на этот вопрос должно решить сперва, что такое чувство...» В далекие аспирантские времена это парадоксальное утверждение (воистину «гений, парадоксов друг») заин-

триговало меня настолько, что я решил, прежде чем подступиться к вопросу о природе искусства, который меня манил и волновал своими нераскрытыми тайнами, быстренько выяснить для себя, что же это такое на самом деле — чувство. Попробовал и увяз на двадцать лет. Оказалось, действительно совершенно невозможно понять, в чем сущность и назначение искусства (в частности, что такое эстетическая идея), не уяснив природы и назначения высших духовных чувств (прежде всего эстетических и нравственных), а в их философском толковании выявилось столько белых пятен и разнобоя, что... Короче говоря, сначала я написал монографию чуть не в тридцать печатных листов о происхождении, путях развития и сущности эстетических чувств, а сейчас заканчиваю работу, в которой пробую разобраться в специфике художественного познания. И общим эпиграфом к ним вполне могла бы стать приведенная выше фраза Белинского.

Еще один пример. В письме В. Г. Белинского В. П. Боткину есть короткое непроизвольное восклицание, которое, как мне кажется, можно считать объясняющим пафос всего творчества критика: *«Я не хочу счастья и гаром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братьев по крови...»*

Слова талант, гений гипнотизируют нас настолько, что мы считаем кощунственным даже вдумываться, а что же за ними стоит реально, каким именно золотым запасом обеспечиваются эти высокие понятия? Вот и про Белинского мы привычно говорим: великий критик.. А что его сделало таковым? Чутье какое-то особое, сверхъестественное на художественное было у него? Словом ли настолько лучше других он владел? Было и чутье, и пером он владел прекрасно, спору нет, но, как мне кажется, встречалось и при нем и после него в России не так уж мало литераторов, которые, по крайней мере, не уступали ему в этом от-

ношении. Показательно, что, говоря о великих мира сего, объяснение их исключительности мы обычно норовим найти там, где состязаться с ними заведомо бессмысленно. Никто не выводит гениальность, допустим, из исключительного трудолюбия или дисциплинированности. Нам представляется, что такое объяснение способно унизить понятие гениальности. Только, может, мы просто притворяемся перед собой? Ведь такое объяснение сразу порождает вопрос: если секрет выдающихся успехов в трудолюбии (или в чем-то другом, в принципе всем доступном), то чего же мы сами ленимся быть гениальными? Вот и разводим почтительно руками, говоря про великих, завистливо именуем их баловнями судьбы, лепечем что-то невнятное про счастливое сочетание генов, про способности, которые от бога... Очень это удобно! Потому что ни к чему нас самих не обязывает. А мне вот кажется, что причину исключительного взлета критического дарования Белинского можно найти в приведенной выше фразе из письма Боткину. Не нужно было «неистовому Виссариону» счастья и даром, если хоть кто-то в мире при этом остался бы несчастным, если хоть кто-то страдал бы в это время!

Эта бесспорно редкостная особенность Белинского не была даром небес. В ней гениальность души, которой она достигла сама, плод активных исканий и труда. И путь такой никому не заказан. Достигнете того же — и вы тоже станете гением. В гуманитарной сфере — наверняка, в прочих — вероятно Белинский в другом своем письме (Гоголю) вполне резонно, думается, увязывал значительность целей, ум и талант в единый, нерасторжимый комплекс, напомнив старую, в общем-то, тысячу раз подтвержденную практикой и тем не менее нередко забываемую мысль: «Какая это великая истина, что когда человек весь отааетя лжи, его оставляют ум и талант!..»

СЕРГЕЙ ЧУПРИНИН

Он часто ошибался. Он — можно так подобрать цитаты из статей и рецензий — вообще только и делал что ошибался. Сурово порицал гоголевский «Портрет» («...эта повесть решительно никуда не годится») и, например, драмы Гюго («...истинная клевета на природу человеческую и на творчество»), воспламеняясь зато сверх всякой меры при упоминании куперовского «Следопыта» («...это гениальное произведение, каким только ознаменовалась, по-

сле Шекспира, творческая деятельность»). Саркастически комментировал лучшие строки Баратынского («...поэзия только изредка и слабыми искорками блестит в них»), прозевал Тютчева, зато едва не до небес возносил стихи господина Красова («...их историческое значение не подвержено никакому сомнению»).

Он противоречил сам себе. Иногда публично выправлял прежнюю точку зрения — ну, например: «Я однажды высказал, или,

лучше сказать, повторил чужую мысль, что Державина спасло его невежество: отрекаюсь торжественно от этой мысли как совершенно ложной» Чаще же все-таки — при перемене литературной ситуации и личной позиции — без каких-либо оправданий перед публикой с горячностью оспаривал как «чужие», да они к тому времени действительно осознавались им уже чужими, так и собственные же недавние представления о романтизме и цели искусства. о «Горе от ума» и о поздних сочинениях Пушкина, о будущности русской поэзии и о задачах критики.

Он не был ни объективным, ни даже просто справедливым в своих оценках Рубил сплеча, а порою, подавшись настроению, требованиям минуты, и горяча рубил — без оглядки на «предание» и авторитеты, без учета того, как его слово отзовется в поколениях. К литературным врагам своим бывал беспощаден, и призывы к трезвости и спокойствию, столь часто повторяющиеся в его статьях, легко перекрывались, едва доходило до дела, азартном журнального бойца, органически свойственными ему вспыльчивостью и нетерпимостью к инакомыслию.

За какие-то полтора десятка лет он успел наговорить всякого — о литературе, о жизни, о себе самом. — и его веским суждением нетрудно подкрепить как чуть ли не любую вынешнюю истину так и чуть ли не любое вынешнее заблуждение. Цитата тут — обычное. Впрочем, с классиками дело — больше будет говорить о цитирующем и его нуждах, нежели о цитируемом и его сути.

Понятно поэтому, что и «разоблачители» Белинского, никогда не переводившиеся в России, и самозванные «наследники» его, всегда толпящиеся «у времени в передней», норовят играть как раз на конфликте цитат, на непоследовательностях, противоречиях, перехлестах и обмолвках великого критика. Ошибки гения, его слабости, его, наконец, простодушие неизменно раззадоривают, воодушевляют посредственность, — не дотягивая до высот, она охотно подравнивается к низинам и, еще лучше, к провалам. И думает, ликуя: если уж Белинский срывался, то мне и подавно все позволено. И заранее отпускает себе грехи, искренне радуясь «унижению высокого, слабости могущего».

Вы верно угадали, читатель: последние слова принадлежат уже не Белинскому, а Пушкину. Это Пушкин — по другому, естественно, поводу — оскорбительно передрознил типичную для посредственности

фразочку: «Он мал, как мы, он мерзок, как мы!» И Пушкин же воскликнул в святом негодовании: «Врете, подлецы: он мал и мерзок — не так, как вы, — иначе».

Почему иначе?

Потому что он, Белинский — гений, и путь его, и ошибки, и открытия его — путь, ошибки и открытия гения.

Слово «гений», а вслед за ним и слово «талант» как-то незаметно вышли из употребления в наших разговорах о писателях и литературе. Мы спорим о чем угодно — о гражданской позиции и широте кругозора, о методологической оснащенности и уровне «исполнительского» мастерства, об эстетических предпочтениях и жанрово-стилевой ориентации, — «забывая», что все эти почтенные вещи имеют интерес, вес и цену только при том ничем не заменяемом условии, что писатель, о котором мы судим, богато одарен природою.

Белинский, ошибаясь в применениях, не изменял этому — первичному — критерию никогда. Поэту, по его мнению, «...всего нужнее поэтическое призвание, художнический талант. Это главное; все другое идет своим чередом уже за ним. Правда, на одном таланте в наше время недалеко уедешь, но дело в том, что без таланта нельзя и двинуться, нельзя сделать и шагу, и без него ровно ни к чему не служат поэту ни наука, ни образованность, ни симпатия с живыми интересами современной действительности, ни страстная натура, ни сильный характер: без таланта все это — потерянный капитал».

Эту мысль никто, кажется, нынче не оспаривает. Но никто, кажется, из работников литературного, журнально-издательского мира не принимает ее к руководству в практической деятельности.

Для Белинского, других классиков прямого урона в этой нашей «забывчивости» вроде бы нет; даже и не говоря о масштабе их одаренности, мы, повинувшись то ли традиции то ли интуиции, масштаб этот так или иначе учитываем.

Ну а с современниками?..

Про себя-то мы, конечно, всегда (почти всегда) знаем, с кем имеем дело — с талантом, с квалифицированной «полезностью» (был когда-то и такой — небеспольный — термин) или с пронирыливой бездарностью. Так почему же не называем вещи своими именами? Что замыкает нам уста, побуждая к экивокам, к обходным маневрам? Дурно понятый, до уравниловки низведенный принцип социального равенства? Осторожность, боязнь перейти на личности? Злоупотребления «высокими»

эпитетами, столь распространившиеся в недавнюю эпоху повальной комплиментарности? Убийственное для критика и читателя ощущение, что рельеф в литературе ныне как-то подравнялся (гор нет, одни холмики да овражки), так что разница в дарованиях будто бы сама собой стерлась?

В атмосфере уравниловки привольно живет только середнячкам, по очкам переигрывающим любой галант,— и ввиду внелитературных заслуг, и благодаря выслуге лет, и посредством точного угадывания, на что нынче спрос, и в силу того что их сочинения изначально несут на себе защищающую от критики броню благонамеренной аккуратности и добропорядочной скуки. Зато галант открыт для разящих ударов. Он «высовывается», привлекает к себе всеобщее — часто завистливое — внимание. Он ошибается. Он противоречит сам себе и господствующему в данную секунду понятию о хорошем вкусе и хорошем гонимом. Он сориентирован не на ближнюю ми-

шень, а на дальние, только ему ведомые и доступные цели.

Переберем имена. Кому в последние пять — семь лет больше всего доставалось от критики? Нет, не середнякам. Конечно не середнякам Арсению Тарковскому и Андрею Вознесенскому, Федору Абрамову и Булату Окуджаве, Владимиру Высоцкому и Юнне Мориц, Юрию Левитанскому и Владимиру Маканину, Александру Кушнеру и Игорю Шкляревскому, Анатолию Курчаткину и Льву Аннинскому.. Талантам!..

Так не пора ли, думая об экологии культуры, и судьбу рукописей решать, руководствуясь в первую очередь критерием галантливости, а потом уж всеми остальными?

Думаю, что Белинский — заблуждавшийся, ошибавшийся, непоследовательный, внутренне противоречивый, но гениальный Белинский — одобрил бы диктуемую совестью и вкусом попытку внести ясность в вопрос о том, кто есть кто в современной литературе.

Конечно же, человек нашего времени — главный герой советской поэзии. В творчестве, в работе мы стремимся не замыкаться в рамках только своей республики, а стараемся как можно больше узнать и написать о людях всего мира, в частности, о тех, кто сейчас в разных концах земли вместе с нами борется за мир на планете.

Соратники — неисчислимы,
Друзья друзей — не сочтены,
Мир защитили и спасли мы
На поле боя от войны.

На тех просторах необъятных
Вскрой семь пластов земли сырой,—
Там спит герой в доспехах ратных,
Над ним живые встали в строй...

Мы обращаем к миру речи,
Мы мира видим торжество
И, широко расправив плечи,
Стоим — защитники его.

И если мать растит грузина,
Свою любовь и благодать,
Она извечно учит сына
Не покорять, а созидать!

О мире праведное слово
Придет, подобное волне,
И в песне прогремит сурово,
Как смертный приговор войне.

За песней двинется по следу
Миролюбивый люд земной —
Торжествовать свою победу
Над уничтоженной войной.

(Перевел А. Межиров)

Я родился в семье большевиков, мои родные отдали жизнь за становление советской власти в Грузии. Мне посчастливилось печататься почти с первых лет победы Великой Октябрьской революции.

Мой многолетний труд не раз отмечался правительственными наградами — орденами, медалями. Это заставляло трудиться еще упорнее, учиться, набираться мастерства. Наверное, я мог бы написать не одну книгу о нашем содружестве с русскими, украинскими, армянскими поэтами.

Н. Тихонов, Б. Пастернак, Н. Заболоцкий, П. Антокольский, К. Симонов, М. Бажан, К. Кулиев, А. Межиров, Л. Озеров, Б. Ахмадулина, Е. Евтушенко — все они не только прекрасно переводили грузинскую поэзию, но и писали собственные стихи о Грузии

Но если говорить о переводческом деле в целом, нельзя не признать, что не так уж все благополучно у нас обстоит. Мы читаем стихи поэтов разных национальностей, художников разных возрастов, разных направлений, и — увы! — нередко они оказываются удивительно похожими друг

на друга. Значит, при переводе стихи безнадежно утратили свежесть и своеобразие, свойственные им в оригинале. Что говорить, всем понятно, насколько это серьезно, насколько требует к себе особого внимания переводчиков, критиков, поэтов.

Подумать только, я был участником всех писательских съездов. Очень хочу и дальше продолжать свою работу, такую трудную и такую увлекательную, — запечатлеть в стихах изменения в жизни, которые происходят вокруг, достижения и успехи моего народа, моей страны. В этом я вижу свой партийный долг, свой долг художника.

Давно — шестьдесят лет назад, в 1926 году — я познакомился с В. В. Маяковским и написал об этом стихотворение «Разговор с Маяковским». В нем я постарался передать свое отношение к революции, к новой социалистической действительности, уловить пульс времени. Помню, как читал эти стихи Владимиру Владимировичу и пережил бурную радость, когда понял, что Маяковский почувствовал во мне единомышленника.

Я всегда старался принимать активное участие в жизни моей республики. Поэзией и драматургией подключался к тем существенным вопросам и проблемам, которые ставились жизнью перед советской культурой и литературой. Это было неписаной заповедью писателей нашего поколения. Многие из моих друзей-коллег, ныне здравствующих, и тех, кого уже нет в живых, крепко, по-коммунистически интернационально трудились в своем поэтическом цехе. Их стихи и сегодня продолжают жить среди читателей, нужны им, учат активному отношению к действительности, помогают молодежи найти свое место. Могу с уверенностью сказать, что разные поколения советских поэтов оставили имена, которые по справедливости можно включить в настоящую большую поэзию.

Нужно отметить и то, что лучшими прозаиками в Грузии стали поэты, взявшиеся за прозу. Есть немало смелых попыток создать новую драматургию — драмы, трагедии, комедии. Однако эта новая драматургия, как мне кажется, не достигает пока еще тех высот, до каких поднималась поэзия.

Для сегодняшней грузинской литературы характерно пристальное внимание к фольклору, народному творчеству. И это очень хорошо, так как традиционно каждый крупный грузинский поэт щедро черпает из неиссякаемого родника народной поэзии. Чтобы стать настоящим поэтом, нуж-

но хорошо знать и великую классическую литературу, ее опыт. Все мастера — художники, музыканты, литераторы — без этого опыта не могут стать продолжателями традиций, продолжателями большого советского искусства, тем более стать новаторами.

Интересной подрастает наша поэтическая молодежь. Надо сказать, что молодые сейчас совсем не такие, какими были поэты в мое время. У них больше возможностей стать мастерами. Но тем более мы вправе ждать, что они сумеют понять и оценить истинные высоты многовековой грузинской поэзии, стать достойными ее.

Помню, как в молодости мы боялись интимной лирики, воспевая главным образом новые стройки и индустриализацию. Все другое, так нам казалось, шло в ущерб интересам народа, страны. Один мой друг, влюбившись, например, нашел выход для своего чувства таким образом: он написал и опубликовал стихотворение «Залп «Авроры», предпослав ему посвящение любимой девушке.

Иные молодые сейчас впадают в другую крайность: в их поэзии то и дело наталкиваешься на тонко переданные пустяки, на безделицу расходуется мастеровитость.

Когда мы говорим, что молодой поэзии необходимо помогать, это вовсе не должно означать, что каждого кто выступил со стихотворением, следует здесь же объявлять поэтом и освобождать от работы, которой он прежде занимался. А ведь нередко случается, что после семинара, где обсуждалось творчество молодых, его руководители спешат порадовать мир сообщением такого, например, типа: в работе нашего совещания участвовали 70 молодых талантливых поэтов. И ведь серьезно все произносится, с гордостью даже: вот мол, как мы преуспели. Да это же полная девальвация понятия «поэзия». Думаю во всем мире едва ли одновременно живут 70 талантливых поэтов.

Конечно же, после подобных административных мероприятий объявленных

талантливыми молодых людей нельзя бросать на произвол судьбы. Нужно продолжать следить за развитием их творчества, помогать им достигнуть нужного идейного и художественного уровня их продукции. Вот тогда, может быть, 7 из этих 70 и станут настоящими поэтами.

Раньше в Грузии мода была такая — князя друг другу зарифмованные письма посылали. Никому при этом, однако, не приходило в голову заносить эти письма в жанр поэзии. А теперь кто-то стихи в стенгазету к празднику написал — поэт. А если уж в районной газете напечатали, можно бросать прежнюю работу, профессионализироваться. В Союз писателей вступать.

Нельзя упрощать и обеднять представления об истинном творчестве. Грузинский народ традиционно привык видеть в поэте своего глашатая, человека, особо тонко и чутко слышащего жизнь.

В создании и развитии советской литературы большую роль сыграла организация Союза писателей СССР, традиционно важную идеологическую роль исполняли и наши писательские съезды.

Думаю, накануне Восьмого съезда нам следует благодарно и тепло вспомнить всех тех, кто уже не может присутствовать среди нас, но продолжает активно жить в литературе, участвовать в нашей работе всеми своими делами, всем своим творчеством. Они сумели доказать, что советская литература, советские писатели — защитники высокой культуры разных народов, люди, заботящиеся о будущем мира.

Уверен, что несмотря на беспощадную технику, созданную для уничтожения человечества, оно все-таки сможет отстоять мир и лучшие его стремления. По-прежнему будут выражать в своих стихах поэты, истинные мастера творчества культуры, а не те, в чьих руках окажется равнодушное и беспощадное атомное оружие.

Я рад, что именно журнал «Новый мир», где я печатаюсь уже более пятидесяти лет, предоставил мне возможность поделиться этими моими мыслями

Тбилиси.

С. ЯКОВЛЕВ

★

ЗАБЫТЫЙ КЛАССИК?..

Полемические заметки

Графа Д. И. Хвостова современный читатель хорошо знает по пушкинским отзывам, причем раньше всего вспоминают стихи из «Медного всадника»:

Граф Хвостов,
Поэт, любимый небесами,
Уж пел бессмертными стихами
Несчастье невских берегов.

Иронически-обличительный смысл этих строк («пел... несчастье») ясен сегодня любому школьнику. Благодаря Пушкину и писателям пушкинского круга Хвостов навеки прославился не только как бездарный и тщеславный сочинитель, но и как фигура в полном смысле слова антиобщественная, вызов роду человеческому: «Посреди стольких гробов, стольких ранних или бесценных жертв, Хвостов торчит каким-то кукишем похабным» (из письма Пушкина Плетневу).

Несмотря на свою феноменальную, ставшую легендой глупость (а может быть, благодаря ей) Хвостову удавалось неплохо устроиться в жизни. Женатый на племяннице А. В. Суворова, он воспользовался заслугами полководца для приобретения чинов и графского титула. Когда Суворов при Павле I оказался в опале, Хвостов удостоивается монаршей милости за сочинение верноподданнической оды. В дальнейшем он откликается одами и посланиями на любые события из жизни двора. То и дело издаются сочинения Хвостова. Книгами, которые никто не покупает, автор заваливает учреждения, посылает их знакомым и незнакомым влиятельным лицам, нередко сопровождая собственным бюстом. Будучи академиком, сенатором, Хвостов содержит целый штат критиков-льстецов и обеспечивает им выгодные должности. В назидание потомкам пишется автобиография: «Благосклонный читатель! Ты зришь перед своими очами

жизнеописание знаменитого в своем отечестве мужа...»

Современные Хвостову писатели не упустили случая в той или иной форме (порой шутливо, чаще язвительно и даже гневно) высказать мнение о нем. Еще в 1791 году Карамзин писал Дмитриеву: «Ты верно читал в «Академическом журнале»... оду Хвостова под именем стихотворения. То-то поэзия! то-то вкус! то-то язык! Боже! умилось над нами!» Поскольку прямые выпады против сановного литератора были небезопасны, стало правилом расточать ему иронические похвалы, истинный смысл которых был непонятен разве только самому «певцу Кубры» (так величал себя Хвостов по названию реки, на которой находилось его имение). Языков в 1827 году сообщил в письме к родным: «Сюда дошли слухи, что в пятом томе его стихотворений, недавно изданном, содержатся самые галиматьястые; желание иметь оный том — и притом безденежно — побудило меня написать послание Хвостову: я получил и послание и пятый том». Любопытство простительное, если учесть, что молва приписывала Хвостову такое, например, описание наводнения 1824 года:

По стогнам валялось много крав.
Кои лежали там, ноги кверху вздрав.

К сказанному остается добавить, что в течение полутора веков, прошедших после смерти Хвостова, отношение к нему, по существу, не менялось. Давно сложившаяся репутация графа подкреплена в советское время исследованиями Ю. Н. Тынянова, А. В. Западова, Н. В. Измайлова и других авторитетных ученых. Казалось бы, сегодня никому не придет в голову эту репутацию оспаривать...

Однако откроем книгу «Издревле сладостный союз...», выпущенную издательством

«Советская Россия» (вторая книга трехтомной «Антологии поэзии пушкинской поры»). Составитель сборника и автор вступительных статей Вл. Муравьев сообщает, что «Хвостов был умным и честным человеком». Что касается отзывов современников Хвостова, которые Муравьев снисходительно называет «многочисленными сатирическими упражнениями», то в них «немало и грубых и явно несправедливых выхонок». В молодой литературной среде того времени, по мнению автора, просто «считалось необходимым высмеивать Хвостова» (выходит, Пушкин поддался модному поветрию!), но зато Хвостов «пользовался любовью и уважением у читающей публики и у крупнейших тогдашних писателей и поэтов — Крылова, Державина, Карамзина и других».

Мы уже знаем и об отношении читающей публики к разорвавшемуся на издании собственных сочинений государственному мужу, и о том, как судили о нем Карамзин и другие писатели.

Вл. Муравьева Хвостов интересует прежде всего как современник Пушкина, автор статьи сосредоточился на том периоде, когда уже само имя Хвостова «употреблялось в качестве синонима бессмыслицы, бездарности, тупоумия» (А. В. Западов). Именно к истории взаимоотношений Пушкина и Хвостова относятся самые поразительные заявления автора.

Судите сами. Упомянув сатирическое высказывание о Хвостове в стихотворении Пушкина «Моему Аристарху» (1815), Муравьев огорчивает читателя: «Позже (то есть после 1815 года.— С. Я.) Пушкин перечитывает Хвостова уже по-другому». В подтверждение простодушно цитируется письмо к Дельвигу, написанное в 1823 году, в котором Пушкин якобы «отдает должное преданности Хвостова литературе» и даже... «сравнивает себя с ним».

Чтобы мера авторского простодушия была видна, приводим это место из письма: «Жалею, что мои элегии писаны против религии и правительства: я полу-Хвостов: люблю писать стихи (но не переписывать) и не отдавать в печать (а видеть их в печати)». Пушкин иронизирует здесь над признанием Хвостова в его послании «И. И. Дмитриеву»: «Люблю писать стихи и отдавать в печать» (фраза, вынесенная позднее Хвостовым в эпиграф ко второму тому собрания сочинений,— обычная его манера цитировать себя и на себя ссылаться). Ни о каком «перечитывании», равно как и о «другом» отношении к Хвостову в письме, конечно, и речи нет.

Но Вл. Муравьев на этом не останавливается. «В 1825 году Пушкин обращает внимание на стихи Хвостова, описывающие наводнение в Петербурге: «Что за прелесть его послание!», потом он упомянет их в „Медном всаднике“».

Да уж не разыгрывают ли нас? Знакомые со школьной скамьи строки с их прославленной иронией автор предлагает понимать как похвалу Хвостову и признание его таланта!

Домыслы Муравьева нисколько не забавны, они задевают нечто неизмеримо более важное для нас, нежели репутация Хвостова. В начале декабря 1824 года Пушкин, узнав в Михайловском о петербургском наводнении и его последствиях, писал брату: «Закрытие театра и запрещение балов — мера благоразумная. Благопристойность того требовала. Конечно, народ не участвует в увеселениях высшего класса, но во время общественного бедствия не должно дразнить его обидной роскошью. Лавочки, видя освещение бельэтажа, могли бы разбить зеркальные окна, и был бы убыток. Ты видишь, что я беспристрастен. Желал бы я похвалить и прочие меры правительства, да газеты говорят об одном розданном миллионе. Велико дело миллион, но соль, но хлеб, но овес, но вино? Об этом зимою не грех бы подумать хоть в одиночку, хоть комитетом. Этот потоп с ума мне нейдет, он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется».

Сколько здесь горечи, сарказма в отношении мер правительства, понимания истинной трагедии происшествия! Именно тогда сознанием поэта уже завладела тема петербургского наводнения, широко развернутая в «Медном всаднике». Легко догадаться, с какими чувствами читал Пушкин напечатанное вскоре после бедствия одновременно на русском и немецком языках с пространными, в манере Хвостова, примечаниями «Послание к N.N. о наводнении Петрополя, бывшем 1824 года 7 ноября»:

Сам Сердобольный Царь от высоты Чертога,
Покорности к Творцу, любви к народу полн,
Послал жертв исхищать из уст свирепых
волн...

Посыпались здесь с престола миллионы:
Среди Петрополя от ярости злых вод
Пусть есть погибшие,— но верно нет сирот.

«Пришлите же мне Ваш Телеграф,— пишет Пушкин Вяземскому.— Напечатан ли там Хвостов? что за прелесть его послание! достойно лучших его времен». Здесь не просто высмеивается художественная беспомощность и нелепость «Послания...».

очевидная и для Пушкина и для Вяземского, но выражается полное неприятие общественной роли Хвостова — неприятие, достигшее наибольшей остроты ко времени создания петербургской повести «Медный всадник». По словам пушкиноведа Н. В. Измайлова, в «Медном всаднике», где «каждая строка и каждый образ звучат негодующим, почти сатирическим опровержением официальной лжи», Хвостов играет роль «резкого и оскорбительного противоречия окружающей трагедии», является высшим выражением житейской пошлости, чем он «был всегда в глазах Пушкина».

«Умер Дмитрий Иванович Хвостов в 1835 году, подготовивая к изданию восьмой том полного собрания своих сочинений». Такой щемящей нотой в расчете на читательскую слезу заканчивает Муравьев жизнеописание своего героя...

Статью о Хвостове можно было бы квалифицировать как неудачную компиляцию, составленную человеком, не потрудившимся заглянуть в словари. Множество других несообразностей и явных ошибок на страницах сборника говорит о невысоком качестве этого издания в целом. Однако здесь прослеживается намерение пересмотреть складывавшееся в течение без малого двух веков отношение к Хвостову, представить его чуть ли не старшим другом и соратником Пушкина, иначе говоря, заново открыть Хвостова (автор, кстати, ни с кем не вступает в спор, не ссылается на предшественников, он выбрал беспримысленную интонацию сентиментального рассказа, и нет гарантий, что мало искушенный читатель, которому в основном адресовано это массовое издание, не примет такой рассказ за чистую монету).

Подобного рода попытки «освежить» наши историко-литературные познания принимают и другие авторы. «Хвостовиана» не всегда принимает откровенно фарсовую форму, она может быть и завуалированной.

М. Лобанов, автор книги «Размышления о литературе и жизни» («Советская Россия». 1982), ведет свой рассказ сдержанно, не однажды упоминает об ответственности литератора, возмущаясь издержками «так называемого «нового прочтения», «новой интерпретации» классики». Но вот заходит речь об одном из персонажей Достоевского — Смердякове, и автор как бы невзначай роняет фразу: «Трагикомическое в том, что Смердяков может сказать, что и для Толстого стихи «вздор-с», и в этом смысле он жуткое, буквальное следствие толстовского „отрицания“». Как Хвостов в интер-

претации Вл. Муравьева был сравнен с великими и даже приравнен к ним, так «нигилятина» лакея Смердякова оказывается, по Лобанову, чуть ли не следствием толстовства.

В другом месте книги автор заявляет, что гоголевский Ноздрев «при всей его энергичности и широте натуры» является «мертвой душой» лишь в смысле зависимости от внешних обстоятельств, прежде всего от «капитан-исправника». Иными словами, будь у Ноздрева «свобода выбора своего внутреннего пути» — и этот пошлый буян стал бы человеком во всех отношениях замечательным. Даже выстраивается ряд по общности «психологического типа»: Ноздрев — Митя Карамазов — критик Ап. Григорьев... Соседство неожиданное и, мягко говоря, странное. В такие «тайники» русской души не заглядывал, надо думать, и сам Гоголь.

Сопоставляя русских и зарубежных классиков, М. Лобанов задается вопросом, «насколько правомерно сближение (даже и по принципу контраста) несравнимых величин в литературе». Однако в случаях с Толстым и Смердяковым, Ап. Григорьевым и Ноздревым этот вопрос кажется куда более уместным...

И тут и там речь идет, казалось бы, «все-го лишь» об интерпретации образов русской классики (причем в одном ряду с литературными персонажами у М. Лобанова оказываются зачем-то и писатели). Однако при этом заметно искажается вся картина нашего литературного прошлого.

Вот М. Лобанов обращается к Пушкину. Прочитывая отрывок из уничтоженной главы «Евгения Онегина», заканчивающийся ироническими стихами

Мой идеал теперь — хозяйка,
Мои желанья — покой,
Да щей горшок, да сам большой,—

критик пытается серьезно уверить читателя, что таким и был идеал автора «Медного всадника». Чтобы выглядело это не слишком курьезно, он заручается поддержкой Ап. Григорьева и пишет: «Эти пушкинские строфы Григорьев называл ключом к самому Пушкину и к нашей русской натуре... Это чувство есть наше типовое... Не может оно перестать любить своего типового, не может не искать его и не может забыть своей почвы».

Вряд ли нужно подыскивать аргументы в защиту Пушкина, но хотелось бы вступить за Ап. Григорьева. критика далеко не столь одностороннего, каким пытается представить его здесь Лобанов. «Пушкин не западник, но и не славянофил», — под-

черкивал Григорьев, называя любимого поэта «великим протестантом» Что касается интересующего нас отрывка, в статье «Западничество в русской литературе, причины происхождения его и силы 1836—1851» Григорьев прямо говорит, что в этих стихах Пушкина выражено «ироническое примирение с действительностью». Похоже что М. Лобанов временами так же глух к пушкинской иронии, как и Вл. Муравьев.

Пересмотр давно сложившихся историко-литературных представлений сделался сво-

его рода модой у ряда современных авторов, без всяких к тому оснований переинтерпретирующих общеизвестное.

Нельзя превозносить, к примеру, произведения Кукольника, Боборыкина, Потапенко, не умаляя при этом бессмертных гворений Гоголя, Толстого, Чехова. Нельзя «реабилитировать» Хвостова, не задевая репутацию Пушкина

Подобные лихие набеги на историю отечественной литературы чреваты для нас немалым духовным уроном.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Карен Степанян. «Победитель» после победы — Татьяна Бек. По лестнице лет — О. Алякринский. Биография жанра. — В. Фортунатова. Портрет на фоне времени

ПОЛИТИКА И НАУКА

С. Ларин. Тяжелая память.

Литература и искусство

«ПОБЕДИТЕЛЬ» ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

Руслан Киреев. *Ровно в семь у метро. Рассказы и короткие повести.* М. «Московский рабочий». 1985. 254 стр.

Руслан Киреев. *Стрекозья бухта. Повести и рассказы.* М. «Современник», 1985. 285 стр.

Руслан Киреев. *Светлячок. Повесть.* «Звезда», 1985, № 4.

Руслан Киреев. *Песчаная акация. Повесть.* «Октябрь», 1985, № 10.

На сегодняшний день есть три Руслана Киреева. Первый — полуреальный, полусочиненный критиками (и собственными эпатажными выступлениями в периодике) прозаик из плеяды «сорокалетних», иронист-мистификатор, сторонник объективно-зеркального отражения действительности и ее «неправых» героев, которых он, к ужасу литобывателей, якобы взялся оправдывать. Что касается критиков, то стоило им произнести «Киреев» — и читатели уже знали, о чем пойдет речь: амбивалентность авторской позиции, «вибрирующие» герои, полифонизм и так далее. В литературных журналах яростно спорили о «московской школе», «новой прозе», быте и бытие, о том, что выявилось, «когда рассеялся лирический туман». Словом, то был рубеж 70—80-х годов XX века.

В большинстве повестей и рассказов, вошедших в сборник «Ровно в семь у метро», перед нами совсем другой Киреев. Ничего общего с прежним героем критических баталий. Спокойный, даже порой вяловатый беллетрист не без способностей, умеющий добросовестно описывать окружающий мир и иногда трогать читательское сердце какой-либо сентиментальной историей.

И, наконец, есть третий Руслан Киреев — автор психологических повестей «Там жи-

ли поэты...», «Светлячок», «Искупление», рассказа «Стрекозья бухта».

Попробуем разобраться в этом парадоксе, благо в прошлом году были почти одновременно опубликованы произведения, написанные Киреевым в разные годы.

Время вступления Р. Киреева в литературу — период яростного освоения тогдашней молодой прозой мира, долго находившегося как бы на обочине литературы, жизни «простых» людей, в которой ничего значительного на первый взгляд не происходит: мелкие служебные конфликты, командировки, магазинные баталии, телевизионные переживания, квартирные ремонты и обмены... Но душа человеческая, получая только эту скудную пищу, бунтует, ведет себя совершенно непредсказуемо. В издательской аннотации к первому сборнику писателя «Люди-человеки» (1968) так и сказано: «Главная тема Р. Киреева — душа человека», ее сложность.

Открывалась, по-видимому, новая сфера для приложения писательских сил. Правда, довольно скоро и несколько неожиданно выяснилось, что традиции отечественной литературы (и воспитанный на этих традициях читатель) отвергают простое описание, сколь бы виртуозным оно ни было, что все-таки литература — постижение

жизни и одновременно руководство к действию и без великой мысли существовать не может. Но еще слишком сильно было желание разрушить надоевшие каноны нормативной эстетики, требовавшие разведения героев по полюсам и моралистического авторского назидания, еще смутно (и не всеми) ощущалось приближение тех времен, когда потребует мобилизация всех духовных ресурсов для решающей битвы за будущее человека и человечества. Казалось, что великой мыслью может стать именно отрицание традиций, что романтическое прекраснодушие устарело, что нужно трезво и по-деловому посмотреть в лицо реальности, что человек второй половины XX века необыкновенно сложен, добро и зло в нем практически неразделимы, и смешно было бы его чему-то учить. Пошла амбивалентная, полифоническая проза.

На ней погрело (и греет) руки немало халтурщиков, а на долю наиболее талантливых, вызвавших огонь на себя, достались все шишки. В их числе был и Руслан Киреев.

Тому имелись, конечно, и причины субъективные.

В недавней почти исповедальной статье «Воплощение», опубликованной журналом «Детская литература» (1985, № 9), Р. Киреев признается, что его литературный корабль всегда «управлялся и управляется с того заповедного пятачка, что именуется детством». Расхожая мысль, но творчество Киреева она действительно объясняет во многом.

Настрадавшись за долгие годы детства от «косноязычия растерянной души» (Р. Киреев) и преодолев его лишь на бумаге, в писательстве, он стал создавать вокруг себя новый — литературный, воображаемый — мир, в котором поначалу ощущал твердую почву под ногами. Не просто сочинил его, что принесло бы мало удовлетворения, но воссоздал реальный мир своего детства, населив его своими родственниками, соседями и друзьями. И вдруг убедился, что эти персонажи, как и люди реальные, зажили самостоятельной жизнью, а он при них оказался лишь «беспомощным хроникером».

Почему так? Дело, видимо, в том, что эти произведения были лишены того главного, что только и дает автору власть над созданным им «космосом», — глубокой авторской мысли, авторской идеи, сверхзадачи. То было лишь отражение мира, не более. Об этом свидетельствуют даже заглавия большинства ранних повестей и рассказов, вошедших в сборник «Ровно в семь у метро»: «Двенадцать дней в пансионате

«Гульган» с дочерью от первого брака», «Неудачная попытка попасть в кафе в праздничный вечер», «Открытие мемориального зала художника Ефима Михайловича Бальнина при областном музее», «Однодневная командировка лейтенанта милиции Марапулина в деревню Полухино». Заметна была даже какая-то боязнь идеи, вывода, — как только что-то подобное начинало выкристаллизовываться, Киреев тут же обрывал повествование («Зима в курортном городе»). Оттого-то чтение этих произведений схоже с разглядыванием проплывающих мимо картин из окна троллейбуса (поезда, теплохода — в зависимости от предлагаемой точки обзора). Есть среди рассказов и повестей этого сборника откровенно проходные («Паводок», «Тикси — Певек с заходом на бар Индигирки»), есть и такие, в которых сила соперничества писателя трогает читательское сердце, заставляя его горестно сжиматься («Неудачная попытка...», «Однодневная командировка...»).

Но может быть, взгляд из окна, беспристрастная хроника, изображение, а не философское размышление, — может быть, это и есть авторская идея? Ведь сказано же не далее как пять лет назад: Киреев — «реалист, причем жесткий, видящий мир предметно» и не имеющий «вкуса к эмпириям». Сказано это Л. Аннинским в послесловии к романам «Победитель» и «Апология».

Признаюсь, когда я читал повествование о доморощенном супермене Станиславе Рябове («Победитель»), меня не покидало ощущение, что это образ явно нежизненный, сконструированный, нереальный. В жизни робкие и болезненные мальчишки, у которых одноклассники футболат шапку, не становятся боксерами-профессионалами, а боксеры-профессионалы не защищают кандидатскую по экономике в двадцать семь лет; напористые молодые прагматики не отказываются от кооперативной квартиры только потому, что в момент разговора о ней с ответственным работником не понравилось выражение лица собеседника, а «победители» не занимаются непрерывным душевным самокопанием. Упомянутая статья Р. Киреева в «Детской литературе», кажется, объяснила, в чем тут дело. В детстве, признается Киреев, он был среди сверстников одиноким мечтателем, страстно завидовавшим «уменьким мальчишкам» с передних парт и «заправилам» с задних и втайне примерявшим на себя их «сверкающую одежду». Мечта о супермене, обезоруживающем противников одной репликой, полуулыбкой, страшным хуком справа, — основа жизни таких подростков. Дет-

ские мечты... Не только сам великолепный Станислав с его набором сказочных взаимоисключающих качеств родом отсюда, но и суховато-ироничный, «хемингуэвский» (то же ведь из суперменского набора) стиль повествования о нем.

Но, конечно, Рябов получился таким страшненьким гомункулусом, справедливо испугавшим многих критиков, не потому только, что «образцовый» супермен. Почувствовав нехватку той самой великой мысли в своем художественном мире, Киреев «пошел в поиск», но двинулся он по ориентирам ложным, испокон веков отвергаемым русской литературой, попытавшись найти духовность в человеке, живущем лишь ради личного благополучия. Понимая, однако, что найти эту искомую духовность в данном случае не так-то легко, автор наделил своего героя своеобразным суперменским «кодексом чести» и тщательным нравственным самоанализом, при наличии которого в реальной жизни Рябов никогда бы не имел и половины дарованных ему в романе благ. Принцип Рябова таков: справедливость «торжествует всегда... только не надо тихо ждать ее в своем углу, уповая на господа бога, надо смело шагать ей навстречу». Но когда смело шагаешь навстречу справедливости для себя, обычно идти приходится по головам ближних своих.

Ложные ориентиры привели к ложному результату. Тот же Л. Аннинский сформулировал его так: Киреев и хотел бы воспеть оду трудолюбивому и сознательному муравью, отвергнув беспутную стрекозу, но «над ним висит вековая традиция русской классики, велевшей (? — К. С.) любить и прощать».

Как же поступил Киреев? Он назвал свою новую книгу «Стрекозья бухта».

Шутка, конечно, но если серьезно, то в творчестве писателя действительно произошел коренной поворот. Критики, для которых прежний Киреев был одним из любимейших «персонажей», вдрызг как-то враз замолчали, как бы не находя объяснения происшедшей метаморфозе.

В самом деле, герои Киреева вроде не изменились. На смену, скажем, суперменам Рябову и Мальгинову (роман «Аполония») пришли Игликов («Светлячок») и Мужекевич («Песчаная акация») — тоже своего рода супермены, прочно стоящие на земле; место действия осталось прежним — город Светополь, помнящий еще голоса первых киреевских персонажей. А между тем ощущение такое, что перед нами совершенно новый писатель.

Изменилась внутренняя установка, сверхзадача произведения, а это неизбежно при-

вело к появлению новой проблематики, акцентов, стиля. О внутренних причинах перемен судить не берусь, скажу лишь о том, что вижу: Киреев одним из первых среди «сорокалетних» прозаиков почувствовал необходимость возвращения литературы в нынешнее, не допускающее уже эстетических «игр» время к своим первейшим обязанностям: просветлять сердца читателей, учить их любить добро и различать зло в себе и в мире, выявлять узы взаимной ответственности между людьми разных судеб и поколений.

Наиболее наглядны эти изменения авторской установки, авторского почерка в повести «Светлячок». Чудаки, люди не от мира сего и прежде появлялись в произведениях Киреева, но находились либо на периферии быстротекущей «деловой» жизни, либо в зоне чисто экзотического (надо же, и такие дожили до наших дней!) интереса. Понадобилось прийти к совсем иному пониманию действительности, чтобы увидеть, что человек не от мира сего вовсе не обязательно и не всегда аутсайдер, а, напротив, «носит в себе иной раз сердцевину целого, а остальные люди... все, каким-нибудь напывным ветром, на время почему-то от него оторвались...» (Достоевский). Именно таков молодой чудаковатый библиотекарь Юрий Иванович — источник ясности и света для окружающих, светлячок. В судьбе его преломлен излюбленный старыми романтиками сюжет с потерей человеком своей тени. Но взят этот сюжет не для модных ныне ретрзабав, а для полемики с основным постулатом «бытовой» прозы — жесткой зависимостью человека от среды, от обстоятельства. Любые, самые трагические обстоятельства не властны над человеком, силой своего духа он может преобразовать их либо во зло, либо в добро — вот ключевая идея повести. Побывав на самом доньшке отчаяния, испытал каменную тяжесть предательства, «светлячок» приходит в итоге к спасительной идее служения: чтобы всем людям «было по-настоящему хорошо — тем, кто вместе, — кто-то обязательно должен один оставаться. Обязательно! Ну вроде сторожа... Или дежурного. Даже на праздниках, когда все веселятся, кто-то дежурит». А знакомый нам «супермен» Игликов, советующий Юрию Ивановичу сменить дежурство на диктаторство, на наших глазах превращается в дьявола. Пусть на секунду, пусть это всего лишь эффект освещения... Вот что произошло с сухим, трезвым реалистом Присланом Киреевым!

Вообще говоря, поворот произошел раньше, еще до «Светлячка». Произошел он от-

части уже в повести «Уля Максимова, любовь моя и надежда» (где сам выбор героини, излучавшей вокруг себя «радостный свет», делал невозможной холодную объективность стиля), окончательно же — в повести «Там жили поэты...» и рассказе «Триумф» (все эти произведения вошли в завершающую часть сборника «Ровно в семь у метро»). Думается, Киреев понял, что любой вымышленный мир становится художественным, лишь будучи одухотворен высокой идеей. Закономерно и то, что такой идеей в этих двух последних произведениях выступает яростное отрицание «чистого», самодостаточного искусства. Два типа художников выведены в повести «Там жили поэты...» (своеобразные Моцарт и Сальери) — веселый, богемный Тимофей Рыбчук, по-настоящему сосредоточенный лишь на своей работе и замечающий других людей лишь постольку, поскольку они входят в орбиту его существования, и трезвый аналитик Антонов, не сомневающийся в праве искусства поучать невежественную толпу. Рыбчук, пережив тяжелую болезнь и клиническую смерть, внезапно обретает душевную ясность. Нечто, познанное им во время болезни, позволяет ему разглядеть простое счастье любви к людям и родства с ними, и тут он бросает писать. Антонов же, напротив, создает свой первый и единственный шедевр — портрет Рыбчука, выставив напоказ «всю тщету его тайных надежд». Увидев этот портрет, Рыбчук вновь берется за кисть и через несколько дней умирает от сердечного приступа. Правда, такая трактовка взаимосвязей искусства и жизни носит несколько рациональный, чересчур «литературный» оттенок. В рассказе «Триумф» подобная тема решена уже вполне в духе русской классики. Преуспевающий композитор навсегда оставил искусство, заметив однажды, что каждый его новый успех оплачивается частичкой жизни его жены. Он отверг расхожую формулу «искусство требует жертв», потому что жертвы эти, когда они касаются не только самого творца, превращаются в жертвоприношения. Однако жена его, уже привыкшая к блеску славы, уходит — уходит к знаменитому актеру. Свет в ее глазах окончательно «померк, но... она не жалеет об этом». Отличный рассказ, и даже мистификаторская — в духе прежнего Киреева — концовка не портит его, а лишь придает большую глубину.

Изменение проблематики киреевской прозы неизбежно повлекло за собой и серьезные изменения в стиле и манере письма. Прежний Киреев (как и многие из его «сококалетних» коллег) и словечка не сказал

бы в простоте. Ирония и самоирония считались неотъемлемым свойством современного хорошего стиля, позволяя установить контакты с «посвященными» и как бы отсечь недостаточно развитых обывателей. Но ирония не универсальна: беседовать можно, а сказать сокровенное слово нельзя. Именно сверхконцентрация иронии не позволила, на мой взгляд, полностью реализовать авторский замысел в «Уле Максимова...». Поняв и почувствовав это, Киреев объявляет иронии войну — тем более тяжелую, что повествовательная самоирония уже, казалось, вьелась в плоть и кровь его стиля. Повесть «Песчаная акация» (чрезвычайно актуальная по своей идее ответственности каждого человека за судьбы всех людей) подспудно посвящена борьбе с иронией как опасной болезнью человеческого духа. Но столь радикальное хирургическое удаление иронии делает стиль тяжеловатым. Повесть эта вообще характерна полнейшим разрывом с прежними героями и художественными установками, что иногда даже оборачивается схемой: прежний плюс заменяется на минус (Капулов и Егор Величко из «Песчаной акации» — это, по сути, Станислав и Андрей Рябовы из «Победителя», только наоборот).

Станет ли подобная манера определяющей в дальнейшем творчестве Киреева? На сегодняшний день более перспективным мне кажется другой путь.

Читая прежние произведения Киреева, я думал: а что, если такую, названную многими критиками «фиксаторской», прозу («Джинсы. Полосатая морская блузка... Запах кофе и парфюмерии») использовать не для зеркального отражения внешнего мира на поверхности сознания героя, а для хронологии подлинной работы души? И вот Киреев такое произведение написал — повесть «Искушение», открывающая сборник «Стрекозья бухта».

Давно не приходилось читать в нашей прозе подобного скрупулезно-жесточкого (вот где пригодились прежние навыки!) описания мучительных метаний больной совести. Совесть, потерявшей нравственные ориентиры и потому в процессе самобичевания приходящей к еще большему помутнению и разложению.

Кирилл Шмаков, герой повести, постоянно обличает себя, но при этом не перестает собой любоваться и втайне себя оправдывать. Даже добрые его поступки — например, поездка к одинокому отчиму — рассчитаны лишь на то, чтобы умиротворить свою совесть, отделаться от беспокоящих

образов и воспоминаний. Но такое «очищение» совести вдвойне греховно: «благодетельствуя» отчима, герой начисто забывает о матери, живущей рядом, вспомнив о ней, начинает ненавидеть отчима. А завершив «искупительную» поездку в родные пенаты, тут же мысленно предаёт больную девушку, долгие годы безответно любившую его, с наслаждением мечтая о встрече с женой уехавшего в отпуск друга и опять срочно подыскивая себе оправдания. В прошлое ушла боязнь нравственных выводов, заставлявшая Киреева не дописывать свои произведения до конца. Повесть «Искушение» кончается ясной и точной моралью, обличающей любителей душевного комфорта, построенного на сделке с совестью: «Самые страшные люди — кристально честные Убийцы из них выходят».

Прежняя повествовательная легкость, маскировавшая недостаточность или излишнюю «романтичность» внутреннего содержания, в последнем сборнике почти исчезла, сменившись порой несколько вяловатым, а в лучших вещах — экспрессивным,

печально-взволнованным стилем, передающим движение мысли. Такое движение чувствуется и в напряженно-трагической повести «Втроем», и в «Стрекозьей бухте» — коротком рассказе об отце и дочери: ранним утром идут они по дороге, ребенок и взрослый, помогая друг другу, стараясь не выдать собственного горя, страха и одиночества, чтобы не причинить боль другому. Своим тоном и настроением рассказ этот напомнил мне один из шедевров советской новеллистики — «Во сне ты горько плакал» Ю. Казакова.

Но повременим с поздравлениями. Киреев выбрал новую, но отнюдь не самую простую дорогу. Одолеть ее нелегко, а потерять в пути можно многое: шумный успех, популярность. Что скрывать, «Победитель» и «Апология» читались легче и с большим интересом, чем последние вещи Киреева, и писали о них больше и чаще.

Но прошедший этим путем до конца и победивший получает писательскую судьбу.

Карен СТЕПАНЯН.



ПО ЛЕСТНИЦЕ ЛЕТ

Наум Кислик. Лестница лет. Избранные стихотворения и поэмы. Минск. «Мастацкая літаратура». 1985. 311 стр.

Наум Кислик. Зимний свет. Стихи. М. «Советский писатель». 1985. 79 стр.

Великая Отечественная война сформировала, по выражению Ярослава Смелякова, «целый батальон видных советских поэтов». В батальоне этом, может быть, не очень заметное, но самобытное место занимает Наум Кислик.

Поэт живет в Минске и широко известен как переводчик белорусской поэзии. Оригинальное же его творчество, отмеченное, кстати, признанным отношением еще Александра Твардовского, известно менее.

Вышедшее в Минске избранное поэта называется емко и образно — «Лестница лет». В этой метафоре жизнь представлена как поступательное движение, как внутренне непрерывный ряд. Книга разбита на главы, напоминающие, если продолжить основную метафору, ступени, — от «Сороковых — пятидесятых» до «Восьмидесятых».

Первая рота...

Армия, армия..

Первая молодость.

ранняя, ранняя.

Поэзия Н. Кислика, открытая новым впечатлениям и сиюминутным эмоциям,

всегда питается тем, что бережно хранит память, — переживаниями, закаленными, как сказал бы он сам, в каишьне чувств.

Я напрочь был бы ниц
без этих накоплений —
несметных пепелищ,
несчетных отступлений.

В стихах последнего времени Н. Кислик часто высказывает мысль о ценности нелегкого опыта, дающего право на философские обобщения и оценки. А начало пути таково: семнадцатилетним он попал на фронт, получил тяжелейшее ранение, выстоял в испытаниях. И все это

не соль, что на спине,
а опыт посуровой,
осевший в глубине,
чтоб стать составом крови.

Суровый жизненный опыт определил и плотную, «заземленную», чуть шероховатую фактуру стиха (из поэтов военной плеяды Кислику, наверное, особенно близка манера Б. Слуцкого). Он сам однажды объяснил, что всему на свете предпочитает, «чтобы шли и шли березы, некич-

ливы и легки, как вдоль самой кромки прозы некрикливые стихи»...

Тут и пейзаж, и косвенная самохарактеристика. Свой творческий путь Н. Кислик всегда торил именно вдоль кромки прозы, вдоль повседневности. Болевые точки его поэзии расположены обычно внутри крупно показанной и не случайно отобранной подробности, той, что, по замечанию К. Паустовского, «имеет право жить и необходимо нужна только в том случае, если она характерна, если она может сразу, как лучом света, вырвать из темноты любого человека или любое явление». Поэзия Н. Кислика этому требованию отвечает: он, обнаруживая зоркость художника, привлекает в стихи «бесчисленность улик, что мир вокруг — велик». «Проза», однако, не теснит в стихах Н. Кислика образной смелости. Многие картины его отмечены импрессионистичностью восприятия:

Полуночный светился вокзальчик,
старый тополь шуршал в стороне,
мельтешили на смутной стене
тени листьев, как пальцы вязальщиц.

Нельзя не обратить внимания на музыкальность стиха с его своеобразной рифмой и легкими внутренними созвучиями. Вообще пейзажи в поэзии Н. Кислика далеки от фотографий — это, скорее развернутые метафоры. Внезапный весенний снегопад видится поэту в полуфантастических, но достоверных, узнаваемых картинах:

Уже он был не белый вовсе,
и хлопья смутною толпой
толкались в небе, словно овцы,
спешащие на водопой.

Дрожали черные стапила,
бежали серые стада,
а следом талая вода
их мокрой плетью торопила.

Художественное преображение доносит до нас и колорит, и динамику, и настроение момента. Лирическая фантазия не перечит правдивости рисунка.

Даже грандиозные гиперболы в стихах Н. Кислика выстраданы, проверены реальным личным опытом. Например, в стихотворении «Ноша» рассказывается о том, как солдат взвалил на себя вместе с вещмешком огромный груз ответственности за судьбу мира.

Потом почуял мокрую спиной,
когда пехотой топал в путь обратный,
что это, ставший выкладкой ратной,
мне на заплечье давит шар земной.

И это — не какой-нибудь Атлант,
державший свод небесный

в наказанье, —
стрелкового училища в Казани
так и недоучившийся курсант.

Мифология здесь свободно сближается с автобиографией, а высокий витийственный слог — с суховатым и чуть ироничным. Таков этот поэт.

Ему близок «лад баллад» и жанр небольшой поэмы — сокровенные мысли и переживания поэта прорываются не только впрямую, но и сквозь неторопливую эпическую. Так, тоска по неомраченным мальчишеским идеалам и мирному человеческому братству не столько декларируется, сколько сквозит в поэтических воспоминаниях о начале 30-х годов. Воздушные парады в Тушине... мечты подростков о сражающейся Испании... футбольные кумиры... отцовские «чрезвычайки»... И, наконец, очереди за хлебом — как символ людской слитности:

Вот и продвигаемся гуськом —
школьники, работники, ремесленники —
все мои соседи и ровесники,
очередь, живая целиком.

Любимая натура Кислика-рисовальщика — города («Города мне роднее, чем рощи»). Города заштатные, провинциальные, малозатяжные, с пыльным вокзалом, с базарчиком, с паромом, с той «буднично тайной», которая накладывает свой отпечаток на лица и судьбы горожан.

Лирический герой поэта весь «на миру», он не мыслит себя без людей, вне их шумного, несладкого, теплого сообщества. В мощном потоке жизни Н. Кислику важнее всего разглядеть неповторимое лицо, характерный жест. Он смело вводит в поэтический словарь разговорную, уличную, сочную, иной раз комически-грубоватую речь провинциальных окраин. Герои его книг — чудаки, учителя, самозабвенно слагающий стихи, однополчанин Иван Русаков, голубиный барышник и, наконец, колоритнейшие дед и бабка из поэмы, где российская история переплетена с семейной хроникой. Сказовый верлибр, которым написана эта поэма, продиктован интонационно сложной сверхзадачей автора: он сближает лирику с неспешным ритмом мемуарного повествования.

Говоря о поэмах Н. Кислика, Константин Ваншенкин недаром подчеркнул их свободу и раскованность. Именно так написана и острая, энергичная, до предела искренняя поэма, которую Н. Кислик назвал с обманчивой невозмутимостью «Из-

• • • • •

влечения из хроники филологического факультета за 1945—1950 гг.». В этой поэме, сотканной тоже, казалось бы, из нитей повествовательных, личность автора выявилась с максимальной полнотой. Сатира соседствует здесь с любовной лирикой, романтический пафос — с горькой самоиронией. В центре рассказа невеликий университетский городок в послевоенных руинах, куда пришли молодые люди «из разведок, из беженства, из бешенства атак». Вернувшись с фронта, где расстановка сил была жестокой, но отчетливой, герой попадает в ситуацию, которая также взывает к мужеству, часто ничуть не меньшему. Надо решиться на самостоятельный гражданский выбор... Не сразу разбирается герой в мутных вена научных страстях, «соединявших мелочность копаний с огулом беспардонных ярлыков», сам совершает невольное предательство и теряет любимую, оказавшуюся по-девичьи более милосердной и прозорливой, нежели он — не готовый к гражданским битвам герой войны.

Когда ты сам судим своим судом,
нет оправданий у тебя в запасе.
И мой герой лишь тем одним и спасся,
что был, как солнцем, озарен стыдом.

Сопrotивление материала, одолеть которое по плечу прозе или публицистике, поэтов лирического склада чаще всего отталкивает, и нравственная коллизия, не раз возникавшая в послевоенной прозе (скажем, у Юрия Трифонова), в поэзии, пожалуй, всерьез не поднималась. Н. Кислик в поэме о филфаке конца 40-х годов одерживает победу над «непоэтическим» материалом с его голой событийностью и как бы очерковым сюжетом за счет того, вероятно, что проявляет свои взгляды не в виде готовых сентенций, а в эмоционально пластичном отношении к вещам.

Итак. «стыд» в поэме уподоблен озаряющему солнцу. Действительно, поэзия Н. Кислика граждански совестлива, она живет в беспощадном самопознании. И когда поэт, верный своей сдержанной речи, спрашивает:

Что мы еще запоём
по одному вдвоём,
всем поредевшим хором,
захолодевшим горлом? —

веришь в его новые песни. Этот голос не теряется, а естественно и выразительно звучит в современном поэтическом хоре.

Татьяна БЕК.



БИОГРАФИЯ ЖАНРА

Николай Анастасьев. Обновление традиции. Реализм XX века в противоборстве с модернизмом. М. «Советский писатель». 1984. 350 стр.

Итоги нынешнего литературного столетия стали у нас предметом жарких дебатов еще в ту пору, когда и говорить о них было как будто преждевременно, — в первой половине 60-х годов. Может быть, порубежная «середина века», заставившая бросить взгляд назад, породила ощущение, что все основные события в литературной истории XX века уже свершились и появилась возможность подвести ее предварительные итоги. Именно такой задаче были подчинены многие историко-типологические исследования о литературе современного Запада, вышедшие за последнее двадцатилетие, из которых, пожалуй, наиболее запомнились «Зарубежный роман сегодня» Т. Мотылевой, «Черты романа XX века» и «Идеи времени и формы времени» В. Днепрова, «Исторические судьбы реализма» и «Лики времени» Б. Сучкова, «Искусство романа и XX век» и «В наше время» Д. Затонского, «Литература и движение времени» Д. и М. Урновых, «Овладения реальностью» П. Топера.

Монография Н. Анастасьева в этом ряду. Хотя разговор в ней идет по преимуществу о путях развития англо-американской прозы, по сути дело касается явлений, характерных и для других национальных литератур.

В своем подходе к обширному материалу автор книги, разумеется, избирателен. Сразу бросается в глаза: есть Генри Джеймс, но нет Теодора Драйзера, есть Джозеф Конрад, но нет Джона Голсуорси, есть Уильям Фолкнер, но нет Джона Стейнбека. Кроме них, в круг главных героев книги входят Шервуд Андерсон, Эрнест Хемингуэй, Томас Вулф, Ф. Скотт Фицджеральд. Выбор ясен: в центре внимания исследователя тот тип современного реалистического романа на Западе, который получил в нашей критике обозначение «центростремительный», «лирический», «субъективно-эпический». Здесь у Н. Анастасьева есть прямая предшественник — Д. Затонский, впервые описавший (правда, в самых общих чертах) поэтику «центро-

стремительного» романа. Н. Анастасьев идет дальше, восстанавливая исторические корни, прослеживая судьбу «субъективной эпопеи» как конкретно-исторической жанровой формы, рожденной XX веком.

Книга вышла в тот момент, когда уже подходила к концу продолжавшаяся без малого три года дискуссия о закономерностях литературы XX века, которая развернулась в журнале «Литературное обозрение». Можно сказать, что книга очерков истории «субъективно-эпической» прозы стала своего рода автокомментарием Н. Анастасьева к его выступлению в этой дискуссии, вызвавшему — стоит вспомнить — у некоторых участников возражения. Оппонентам, в частности, показалось, что Н. Анастасьев видит в «субъективно-эпическом» романе едва ли не абсолютно доминирующий в XX столетии жанр. Между тем вопреки несколько неосторожной гиперболе критика «субъективной эпопеи» отнюдь не занимает в литературе нашего времени «ведущего положения». Но если отвлечься от чисто количественных показателей, надо признать, что «субъективная эпопея» и впрямь дает богатую пищу для размышлений о сути новаторских эстетических поисков писателей XX века. Потому и стремление Н. Анастасьева выявить художественное своеобразие литературы столетия именно на примере развития «субъективной эпопеи» и — шире — «центростремительного» романа (что не одно и то же) в принципе представляется интересным. Вообще, прослеживая историю движения жанров, мы начинаем лучше понимать ход и смысл художественной эволюции...

Широкое распространение в наше время «субъективно-эпического» романа связано, как явствует из рассуждений Н. Анастасьева, с упрощением в романной эстетике «центростремительного» способа изображения мира — сквозь призму индивидуально-го сознания персонажа. Подобный прием не нов: и в романах XIX или XVIII века автор мог как бы доверить персонажу восприятие и оценку изображенных событий (таких сцен, например, немало у Диккенса). Но подобные случаи носили все-таки эпизодический характер. В конце же XIX века к изображению окружающего мира с точки зрения персонажа стали прибегать все чаще. У Чехова или Генри Джеймса, например, этот прием лег в основу их «центростремительной» прозы. А в XX веке возникшие ранее элементы «центростремительной» изобразительности сложились в особый тип повествования, внутри кото-

рого возникла такая жанровая форма, как «субъективная эпопея».

Творческий потенциал «панорамного» романа вовсе не иссяк, напротив — старый жанр в XX столетии возрождается во все новых и новых обличьях, будь то социальная эпика Дос Пассоса или семейная хроника Голсуорси. Но именно в «субъективной эпопее» (вообще в «центростремительной» прозе) особенно хорошо видно, как возросла в нашем веке эстетически-познавательная ценность персонажа. Если, к примеру, для Бальзака его персонаж, будь то старый Гобсек, или папаша Горю, или Растиньяк, прежде всего социальный тип, то для мастеров «центростремительной» прозы человек по преимуществу интересен как уникальная индивидуальность.

Обращаясь к творчеству Г. Джеймса, Т. Вулфа, У. Фолкнера, Н. Анастасьев показывает, как в их «субъективно-эпической» прозе на персонажа «ложится особая нагрузка, его самовыражение становится, по существу, единственным источником знания о действительности», отчего внутренняя, душевная жизнь героя превращается в «конструкцию, несущую всю романную постройку». Зачем это понадобилось американским романистам и многим другим писателям XX века, обратившимся к «центростремительному» или «субъективно-эпическому» типу изображения действительности? Дело тут, надо думать, не ограничивается только эстетическими соображениями, но имеет более глубокие — мировоззренческие и философские — основания. С Джеймса в англо-американской прозе начинается, а в прозе Фолкнера и Вулфа, Хемингуэя и Фицджеральда упрощается процесс переосмысления, так сказать, гносеологической компетентности автора. Джеймс в заочном споре с Бальзаком отказывает себе как автору в праве быть единственным и непререкаемым, авторитетным судьей созданного им мира. Этим правом он наделяет своих персонажей в убеждении, что их видение и понимание действительности объяснит читателю эту действительность лучше и убедительнее, чем это сделает он, автор. Вот почему когда в «субъективно-эпической» прозе, как пишет Н. Анастасьев, «на место панорамы, прямого отражения событий внешнего мира приходит изображение работы человеческого сознания, в котором эти события... и преломляются», мы имеем дело с сознательным усложнением художественных задач, возлагаемых писателем на своих героев. Причем сложность этих задач впрямую соотносится с общим идейно-

содержательным замыслом художника, с масштабностью поднимаемых им проблем. Соответственно меняется и, так сказать, жанровый ракурс. В этом, в частности, заключается несхожесть «субъективной эпопеи» и иных, не тяготеющих к эпической широте типов «центростремительного» романа.

Вряд ли прав Н. Анастасьев, отождествляя предложенное им понятие «субъективная эпопея» и введенное Д. Затонским понятие «центростремительный» роман. «Центростремительный» роман — явление более широкое и многообразное и менее устойчивое в жанровом отношении: романная проза этого типа необязательно (а можно сказать, не так уж часто) обращается к значительным, эпопейным сюжетам современной социальной истории. «Глазами клоуна» Г. Белля, «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» П. Хандке или «Море, море» А. Мэрдок вовсе не эпичны. Мир души героев этих книг хотя и стал, говоря словами Н. Анастасьева, «непосредственной ареной столкновения социальных противоречий действительности», однако сами рамки конфликта да и жизненные коллизии, воплотившиеся в этих книгах, далеки от эпического размаха. Другое дело, когда герой как бы пропускает сквозь себя эпическое содержание жизни и в его биографии преломляются большие социальные и интеллектуальные движения времени. Н. Анастасьев показывает, как это происходит в «Шуме и ярости» Фолкнера, в «Прощай, оружие!» и «По ком звонит колокол» Хемингуэя, в «Песне палача» Н. Мейлера. Точно так же происходит, добавим мы, и в «Докторе Фаустусе» Томаса Манна, в «Весне Священной» Алехо Карпентьера, в «Старике» Трифонова, где частная биография центральных персонажей воистину стала вместилищем истории, зеркалом, в котором отразилась биография века.

Превращение романного героя в субъект повествования (а в классическом панорамном романе им выступает всегда автор-повествователь) стало одной из основных причин того, что в «субъективно-эпической» прозе выработался целый комплекс изобразительных средств, существенно отличающихся от тех, какими пользовался классический реалистический роман. В «центростремительной» прозе исключительное внимание уделяется, как пишет Н. Анастасьев, «работе человеческого сознания», оттого само движение сюжета нередко уподобляется «поток сознания» с его мгновенными пространственными пере-

мещениями, эффектом «обратимости» времени, сцеплением разнородных типов «работы» сознания (сны, воспоминания, размышления, непосредственное восприятие и т. д.). Заметим попутно: такой же отход от классических принципов художественной изобразительности наблюдается и в других областях искусства XX века, например в живописи, где на рубеже XIX—XX веков возник целый ряд художественных систем, бросивших вызов «пространству Эвклида» (по выражению К. Петрова-Водкина) и незлыбемому со времен Ренессанса принципу центральной линейной перспективы. Тут напрашивается несколько, может быть, вольная аналогия с путями развития современной науки. Эйнштейновская революция в физике опровергла классические принципы познания материального мира, постулированные Ньютоном. Но, опровергнув ньютоновскую физику, неклассическая физика не отвергла ее. Обе системы — классическая и неклассическая — ныне существуют, взаимодополняя друг друга, поскольку предметы исследования у них различны. В ходе «эйнштейновской революции» в литературе XX века возникли новые, неклассические принципы художественного видения. Они не хуже и не лучше старых, классических, они просто позволяют по-другому видеть действительность. В «субъективно-эпической» прозе мир, изображенный сразу в нескольких ракурсах, сквозь призму индивидуального восприятия многих персонажей (так, например, происходит в романах Фолкнера), предстает куда более сложным, куда более проблематичным и неустойчиво-противоречивым, чем в основе своей вполне стабильный мир романов Филдинга или Теккерея.

Именно в этом смысле можно говорить об «обновлении традиции» реалистического искусства, о «более полном познании правды жизни», которое видит Н. Анастасьев в лучших образцах «субъективно-эпического» романа. Но только ли углублением и обновлением реалистической традиции отмечено развитие «субъективно-эпической» прозы XX века? Нет, конечно. Во-первых, «центростремительная» поэтика широко используется в литературе модернизма: «Улисс» Дж. Джойса, «Петербург» Андрея Белого. «Волны» В. Вульф — назовем только наиболее крупные вещи модернистского «субъективного эпоса». Об этом в книге сказано, к сожалению, вскользь. Впрочем, автора интересовала лишь реалистическая магистраль. Во-вторых, «субъективно-эпическая» проза в каких-то **отноды**

не второстепенных моментах проигрывает классическому реализму в плане эстетическом. Об этом Н. Анастасьев пишет прямо и подробно (например, в тех разделах монографии, где речь идет о позднем Джеймсе или о творчестве Томаса Вулфа). Его вообще не упрекнешь в каком-то завышении художественных достоинств «субъективно-эпической» прозы. Напротив, порой кажется, что отношение Н. Анастасьева к разбираемым им писателям становится даже чересчур строгим (слишком суровы, например, упреки критика в адрес романа «Софи делает выбор» У. Стайрона). Но вот что характерно: исследователь менее всего склонен идти по простейшему пути в объяснении причин творческих «утрат» (кавычки здесь необходимы!) «субъективно-эпического» романа в сравнении с романом классическим. Он настойчиво стремится понять и объяснить закономерность и даже неизбежность таких «утрат» исходя из внутренней логики развития этого типа прозы и из характера тех творческих задач, которые брали на себя (и которыми, можно сказать, ограничивали себя) тот же Г. Джеймс, или Т. Вулф, или У. Фолкнер, или другие писатели этого ряда. Позиция Н. Анастасьева внутренне полемична по отношению к довольно еще распространенной точке зрения на «субъективно-эпическую» прозу как на некую литературную ересь эпохи... В частности, критик вступает в заочный спор с Д. Урновым, одним из самых темпераментных и последовательных ниспровергателей неклассических принципов изобразительности в современной литературе.

Суть позиции Д. Урнова, также выступившего в «Дискуссионном клубе» «Литературного обозрения», заключается в следующем. Критик полагает абсолютной нормой (или «мерой») творчества способность наиболее выдающихся мастеров новоевропейского реализма создавать «совершенно живое лицо, фигуру, как бы вылепить человека из слов». Такие словесно изваянные «подвижные, объемные фигурки» выводятся в ситуациях, запечатленных «со всей неотступной наглядностью». Эта наглядность и объявляется «назначением литературы». Наверное, стоило бы внести очень важное уточнение: литературы классического реализма Нового времени... В упоминаемой Н. Анастасьевым (в качестве объекта полемики) книге Д. и М. Урновых «Литература и движение времени» Фолкнер, подвергшись испытанию «мерой классических достижений», терпит сокрушительное фиаско... Суть своей критиче-

ской методологии авторы сформулировали достаточно четко и однозначно: «...важно критически выяснить, что не удалось такому выдающемуся писателю». Сам собою напрашивающийся и, видимо, куда более правомерный вопрос, что удалось Фолкнеру, по сути дела, и не возникает. Причину же всех творческих «поражений» писателя (напомним себе, сознательно отказавшегося от классической поэтики «объемных фигурок» и «неотступной наглядности» ситуаций) авторы формулируют так: «...все это из-за нехватки сил». Что ж, если следовать таким путем, то можно, к примеру, сказать, что Растрелли, изваявшему известный бюст Петра I, именно «из-за нехватки сил» не удалось вылепить руки и ноги, а также и коня императора, что с такой «неотступной наглядностью» сумел-таки сделать, видимо, более даровитый Фальконе...

В. Шкловский, разбирая знаменитую статью Толстого о Шекспире, дал простое объяснение, казалось бы, необъяснимому капризу русского писателя, перечеркнувшего творчество одного из величайших гениев Возрождения: произошло «столкновение двух поэтик». Полемизируя с авторами монографии «Литература и движение времени», Н. Анастасьев не то чтобы заступает за «обиженных» писателей (у него, кстати, речь идет о тех же самых художниках, что и у Д. и М. Урновых), а избирает иной путь: избегая непродуктивного «столкновения двух поэтик», показывает, что сумели создать в литературе Джеймс, Конрад, Фолкнер, Хемингуэй и другие мастера «субъективно-эпической» прозы и чем их творческий опыт оказался полезным и необходимым литературе нашего времени.

Перемещая разговор в эту плоскость, Н. Анастасьев стремится выявить типологически (или генетически) общие моменты в формировании и развитии новых жанровых форм мирового романа, вплотную подойти к вопросу о взаимодействии и взаимопроникновении классической и неклассической романной поэтики. Исследование Н. Анастасьева вновь подтверждает уже высказанную нашими историками зарубежной литературы (в частности, В. Днепровым и Т. Мотылевой) мысль о том, что антиномия реализм — модернизм не охватывает подлинной сложности художественных явлений и процессов. Проводя принципиальное различие между реалистическим и модернистскими методами художественного отражения жизни, необходимо учитывать тот факт, что неклассическая поэтика (она иногда получает у нас поспешное

обозначение модернистской) — отнюдь не монополюное достояние модернизма. Литературная хроника века вообще знает примеры того, как некоторые наиболее крупные произведения модернизма по-своему участвовали в литературном процессе XX столетия, в том числе оказывали плодотворное влияние на творческие поиски художников-реалистов. Объясняется это прежде всего тем, что в наше время, при резко возросшем взаимообмене культурной информацией, интенсифицируется свободное обращение литературной технологии. Так, творческие открытия Дж. Джойса в «Улиссе» способствовали перестройке системы принципов психологического анализа (на это, кстати, указывали и такие новаторы в области художественной изобразительности, как Брехт и Эйзенштейн). В частности, хорошо известно о воздействии «Улисса» на поэтику Фолкнера, Хемингуэя, раннего Апдайка. Можно вспомнить, что в одном из интервью А. Адамович указал на «Шум и ярость» Фолкнера как на важный источник приема «потока сознания», легшего в основу художественной структуры романа «Каратели». Заметим: Фолкнер разрабатывал технику «потока сознания» вслед за Джойсом, так что без особой натяжки «Каратели» можно в каком-то смысле считать литературным потомком «Улисса».

В предисловии к книге «Искусство романа и XX век» Д. Затонский писал: «„Центростремительный“ роман — явление по преимуществу западное: европейское, американское...» По преимуществу, но не исключительно. В последнее время этот тип романа дает о себе знать в литературах социа-

листической Европы. Заметны черты «субъективизации» и в прозе народов СССР, причем поиски в области «центростремительного» повествования весьма многообразны (достаточно вспомнить прозу В. Быкова, или Р. Киреева, или М. Унта). Многие связанные с этим проблемы еще ждут своих исследователей. Вплотную к ним подошли П. Топер в книге «Овладение реальностью» и Н. Анастасьев в статье «Диалог», опубликованной в журнале «Вопросы литературы» (1983), где предпринята интересная попытка поднять анализ современного литературного процесса на уровень типологического исследования поэтики романа XX века. Кое-что в этом направлении сделано и в «Обновлении традиции». В начале книги происходит неожиданная вроде бы, но знаменательная встреча двух писателей, обратившихся в своем творчестве к «субъективной эпопее», — Джойса, автора «Улисса», и Горького, автора «Жизни Клима Самгина». В общем контексте монографии эта встреча так и осталась случайной, но примечателен сам факт сближения двух столь разных художников. И в самом деле, сейчас, когда век почти уже на исходе, остро ощущается необходимость создания такой литературной панорамы эпохи, где мы могли бы проследить близкие линии поисков Пруста и Горького, Шолохова и Томаса Манна, Фолкнера и Айтматова, Федина и Арагона, Хемингуэя и Симонова — замечательных мастеров, сообща творивших литературную историю столетия.

О. АЛЯКРИНСКИЙ.



ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ВРЕМЕНИ

Юрий Брезан. Портрет отца. Роман. Перевод с немецкого. М. «Радуга». 1985. 204 стр.

Лужицкие сербы, живущие на территории ГДР, отметили недавно сорокалетие своего возрождения. Культура этой славянской народности, в течение девяти веков подвергавшейся жестокой германизации, возникла заново лишь после разгрома фашизма. У истоков лужицкой социалистической литературы стоит Юрий Брезан. Имя это хорошо известно советским читателям, на русский язык переведены его «Повесть про девушку Триксее друзей и вола Исаю», «История одной любви», «Крабат, или Преображение мира» и ряд других произведений. И вот новый роман крупнейшего писателя ГДР — «Портрет отца».

Для творческого почерка Ю. Брезана свойственно смелое нарушение устоявшихся литературных канонов интенсивный, углубленный поиск своего пути. Л. Толстой когда-то сказал, что, по его наблюдениям, нет примера, чтобы художественные произведения подлинно новаторского рода, сколько-нибудь выходящие из посредственности, укладывались бы в традиционные формы романа, поэмы или повести, начиная с «Мертвых душ» Гоголя и кончая «Записками из мертвого дома» Достоевского.

«Портрет отца» написан подчеркнуто просто и традиционно, однако к нему неприменима мерка «чистых» жанровых признаков. В центре романа образ старика То-

биаса Хавка, в прошлом крестьянина и каменотеса, доживающего последние дни своей долгой и трудной жизни. Здесь, в Лаузицком горном крае, рабочие каменных карьеров, гранитчики, как их называли, издавна считались людьми особого склада. Сдержанные и немногословные, находчивые и любящие добрую шутку и острое словцо, с детства воспитанные с особым чувством локтя, они определяли лучшее в характере своего мужественного и стойкого народа Таков и Тобиас Хавк в романе. Великодушные и своеобразный юмор, внутренняя цельность и свобода, несуетность, неспешность, противопоставленные ритму современной жизни, искренность и правдивость заставляют читателя задуматься над самим содержанием понятия человеческого достоинства.

«Портрет отца», как и многое из того, что создано Брезаном, носит автобиографический характер — об этом говорит и заглавие и прямое указание самого писателя. «Прежде всего книга должна быть такой же простой и ясной, как и сам герой. Я решил, что в ней будет десять глав, шаг за шагом я опишу последние дни жизни своего отца. Но в течение этих десяти дней старый человек вспоминает, по сути, весь пройденный им долгий путь. Перед читателем разворачивается вся его жизнь: работа в каменоломне, крестьянский труд, история родителей, даже далеких предков, детей, встают его друзья, возникают эпизоды первой- и второй мировых войн».

Все то, что мы узнаем о Тобиасе Хавке, это как бы исповедь самого героя и вместе с тем рассказ автора о нем. Несмотря на субъективную, исповедальную окраску тона повествования, Брезану удается сохранить объективность художественного изображения, которое разворачивается на глазах у читателя как бы помимо воли героя, без авторского вмешательства и пояснений. Здесь важна каждая деталь, значителен каждый переход от одной мысли к другой. Идея произведения как бы поворачивается перед читателями все новыми гранями. Брезан использует кинематографический прием, перешедший в литературу, — сюжетные наплывы, переключающие действие в иную обстановку или в иную эпоху. Они появляются мгновенно и так же неожиданно исчезают, чтобы снова дать место продолжающему свое развитие сюжету. Создается пульсирующий ритм повествования, отражающий работу мысли старика. В фокусе, однако, остается главная «интрига», острая, напряженно-драматическая, — близящаяся кончина Тобиаса.

Экстремальность ситуации, в которой находится умирающий старик те десять дней, которые он определил себе для завершения земных дел, создает пронзительно-щемящий накал трагической ситуации ухода.

Но нет здесь места вселенской скорби и надрыву, фольклорный колорит снимает с темы смерти ее мистический ореол, ведь в народных песнях лужичан, которые так любит Тобиас, смерть неразрывна с продолжением жизни, с рождением. Старик думает о том, чтобы дети не теряли уверенности и даже юмора в самых трудных испытаниях (на стопку приготовленной для последнего часа одежды кладет он носовой платок, надеясь, что такая «предусмотрительность» вызовет хотя бы проблеск улыбки на дорогих лицах).

В 60-е годы, когда литература ГДР сосредоточилась на проблеме усложнившихся взаимоотношений человека с окружающей действительностью, в критике иногда раздавались тревожные голоса: не слишком ли часто писатели социалистического реализма обращаются к теме смерти и не свидетельство ли это их пессимистического мировосприятия? Однако любая попытка создать своеобразный мариолог литературных героев выявляет и несостоятельность подобных опасений и антихудожественность натужного бодрячества.

По мере того как мы углубляемся в чтение книги, перед нами возникает коллективный портрет определенной эпохи и социальной среды, групповой портрет современников, друзей и родственников Тобиаса Хавка. Здесь и батрак Хандрий, с которым его объединяет не одна только каменная пыль в легких, и солдатский депутат Вильгельм Ховко, и фабричный мастер Макс Хентшель, и многие другие, с кем связан старик тысячами незримых, но прочных нитей. Роман этот, несмотря на элегический тон прощания, в каждой своей идее лишен камерности, замкнутости — он исключительно богат, многоаспектен по своему содержанию.

Очерченный Брезаном круг проблем включает в себя и то, что одинаково волнует, но по-разному осмысливается художниками современности. Скажем, вопросы старения и смерти — основные в повести Макса Фриша «Человек появляется в эпоху голоцена». Господина Гайзера и Тобиаса Хавка сближает мудрость прожитых на земле лет и стремление вернуться к простым реалиям человеческого бытия. Но сколь велика между ними разница! Весь мир, вся вселенная, как гигантское сплете-

ние непредсказуемых ассоциаций, преломляется сквозь призму индивидуального сознания господина Гайзера, пропитанного апокалиптическими видениями и предчувствиями. В единстве личностного и общественного источник внутренней гармонии Тобиаса Хавка. Уходя из жизни, Тобиас прежде всего думает о будущем своих внуков. Он не философствует, не занимается умственной эквилибристикой; инстинктивно чувствуя опасность в том, что осуществляется по каким-то своим темным, непостижимым законам, сознавая грозящую опасность миру, он надеется на внуков, которые «сумеют запахнуть все железные кресты, прежде чем дело дойдет до третьей войны»; вера в то, что спаленная земля «снова станет зеленой, с травой, деревьями и кустами», согревает его сердце «Он подумал о немцах они будут уничтожены сразу, в самом начале. Но если сейчас они отошлют все ракеты обратно за океан и другие страны последуют их примеру, у проклятой большой войны будут подрезаны крылья и оторваны ноги. И

тогда наши внуки смогут рассказывать своим детям: немцы начали две войны и обе проиграли, но перед третьей, которая была бы для человечества последней, им удалось сохранить мир».

Герою Фриша, одинокому, отчужденному от мира пассивной созерцательностью, противопоставлены опыт и интуиция деятельного, несмотря на физическую немощь, человека. Мысль об ответственности перед людьми за каждый момент преобразования мира, в чем бы оно ни проявлялось, — одна из главных в романе.

Литература лужичан органично развивается в рамках своей большой социалистической родины — ГДР. Она вбирает в себя совокупность духовных и эмоциональных ценностей социалистического общества, но одновременно и вносит свой вклад в формирование современника. Ведь, как образно заметил лауреат Национальной премии ГДР, народный лужицкий писатель Ю. Брезан. «море было бы другим, не вбери оно в себя и Саккуль».

В. ФОРТУНАТОВА.

Горький.



Политика и наука

ТЯЖЕЛАЯ ПАМЯТЬ

Светлана Алексиевич. У войны — не женское лицо... Минск. «Мастацкая літаратура». 1985. 317 стр.

Светлана Алексиевич. Последние свидетели. Книга недетских рассказов. М. «Молодая гвардия». 1985. 175 стр.

Сорок пять лет назад — 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно напала на Советский Союз.

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И столько наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.

...Среди тех, кто в ту пору осаждал военкоматы с просьбой направить их на фронт, наряду с мужчинами были и юные девушки, которые вслед за отцами и старшими братьями тоже жаждали исполнить свой патриотический долг. Этот порыв был повсеместным и массовым. На фронтах Великой Отечественной в разных родах войск, по статистическим данным было свыше 800 тысяч женщин. Почти миллион!

Книга белорусской писательницы С. Алексиевич «У войны — не женское ли-

цо...» как раз о женщинах, сражавшихся на войне рядом с мужчинами. Вернее, книга, составленная из рассказов самих женщин.

О работе С. Алексиевич впервые заговорили, когда эта вещь появилась на страницах журнала «Октябрь». За короткий срок, отделяющий журнальную публикацию от отдельного издания, она успела прочно войти в наше читательское сознание как одно из самых проникновенных и пронзительных свидетельств о минувшей войне.

В чем сила этой книги? Наверное, и в том, что трагически-обжигающ уже сам жизненный материал: война, женщина на войне. Как полярны и несопоставимы эти понятия! Женщина — символ жизни, символ продолжения рода человеческого на земле, вынужденная заниматься вовсе не свойственным и противопоказанным ей делом: убивать!

Но каква была страшная и неотврати-

мая реальность этой войны, навязанной нам германским фашизмом. Советской женщине пришлось взять в руки винтовку, вместо того чтобы растить и воспитывать детей, заниматься мирным трудом. Не потому ли в свое время так потрясла многих маленькая повесть Б. Васильева «А зори здесь тихие...», в которой писатель представил весь трагизм именно такой фронтовой ситуации на самых дальних подступах к Ленинграду, когда крохотный отряд небострелянных зеленых девочек погибает, чтобы не позволить врагу прорвать одно из звеньев в нашей обороне. Возможно ли забыть, как в этой неравной схватке гибнут одна за другой молодые девчата в солдатских шинелях, гибнут на самом пороге своей только начинающейся жизни.

Но то была повесть. Художественная литература. Рассказ об этом трагическом эпизоде вел писатель. У Светланы Алексиевич о своих драматических фронтовых судьбах рассказывают сами участницы войны.

Книгу «У войны — не женское лицо...» невозможно прочесть залпом. Часто хочется отложить ее, как бы набрать больше воздуха в грудь, прежде чем продолжить чтение. И вместе с тем книга, что называется, держит. И держит крепко, при всем том, что она бессюжетна. Ведь даже те истории, которые рассказывают сами женщины, как правило, не имеют завершенности, лишены начала и конца. Это скорее запись отдельного эпизода, события, душевного состояния, бережного памяту той или иной рассказчицы.

В книге как бы отсутствует прочная композиционная основа. Кажется, что повествование ведется хаотично, беспорядочно. Рассказ одной из участниц войны вдруг прерывается, в беседу вступает другая, третья, потом неожиданно к читателю прорывается голос самого автора... За всем этим не сразу распознаешь, каким же, собственно, принципом руководствовалась С. Алексиевич при отборе и организации материала. Куда, казалось, понятнее было бы выстроить книгу, скажем, в хронологическом порядке: первый день войны, боевое крещение, по военным дорогам и так далее.

Только постепенно, вчитываясь и глубже входя в книгу, начинаешь понимать ту сверхзадачу, какую ставила перед собой С. Алексиевич как писатель, вынашивая, выстраивая свой замысел. А. Адамович и Д. Гранин, создатели «Блокадной книги» (а ей по своему характеру очень близка книга С. Алексиевич) признавались: «...нас

интересовало прежде всего пережитое. Мы хотели записать, понять, сохранить все то, что было пережито, прочувствовано, изведено душами людей, не вообще людей, а конкретных людей с именами и адресами...»

Нечто сходное, видимо, могла бы сказать про свою работу и С. Алексиевич. Не отсюда ли и эта кажущаяся внекомпозиционная структура ее книги. Ведь С. Алексиевич интересует не какая-то конкретная узколокальная задача: к примеру, показ роли санитаров на фронте и тому подобное. Ее интересует именно все пережитое женщинами, участницами войны, независимо от того, какая у кого была воинская специальность, интересует, как это все «запало и очнулось» в их душах.

Уже отмечалось в критике хоровое начало, свойственное книге. Действительно, возвращаясь мысленно к этой вещи, трудно вспомнить хотя бы два-три наиболее ярких женских характера или чьи-то конкретные, пусть самые драматические судьбы. Книга запечатлевается в сознании скорее именно как звуковой, музыкальный образ, как своего рода оратория, где отдельные сольные партии, выделяясь подчас из общего фона, потом опять тонут в мощной хоровой стихии. Собственно, об этом пишет и сама С. Алексиевич в одной из глав книги: «Мне кажется, что я уже не различаю лиц и голосов, а вижу и слышу хор. Женский хор памяти».

Тема этой оратории — война, война как трагическое испытание, потрясение, как смертельное единоборство с силами зла и тьмы во имя жизни, свободы, света. А то, что и сам хор и отдельные сольные партии — женские, только усиливает общее впечатление.

Да, у войны не женское лицо. И поэтому женщинам на фронте, разделившим с мужчинами-воинами все тяготы и опасности их солдатской судьбы, бывало подчас во много раз тяжелее. Дело не только в сложностях, неустроенности самого фронтового быта, который жестче лимитировал женщину в силу целого ряда психофизических и физиологических особенностей ее природы. Именно неженский, бесчеловечный облик войны, постоянное общение со смертью, страданиями людей — вот что много сильнее травмировало женскую душу, накладывало неизгладимый отпечаток на всю психологию женщины, иной раз на долгие годы оставляя незарубцовывающийся шрам: «Пришла я с фронта седая. Двадцать один год, а я уже беленькая. У меня ранение было, контузия, я плохо слышала

на одно ухо... У нас... я родом из Челябинской области, так у нас там велись какие-то рудные разработки. Как только начинались взрывы, а это делалось ночью, я ментально вскакивала с кровати... и бежать, мне надо было куда-то бежать. Мама меня схватит, прижмет к себе и уговаривает, как ребенка».

«А как мы в окружении людей хоронили? — вспоминает другая — Тут же, рядом, возле окопчика, где мы сами сидим, зарыли — и все. Часто хоронили в лесу под деревьями... Под этими дубами, под этими березами... Я в лес до сих пор не могу ходить. Особенно где растут старые дубы или березы... Не могу там сидеть...»

Воистину только живительная сила патриотизма, сознание, что сражение с врагом идет за правое дело, помогли девушкам и женщинам сорок первого года, как они подчас сами себя называют, выдержать добровольно принятые на себя тяжелейшие испытания. И не только выдержать, но и сохранить при этом «душу живу», не огрубеть, не зачерстветь сердцем. Т. Умнягина, в годы войны младший сержант, санитар-инструктор, рассказывает про Сталинград: «Самые-самые бои. Ташу я двух раненых. Одного протащу — оставляю. Потом другого... Вдруг я обнаруживаю, что ташу одного нашего танкиста и одного немца... Я была в ужасе: там наши гибнут, а я немца ташу. Что делать? Я протащила нашего раненого и думаю: «Возвращаться за немцем или нет?» А уже близко осталось тащить. И я знаю, что если я его оставлю, то он через несколько часов умрет. Он истечет кровью... И я поползла за ним».

Даже теперь, по прошествии четырех десятилетий, вслушиваясь в рассказы этих женщин-ветеранов, в их воспоминания о пережитом, невольно ощущаешь высокий настрой их души, каким они жили тогда, какой сохранили до самого дня победы. «Мы пришли в военкомат, — вспоминает М. Морозова (Иванушкина), на фронте ставшая снайпером, — нас тут же в одну дверь ввели, в другую вывели: у меня очень красивая коса, я ею гордилась. Я уже без нее вышла... И платье забрали. Не успела маме ни платье, ни косу отдать... Она очень просила, чтобы что-то от меня, мое у нее осталось... Нас тут же одели в гимнастерки. пилотки. дали вещмешки и в товарный состав погрузили. В конце концов для нас было не так и важно, кем мы будем. Только бы на фронт. Все воюют — и мы».

«Первый день войны, — восстанавливает в памяти ту далекую дату минчанка

Л. Будко, в годы войны хирургическая медсестра.— Мы на танцах вечером. Нам по шестнадцать лет... И вот уже через два дня этих ребят, курсантов танкового училища, которые нас провожали с танцев, привезли калеками, в бинтах. Это был ужас... Скоро отец ушел в ополчение. Дома остались одни малые братья и я... И я сказала маме, что пойду на фронт».

Есть какая-то особая наивно-незащищенная интонация достоверности в этих бесхитростных, кратких воспоминаниях. Словно по чистой случайности вам довелось прочесть несколько слов из чего-то письма, дневника, не предназначавшихся для печати. Из них как из разрозненной мозаики в нашем сознании постепенно складывается групповой портрет этих девушек сорок первого года. Да, они были именно такими: несколько наивными, порывистыми, возможно, более романтичными, чем их сверстницы 80-х. При всем том их готовность к подвигу была настоящей, непридуманной. И хотя, как подчеркивает С. Алексиевич, героини ее «были готовы к подвигу, но не были готовы к армии», а армия «не была готова к ним, потому что в большинстве девушки шли добровольно», они с честью выдержали свой тяжелейший — фронтовой — экзамен.

С. Алексиевич, как уже говорилось выше, занимает духовный облик ее героинь. Она подчеркивает в начале книги, что «в этих рассказах будет мало собственно военного и специального материала (автор и не ставил себе такой задачи), но в них избыток материала человеческого, того материала, который и обеспечил победу советского народа над фашизмом».

Но до такого сокровенного человеческого материала не так-то легко докопаться. Ведь прошло столько лет многое забылось. А о многом просто трудно, тяжело вспоминать, признаются собеседницы С. Алексиевич. И тем не менее писательница добивается до самого глубокого родника человеческой памяти, хотя подчас это трудная задача: «Начинают рассказывать тихо, а к концу почти кричат. Потом сидят подавленные, растерянные. И ты чувствуешь себя виноватой. знаешь, что уйдешь, а они будут глотать таблетки. пить успокоительное. И одно только тебе оправдание. что останутся их живые голоса, сбереженные магнитофонной лентой.»

Доверительной исповедальной нотой и покоряет эта книга Автор права, когда говорит что эти женские исповеди даже называть «рассказами... наверное, нельзя... Это — живое чувство, живая боль, живая

память». Ведь у женщин «другой уровень эмоционального восприятия... Женщины видели по-другому, помнят по-другому. Их война имеет и цвет, и звук».

В самом деле. Трудно назвать другую книгу в документальной прозе последних лет, где было бы такое количество впечатляющих сцен, ярких, обжигающих своей достоверностью деталей, реалий, подробностей, увиденных, запечатленных женской памятью, которую С. Алексиевич называет «тяжелой памятью». Такого богатства хватило бы на добрый десяток романов о войне.

Работа С. Алексиевич невольно заставляет задуматься и о другом. О том, что в библиотеке наших военных мемуаров почти нет воспоминаний ветеранов-женщин. Тем самым образ войны в нашей мемуаристике явно в чем-то неполон. И многие лакуны здесь уже невосполнимы: ушли из жизни те, кому было что рассказать! Уж не рецидив ли это того высокомерно-пренебрежительного или обывательского отношения к женщине-фронтовику, которое, к сожалению, имело место в послевоенный период. Об этом с горечью вспоминают некоторые из героинь книги С. Алексиевич, судьба которых в те годы складывалась довольно драматично: «Я пришла с фронта, у меня ничего нет: гимнастерка, шинель на мне, и все... Ну, и еще разговоры разные... Сорок лет скоро, а у меня все еще щеки горят... Мужчина возвращался, так это герой Жених! А если девочка, то сразу косой взгляд: «Знаем, что вы там делали!..» Честно признаюсь, мы скрывали, мы не хотели говорить, что мы были на фронте».

...Как бы то ни было, книга С. Алексиевич остается пока одним из немногих документальных женских свидетельств о Великой Отечественной войне. И то, что она не сразу и не просто вышла к читателю, тоже говорит о многом. Тем отраднее, что такая книга все-таки появилась, что она стала заметным явлением в нашей военно-документальной прозе. С Алексиевич не только блестяще справилась со своей нелегкой творческой задачей. Она отдала этой работе часть своей души своего сердечного горения. Без всего этого книга не смогла бы получиться такой, какой мы ее сейчас знаем.

У покойного эстонского писателя Ю. Смуула в его «Ледовой книге» есть такое понятие — «болевой порог». И хотя оно уже не раз употреблялось, позволю себе им воспользоваться. «Болевой порог», по Смуулу, — это способность писателя

чутко откликаться на людскую боль, это способность к сопереживанию, состраданию. «Я считаю,— писал автор «Ледовой книги»,— что у писателя может быть тысяча всевозможных недостатков и это еще не помешает ему быть писателем. Но если ему недостает таланта и если у него высокий болевой порог, то и дела его безнадежны». У Светланы Алексиевич «болевого порог» низок — и этим все сказано.

Подобное качество ее таланта немало помогло ей, думается, и при создании новой книги «Последние свидетели», в которой собраны воспоминания тех, кто был еще детьми в сорок первом году. Ведь поднять из артезианских людских глубин воспоминания самого раннего детства — задача еще более тяжелая. Но автор справилась и с ней. Эта книга — тоже живая боль. Ведь она вбирает в себя столько глубоких человеческих драм и трагедий. Недаром в подзаголовке она названа «книгой недетских рассказов». Никакой авторской рифмовки или кокетства в этом нет. Да они были бы здесь неуместны. Это трезвая, даже сухая констатация факта. Не случайно один из бывших мальчишек, обращаясь к событиям войны, на которую пришлось его детство, с грустной растерянностью говорит: «С первой бомбой, когда я увидел, как она падает, я был уже не я... Во всяком случае, ребенка во мне уже не стало». Острая тоска по непережитым детским забавам, по неполученным в ту пору игрушкам продолжает жить в воспоминаниях пожилой ныне женщины В. Бринской: «Мы говорили о войне мало. Единственное, что у нас с сестрой долго оставалось от войны,— мы покупали кукол. В войну у нас не было кукол, мы росли без кукол. Училась я в институте, сестра знала, лучший подарок для меня — кукла».

Новая книга С. Алексиевич построена иначе, нежели первая. Здесь автор как бы вовсе отсутствует, оставляя читателя один на один со своими героями — бывшими детьми сорок первого года. Правда, и в предыдущей работе С. Алексиевич довольно скупко напоминала о своем присутствии по вполне понятным причинам. Д. Гранин написал недавно что в такого рода документальных произведениях, сплавленных из многих драматичных человеческих свидетельств, участие автора минимально. Он почти незаметен, он дает выговориться своим героям, время от времени звучит его вопрос, скупые пояснения о рассказчике, и опять он умолкает, но он здесь. Молчание его ощущается, оно слышимо. Его

молчание — это застрявшие в горле слова».

В последние годы много пишут и спорят о документальной прозе, о документе в литературе, о степени участия писателя в обработке такого документа, так сказать, об «усвоении факта для литературы». Не осталась, видимо, глуха к этим спорам и С. Алексиевич.

Некоторые утверждают при этом, что документ обнаруживает явную тенденцию потеснить литературу, ссылаясь на стойкий читательский интерес к разного рода аутентичным человеческим документам — дневникам, письмам, устным свидетельствам, зафиксированным на магнитофон и уже потом преданным бумаге. Пишут даже о существовании «литературы без писателя».

Критик П. Палиевский, автор обширной работы «Документ в современной литературе», справедливо предостерегает от подобного рода заблуждений, доказывая, что случаи, когда «документ получает самостоятельное эстетическое значение», крайне редки. Другими словами, многое из того, что мы называем «человеческим документом», без активного, деятельного участия писателя вообще не могло бы появиться на свет, не нашло бы пути к читателю. Очень точно сказали об этом в предисло-

вии к «Блокадной книге» ее авторы: «...тысячи страниц, «снятых» с магнитофонной ленты,— что с этим делать? Что отобрать и как выстроить? Без такой, без авторской работы материал сам себя похоронит: кто и когда это прочтет?»

На мой взгляд, две книги С. Алексиевич — убедительный и наглядный пример писательских возможностей и границ в работе такого рода. О возможностях уже сказано было в разговоре о ее первой книге. Что же касается границ, то те ограничения, какие С. Алексиевич установила для себя в «Последних свидетелях», едва ли пошли книге на пользу.

Впрочем, как знать. Может быть, все же этот сурово-ограничительный авторский шаг чем-то оправдан: пусть жестче, суровее говорят сами человеческие документы — запечатленные голоса детей сорок первого года! Пусть напоминают нам о том, что являет собою война, которая никогда не должна повториться. Эта живая память, тяжелая память последних свидетелей войны — как бы их завет новым поколениям. Ведь, как признается автор, у нее «осталась надежда, что самое сильное оружие, самое непобедимое — человеческая память». И добавляет: «Во имя такой моей женской веры эта книга!»

С. ЛАРИН.



ИЗ РЕДАКЦИИ ИОНИНОЙ ПЛОЧКИ

ЧИТАТЕЛИ ОБ ОЧЕРКЕ А. ИВАЩЕНКО «ЗЕМЛЯ»

После опубликования в № 1 «Нового мира» очерка Анатолия Иващенко «Земля» в редакцию поступает большое количество писем и откликов.

Некоторые из них мы приводим ниже.

«Редактору журнала «Новый мир»

Глубокоуважаемый Владимир Васильевич!

Партийно-хозяйственный актив области с интересом ознакомился со статьей Анатолия Иващенко «Земля», опубликованной в Вашем журнале. В очерке подняты злободневные, волнующие сельских тружеников проблемы.

Спасибо за то, что в статье откровенно названы имевшие ранее место промахи и просчеты, перегибы и косность, а порой и волюнтаризм в ведении земледелия.

Л. Палажченко, первый секретарь
обкома Компартии Украины».

Чернигов

«Уважаемый товарищ Иващенко!

С душевной болью я прочитала Вашу «Землю». Какое-то время назад покойный ныне Владимир Чивилихин написал очерк «Земля в беде» про разрастание оврагов. Тоже читать его было неспокойно. У Вас же охват событий больше. А наверное, действительность «Земли в беде» была небольшой, и не одна тысяча гектаров с той поры пропала для сельского хозяйства. Хотелось бы, чтобы Ваш материал расшевелил тех, в чьих руках решение больных вопросов сельского хозяйства.

Я вижу причину земельных проблем в поголовной экологической безграмотности. Эту дисциплину должны, грубо говоря, вдальбивать людям начиная с детского садика. А у нас учат, как разорять землю, а не как сохранять. Вопрос этот очень важен и совершенно запущен. Я жительница городская, но люблю природу и каждое воскресенье с тургруппой Дома ученых провожу в лесу под Москвой. Следов ужасной деятельности человека в лесу много — это и брошенные кем-то мешки от удобрений и покореженные железные трубы, и застывшие лепешки цемента, и ободранные стволы живых деревьев, и кучи мусора. На это смотреть больно...

Русская литература всегда отличалась тем, что будоражила души людей, затрагивая больные вопросы. И тем воспитывала. Ваш очерк именно таков.

Желаю Вам и впредь стоять на страже природы.

Н. Пахомова».

Москва.

«Уважаемый товарищ Иващенко!

Будучи сугубо городским жителем и авиационным конструктором по профессии, я, как Вы понимаете, социально и профессионально очень далек от проблем и нужд земледелия. Однако это не помешало мне с интересом прочитать в «Новом мире» Ваш очерк о земле.

Мне как инженеру-механику, особенно понятна проблема пагубного воздействия на почву колес тяжелых тракторов и других сельскохозяйственных машин. Я одобряю Ваше негодование по поводу черепашьих темпов в разработке и внедрении баллонов низкого давления (пневмокатков) и других двигателей, которые не оставляли бы на лице земли незаживающих рубцов.

Однако, дочитав очерк до конца, я был крайне удивлен, что Вы ни словом не обмолвились о сельскохозяйственной машине, которая, выполняя многие агротехнические операции, не только не повреждает почву, но вообще не контактирует с ней. Вы, конечно, догадываетесь, что я имею в виду сельскохозяйственный самолет.

Несколько слов о себе. Вот уже сорок лет я работаю в КБ, которое тридцать восемь лет возглавлялось, а теперь носит имя Генерального авиаконструктора О. К. Антонова. Это нашим коллективом еще в 1947 году был создан самолет «АН-2», который на протяжении всех этих лет (чем я очень горжусь, будучи одним из создателей самолета) применяется в сельском хозяйстве для рассеивания минеральных удобрений. И хотя в последующие годы я вынужден был сменить профиль работы, вопросы применения авиации в сельском хозяйстве не стали для меня чуждыми.

Теперь о самолете «АН-2». Этот самолет, несмотря на свой почтенный возраст, обладает многими замечательными качествами, обеспечившими ему стопроцентную монополию в сельхозавиации страны. По опубликованным данным, 95 процентов всех работ, выполняемых авиацией в сельском хозяйстве, приходится на его долю. Остальное — вертолеты, работающие, как правило, в условиях сильно пересеченной местности.

Все это прекрасно, однако, если быть объективным, нельзя не сказать о некоторых «но».

Дело в том, что самолет «АН-2», еще на стадии разработки называвшийся «СХА» — сельскохозяйственный Антонова, — не стал тем не менее специализированной сельскохозяйственной машиной. Для удовлетворения требований различных заказывающих ведомств он был выполнен как многоцелевой самолет, каковым остается и по сей день.

Благодаря многоцелевому применению самолет отягощен большим количеством оборудования, которое удорожает его, увеличивает вес и совершенно не требуется для выполнения полетов над полями. В то же время распылительная аппаратура подвешивается вне самолета, ухудшая его аэродинамические свойства.

В бытность мою начальником отдела я многократно обсуждал этот вопрос с представителями сельскохозяйственной авиации из НИИ Аэрофлота, говорил о необходимости создания чисто сельскохозяйственного самолета, не обремененного другими авиационными задачами. Но экономисты гражданской авиации всякий раз убеждали свое руководство, что такой самолет будет нерентабельным, так как сможет летать только два-три месяца в году, а в остальное время он, дескать, не нужен. Довод о том, что комбайн тоже работает ограниченное время и никому не приходит в голову приспособить его зимой для перевозки пассажиров, остался без внимания...

Вот так и порхает над полями уже без малого сорок лет наша неутомимая «аннушка». И совсем не умаляя ее замечательных свойств, я думаю о том, что в наш век революционного развития техники давно пора бы кому-то взяться за разработку нового специально сельскохозяйственного самолета, в котором, опираясь на современную науку, были бы предприняты меры для увеличения ширины захвата, обеспечения равномерности распределения препаратов по полю, гарантии от сноса химиката турбулентными потоками за пределы обрабатываемого участка.

С уважением Ю. Киржнер».

Киев.

«Уважаемый тов. Анатолий Иващенко!

С большим интересом и вниманием прочитал написанное Вами.

По долгу службы мне много приходится бывать в командировках, как говорится, «с южных гор до северных морей» и непосредственно сталкиваться с земледельцами.

Я много раз от них слышал о вреде глубокой вспашки, о бедах энергонасыщенных тракторов, о некачественных машинах и оборудовании, выпускаемых заводами сельскохозяйственного машиностроения. Ваш очерк дополнил и раскрыл «секреты» рождения пыльных бурь, эрозии почвы, гибели рек и водных источников.

Уважаемый тов. А. Иващенко, чего я не нашел в Вашем материале — строчек о воздействии сельскохозяйственной авиации. О ее преимуществах, недостатках. Мне хотелось, чтобы Вы, используя свой огромный профессиональный литературный и жизненный опыт, при возможности осветили и эту проблему.

...Несколько слов о себе. Всю Великую Отечественную летал на бомбардировщиках и транспортных самолетах. После войны на трассах Аэрофлота открывал и эксплуатировал международные авиалинии, затем — работа на заводах и приобщение к журналистике (внештатно в журнале «Гражданская авиация»).

Евгений Тарасенко»

Пятигорск.

«Уважаемая редакция!»

С большим интересом прочитал очерк Анатолия Иващенко «Земля», и на душе стало грустно и обидно за наше варварское отношение к земле. Она, матушка, нас растит, кормит, одевает и обувает, а мы ей подчас так неблагодарны.

Хотелось бы услышать отзывы на этот очерк руководящих и планирующих органов и, в частности, вновь созданного Агропрома СССР, специалистов сельскохозяйственного производства — агрономов, председателей колхозов, директоров совхозов, а также и мнение ученых, которые, к нашему стыду, не всегда по-научному подходили к выдаче рекомендаций по возделыванию земельных угодий, чем нанесли немалый вред нашей кормилице — земле.

Москва.

И. Дегтярев,
ветеран войны и труда».

ЛЕС РУБЯТ...

Более четверти века назад в одной из газет я опубликовал репортаж «Бревноход на Енисее» об уплывающих с вешним льдом в океан неисчислимых кубометрах древесины. То была экспортная сосна, заготовленная сплавыми конторами на Ангаре и других притоках выше села Ярцево, откуда я наблюдал эти зловеще черневшие по всей шири реки бревна.

С того времени мне пришлось видеть немало аналогичных картин, будь то на алтайской речке Иогач, в которой скопились горы забивших каменистое русло вековых, неохватных стволов кедров, или заломы леса на Северной Кельтме, притоке Вычегды, по которым можно было переходить с одного берега на другой. Проезжал я как-то и вдоль речки Итонцы, притока Селенги: на протяжении доброго десятка километров прибрежные тальники были завалены раскиданными весенним половодьем бревнами. Не изгладились из памяти и валы побелевших, как кость, бревен, сплошной грядой окаймлявшие губу Северной Двины, устье Енисея или берега Байкала. Это впечатления разных лет, иным уж третий десяток годов пошел. Но вот совсем недавно, побывав на Байкале, я вновь увидел на его берегах ожерелье из измочаленных прибоем бревен...

Думаю, однако, что масштабы бревноходов здесь сократились. Во-первых, ныне вовсе прекращен сплав по некоторым прежде сплавым рекам — например, по Баргузину, вдоль которого проложена лесовозная дорога. Во-вторых, кое-где молевой сплав вообще запрещен — номинально во всяком случае. Но самое главное: прежние многолесные речные поймы оголены, а в округе исчерпаны запасы хвойной древесины, так что и сплавлять уже нечего.

Давно поблек миф о неисчерпаемости наших лесных богатств. Как бы ни освещалось в статистических сводках и ведомственных материалах положение о лесах, тревога или, скажем мягче, беспокойство за их судьбу растет в нашем общественном сознании. Гложет современников ощущение, что не все ладно с зеленым другом, рдеют и скудеют боры и рощи, повытерлась и облезла угревавшая нашу землю шуба.

В лесном отделе Госплана СССР придерживаются мнения, что проблемы лесопользования в Советском Союзе вообще не существует: запасы древесины в стране, по свидетельству плановиков, достигают 82 миллиардов кубических метров, из них 56 миллиардов спелой, что позволяет вырубать в год 860 миллионов кубометров, мы же рубим всего 350 миллионов. Поэтому нет ни малейшего повода говорить об истощении лесов. Судя по этим цифрам, увеличивать надо, а не сокращать лесозаготовки!

Но... не отражают эти цифры истинного положения дел, и тревога наша за судьбу леса, к сожалению, не беспочвенна. На наших глазах не одна лесоизбыточная область уже перешла в разряд лесодефицитных; сделался обиходным термин «расстроенные древостои»; в ряде районов, где сосредоточены основные наши лесозаготовки, уже много лет подряд наблюдается переруб расчетной лесосеки по сосне и ели.

Для удовлетворения потребностей народного хозяйства в древесине нужен в первую очередь спелый лес. Но его запасы в лесах Госфонда СССР уменьшаются. Истощаются эксплуатационные запасы на Украине, в Карельской и Коми АССР, Архангельской Вологодской, Горьковской, Костромской, Кировской и ряде других областей России. За последние годы здесь вырублены лучшие леса. На лесопильные заводы поступает древесина все худшего качества: средний диаметр пиловочного бревна уменьшается, мощным пилорамам достается пилить воздух.

В лесах Белоруссии и на Урале спелые деревья составляют всего 2—6 процентов, в центральных районах 2,6 процента, а нормой для эксплуатационных лесов считается наличие 25 процентов спелых деревьев! Таким образом, в рубку вовлечены не только спелые деревья, но и припевающие. Как-то в столичной печати была опубликована статья министра лесного хозяйства Башкирии, призывавшего не дорубать остатки уральских пойменных лесов и поведавшего о крайне отрицательном влиянии, какое оказало на режим рек исчезновение спелых хвойных лесов. Все это опровергает утверждение о недоиспользованности лесосеки страны и ставит под сомнение возможность увеличения взимаемой с европейских лесов дани.

Ученые подсчитали, что в целом в наших эксплуатационных лесах средний годовой прирост древесины на гектар составляет 1,5 кубометра, а берем мы с гектара 2,4 кубометра. Приведу для сравнения данные по трем зарубежным странам: в США с гектара снимается кубометр древесины а средний годовой прирост на гектар составляет 1,7 кубометра; в Канаде с гектара берут 0,3 кубометра древесины, а прирастает на гектар 0,7 кубометра; в Норвегии ежегодно выращивают на гектаре 1,8 кубометра, а используют 1,1 кубометра древесины.

С лесами нашего Севера — как европейского, так и за Уралом — я давно и хорошо знаком. Помню великолепные рощи корабельной сосны Карелии, нетронутые боры Вологодчины на Печоре, сплошные густые ельники Архангельской области... От них и следа не осталось! На их месте лиственное мелколесье, заболоченные пустоши, молодняки, большей частью смешанные. И если прежде по рекам европейского Севера плыли плоты, составленные из крупномерных бревен, на биржах и складах накатывались штабеля сосны и ели не в охват, то ныне на катищах и перевалочных базах видишь почти одни мелкие сортименты, подтоварник да лиственную древесину, из которых леспромхозы составляют свои плановые и даже сверхплановые кубометры...

Откуда же оптимистические выкладки Госплана? Приведу случай, приоткрывающий источник официального оптимизма.

Несколько лет назад тогдашний министр лесной промышленности СССР, отвечая на одну из публикаций, в открытом письме оспаривал факт сокращения хвойной лесосеки в Вологодской области, приводил «последние данные», согласно которым эта лесосека, наоборот, увеличилась. Тогда лесная секция Общества охраны природы произвела проверку и установила, что «увеличение» произошло за счет включения в эксплуатационный лесной фонд площади лесных моховых болот — бесполезных с точки зрения заготовок угодий. Вот вам и основание, чтобы оспаривать факт сокращения хвойной лесосеки! В госплановские 82 миллиарда кубометров входят и лесотундра, и горные ущелья, и заросли кедрового стланика, и охранные зоны — словом, вся «лесопокрытая» площадь, в том числе и та, куда никогда не ступала да и не ступит нога лесозаготовителя. Как же к урожаю с эксплуатационного государственного лесного фонда можно приплюсовывать прирост с этих бросовых для него земель?..

Европейско-уральская зона, сохранившая репутацию многолесной, и на ближайшие годы остается ведущим лесозаготовительным районом. Здесь предполагается перейти на крупное нестоищительное лесопользование, поскольку по госплановским оценкам запасы древесины там еще велики и более половины лесов составляют спелые древостои. Правда, призывы форсировать заготовки на европейском Северо-Востоке сопровождаются некоторыми оговорками вроде того, что надлежит действовать «с разумной осторожностью».

Выбор европейско-уральской зоны в качестве основного поставщика древесины мотивируется доводами, не имеющими прямой связи с состоянием лесов. Тут приводятся соображения другого экономического порядка: доставлять лесные грузы из Сибири накладно — велик пробег; лес, заготовленный в европейской части Союза, обходится дешевле, тут развитая транспортная сеть, хватает рабочей силы, тогда как лесозаготовки в Сибири требуют дополнительных затрат на дорожное строительство, привлечения рабочих и так далее. Не будем строить себе иллюзий, будто за Уральскими горами, на бескрайних просторах Сибири и Приморья сохранились некие сказочные лесные кладовые, практически неисчерпаемые. Мы достаточно неосмотрительно относились к накопленным тайгой богатствам и давно истощили и обескровили ее в поймах главных рек расправившись с кедровниками... И все же в Сибири еще сохранились массивы промышленного значения, и сравнивать их потенциальные возможности с европейскими лесами, расгроенными и обесцененными длительным периодом интенсивных рубок, не следует. На мой взгляд, европейские леса нуждаются в передышке, азиатские — в капиталовло-

жениях. На долю лесов Северо-Запада страны и Урала приходится сейчас большая часть всей вывозки древесины по европейской части РСФСР; с 1981-го и в последующие годы расчетная лесосека была установлена с превышением прироста почти на 10 процентов. Иначе говоря, установлен истощительный объем рубок, что неизбежно приведет через десяток лет к резкому снижению запасов древесины, расчетная лесосека будет сокращаться, а дефицит важнейшего для народного хозяйства сырья соответственно расти. Количество лесоперерабатывающих предприятий, испытывающих недостаток в сырье, неминуемо увеличится.

Сторонники всемерного развертывания лесозаготовок в европейско-уральской зоне справедливо указывают на неспособность железных дорог справиться с доставкой лесных грузов из-за Урала. Нет смысла углубляться в вопрос, как могло создаться такое положение. Очевидно, надо было еще в годы первых пятилеток позаботиться о всемерном расширении пропускной способности Транссибирской магистрали. Но если вовремя этого не сделали, резон ли санкционировать — назовем вещи своими именами — опустошение лесов европейско-уральской зоны? То выход временный, ненадежный и вредный не только потому, что рубки, превышающие возможности леса, непоправимо разоряют лесосырьевую базу, но и из-за отрицательных экологических последствий.

У лесопромышленности есть другой путь увеличения выхода полезной древесины: надо навсегда покончить с расточительством! На деле, а не только на бумаге ввести неистощительное лесопользование и борьбу с потерями!

Пора прекратить валку леса, с тем чтобы потом гнить его в штабелях, жечь в кострах, терять и топить в реках, перерабатывать деловую древесину на дощечки для тары (как свели кедровники Алтая, доставляя двухсотлетние кедровые ящики на ящичный завод!). Пора навести порядок на лесосеках, покончить с брошенными на них хлыстами, с захламленностью, с уничтожением подроста. Пора разрабатывать леса в строгом соответствии с лесоводственными нормами, соблюдая сроки примыкания, размеры деленок, обеспечивающие возобновление главной породы. Нет, это не голословный призыв.

Вот сообщение, опубликованное в «Правде»: в одном из леспромхозов Свердловской области из-за нехватки вагонов основная масса заготовленного леса из года в год остается на месте, гниет, сжигается или закапывается в траншеи, так как вся территория лесобиржи, окрестные земли совхоза, придорожные полосы завалены бревнами. Не превышена ли тут мера, допускаемая человеческой совестью?.. Директор леспромхоза не забил тревогу, не остановил поток поступающих в лесосек обреченных бревен, а искал, как их уничтожить... Жутковато думать, что такого практика! Я лично видел на Выдринской лесоперевалочной базе на Байкале остатки гигантских полуутонувших в болотистой почве штабелей сгнивших сосновых бревен, на которые накатывали свежие; видел в Красноярском крае катища с пылающими огромными кострами, в которых жгли комлевые сосновые кряжи; видел годами не потухающие «крематории» крупных лесопильных и деревообрабатывающих предприятий Маклаковского комплекса на Енисее; видел плоты и пучки бревен, сложенных на льду верховьев таежных речек и не уплывших в половодье... И нет конца подобным картинам!

В далекие времена существовали повсеместно лесные склады, откуда потребители получали выдержанный товар — окоренный круглый лес и высушенные пиломатериалы, тогда как теперь в дело идут бревно и доска из-под пилы, что, как известно, ведет к браку, когда их пускают в производство. Технология хранения древесных материалов крайне проста и известна человечеству с незапамятных времен, и давно пора покончить с нынешней практикой, допускающей огромные потери на биржах и складах.

Спросим себя: почему потери лесной промышленности, включая заготовку, транспорт, хранение и переработку, в соседней Финляндии, в Швеции, в ГДР не превышают нескольких процентов, у нас же устойчиво держатся на уровне 60 процентов и даже выше? Ведь при масштабах наших заготовок (350 миллионов кубометров в год) это составляет ежегодно — страшно писать! — 210 миллионов кубометров! Какой броней безразличия к народному добру, к живой природе, к своему делу надо облечься, чтобы из года в год, десятилетиями мириться с выброшенными на ветер миллиардами рублей, затраченным впустую трудом, зря сведенными миллионами гектаров леса! А если подумать о нравственном ущербе, о том, насколько гакая практика портит людей, превращает в циников, губит души? А вот мирятся. требуют еще и еще лесосек...

Рвение, с каким ученые консультанты доказывают необходимость увеличения расчетной лесосеки в европейско-уральской зоне, умышленно игнорируя общеизвестные факты, было бы много патристичнее направить на борьбу с этими чудовищными потерями.

ми: то была бы подлинная заслуга перед нашими лесами и нашим будущим. Свести потери к нормальным 5—7 процентам означает сохранять ежегодно почти 200 миллионов кубометров древесины! Это означает возможность, не снижая поставок народному хозяйству, почти вдвое сократить объем лесозаготовок!

Не меньшим злом для рационального лесопользования, чем потери, я считаю практику нарушения существующих правил, норм и законов, для чего всегда отыскивается благовидный повод.

Объединение Дальлеспром, выработав свою годовичную лесосеку по кедровому хозяйству, потребовало во имя выполнения плана права вырубить сверх нормы 250 тысяч кубометров кедра. Оно обратилось к руководству края, которое послало в Москву телеграмму: так, мол, и так, срывается план по экспорту, ходатайство поддерживаем. В главке, разумеется, возмущение и недовольство, но валюта есть валюта, и требуемое разрешение дается, сопровождаемое, правда, легкой журьбой и предупреждением, «чтобы в последний раз». Следствием подобных исключений было принятое решение о запрете рубки кедра в Приморье: значит, дорубились уже до ручки?!

А сколько можно привести примеров, когда «ввиду особых обстоятельств» или «в порядке исключения» давалось разрешение продолжать запрещенные условно-сплошные рубки, «в последний раз» сплавлять лес молею, отступать от лесоводственных норм, оголять склоны гор, вторгаться в буферную зону заповедника... Отступления настолько часты, что невольно задаешься вопросом: а существует ли твердый и незыблемый, для всех обязательный закон, охраняющий леса от хищничества или неграмотного использования, от последствий нерадивого хозяйничанья, раз его так легко нарушить, изменить, обойти, приостановить действие, игнорировать? Укажу тут, кстати, что принятые около десяти лет назад «Основы лесного законодательства», заменившие прежний закон о лесах, воплотили в своих параграфах изменения, продиктованные интересами заготовителей, а не лесного хозяйства. В «Основы...» введены не существовавшие прежде пункты, оговаривающие право руководства лесными ведомствами по своему усмотрению приостанавливать, откладывать или ограничивать применение тех или иных положений,— иначе говоря, оно может, руководствуясь конъюнктурными соображениями, на законном основании нарушить любую норму. Впрочем, и в статуте лесничества произошли сдвиги, значительно усложнившие выполнение ими своих прямых функций — выращивание и охрану леса: лесничествам наравне с леспромхозами спускается план заготовки леса! На уход за лесом и культурами недостает времени и рабочих рук. Да и выгоднее леснику валить и трелевать лес, чем добросовестно обходить свои кварталы. Самая идея оздоровления древостоя обращена в свою противоположность: вместо удаления больных или сорных деревьев лесник гонится за кубатурными стволами.

Особенно пагубно эта лесозаготовительная нагрузка отражается на судьбе лесных культур, требующих ухода. В тайге и лесах Сибири саженьцы, предоставленные сами себе, хиреют и зачастую погибают: их глушат кусты и травы, губит заболачивание, следующее за сводом леса на больших площадях. Даже в Московской области лесокультуры оставляются на произвол судьбы и во многих лесничествах пропадают. Не скинешь со счета и опустошения, производимые дикими копытными животными.

По моим наблюдениям, лесные культуры относительно успешно развиваются в малолесных, преимущественно южных областях, где традиции лесопосадок восходят едва ли не к петровским временам и где умеют за ними ухаживать: не только сажать, но и выращивать дерево. Иное дело в многолесных, таежных зонах, где раньше не помышляли «сажать лес по лесу», поскольку он надежно возобновлялся естественным путем. Слов нет, ныне почти всюду вошло в обычай проводить по сечам борозды и сажать в них сосенки и елочки. Но тот, кто ездил по северным лесосекам, знает, как мало укрепляется в этих бороздах зеленых пушистых метелочек. Естественное возобновление остается лучшим пособником лесовода, но самосев хорошо приживается только на малых делянках, при рубке узкими полосами.

Прекрасные, здоровые искусственные леса мне пришлось видеть в Воронежской, Харьковской, Тульской, Рязанской областях и далее на юг, но чем выше на север, тем, очевидно, сложнее (или непривычнее?) выращивать саженьцы леса. Даже в моей родной Калининской области нередко набредаешь на пустоши с задерневшими бороздами и густым кустарником — гектары тех посадок, что украшают отчеты Гослесхоза СССР!

Я отлично понимаю, как нелегко идти по пути борьбы с потерями лесной продукции. Для этого требуется коренная перестройка нынешнего лесопользования и — не в

последнюю очередь — перестройка психологии заготовителей: каждое срубленное, но неиспользованное дерево должно стать для них тягчайшим ЧП. Нуждается в изменениях система расценок и оплаты труда в лесу — нынешняя не поощряет рачительное отношение к делу. Заниматься очисткой лесосеки, трелевать мелкие и аварийные хлысты, возвращаться к рассыпавшемуся в пути возу, чтобы подобрать с обочины не доставленные по назначению бревна, возиться с малокубатурными деревьями ни вальщику, ни трелевщику, ни водителю невыгодно — снижается заработок. Однако этой теряемой древесины набирается много: подсчитано, например, что на делянках Коми АССР ее ежегодно бросается до 250 тысяч кубометров — как раз столько, сколько недостает для изготовления технической щепы, что заставляет переводить на нее полноценный пиловочник.

Когда дело идет о так называемых дарах природы, мы далеко не всегда умеем хорошо считать. Сошлюсь на попенную плату: ее хоть и повысили за последние годы, она все еще не отвечает реальной стоимости древесины. Хотя бы потому, что на исходе XX века лес нуждается в опеке и охране, его нельзя далее считать достоящимся человеку без затрат. Это уже давно признано за рубежом, где сделаны и соответствующие выводы: если у нас попенная плата составляет в среднем около 10 процентов стоимости древесины, то на Западе она достигает 80 процентов. Вряд ли нужно доказывать, что признание за деревом его подлинной стоимости в современных условиях поведет к оздоровлению финансового положения лесного хозяйства и позволит осуществить необходимые капиталовложения, без которых так отстают его развитие и прогресс. Авось да и уважение к дереву, к древесным материалам повысится, когда на балансе предприятий они будут составлять значительную ценность, а не грошовый материал, который так легко списывается в убытки.

Из очень долгого ящика надо извлекать и вопрос об организации леспромхозов постоянного пользования, о преимуществах которых перед кочующими предприятиями так много и красноречиво говорилось еще в конце 50-х годов. Но их нет и поныне! Лесорубы и теперь знают докуму временных поселков...

Осложнения и путаница обусловлены и нынешней организацией лесопользования. Сразу после революции был провозглашен принцип единого хозяина леса, но как же усложнилась с тех пор вся система хозяйничанья в лесах, распределения заготовительных функций, охраны и выращивания леса! Идут тяжбы и споры между многочисленными ведомствами при отводе сырьевых баз, в зону интересов плановых организаций все чаще вторгаются так называемые самозаготовители, по ряду причин очень жалюемые местными органами... И это при том, что, как уже говорилось, ослабла роль лесничеств. Становится некому заботиться об охране и возобновлении леса, надо всем повсеместно довлечет клич «даешь кубики!».

Я не сгушал краски. Моей целью было привлечь внимание к недостаткам, а не говорить о достижениях, пусть читать о них и приятнее. Не тщился я и охватить проблему целиком — это дело компетентных, умеющих мыслить независимо, верных своей науке ученых. Я вовсе не коснулся, например, сложного и важного вопроса механизации лесных работ, хотя применение сверхмощных агрегатов наносит столь тяжелый урон лесной среде, что вполне своевременно поднять вопрос о переходе на легкие, маневренные машины, заготовке древесины преимущественно в зимний сезон, когда снежный покров и мерзлая земля ограждают подрост и лесную почву от уничтожения... Но одно хочу добавить. Как бы выиграли лесные дела, какой весомый вклад в народное благосостояние внесли бы наши родные, все еще не сдающиеся, все еще выстаивающие русские леса, если бы не мы, писатели, в сущности, бессильные действительно вмешаться и помочь, говорили о недостатках и критиковали известное нам все-таки только со стороны, а делали бы это сами руководители лесного хозяйства, их помощники и советники, которым все беды леса известны изнутри. Вот тогда-то и был бы навсегда изгнан из обихода неоправданный и опасный оптимизм. Надо работать с открытыми глазами, не бояться правды, только она способна предупредить ошибки.

Олег ВОЛКОВ.

КОРОТКО О КНИГАХ



ЛЕОНИД БЕЖИН. Гуманитарный бум. Рассказы, повесть. М. «Советский писатель». 1985. 352 стр.

Бежин-писатель как бы вырастает из Бежина — ученого-ориенталиста, автора получивших признание в научной среде книг и статей о средневековой китайской литературе. Глубокий интерес к культуре восточных народов свойствен многим персонажам рассказов и повести, составивших этот сборник.

Духовный кругозор людей, о которых пишет Леонид Бежин, — а среди них студенты, ученые музыканты, артисты — широк. Постоянное общение с книгой, посещения музея или консерватории для них внутренняя необходимость. Его герои то и дело апеллируют к авторитету прославленных композиторов, художников, писателей. Не слишком ли часто автор тревожит великие тени? Пожалуй, он не всегда сохраняет чувство меры. Уж больно плотно друг к другу стоят в разговорах персонажей Овдий и Шекспир, «Слово о Законе и Благодати» и «Братья Карамазовы».

Творчество Л. Бежина вызывает споры. Как показала, например, дискуссия в «Литературной газете» от 8 января 1986 года, критика далеко не единодушна в оценке его книги А. Казинцев («Дизайном единым...») упрека автора в том, что тот уделяет преимущественное внимание вещам, а не людям, слишком сосредоточен на быте. Л. Аннинский («Через кристалл дизайна») в противовес этому мнению считает, что проза Л. Бежина, в сущности, антибытовая, бытописание для него не самоцель, писатель пытается (хотя не всегда достаточно успешно) разобраться в противоречивом характере горожанина, нашего современника.

Культура подлинная и мнимая, культура и нравственность — вот коренные для Бежина проблемы. Пианист Рындин («Искусство чаепития»), музейный работник Дубцов («Бабочка на стекле»), химик Зимин («Последний кинто»), студент Борисоглебский из повести «Дачные месяцы» — все это люди, про которых можно сказать: недовольны собой. Этих интеллигентов не удовлетворяет то, как они живут.

Интеллигентные герои Леонида Бежина, будучи погруженными в собственный мир, как правило, не склонны принимать сколь-нибудь радикальные решения.

А вот интеллигентствующим мешанам, типы которых также ступорозно исследует писатель, энергии не занимать. «Ах, если бы я могла заниматься искусством и быть свободной ото всего на свете!» — восклицает одна мечтающая о божественном существовании дама в рассказе «Гуманитарный бум» и очень практично устраивается в притягательной для себя сфере. Этот рассказ

пронизан иронией. В нем хорошо подмечены особенности современного мещанина: не полное бескультурье, но поверхностная прикосновенность к культуре, поза, а не жизненная позиция, подражание, а не созидание. Отсюда бум, ажиотаж, алчное желание приобрести, завладеть, приобщиться к стилю, завидному образу жизни. Это, как удачно показывает Л. Бежин, своеобразная форма духовного потребительства, в нравственном отношении не менее вредная, чем многократно обличенный в нашей литературе вещизм.

Среди антигероев Л. Бежина немало бойких говорунов, спешащих отозваться на очередное модное веяние — будь то хиромантия телепатия или летающие тарелки. Кирилл Евгеньевич из рассказа «Мастер дизайна» берется за несколько сеансов превратить застенчивого, по-юношески неуверенного в себе, но доброго паренька Юру Васильева в этакого супермена, не знающего сомнений и тревог. Он называет свои психологические опыты мастерством дизайнера. Учит доверчивых клиентов «разумному эгоизму». Конечно, Бежин показывает крах Кирилла Евгеньевича. Юра все-таки избавляется от чуждой ему позы «твердого мужчины», да и сам дизайнер вроде бы перерождается. Финал оптимистичен, но не слишком ли благодушен?

Леонида Бежина занимают психологические и нравственные коллизии, которые остро встали перед нами как раз в последнее время. В самом деле, трудно представить себе того же «дизайнера» Кирилла Евгеньевича в обстановке 50-х — начала 60-х годов. Иные времена, иные нравы. Бежин принадлежит к поколению нынешних тридцатилетних, которые пока не накопили значительного творческого опыта. У него есть своя тема, ясно очерчен круг явлений, как писателя интересующих его больше всего. В интерпретации этих явлений Л. Бежин самостоятелен, а нередко и глубок, тем и интересна его новая книга.

Михаил Вольпе.



БОРИС КОСТЮКОВСКИЙ. Избранное. М. «Советский писатель». 1984. 592 стр.

Документальные повести, вошедшие в том «Избранного», имеют реальных прототипов — людей в наше время известных. Борис Костюковский рассказывает их истории, пишет о том, что видел сам, приводит дневники героев, их письма, свидетельства друзей, товарищей по работе — все это на фоне исследования различных социальных пластом жизни, поднимаем острые нравственные проблемы. Впрочем, не толь-

ко нравственные. Бытовые, производственные. Словом, разные.

Проза Костюковского откровенно тяготеет к жанру очерковому, сочетает так называемый очерк нравов и художественные портреты современников. И удивительное дело: читая, ловлю себя на том, что не ощущаю, забываю дистанцию лет, отделяющую от событий, описанных в книге. Они крепко увязаны с проблемами сегодняшними, и прежде всего, как сказали бы теперь, с человеческим фактором.

Повесть «Земные братья» знакомит читателей с бригадиром бетонщиков первой бригады коммунистического труда из Иркутской области Борисом Гайнулиным. Впервые автор встретил Бориса еще в 1959 году в Братске, куда приехал, чтобы своими глазами увидеть, как работает знаменитая бригада. Ему сразу понравился Борис — веселый, удачливый парень, недавно демобилизованный моряк Тихоокеанского флота, любящий и знающий свое дело, на редкость совестливый, справедливый.

Спустя какое-то время на стройке происходит несчастие — Борис становится инвалидом. Перебит позвоночник, не отпускающие ни днем, ни ночью боли, парализованные ноги; больницы чередуются с санаториями. По медицинским показаниям надежда на возвращение к прежней жизни никаких.

И вот тогда свой гражданский долг исполняет Борис Костюковский. Он не только написал очерк, а потом и повесть, поведав нам о жизни сильного, мужественного человека, он помог Гайнулину найти место в жизни, справиться с бедой.

Вот один пример. До болезни Борис ничем не успел обзавестись: ни квартирой, ни семьей, ни образованием, ни сберкнижкой. Только друзья да доброе имя. Жена — любимый человек, ребенок появились уже после больницы. Квартиру дали прямо к свадьбе. А пенсия крохотная. Как жить на нее с семьей? Выход есть: Гайнулину нужно подать в суд на Братскгэсстрой, и он будет выплачивать «разницу до среднего заработка пострадавшего». Так заведено. Но Борис делать это категорически отказывается: «...Вы говорите, что написать заявление в нарсуд — это пустая формальность.. мне так не кажется... Если законоположением предусмотрено, что дело не может решиться без суда,— это не пустая формальность. Ну а если уж закон существует только ради какой-то формальности, то его нужно просто отменить... заявления в суд писать я не буду. Пусть уж лучше платят что положено по соцобеспечению. Знаете, не хлебом единым...»

Писатель отправился на прием к председателю Совета Министров РСФСР. Несправедливый закон был отменен.

Активно участвовал автор и в судьбе еще одной своей героини, замечательной партизанки Алы Казей, жизни которой посвящена повесть «Нить Ариадны».

«В горах Акатуя» — своеобразные життя колхозников из далекого забайкальского села Читинской области: чабанов, комбайнеров зоотехников, скотников во главе с старейшим в стране председателем колхоза в селе Долгокыча Федором Трифоновичем Сараявым. Крупный человек, хозяин настоящий. Голова в своем колхозе. Верят

ему люди. Никогда попусту не разглагольствует, советскую власть в лучшем виде осуществляет...

Федор Сараев — прирожденный председатель, организатор: кого нужно поддержит в трудную минуту, с кого нужно спросит побольше, кому подскажет, что делать, кому предоставит полную инициативу. И тем руководствуется девизом: как ты с миром, так и мир с тобой. Были, разумеется, вещи, которые возмущали его, с чем он мириться не хотел. Он и говорил об этом в открытую, прямо.

«...Не люблю некоторых наших скромников,— сердился Федор Трифонович.— А много их развелось, особенно среди районного и областного начальства. Приедет в колхоз — незаметно его: что был, что не был. К нему придешь за делом, за советом — с чем... пришел, с тем и уйдешь... Рыбья кровь!»

Многое в повестях Бориса Костюковского очень современно звучит сегодня, когда нравственным категориям особое внимание. Недаром и в Политическом докладе XXVII съезду сказано четко: «Социализм — это общество высокой нравственности. Нельзя быть человеком идейным, не будучи честным, совестливым, порядочным, требовательным к себе. Наше воспитание будет тем плодотворнее, чем энергичнее станут утверждаться идеалы, принципы и ценности нового общества».

Г. Владимирова.



ЮРИЙ ПОРОЙКОВ. Лесов зеленый вздох. Стихотворения и поэмы. М. «Современник». 1985. 240 стр.

Обычно в стихах лирического поэта явно проступает его жизнь, судьба, биография души. Так и в новой книге Юрия Поройкова «Лесов зеленый вздох». Отчетливо проявляются в ней, если можно так сказать, факты творческой биографии поэта, его художественные пристрастия, приверженность традициям классической отечественной поэзии. Вот несколько характерных для Ю. Поройкова строк из его сборника: «Для жизни нам даны эпохи и мгновенья, а вечность — та пора, которая без нас». Или: «Бессмертья не прошу — оно мне ни к чему: что делать мне среди смертных одному?»

От созерцания к раздумьям ведет читателя пейзажная лирика поэта. В лучших традициях русского стиха написано стихотворение «А ночь опять взялась за решето...». Приведу его полностью:

А ночь опять взялась за решето —
Просеивает звездные пылинки.
Луна блеснула золотой дробинкой,
Скатилась вниз и канула в ничто.
И звон стоит от выпавшей росы,
Трава в серебряных заклепках вроде,
И кажется, что это мы заводим
Твои, природа, вечные часы.

Стихи о природе занимают в творчестве автора немалое место. Порой они касаются «вечных» тем, издавна волновавших поэтов. Разумеется, раскрывает эти темы Ю. Поройков по-своему, подчас как бы полемизируя с литераторами прошлого века. Например, в стихотворении «Метель»:

А ночью вновь она была,
И вместе с ней лихая свита,
Метель, космата и бела,
То дверь мою с крючка рвала.
То, прислонясь к стеклу, звала
Меня насмешливо-сердито...

А где-то там, лесами скрыта,
Сложив пушистых два крыла,
Метель, как девочка, спала.
О если б не было стекла,
О, если б дверь была открыта!

Однажды Павел Антокольский назвал соавтором поэта Время. Об этом размышляет и Ю. Поройков в стихотворении, которое так и называется — «Соавтор». Многозначны его финальные строки, где говорится о том, что можно «искрой промелькнуть в ночи», можно «быть тихим пламенем свечи», но главное — светить, гореть, освещая свое Время. И не случайно завершает сборник поэма «Звезда на снегу» о солдате Великой Отечественной войны, все отдавшем людям, родному народу.

Виктор Федотов.



ГАРАЙ РАХИМ. Отзовись, лето... Стихи. Перевод с татарского. Казань. Татарское книжное издательство. 1984. 158 стр.
ГАРАЙ РАХИМ. Истиня глубина. Перевод с татарского. «Литературная Россия», № 35, 1985.

Гарай Рахим — представитель того поколения татарских поэтов, которое широко заявило о себе в 60-е годы. Суть творческого поиска этого поколения была в стремлении понять себя, найти свое место в мире на большом прострaнстве истории, на перекрестках исторических судеб народов и поколений, традиций народа, непрерываемых во времени.

Первая же строка, открывающая книгу стихов Гарая Рахима, несет мету поколения, его внутреннего, духовного самоощущения: «В истории твоей — мои истоки...» Время и история вылепили образ народа и его города, облик которого открывает для себя поэт: «Вхожу в Казань пешком.. Белее лебедей, идут ко мне дома.. И храмы вдалеке — история сама.. Вглядись в черты столпцы, традиции народа хранящей сотни лет...» И вглядываясь в «нахмуренный гранит тяжелых кладок древних», Гарай Рахим как бы стремится приблизить к себе недосягаемое, сделать минувшие века своим достоянием.

Поволжье.. Великая русская река Волга издавна объединила представителей самых разных национальностей. Просторные волжские плесы хранят память о многих народах, чья жизнь, чей исторический опыт начинался отсюда, с этих волжских крутояров. Здесь перемешались исторические судьбы потомков древних булгар и славянских племен, угро-финнов и венгров — сталкивались перекрещивались расходились, чтобы сойтись вновь... «Куда несет меня в разбуженном и бурном огромном казане по имени Казань?» Неопределенность вопроса здесь не более как риторическая фигура, за ней стоит определенность судьбы, кровавая причастность родной земле, ее бурной многовековой истории.

К отвлеченно-философскому складу поэтической мысли Гарай Рахим не склонен. Его поэзия плотна, многозвучна, наполнена красками и ароматом жизни. В ней слышатся протяжные напевы курая и звонкая россыпь тальянки, чувствуется свежесть росистого утра и теплый запах парного молока, в ней рассыпаются искры из-под копыт аргамака на веселом сельском празднике — сабантуе... Бытовая конкретность стихов Гарая Рахима, вкус к подробности приближают к нам тот большой мир, который поэт охватывает воображением. Происходит это, очевидно, потому, что история для автора не вереница дат и событий, а труд народа, ее создающего, — труд земледельческий, труд ратный... Не случайно мотив пахоты, борозды один из ключевых мотивов книги.

Пахал мой дед.
Он дух земли вдыхал.
Сил не щадил,
со вкусом дед пахал.
В родную борозду
упав лицом.
дед пашню обнимал
перед концом.
Пахал отец,
с пристрастием пахал.
...Тревожный гул
над миром не стихал.
Упал,
сраженный вражеским свинцом,
и землю обнял он
перед концом.
Прими, земля.
и мой горячий пот:
пахать
и сеять
мне пришел черед...

Жизнь и смерть — эти две категории бытия слиты воедино созиданием, составляющим, по убеждению поэта, суть, смысл и плоть истории. Ибо в истории остается то, что создано трудом, и сама она для Гарая Рахима именно потому непрерываема, что вечен труд человека, обновляющий землю. «Теплые ветры древних булгар», наполняющие своим дыханием лирику поэта, и поныне «веют — к богатому урожаю». «А будет хлеб — и не иссякнут песни» — так решает поэт извечный спор о том, что было вначале: слово или дело.

Татьяна Очирова.



М. М. ФИЛИППОВ. Очерки о западной литературе XVIII—XIX вв. М. «Наука». 1985. 326 стр.

Я учился в то давнее время, когда учебников почти не было. Устное слово преподавателя дополнялось чтением книг преимущественно дореволюционного издания. Так мне, студенту начала 30-х годов, попала в руки книжечка М. Филиппова о Лессинге из серии «Жизнь замечательных людей», выпускавшейся прогрессивным издателем Ф. Павленковым на рубеже XIX—XX веков. Она меня увлекла живостью изложения и, что особенно примечательно, была созвучна настроениям молодых людей, выросших в годы революционных перемен.

Теперь это сочинение М. Филиппова полностью вошло в книгу его очерков о западных писателях. Рядом с Лессингом здесь Ибсен и Гауптман, два выдающихся драматурга, пьесы которых и сегодня в репертуаре наших театров. Но когда М. Филиппов писал свои литературно-критические работы, репутация Ибсена и Гауптмана была не столь бесспорной, как теперь.

Недолгой была жизнь Михаила Михайловича Филиппова (1858—1903). Четверть века проработал он в русской публицистике, науке и литературной критике. Редактируемое им «Научное обозрение» являлось одним из тех прогрессивных изданий, на страницах которого звучала свежая и смелая мысль. Достаточно сказать, что среди авторов журнала были В. И. Ленин, Г. В. Плеханов, К. Э. Циолковский.

Статьи М. Филиппова о русской литературе переизданы теперь, читая «Очерки...», новое поколение может познакомиться с его мнениями о писателях Запада. Книга хорошо прокомментирована знатоками европейских литератур. Только напрасно они предупреждают читателей, что кое-что в статьях М. Филиппова устарело. Живая мысль не стареет, даже если наука установила после смерти автора какие-то новые факты.

Вот, например, разбирает М. Филиппов творчество молодого еще тогда Г. Гауптмана и пишет о «Ткачах», драме «мало известной русской публике, так как она не дается у нас на сцене». Это дает критику основание подробно изложить пьесу, а если обратить при этом внимание на то, что статья появилась в 1901 году, то станет очевидно, какое общественное звучание могла иметь публикация о драме из жизни рабочего класса. Публицистическая направленность автора ясна в его рассуждении: «Центр тяжести драмы сосредоточен в последнем, пятом акте, где изображена борьба двух начал. Старый ткач Хильзе является представителем старой морали, требующей терпения, христианского смирения и покорности судьбе.. Он своего рода предшественник Толстого: человек должен терпеливо переносить страдания, терпеть насилие и обиды и ни в каком случае не должен отражать силу силой. Сын его Готтлиб колеблется между старыми и новыми взглядами, зато жена Готтлиба Луиза всей душой на стороне нового движения». Статья М. Филиппова о Гауптмане была напечатана в год создания «Песни о Буревестнике», — совпадение не случайное.

«Ибсен и новейшая драма» — одно из первых оригинальных русских исследований о норвежском драматурге, оно интересно глубиной и оригинальностью оценок, верными суждениями о драматургическом методе писателя, проникновенным раскрытием психологического смысла его драм.

Особенно остро воспринимается статья «Индивидуализм в новейшей французской литературе». написанная в 1902 году, когда проблема индивидуализма (и символизма) была животрепещущей и в русской литературе. Опять бросается в глаза переписка с Горьким, автором статьи «Поль Верлен и декаденты» (1896). М. Филиппов также стремится к объективной оценке новых тогда явлений французской поэзии: «...симво-

лизм представляет собою, в сущности, очень сложное течение. Он является отрицанием мнимого реализма парнасцев, не только оппозицией натуралистической школе беллетристов, но и возвращением к традициям, с одной стороны, романтиков, с другой — Руссо и сентименталистов» М. Филиппов спорит с французским критиком Р. Думиком, утверждавшим, будто символизм и декадентство не индивидуалистичны. «Символисты, — пишет М. Филиппов, — имеют свои абсолюты, которым они и поклоняются. Для одних из них свое собственное «Я» сливается с абсолютом. Другие преклоняются перед «природой» и, между прочим, на этом основании прославляют первобытные импульсы и инстинкты, испорченные, по их мнению, цивилизацией: чудовищно, что некоторые из символистов, обращаясь к природе, приближаются к сентиментальной народной поэзии и даже прямо заимствуют народные мотивы. Достаточно напомнить о настоящих народных песнях, которые можно найти у Верлена...» Субъективные пристрастия и взгляды не мешают М. Филиппову быть точным в оценке явлений современной ему литературы.

Привлекателен и язык критических работ М. Филиппова. Нисколько не упрощая сложности рассматриваемых им литературных явлений, критик пишет живо, легко, увлекательно. Ясности мысли соответствует и выразительность изложения. Читая книгу, не чувствуешь дистанции времени.

А. Аникст.



ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО НИКОЛАЯ НОСОВА. М. «Детская литература». 1985. 255 стр.

Он говорил о том, что больше всего боялся «тетушки скуки». Вспоминая все его книги — от «Тук-тук-тук!» и до «Приключений Незнайки», можно с уверенностью сказать: «тетушку скуку» он в свои произведения не допускал.

И вот вышел в свет сборник, рассказывающий о жизни и творчестве Николая Носова — писателя, книги которого с каждым годом читаются все больше и больше.

Очень точно сказал о Николае Носове Валентин Катаев. «Он в совершенстве постиг психологию того чудесного, странного, милого человеческого существа, которое называется „мальчик“».

Носова сравнивают с Марком Твенном, со Свифтом... Я бы сравнил его с Жюльем Верном. Этот популярный писатель всегда стремился сообщить детям как можно больше: и что такое подводная лодка, и каким путем земляне смогут общаться с жителями других планет, и устройство воздушного шара, и последние новости о событиях в мире. Так и в произведениях Носова. Казалось бы, обилие информации в носовских книгах могло оттолкнуть детей. Отнюдь. Оно их привлекает.

Есть хорошая русская пословица: «Вполплеча работа тяжела, оба подставьши — легче справишь». Из первой же статьи сборника (Е. Зубаревой) мы узнаем, что по этой пословице жил Николай Носов с малолетства. Окончив семилетку, он пошел

работать. Одновременно продолжал учиться. И чем бы ни занимался, отдавал себя делу без остатка. Сначала это было увлечение фотографией. Потом — Киевский художественный институт, а спустя два года — Московский институт кинематографии. Закончив его Носов около двадцати лет работал режиссером научных, учебных и мультипликационных фильмов. А писать начал только в 1938 году.

В статьях С. Сивоконя, И. Васюченко, Е. Красиковой, А. Иванова и других прослеживается наполненный самоотверженным трудом путь писателя-амориста, талантливого популяризатора и воспитателя молодых читателей.

Е. Бегак интересно рассказал о популярности героев Носова за рубежом. Вот лишь один из примеров.

Широко известная в Японии кондитерская Мацуо Кокадо в городе Осака носит имя Незнайки. «У меня двое детей: девочка и мальчик,— писал Носову Мацуо Кокадо.— Но правильнее было бы сказать, что у меня их трое, я люблю вашего Незнайку как собственного ребенка. Мой долг и большая радость для меня — воспитать его в качестве посланника дружбы между нашими странами, воспитать его другом подрастающих японских ребят».

Путешествие Незнайки и других героев Носова по земному шару продолжается: Польша и ГДР, Китай и Корея, Вьетнам и Швеция, Япония, Англия, Монголия — далеко не полный перечень стран, где издаются носовские книги. В ГДР «Незнайка в Солнечном городе» инсценирован, и пьеса с успехом шла в театре кукол. В Японии поставлен телефильм о Незнайке.

Хочется отметить и тот раздел книги, где даны воспоминания о Носове наших детских писателей. А. Кардашова вспоминает, как Николай Носов читал свои первые рукописи на занятиях кружка начинающих писателей при Детгизе. Ю. Ермолаев написал очень интересную документальную новеллу о встречах с Носовым. Евгения Таратута воскрешает в нашей памяти носовскую книгу «Повесть о моем друге Игоре». Сергей Баруздин подчеркивает завидное качество Носова: книги, написанные им как бы специально для детей, интересны и взрослому читателю. Много нового о жизни писателя можно узнать из статей его жены Т. Носовой-Серединной и внука Игоря.

Очень интересны и статьи самого писателя: «О себе и о своей работе», «О некоторых проблемах комического», переписка с К. Чуковским. В книге приводятся также письма Носова своим маленьким читателям — глубоко уважительные и подробные.

Словом, сборник «Жизнь и творчество Николая Носова» получился многоплановым, обстоятельным, заслуживающим читательского внимания.

М. Ефетов.



МАНСУР АБДУЛИН. 160 страниц из солдатского дневника. М. «Молодая гвардия». 1985. 160 стр.

Эта книга как и сотни других фронтовых воспоминаний начиналась с желания рассказать о виденном и пережитом, с настоя-

чивого вопроса горстки уцелевших однополчан: написал ли кто-нибудь про «остров смерти» (малоизвестный эпизод Великой Отечественной, когда почти целый корпус был принесен в жертву, осуществляя «демонстрацию ложной переправы» через Днепр)? Проходит двадцать, тридцать, сорок лет, а бывший гвардейский минометчик, потомственный шахтер Мансур Абдулин все ждет: «Вот бы на моем месте писателю! Сколько материала!»

Но шахтер как и не встретил на своем жизненном пути писателя, «чтобы с глазу на глаз, да знать бы, что ему интересно будет все это слушать, как про себя самого, начиная от первого выстрела под Клетской и кончая госпитальми, которые тоже есть неотъемлемая сторона войны...». И вот Абдулин сам берется за перо. Его смущает, «что получается... в основном про себя самого», он боится, что фронтовики почтут это за нескромность. Есть и еще одно обстоятельство: все, о чем пишет ветеран — страшные дни и ночи Сталинграда, артиллерийские ураганы Курской дуги, переправа через Днепр, смерть сотен товарищей, ранение, госпитали, — все надо пережить заново. А сердце уже стало побаливать...

Повзрослевший на сорок лет, умудренный жизненным опытом автор осмысливает происходившее с минометчиком Мансуром. Так в книге появляется не только солдатское видение окопной правды, но и своеобразное философское обоснование поведения пехотинца — крошечной песчинки из миллиона солдатской массы, той самой боевой единицы, чье имя не фигурировало в сводках, а лишь, суммируясь с сотнями и тысячами других, давало итоговую цифру потерь. На примере своего героя, его товарищей автор убеждает нас: для того чтобы месяцами спать в холодном и сыром окопе, чтобы подставлять себя под пули, идти в безнадежную атаку, форсировать широченную реку на вешешке, набитом соломой, для того чтобы годы находиться в противоестественной ситуации человекоистребления и не потерять человеческого облик, нужен помимо большой общенародной идеи защиты отечества свой личный нравственный кодекс.

Абдулин рисует яркие, запоминающиеся образы бойцов и командиров. Это неразговорчивый, по-отечески заботливый командир минометного расчета Суворов и разведчик Амбарцумянц — человек феноменальной храбрости, комполка Павел Билаонов и шестнадцатилетний отчаянный «генеральский сынок» Борис Польша. Мы читаем про случай с солдатом Николаем, украсившим у товарища буханку хлеба, слышим разговор сержанта с политруком роты, который вымогает у подчиненного трофейные часы, обещая предать к награде. Да, было и такое. Как были отступления под натиском врага, безалаберность и ошибки штабов стоившие тысяч жизней, и совсем уж нелепый случай в Драгунске, где своя же авиация по страшному недоразумению бомбила их гвардейский полк.

Где-то в середине повествования у автора вырвется: «...я сильно устал от войны. Устал и физически и душевно». Глубина и искренность этой фразы — та тональность,

в которой выдержан весь дневник. Избегать фальши и приукрашивания — вот к чему стремится автор. Ведь мог бы он хоть ранение минометчику Мансуру придумать «поблагоднее». Помните наказ умирающего солдата в лермонтовском «Завещании»: «...скажи им, что навyleт в грудь я пулей ранен был...»? Навyleт в грудь! А у Мансура перебит седаличный нерв, проще говоря, ранение в ягодицу, совсем не героическое. В этом тоже правда войны: и смерть не всегда соответствовала чеканной формуле «пал смертью храбрых», и ранения «навyleт в грудь» случались редко. Может, главное достоинство книги в том и состоит, что автор, чутко сторонясь какой-либо поэтизации войны, рисуя ее боль, грязь и бесчеловечность без прикрас и романтического флера, высоко ценит нестареющую силу фронтového братства, силу человеческих характеров, закаленных «огнем смертельных»...

К счастью, в нелегком и непривычном для него литературном труде Абадулин проявил ту же честность и самоотверженность, что и в ратном деле, отдав книге душу и сердце, не пожелав выбрать более спокойную и безопасную роль объективного летописца. Честь и хвала многочисленным энтузиастам, которые по крупицам собирают историю своих полков, дивизий, армий, кропотливо восстанавливают имена, даты, цифры. Но справедливости ради надо признать, что подобные труды, даже будучи опубликованными, становятся лишь фактом истории. А вот «160 страниц из солдатского дневника» Мансура Абадулина — бесспорное литературное явление.

Марк Григорьев.



Б. Н. МИРОНОВ. Историк и социология.
Л. «Наука». 1984. 174 стр.

Взаимоотношения между историей и социологией еще в прошлом веке породили немало острых дискуссий. Представители социологического позитивизма самоуверенно утверждали, что «научный метод» в самое ближайшее время сделает описательную и тем более повествовательную историю архаической и ненужной, а защитники традиционного «индивидуализирующего» познания пренебрежительно третировали социологические обобщения как не относящиеся к конкретному. Время сняло остроту этой полемики. Однако история, как и любая другая гуманитарная наука, и сегодня высоко ценит описание конкретного, даже единичного факта, а ее познавательные методы и стиль изложения в чем-то сродни художественным. Недаром А Гульга даже назвал свою теоретико-методологическую книгу «Эстетика истории» Социология, напротив, тяготеет к более жестким теоретическим моделям и статистическим методам исследования. В то же время обе науки все теснее переплетаются, позволяя даже говорить о существовании исторической социологии и социологической истории.

Особенность книги Б. Н. Миронова состоит в том, что ее автор, специалист по социально-экономической истории России, обсужда-

ет не столько общие проблемы и принципы взаимодействия обеих наук, сколько конкретный опыт применения социологических понятий и методов к изучению исторического материала. По справедливому замечанию Козьмы Прутоква, приведенному в качестве эпиграфа к одной из глав книги, «многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий».

Чем же может социология обогатить историю? Автор раскрывает это на ряде исторических проблем и явлений. Использование социологического понятия «социальная мобильность», например, помогает историку описать хозяйственную деятельность русского крестьянства XIX столетия. Даже хорошо известные письменные источники могут дать ученым немало новой информации, если применить к ним количественный метод исследования, так называемый контент-анализ, позволяющий установить, как часто и с каким знаком — положительным или отрицательным — упоминаются в них те или иные сюжеты, каковы, следовательно, были подлинные намерения их авторов и какие идеи они внедряли в сознание своих читателей. Этот метод особенно эффективен при изучении массовых источников — прессы, радио, листовок и тому подобного. Весьма интересен раздел книги, посвященный динамике грамотности населения России между 1797 и 1897 годом с учетом возраста, пола и социальной принадлежности. Автор убедительно показывает, как своевременно поставлена в рамках школьной реформы задача обучения детей основам информатики и методам работы с ЭВМ. Это жизненно необходимо в будущем не только инженерам и техникам, но и историкам, которые, что греха таить, часто считают математическое образование излишним.

Не все разделы книги одинаково удачны. Подход Б. Н. Миронова, сформировавшийся на основе изучения массовых хозяйственно-экономических и демографических процессов, кажется временами слишком жестким, особенно когда речь заходит о духовных, культурных явлениях. По его мнению, например, в развитии массового сознания существовали три основных стадии: мифологическое, магическое, или архаическое, сознание свойственно доклассовому обществу, традиционное, или религиозное, сознание развивается в докапиталистическом классовом аграрном обществе, а урбанистическое, или рациональное, сознание возникает в буржуазном индустриальном обществе, но свое полное и завершенное развитие получает при социализме. Такая эволюционная схема представляется несколько упрощенной. Сам Б. Н. Миронов признает, что, вероятно, в любую эпоху сознание отдельного человека, как и сознание социальных групп и общества в целом, мозаично, поскольку в нем одновременно сосуществуют несколько уровней. Однако эти уровни не всегда следует трактовать иерархически. Ведь даже в рациональном сознании, эталоном которого является наука, существует обширный мир художественных образов.

Понимание этого существенно и для теории социального познания. Если наивное, незрелое обществоведение стремилось без остатка свести все индивидуально-неповтори-

мое к повторяющемуся и всеобщему, то сегодня даже в «обобщающей» социологии резко усилился интерес к биографическому исследованию, анализу жизненных событий, состояний и внутреннего мира личности и тому подобному. Социологические методы необходимы и полезны для объяснения исторического процесса развития определенных социальных систем, но история как драма лиц и характеров им неподвластна.

Впрочем, анализ этой стороны дела не входил в задачи Б. Н. Миронова.

И. Кош,
доктор философских наук.



КАЛИН ДОНКОВ. *Такси на тротуаре.* Очерки. Перевод с болгарского. М. «Прогресс». 1985. 236 стр.

Это первое знакомство советского читателя с прозой болгарского поэта, драматурга, публициста Калина Донкова, ответственного секретаря известного журнала «Септември». На родине Донков весьма популярен. В болгарской критике выражение «по-калин-донковски» означает искренне, прямо, открыто.

Первый раздел сборника составили очерки-размышления о нетипичных, исключительных, порой мерзких, порой страшных происшествиях, в которых, как доказывает автор, в концентрированном виде проявляются существующие в обществе проблемы (очерки Калина Донкова заставляют вспомнить, скажем, публицистику Ольги Чайковской или покойного Евгения Богата). Обращает на себя внимание, что автор охотно дает высказаться всем своим героям, дает прозвучать всем голосам, и не в ущерб своей принципиальной позиции. Калин Донков, по его признанию, предпочитает «изъясняться с помощью слов, высказанных другими, рассчитывая все больше на сравнения, на логические композиционные ходы», потому что ему кажется: дай он ход своему изумлению и гневу, «они выльются в душещипательные, непривычные перу пассажи». Гем не менее публицист то и дело дает волю своим чувствам — и авторское слово, органично сочетающее лиризм и публицистичность, переходит в прямые обращения к читателю, в призывы к его душе, совести, гражданскому чувству:

«Через мучительные и потаенные раздумья Павла Михайлова (герой очерка «Грустите в выходной!»), дважды пытавшийся уйти из жизни — А. И.), через собственные колебания и горести, через ваше бессонное беспокойство о жизни я пронес эти слова: Пусть у вас будет время!

Потому что для кого-то время может быть спасением.»

В очерке «Про овцу и про шапку», двигаясь от конкретного случая, публицист приходит к широкому гражданским обобщениям о власти и чести, о власти в руках недостойного ее. И снова Калин Донков обращается к читателю: «...мы просто уступаем дорогу, отстраняемся, чтобы не испачкаться. Именно так становилась возможной эта драма во

всех известных рассказчику случаях: мерзавец рвался к власти через шпалеры чистых. Поэтому: пачкайте руки, когда в этом есть необходимость! Они отмываются...» Автор взывает к чувству гражданской ответственности, ибо «ни века до нас, ни века, идущие на смену, не простят нам ни малейшей игры властью, государством, честью».

Эти призывы не могут не вызвать сочувственного душевного отклика, но общественная их действенность не так очевидна. Куда важнее, по моему, размышления Калина Донкова о «новом потребителе» (очерк «Очень южная сторона»). Этот распространенный тип «уже не тот, что тихонько в уголке грыз горбушку от каравая общественных благ... и ждал, что пройдут времена, когда неудобно быть слишком благополучным и сытым. Ему надоело быть скромным». Новый потребитель, по мнению Калина Донкова, специализируется на накопительстве прав, не обеспеченных исполнением соответствующих обязанностей: имею право — так подай, и самое лучшее! Не дашь — «новый потребитель» положенное ему вырвет, выбьет любой (буквально любой) ценой.

В своих «частных случаях» Калин Донков изменяет имена, профессии и адреса, чтобы у его «литературных героев не было лишних неприятностей». Как правило, забота автора о своих персонажах оправдана. Но есть среди них немало и таких, которые просто должны были — этого требует наше чувство справедливости! — иметь, так сказать, «неприятности», и совершенно конкретные; а читателю хотелось бы знать, что это были за «неприятности», и если их не было, то почему. Это не праздное любопытство. Без такого необходимого фундамента обобщенные авторские рассуждения о справедливости, добре и зле — слова, слова, слова. Конечно (как точно сформулировал эту проблему еще в прошлом веке В. Ф. Одоевский), «нравственная цель сочинения не в торжестве добродетели и не в наказании порока. Пусть художник заставит меня завидовать угнетенной добродетели и презирать торжествующий порок». Но я сомневаюсь, что такая творческая позиция, правомерная для художника, может быть руководством к действию для современного публициста.

Читая очерки Калина Донкова, словно не замечаешь, что речь идет о другой стране; вероятная причина этого — в общности социального опыта наших народов. Но все же переводчик мог бы чаще разъяснять в примечаниях некоторые реалии болгарской жизни, ведь книга рассчитана на самый широкий круг советских читателей. Например, что такое «Болгарская пасха»? Это название не раз фигурирует в очерке «Такая боль невозможна в любви». И еще: мы недостаточно знакомы с работами лучших публицистов и очеркистов социалистических стран. Регулярное их издание (может быть, в виде специальной серии?) было бы делом несомненно полезным. Таким же полезным, как издание сборника Калина Донкова, книги, пронизанной любовью к человеку и тревогой за человека.

А. Ирив.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин. О социализме и коммунизме 495 стр. Цена 1 р. 80 к.

А. Вайя. От каторжанина до генерала. Сокращенный перевод с итальянского. 256 стр. Цена 90 к.

В. Левин. Банкиры мафии («Владыки капиталистического мира») 80 стр. Цена 20 к.

В. Меньшинов. Оборотни стреляют из-за угла. 175 стр. Цена 30 к.

Ю. Чернов. Сподвижники. Повесть о П. Лепешинском. («Пламенные революционеры») 412 стр. Цена 1 р. 40 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Богомолов. Роман Повести Рассказы. 526 стр. Цена 2 р. 30 к.

Зульфийа. Избранное Стихотворения Поэмы. Перевод с узбекского. 303 стр. Цена 1 р. 80 к.

Ш. Петефи. Лирика Перевод с венгерского. 283 стр. с илл. Цена 3 р. 50 к.

Современная финская новелла. Переводы с финского и шведского. 591 стр. Цена 3 р. 90 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Ч. Гусейнов. Семейные тайны. Роман. 287 стр. Цена 1 р. 40 к.

И. Есенберлин. Золотая орда Роман в 3-х книгах. Перевод с казахского. 559 стр. Цена 3 р.

Г. Куренев. Связь времен. Стихи 126 стр. Цена 50 к.

Р. Эзера. Предательство. Анатомия одной повести. Перевод с латышского. 254 стр. Цена 75 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

К. Кулиев. Житы! Лирика разных лет 143 стр. Цена 60 к.

Ю. Рыбаков. Эпохи и люди русской сцены. 1672—1823 гг. 142 стр. Цена 30 к.

Ю. Семенов. Экспансия Роман 508 стр. Цена 2 р. 50 к.

Ярославль. Памятники архитектуры и искусства Альбом 327 стр. Цена 12 р. 60 к.

«ИСКУССТВО»

Кино — юным 336 стр. Цена 1 р. 50 к.

В. Кравченко. Помпей Геркуланум Стабии. («Города и музеи мира») 224 стр. Цена 1 р. 50 к.

С. Разгонов. Василий Иванович Баженов. («Жизнь в искусстве») 168 стр. Цена 1 р. 50 к.

Французская одноактная драматургия. Перевод с французского 205 стр. Цена 60 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

К. Идигорас. Лайда, сын шахтера. Повесть Перевод с испанского 176 стр. Цена 70 к.

С. Прокофьева. Глазастик и Ключевидимка. Повесть-сказка 174 стр. Цена 65 к.

Л. Разгон. Нйнов голос науки. Литературные портреты 302 стр. Цена 90 к.

Сказание о Раме, Сите и летающей обезьяне Ханумане. Древнеиндийский эпос. Обработан и пересказан для детей С. Сахарнов. 95 стр. Цена 1 р. 30 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

И. Бабель. Избранное Минск. «Мастацкая літаратура». 270 стр. Цена 1 р. 50 к.

Д. Гусаров. Три повести из жизни Петра Анохина Петрозаводск. «Карелия» 360 стр. Цена 1 р. 50 к.

Л. Зорин. Осенний юмор Рассказы «Московский рабочий» 223 стр. Цена 90 к.

Н. Карамзин. Записки старого московского жителя Избранная проза («Литературная летопись Москвы») «Московский рабочий». 527 стр. Цена 1 р. 70 к.

А. Навои. Ферхад и Ширин Поэма. Перевод с узбекского Л. Пеньковского. Ташкент. Издательство литературы и языка. 351 стр. Цена 1 р. 30 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103798, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. Н. Крупин, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахин**

Адрес редакции: 103806 ГСП. Москва К-6. Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 25.03.86 г. Подписано к печати 06.05.86 г. А 11618.

Формат бумаги 70x108^{1/8}. Высота печати Объем 17 п. л. (23,8 усл. печ. л.)

27 06 уч.-изд. л.

Тираж 427.000 экз. (1-й завод 1 -- 207.000 экз.) Зак. 1033

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
*03798 Москва К-6 Пушкинская пл. 5

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова Москва, Пушкинская пл., 5

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1986, № 6, 1 — 272.